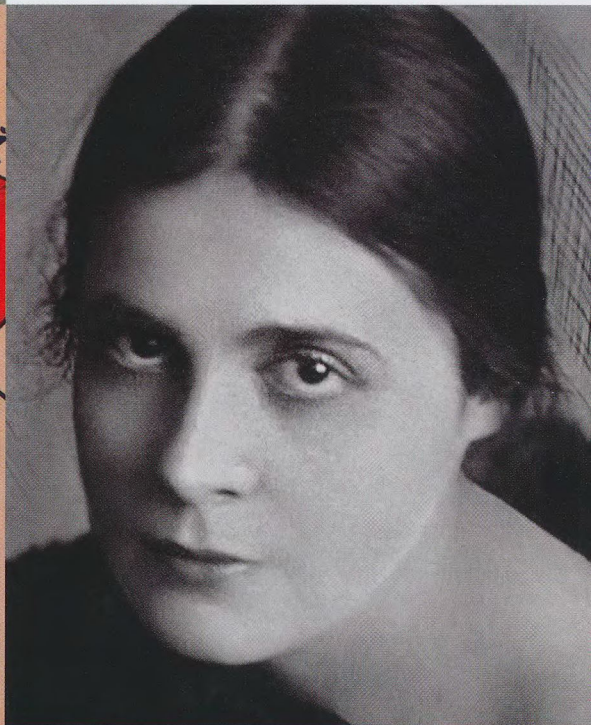


# ЛИЛИЯ БРИК



Алиса  
Танилова



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ





# ЖИЗНЬ<sup>®</sup> ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

*Серия биографий*

Основана в 1890 году  
Ф. Павленковым  
и продолжена в 1933 году  
М. Горьким



**ВЫПУСК**

**2011**

---

**(1811)**

Алиса Таниева

# ЛИЛЯ БРИК

## ЕЁ ЛИИЧЕСТВО НА ФОНЕ ЛЮЦИФЕРОВА ВЕКА



МОСКВА  
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ  
2020

---

УДК 821.161.1.0-94  
ББК 83.3(2Рос=Рус)6-8  
Г 19

*Автор и издательство благодарят за помощь в работе над книгой  
Бенгта Янгфельдта, Вениамина Смехова, Александра Лаврентьева,  
Валерия Плотникова.*

знак информационной  
продукции **18+**

**ISBN 978-5-235-04311-4**

© Ганиева А. А., 2020  
© Издательство АО «Молодая гвардия»,  
художественное оформление, 2020



---

---

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Признаюсь, выбирая название для книги, трудно было удержаться от шалостей, ведь ее героиня слыла женщиной озорной и дерзкой. Будучи светской дамой, она тем не менее могла отточить при гостях ядреный анекдот, засмущать пряным словечком. Актер Вениамин Смехов вспоминает рассказ Лили Брик про председателя Союза советских писателей Константина Федина. Кто-то упорно писал на тропинке под окнами его переделкинской дачи неприличное слово из трех букв, а когда Федин приказал залить тропинку асфальтом, то прямо на свежем асфальте хулиганы вывели другое нецензурное слово — уже из пяти букв. Пересказывая молодому Смехову этот случай, Лиля Юрьевна специально для него уточнила, что за слово имелось в виду: дескать, начинается на «пэ» и кончается на «зда».

Так вот, впав в игриво-шкодливое настроение, я набросала своему милому издателю варианты названия, в том числе и чудовищно пошлые, вроде «Лиля Брик в койку прыг». Надо сказать, и он не отставал. Редакторское чутье неизменно приводило его к лукаво-бесшабашному кирсановскому «лифчику-счастливчику». Лиля Брик заражала нас свободой.

Но отчего же от интимного дамского гардероба меня вдруг метнуло к зловещему Люциферову веку?

На латыни слово-омоним «Lucifer» означает «светоносный». Во-первых, так в древности называли последнюю «утреннюю звезду», гаснущую на небе с восходом солнца, — планету Венеру. Если искусница влюблять в себя Лиля Брик и служила какому-то божеству, то только ей. Во-вторых, в христианстве Люцифер — падший ангел, царь ада, покровитель ведьм и чертей. А Лиля отражается в зеркалах современников и потомков именно так — либо ведьмой, либо ангелом. Причем для кого-то, как для Миха-

ила Пришвина или Андрея Вознесенского, ее ведьмаческая сущность притягательна. Брик-ведьма — манкая, опасная, загадочная, пугающая, необыкновенная. Другие видят в ней не столько колдовскую сущность, сколько воплощение обыкновенного, бытового зла — пожирательницу мужчин, разбивательницу семей и прислужницу лубянских приспешников дьявола. Но есть и другая крайность — восхищение Лилей Брик, категоричное, безапелляционное, отвергающее любую грязь, любую тень, любые неприятные факты, создающее ангелический образ музы Маяковского, спасительницы его наследия, мудрой, умной, чуткой, смелой покровительницы талантов и гениев.

К яростным защитникам Лили Юрьевны относятся и ее пасынок Василий Катанян, и тот же Смехов, друживший с уже пожилой музой на протяжении семи ее последних лет. Незадолго до выхода этой книги я говорила с Вениамином Борисовичем по телефону, и он с некоторой тревогой предостерег меня от впадения в желтизну. Дескать, многие не удержались и плюхнулись в лужу досужих сплетен — любят порассуждать о жизни Лили втроем и о ее связях с ОГПУ; но на деле Осип Брик в ЧК помогал беспризорным детям, а Лилиа и вовсе ни при чем, и про делишки своих друзей-чекистов они понятия не имели.

Вполне возможно, насчет чекистов Вениамин Борисович и прав (мы еще поговорим об этом), да и презрение культурного человека к сплетням вокруг постельной жизни любимой женщины великого поэта тоже объяснимо. Вернее, было бы объяснимо, если бы речь не шла о Лиле. Ведь сам же Смехов привел мне слова маяковеда Зиновия Паперного, что Лилиа Брик — это женщина, которая всю себя посвятила своей личной жизни. Так что говорить о Лиле и не вспоминать ее любовников — всё равно что говорить об Эйфеле и не вспомнить о его башне. Так что в Лилин будуар неизбежно залезает все ее биографы: не только развязные шелкоперы из желтой прессы, но и авторы серьезные, даже ученые: и замечательный шведский славист Бенгт Янгфельдт, без работ которого эта книга просто не состоялась бы, и ее преданный пасынок Василий Катанян, и дотошный литератор и литературовед Анатолий Валюженич, и обруганный многими за ошибки и сальности прозаик и публицист Аркадий Ваксберг. В этом тесном будуаре уместилась и я.

Но вернемся к Люциферову веку. Лилиа Брик прожила долгую жизнь. Она родилась на излете столетия, о котором Александр Блок в поэме «Возмездие» писал:

...Век девятнадцатый, железный,  
Воистину жестокий век!  
Тобою в мрак ночной, беззвездный  
Беспечный брошен человек!  
В ночь умозрительных понятий,  
Матерьялистских малых дел,  
Бессильных жалоб и проклятий  
Бескровных душ и слабых тел!..

На смену беспокойному буржуазному веку пришло время великих потрясений:

...Двадцатый век... Еще бездомней,  
Еще страшнее жизни мгла  
(Еще чернее и огромней  
Тень Люциферова крыла).

.....

Сулит нам, раздувая вены,  
Все разрушая рубежи,  
Неслыханные перемены,  
Невиданные мятежи...

Лиля Брик прошла через годы страшные и бурные, через революции, террор, войны, индустриальные бумы. Несмотря ни на что, она любила свой век, обожала новые изобретения: нейлоновые чулки, самолеты, звуковое кино, эксперименты в живописи, литературе, моде... Когда десятки ее знакомых гибли в политических чистках или тянули ярмо советского быта в застойных очередях, она не просто выживала — она жила, и жила красиво, в окружении изящных вещей и боготворящих ее поклонников. Но чего ей это стоило? Так ли уж нежен был с ней XX век? Неужели он ни разу не толкнул ее Люциферовым копытцем?

Копытцем толкнул, но на лопатки не положил. Лиля Брик всё равно оказалась сверху.



---

---

## МУМИЯ И БРИЛЛИАНТЫ

Твой лифчик —  
Счастливчик!

Это двестишестидесятилетний поэт-футурист Семен Кирсанов якобы посвятил Лиле Брик. А кому еще? Лиля Брик — королева советских будуаров, лефовка\*, модница, покровительница талантов, секс-символ и муза русского авангарда.

Образ Лили Брик в представлениях современников и потомков раскалывается надвое. Одни зовут ее второй Беттриче, мудрой вдохновительницей, родной душой Маяковского. Другие — корыстной ведьмой, вампиршей, присосавшейся к несчастному гению, к его славе и деньгам, доведшей его до самоубийства.

Одни мемуаристы считают ее красавицей, другие — дурнушкой. Да и те, кто встречал Лилю Брик уже пожилой, резко расходятся во мнениях. Вот что, к примеру, успел написать о встрече с состарившейся легендой российский телеведущий Борис Ноткин, застрелившийся в день рождения Лили Брик в 2017 году:

«Гуляя с приятелем по Переделкино, мы подошли к скамеечке, на которой сидела маленькая старушка. “Это Лиля Брик”, — шепнул он мне. Затем он очень красиво представил ей меня. Неожиданно ее глаза стали огромными, и она совсем перестала казаться Дюймовочкой. Уже через несколько минут я понял: она относится к особой категории женщин. Подавляющее их большинство в разной степени умеет пробуждать мужские инстинкты. Очень редкие женщины обладают способностью быть музой, вдох-

---

\* Лефовка — участница творческого объединения «ЛЕФ» («Левый фронт искусств»), существовавшего в 1922—1929 годах.

новением, мечтой. Ее магия не зависела от возраста. Очень скоро я стал из всех сил стремиться доказать ей: конечно, меня нельзя сравнивать с влюбленным в нее гениальным Маяковским. Несомненно, мне очень далеко до ее супруга Осипа Брика. Но на меня всё же стоит обратить внимание и даже запомнить. Конечно, она поощряла мои старания, задавая вопросы, стимулирующие мысль. И, кажется, это был тот случай, когда, пытаясь выпрыгнуть из себя, я прыгнул выше головы»<sup>1</sup>.

Если будущий известный тележурналист был очарован, почти влюблен, то актриса Татьяна Егорова в своих описаниях Брик-старухи предельно саркастична:

«На каждом спектакле “Клоп” Маяковского в Театре сатиры она буквально лежала в первом ряду, в середине, — в черных касторовых брюках, в черной шелковой блузе, волосы покрашены в краснорыжий цвет и заплетены в косу, как у девицы, и эта косица лежит справа на плече, и в конце косицы кокетливый черный атласный бантик. Лицо музы, теперь уже мумии, набелено белилами, на скулах пылают румяна, высокие брови подведены сурьмой, и намазанный красный ротик напоминает смятый старый кусок лоскутка. Красивый вздорный нос. Бриллианты — в ушах, на костлявых и скрюченных пальцах изнывает от тоски несметное богатство в виде драгоценных колец.

Мумия держится на трех точках: ногами упирается в сцену, шея зацепилась головой за спинку кресла, берцовые кости лежат на самом краю сиденья, ноги вытянуты, позвоночник “висит” на свободе»<sup>2</sup>.

Примерно так же описывала появление Лили Брик в Большом театре семидесятых наша литинститутская лекторша по истории Зоя Михайловна. Явилась, дескать, ходячая мумия, клоунесса в бриллиантах. У Зои Михайловны всегда была масса забавных историй — помню, она рассказывала, как Литинститут во время каких-то очередных советских «выборов» был превращен в избирательный участок и туда забегал забросить бюллетень живший в соседнем доме всесильный партдеятель Михаил Суслов. Суслов целовал ей руки. Главный, надо сказать, гонитель «жены Маяковского» во время антибриковской кампании.

Тут можно подумать, что всё дело в женской ревности. Что мужчины, встречавшие Брик, боготворили ее, сколько бы ей ни было лет, а дамы — честили, обливая ядовитой слюной. Но нет! Находилась ведь масса женщин, рабски преданных Лиле Брик, обожавших ее (включая возлюблен-

ных Маяковского, ту же Наталью Брюханенко). А сколько мужчин, напротив, вспоминали соблазнительницу с оторопью. Несколько моих знакомых мужского полу признавались, содрогаясь, что Лиля Брик, уже старуха, буквально набрасывалась на них, молодых, в эротическом угаре. Писатель Виктор Ерофеев как-то в нашем частном разговоре сынтимничал, что за всю жизнь наиболее настойчиво его домогались две женщины: министр культуры СССР Екатерина Фурцева и Лиля Брик. С Лилей его познакомил в Театре на Таганке кто-то из актеров. Она схватила юного Ерофеева за руку и не желала отпускать. «Глаза у нее были яростные, — вспоминал Ерофеев, — я чувствовал, что она хотела высосать меня, как паук. По ее руке, по взгляду я понял, что она готова дать мужчине всё. Но больше мы не виделись». Он, кстати, вспомнил и другую любовь Маяковского, единственную, к кому Лиля всерьез его ревновала, — парижанку Татьяну Яковлеву. Будучи в Нью-Йорке, Ерофеев гостил в особняке у Яковлевой и ее второго мужа, главного редактора журнальной империи «Конде Наст». Яковлева, аристократичная и красивая даже в старости, наблюдала, как молодой литератор плавает у нее в бассейне, и даже предложила ему снять плавки.

Но всё же, как в истории нашей культуры случилась Лиля Брик? Откуда вылупились ее экстравагантность, чувственность, безапелляционная уверенность в своей обольстительности? Для этого, наверное, стоит взглянуть в ее безмятежное дореволюционное детство.

## ЗВАТЬ ЛИЛИ ЭТУ ФЕЮ...

Лиля Брик родилась 11 ноября 1891 года в семье еврея Урия (Юрия) Александровича Кагана (1861—1915), в свое время пришедшего в Москву учиться на юриста пешком из курляндской Либавы (современная латвийская Лиепая). Из-за различных существовавших в Российской империи антисемитских ограничений он специализировался на юридической помощи своим соплеменникам, что не мешало ему консультировать австрийское посольство. Мать, Елена Юльевна, в девичестве Берман (1872—1942) — блестящая музыкантша, тоже из еврейской семьи, родом из Риги. Год рождения Лили не был особенно примечательным. Всё как будто шло своим чередом. В России был подписан указ о строительстве Транссибирской железной



дороги, московский митрополит переведен в Киев, а варшавский в Москву. Редактор «Одесского листка» Василий Навроцкий привез из Парижа самый первый в Российской империи автомобиль «панар левассор». В мире придумали линолеум и напечатали подробную карту Марса, в прессе велись разговоры о марсианских людях и животных... В общем, ничего особо выдающегося.

Семья Каган была зажиточная. Родители с маленькой Лилей и ее младшей сестрой Эллой (родилась в 1896-м), будущей писательницей и героиней французского Сопротивления Эльзой Триоле, регулярно выезжали на курорты Западной Европы. В Москве они жили недалеко от Ильинских ворот и памятника героям Плевны; гуляя у памятника, девочки очень боялись изображенных на нем турок с кривыми саблями. Забавно, что в памяти Лили вдруг отпечатались страшные турки — на деле горельеф с вооруженным янычаром там всего один. Под неустанной опекой гувернантки обе щебетали по-немецки и по-французски, играли на рояле, прекрасно одевались, по праздникам ходили в синематограф и уже тогда обращали на себя внимание прохожих. Да еще каких! Будущий пасынок Брик Василий Катанян приводит следующий пассаж, услышанный им из уст ее матери: «Как-то ранней весной я шла с дочерьми по Тверскому бульвару. А нам навстречу ехал господин в роскошной шубе. Он остановил извозчика и воскликнул: “Боже, какие прелестные создания! Я бы хотел видеть вас вместе с ними на моем спектакле. Приходите завтра к Большому театру и скажите, что вас пригласил Шаляпин”. Мы воспользовались приглашением, и для нас были оставлены места в ложе. Вот такая была удивительная встреча»<sup>3</sup>.

Шведский славист Бенгт Янгфельдт пишет об этом периоде Лилиной жизни: «С шести лет мать начала давать ей уроки, в результате чего Лили возненавидела музыку — эффект нередкий, когда ребенка обучают родители; но реакция Лили была также следствием чувства самостоятельности, весьма развитого для ее возраста: она не выносила никакого внешнего принуждения. Даже профессиональному педагогу не удалось изменить ее настрой. В конце концов она призналась, что проблема была не в учителе, а в инструменте, — и потребовала, чтобы ей разрешили играть на скрипке»<sup>4</sup>.

Каганы действительно нарекли старшую дочь Лили — в честь возлюбленной Гёте Лили Шёнеман, а Лилей называли неофициально, на русский манер.

«О чем тут спрашивать! Звать Лили эту фею. / Не приведи Господь вам повстречаться с нею» — это строки из стихотворения Гёте «Парк моей Лили» в переводе Льва Гинзбурга. Та Лили, кстати, была невестой Гёте, но они так и не поженились, помолвка была расторгнута, Лили вышла замуж за банкира и страсбургского бургомистра, во время Французской революции бежала от якобинцев, переодевшись крестьянкой. В общем, пути их разошлись, но поэт до конца жизни считал ее своей единственной настоящей любовью. Каган-отец, видать, и впрямь был поклонником Гёте, ибо младшая дочь Элла тоже получила имя в честь одной из его героинь. Надо добавить, что и Юрий Александрович, и Елена Юльевна свободно изъяснялись по-немецки. В самом начале века семья переехала в Космодамианский (теперь Старосадский) переулок, в дом Егорова напротив лютеранской церкви. В том же доме жили родственники Бриков Румеры, а еще семья Ираиды Альбрехт, в будущем ставшей любовницей поэтессы Софии Парнок.

В гимназию девочек возили на конке. Гимназия располагалась на втором этаже городской усадьбы Шуваловых-Голицыных на Покровке, дом 38. Лилия поступила туда в 1905 году и в учебе хорошо успевала, особенно по математике.

Кстати, Осип Брик, давший Лиле свою фамилию, появился в ее жизни примерно тогда же. Она была еще подростком и под влиянием общественных бурлений 1905 года посещала всевозможные политпросветительские кружки. «Мы собирались дома и в гимназии, требовали автономии Польши, выносили резолюции и организовали кружок для изучения политической экономии. Руководителем кружка выбрали Осю Брика, брата нашей гимназистки. Он учился в восьмом классе 3-й гимназии, и его только что исключили за революционную пропаганду. Все наши девочки были влюблены в него и на партах перочинным ножиком вырезали “Ося”. Я познакомилась с ним только тогда, когда он с сестрой зашел за мной, чтобы вместе идти к Жене, у которой в первый раз собирался наш кружок. Ося представился мне: “Я Верин брат”. На завтра Вера, по Осиному поручению, спросила, как он мне понравился, и я со всей серьезностью ответила, что очень, как руководитель группы. Мне было 13 лет, и я совсем не думала о мальчиках и Верин вопрос поняла чисто по-деловому»<sup>5</sup>, — вспоминает она. Впрочем, по другой версии, политпросветительский кружок был выдуман взрослой Лилей, чтобы хоть как-то «обольшевичить» собственную биографию. На деле же зна-

комство с Осей произошло при обстоятельствах гораздо менее авантюрных — в гостях у общих друзей и без всякого революционного флера.

Осип Максимович Брик, сын купца первой гильдии, наследник семейной фирмы «Павел Брик. Вдова и сын», торговавшей драгоценными камнями, в основном кораллами, участник тайного гимназического общества, проказник, отличник, любитель литературы, не был красавчиком, но девочкам начала XX века, видимо, нравился — возможно, причиной тому был его незаурядный ум. Недаром же он преодолел норму приема в престижную гимназию — не больше двух еврейских мальчиков в год. Из гимназии его и вправду исключили, но ненадолго — он восстановился и окончил ее с отличием.

Сразу после знакомства Брик начал звонить Лиле по телефону (по телефону! признак нетривиальной состоятельности обоих семейств) каждый день. Они как будто встречались, но Ося вдруг чего-то испугался и однажды заявил Лиле, что недостаточно ее любит. Тогда Лиля, по ее словам, больше удивилась, чем огорчилась. Она уже начинала входить во вкус, наслаждаться своими светскими успехами. Это была пора девичьих подростковых страстей. У ее подружки Тани было несколько взрослых братьев, у братьев — товарищи. Лиля со всеми подружилась и вскоре уже блистала в роли распорядительницы гимназического бала в Охотничьем клубе: «...большие белые воротники, красные распорядительские банты, по бутоньерке на каждом плече, лакированные туфли»<sup>6</sup>.

Ося, конечно, увидел Лилю в окружении эффектных и элегантных молодых людей и, попав в классическую психологическую ловушку (желание обладать тем, что востребовано другими), попытался втиснуться в ряды ее кавалеров и пригласить экс-подружку на вальс, но та лишь бросила: «Спасибо, но я устала», — и тут же закружилась в танце с другим. Пойманный на такой нехитрый крючок, Ося возобновил ухаживания, но ему явно было интереснее с отцом Лили, чем с ней самой, — и неудивительно. «Я делала всё то, что 17-летнему мальчику должно было казаться пошлым и сентиментальным, — вспоминала Лиля Юрьевна спустя много лет. — Когда Ося садился на окно, я немедленно оказ[ыв]алась в кресле у его ног, на диване я садилась рядом и брала его руку. Он вскакивал, шагал по комнате, и только один раз за всё время, за полгода, должно быть, Ося поцеловал меня как-то смешно, в шею, шиворот-навыворот»<sup>7</sup>.



Летом он снова ее бросил. Она уехала с матерью в Тюрингию и оттуда заваливала сердечного друга длинными любовными письмами. Он долго не отвечал, а потом прислал три сухие строчки. У Лили на нервной почве стали выпадать волосы и начался лицевой тик, приступы которого мучили ее на протяжении всей жизни. Но, несмотря на такой удар, она уже почувствовала свою женскую силу. По ней начинали сохнуть. В Бельгии, к примеру, ей сделал предложение антверпенский студент, а позже прислал в Москву почтовую открытку с изображением замка, обвитого плющом, и надписью «Je meurs ou je m'attache» — дословно «Я умираю или привязываюсь».

Вернувшись в Москву, Лиля встретила Осю в Каретном Ряду. «Постояли, поговорили, я держалась холодно и независимо и вдруг сказала: “А я вас люблю, Ося”. С тех пор это повторялось семь лет. Семь лет мы встречались случайно, а иногда даже уговаривались встретиться, и в какой-то момент я не могла не сказать, что люблю его, хотя за минуту до встречи и не думала об этом. В эти семь лет у меня было много романов, были люди, которых я как будто любила, за которых даже замуж собиралась, и всегда так случалось, что мне встречался Ося и я в самый разгар расставалась со своим романом. Мне становилось ясным даже после самой короткой встречи, что я никого не люблю, кроме Оси»<sup>8</sup>.

Вот так: Лиля всю жизнь по-настоящему любила только одного мужчину — Осипа Максимовича Брика. Любила одного, влюблялась во многих, а влюбляла в себя практически каждого встречного-поперечного. Поклонники страдали, умоляли, допытывались, а Лиля сочиняла письма с отказами — как пишет Б. Янгфельдт, «зачастую под диктовку матери»<sup>9</sup>.

Что же приводило в восторг всех этих многочисленных поклонников? С фотокарточек тех лет глядит совершенно обыкновенная девушка с пухловато-округлым лицом, пытливыми и озорными, но не такими уж и выразительными глазами. Большая голова, маленький рост, нескладные плечи, да и челюсть тяжелая. Совершенно не красавица! Катанян-младший, однако же, настаивает, что окружающих кавалеров сражала именно рыжеволосая красота, а также «живой, общительный, но независимый характер и сексапил, который она излучала помимо своей воли»<sup>10</sup>.

Эльза (тогда еще Элла Каган) и вовсе отзывалась о сестре экстатически: «У нее был большой рот с идеальными зубами и блестящая кожа, словно светящаяся изнутри.

У нее была изящная грудь, округлые бедра, длинные ноги и очень маленькие кисти и стопы. Ей нечего было скрывать, она могла бы ходить голой, каждая частичка ее тела была достойна восхищения. Впрочем, ходить совсем голой она любила, она была лишена стеснения. Позднее, когда она собиралась на бал, мы с мамой любили смотреть, как она одевается, надевает нижнее белье, пристегивает шелковые чулки, обувает серебряные туфельки и облачается в лиловое платье с четырехугольным вырезом. Я немела от восторга, глядя на нее»<sup>11</sup>.

Это отсутствие стеснительности и каких-либо комплексов, это восхищение собой и своим телом, наверное, не могли не ошеломлять, не опрокидывать мужские сердца. Девичий дневник Лили Каган пестрит именами поклонников. Вот она во время каникулярной поездки флиртует с офицером в коридоре, сидя на ящике с копчеными гусями, — поклонника охлаждает только заявление Лили, что она еврейка. Вот в Тифлисе ее атакует молодой, получивший образование в Париже «татарин» (так в то время называли всех подряд, так что истинную национальность ухажера мы не узнаем), предлагает ей две тысячи рублей на туалеты и зовет проехаться по Военно-Грузинской дороге. Вот в Дрездене владелец санатория, дуэлянт со стажем, заваливает ее комнату цветами, ей одной подает к ужину голубую форель и обещает развестись, если она согласится разделить с ним судьбу. Вот она приезжает к бабушке в прусский город Катовице, который после Первой мировой перейдет к Польше, и там в нее влюбляется родной дядя, бросается ее целовать и требует отдать ему руку и сердце. Как пишет Янгфельдт, «Лили горько жаловалась матери, что “ни с кем нельзя слово сказать, сейчас же предложение”»: “Вот видишь, ты меня всегда винишь, что я сама подаю повод, а сейчас твой собственный брат, какой же тут повод?” Елена Юльевна была справедливо возмущена поведением родственника, но не знала, плакать ей или смеяться. Может быть, она наконец поняла, что дочь права, утверждая, что все эти неконтролируемые всплески эмоций происходят не по ее вине...»<sup>12</sup>

Сын шорно-седельного фабриканта-миллионера Осип Волк каждый день, к ужасу Елены Юльевны, присылал гимнастике цветы. «Он сумасшедше любил меня, — вспоминала Брик, — и хотел, чтобы я умерла, для того чтобы умереть вслед за мной, что меня совершенно не устраивало. Когда я пришла к ним в дом впервые, он водил меня по комнатам, как гид, приговаривая: картина такого-то, стоит столько-то,

куплена там-то. Скульптура такого-то, куплена там-то, заплачено столько-то. У него была своя упряжка; лошадь звали Мальчик. Через неделю появился О., и я прогнала Волка»<sup>13</sup>.

О. — это, конечно, Ося Брик. Кстати, когда он бросил ее в Тюрингии, Лиля именно через Волка искала смерти. «В Москве я позвонила Волку, и он радостно примчался. Я сказала, что вернусь к нему, если он достанет цианистого калия для моей подруги. Он так меня обожал, что содрогнулся, но принес. Я ему не объяснила, что у меня всё разладилось с Осей и я решила не жить. Через три дня я приняла таблетки, но меня почему-то... пронесло. И только вчера мне мама открылась — заподозрив неладное, она обыскала мой стол, нашла яд, тщательно вымыла флакон и положила туда слабительное. Вместо трагедии получился фарс»<sup>14</sup>. Это была ее первая попытка отравиться.

Лиля произвела фурор и в Лазаревском институте восточных языков, где после отличного окончания гимназии в 1908 году экзаменовалась ради аттестата зрелости (по ее утверждению, евреек без аттестата зрелости не пускали на Высшие женские курсы профессора Герье). «На сто мальчиков нас было две девочки — вторая совсем некрасивая. Когда я переводила Цезаря, инспектор подсказывал мне, переводя шепотом с латыни на французский, а я уже с французского на русский жарила вслух. По естественной истории спросили, какого цвета у меня кровь, где находится сердце и бывают ли случаи, когда оно бьется особенно сильно. Я ответила, что во время экзаменов. Учитель истории, увидев меня, вскочил и принес мне стул. Я ни на один вопрос не ответила, и он всё-таки поставил мне тройку. Мальчишки ужасно завидовали»<sup>15</sup>. Впрочем, кажется, никаких антисемитских барьеров для поступления на курсы Герье не было — туда принимали всех женщин со средним образованием, внесших плату за обучение и предоставивших документы о благонадежности. Так что рассказ Лили остается на ее совести.

Гораздо позже лингвист Роман Якобсон, с детства друживший с сестрами Каган и учившийся в том же Лазаревском институте, вспоминал: «К Лиле я относился так немножко... недоверчиво... Она была старше меня на пять лет, и когда я был лазаревцем, то мне Лилю ставили в пример, какие она замечательные получает отметки по сочинению и так далее. Потом она мне [ответила], когда я ей это сказал: “В меня, — говорит, — учитель был влюблен, так что ты не злишь”»<sup>16</sup>.

У Герье Лиля проучилась два семестра на физико-математическом отделении. Потом ей надоело мотаться на Девичье поле, и она перевелась на архитектурные курсы на Никитской у Газетного переулка. «Опять сдавала экзамены, а когда на моем курсе ввели лепку, проявила к ней большие способности, всё бросила и уехала в Мюнхен учиться скульптуре»<sup>17</sup>.

Одним словом, Лиля была ветрена. Она не доводила до конца никакое дело, порывисто перескакивала с одного на другое, в каждом проявляла блестящие способности, но, быстро утомившись, жадно тянулась к новой «игрушке» — совсем как в детстве, когда фортепиано было заброшено ради скрипки, а потом, когда отец подарил ей на день рождения новый футляр, была заброшена и скрипка. Всё надоевшее летело в тартарары. Лиля была способна, развита и очень балована. Ей хотелось нового, хотелось развлекаться. Кстати, занятия музыкой Лиля возобновила во время подготовки к получению аттестата зрелости. Требовалось сдавать экзамен, наняли репетитора. Но последний музыкальный раунд закончился для семнадцатилетней Лили предельно мелодраматически: она забеременела от своего преподавателя. Зрелость, что называется, наступила.

## ЗАШТОПАННЫЙ ПОЗОР

О Григории Абрамовиче Крейне в Большой биографической энциклопедии сказано немного. Родился в 1879 году в Нижнем Новгороде, умер в 1955-м в Комарове. Окончил Московскую консерваторию по классу скрипки И. В. Гржимали, занимался по композиции у Р. М. Глиэра, в 1905—1908 годах учился в Лейпцигской консерватории, в 1909—1917 и 1921—1925 годах преподавал в московских музыкальных школах игру на скрипке и теоретические предметы. Композитор, автор ряда произведений, среди которых симфонии, баллады и даже пьесы на якутские темы.

Он? Прихрамывает хронология, но в целом описанный персонаж по всем статьям подходит на роль первого мужчины Лили Брик. Б. Янгфельдт пишет: «Однажды Крейн лишил Лили невинности — пока другая его подруга мыла посуду в соседней комнате. “Мне не хотелось этого, — вспоминала впоследствии Лили, — но мне было 17 лет, и я боялась мешанства”». По другим свидетельствам, посуду мыла Крейнова сестра. «Сестра героя романа вышла на кух-

ню мыть посуду, и, пока там журчала вода, в столовой на диване это всё и произошло. Как она писала в своем (уже не девичьем) дневнике, она тут же возненавидела юношу (только юноша, если он и есть тот самый композитор из энциклопедии, был не так уж и юн — ему было под тридцать. — *А. Г.*) и больше с ним не встречалась»<sup>18</sup>. В общем, управились они быстро (впрочем, эта оценка относительна и зависит от количества грязной посуды).

Вскоре Лиля поняла, что беременна, и тут же рассказала всё Осипу (она всю жизнь будет откровенно посвящать его в свои похождения). Осип как честный человек мгновенно предложил выйти за него замуж, но Лиля посчитала, что он делает это из жалости, и, проворочавшись всю ночь, отказала.

Вместо этого она уговорила мать уехать с ней подальше из столицы — но не в Ниццу и не в Италию, а в Армавир, к тетушке Иде, маминой сестре. Ей казалось, что спокойная тетушка успокаивающе подействует на маму, когда та узнает, что дочь в положении. Лиля хотела сохранить ребенка, но впавшие в панику мама и тетушка нашли врача — знакомого тетиного мужа из железнодорожной больницы под Армавиром. Честь девочки следовало спасти.

Крейн между тем решил, что Лилу увезли насильно, и успел накатать ее отцу несколько писем о том, что они, дескать, любят друг друга. Отец отправил в Армавир гневную телеграмму: «ЗНАЮ ВСЕ ТЧК НЕГОДЯЙ ПРИСЛАЛ ПИСЬМА», — чем только подбросил поленьев в пламя скандальной ситуации, и подпольный аборт (в то время в России аборты были запрещены) стал делом решенным. «Когда врач, — пишет Б. Янгфельдт, — предложил потом восстановить девственность, Лили резко возразила. Однако мать умоляла, уверяя, что когда-нибудь Лили влюбится и захочет скрыть свой позор от будущего супруга. Несмотря на протесты дочери — “всё равно не стану же я обманывать того, кого полюблю”, — операцию сделали. Лили отреагировала с привычной независимостью: после того как врач через два дня снял швы, она сразу бросилась в туалет, где снова лишила себя девственности, на этот раз пальцем»<sup>19</sup>.

Утверждение шведского слависта, признаться, ввергло меня в болото сомнений. Ведь первая операция по восстановлению девственности была проведена только в 1962 году итальянским гинекологом Бернулли. Как известно, гименопластика бывает краткосрочная, долгосрочная и трехслойная (последняя проводится рожавшим женщинам, у

которых нет никаких остатков плевы). Причем долгосрочная, «обновляющая» девственность на срок от трех до пяти лет появилась, кажется, лет 10—12 назад. Я прекрасно помню, что до этого шалуны из патриархальных уголков планеты (я, выросшая в одном из них, вдоволь наслышалась таких историй), ради мужской прихоти и реальной угрозы своей репутации и даже жизни, желавшие предстать в первую брачную ночь целомудренными, вынуждены были укладываться тютелька в тютельку: искусственная плева рассасывалась через неделю-другую после операции. В те годы некоторые женихи, наслышанные о таких хитростях, набирались выдержки и раньше чем через полмесяца после брачных застолий не уединялись с молодыми женами — а вдруг обманут?

До изобретения Бернулли девственность, скорее всего, восстанавливали более примитивными методами. (Я уже не говорю об имитации дефлорации: планирование первой близости на период месячных, запихивание в промежность куриного сердечка, клюквы или свёклы, надрез ножичком кожи у края влагалища и т. д.) И стоит только поразиться хладнокровию Лили Брик: порвать самой себе хирургические швы — то еще удовольствие.

Существует, правда, еще одна полуфантастическая версия. Якобы Лиля Брик всё-таки родила. На это намекает ее биограф Аркадий Ваксберг: «По Лилиной версии, ее тотчас отправили “от греха подальше” к каким-то дальним родственникам в провинциальную глушь, а “родные” (то есть, конечно же, мать) “приняли все нужные меры”. Но “совратителя” Лиля уже прогнала, так что географически он находился далеко. Аборты (это ли имелось в виду под ВСЕМИ “нужными мерами”?) делали в Москве, вероятно, лучше, чем в каком-нибудь заштатном городишке, а состоятельные родители, конечно, могли бы обеспечить и лучших врачей, и полную конфиденциальность. Сколько же времени провела Лиля в “глуши”, где она была никому не известна? Что именно там скрывала? Чего дождалась? Не разрешения ли от бремени? И когда это было?»<sup>20</sup>

Однако же версия с абортом гораздо более правдоподобна. К тому же нелегальный аборт имел последствия — говорят, именно поэтому у Лили не было детей. И кто знает, не послужила ли ее бездетность стимулом к окончательному раскрепощению Лилиной сексуальности? Теперь она могла бросаться в приключения с головой, не страшась последствий в виде беременности.

Впрочем, некоторые свидетельства заставляют усомниться и в этом. Муж племянницы последнего мужа Лили Брик Василия Абгаровича Катаняна, профессор Владимир Степанов вспоминает: «...интересно неожиданное признание Лили Юрьевны в одном из семейных разговоров. “Я бы могла родить Володе ребенка, но боялась, что после этого он перестанет быть поэтом”»<sup>21</sup>. Блеф пожилой дамы? Или прогрессивная Лилия Брик хорошо умела предохраняться? В пользу последней версии говорит реплика, брошенная в 1978 году заведующей библиотекой музея Маяковского Галиной Грихановой в разговоре с маяковедом Олегом Смолой: «Сознательно лишила себя способности иметь детей (“Она и Эльза Триоле перевязали себе трубы в Париже”, — сообщила Галя), — чтобы быть свободной от каких-либо бытовых забот и чувствовать себя стопроцентной женщиной»<sup>22</sup>.

Великий формалист и основатель ОПОЯЗа\* Виктор Шкловский в разговоре с литературоведом и архивистом Виктором Дувакиным тоже обронил кое-что о детях: «...она Володе предлагала перед поездкой в Мексику, что “давай устроим семью, сделаем ребенка...”». А он уехал»<sup>23</sup>. Я спросила о Лиле и детях у Б. Янгфельдта. Он любезно ответил: «Как мне кажется, ЛЮБ не имела детей главным образом потому, что не хотела. Дети не уместились в ее образе жизни и, кроме того, не соответствовали ее имиджу. Помню, что однажды, говоря об одной общей знакомой, я хвалил ее чувство юмора, а Лилия говорит: “Чувство юмора? А рождает второго ребенка...” Сказано это было с искренним возмущением, но и — с юмором». И вправду, в чувстве юмора Лиле Юрьевне явно не откажешь.

Как бы то ни было, юная грешница и ее врач рисковали многим — им обоим по тогдашнему закону полагалось три года в исправительном доме. Врач к тому же мог бы лишиться практики. Аборты узаконят только через 12 лет, уже после Октябрьского переворота. Но пока...

---

\* О П О Я З — Общество изучения поэтического языка (1916—1925), объединявшее ярких представителей «формальной школы»: литературоведов Виктора Шкловского, Бориса Эйхенбаума, Юрия Тынянова; лингвистов Романа Jakobсона, Евгения Поливанова, Льва Якубинского, библиографа Сергея Бернштейна и критика Осипа Брика. Формалисты воспринимали произведение искусства как сумму приемов, которые можно разложить и сложить заново. См., к примеру, манифест Шкловского «Искусство как прием» (1917) или статью Эйхенбаума «Как сделана “Шинель” Гоголя» (1918).

## ВЕНЕРА В КОРСЕТЕ

Но пока Лиля Каган флиртовала напропалую. Гарри Блюменфельд — так звали ее нового фаворита. Он только что вернулся из Парижа, где учился живописи. «Всё, начиная с внешности, в нем было необычайно, — позже хвасталась Лиля. — Очень смуглый, волосы черные-лакированные; брови — крылья; глаза светло-серые, мягкие и умные. Выдающаяся нижняя челюсть и как будто не свой — огромный, развратный, опущенный по углам — рот. Беспокойное лицо. Мне он не нравился. Где бы он ни оказался, он немедленно влюблял в себя окружающих. Разговаривал он так, что его, мальчишку, слушали бородатые люди. Говорил он о старых мастерах, о рисунке, о форме, о Сезанне, о новых путях в живописи, и каждая его фраза открывала вам новое. Ося бредил им»<sup>24</sup>. Именно Гарри посоветовал Лиле ехать в Мюнхен учиться ваянию. Шел 1911 год.

Лиля вспоминает с некоторой долей кичливости:

«До моего отъезда оставалось недели две, мы ездили за город и целовались. Раз, когда я была у него, пришел Ося. Мы вышли втроем на улицу. Ося был серый, как туча. Он ревновал нас обоих.

Перед моим отъездом я заходила к Брикам прощаться. Это было в первый раз, что я видела Осю и думала о своем. Я была полна новых мечтаний и чувств. Ося заметил это и испугался. Он бросился целовать меня, стал просить не уезжать, остаться, говорил, что со мной уходит от него его молодость, но я была горда своим равнодушием и уехала. Через несколько месяцев за мной уехал Гарри»<sup>25</sup>.

В итоге Брик поступила в мастерскую Ганса Швегерле, где ученики лепили бюсты и рисовали натурщиц. Удивительно, как вел себя при этом Лилин отец. «Заезжал ко мне из Киссингена папа. Он очень просил меня вернуться с ним в Москву, он плакал над моими погрубевшими от работы руками, гладил и целовал их, приговаривая: “Посмотри, Лилинька, что ты сделала со своими красивыми ручками! Брось всё это, поедem домой”. Но я решила твердо сделаться Праксителем»<sup>26</sup>.

Похожим эпизодом отцовской эмоциональности Лиля Брик делится еще в начале своих воспоминаний. В 1905-м она так устала укладывать тяжелые рыжие косы вокруг головы, что уговорила одноклассниц прийти в гимназию с распущенными волосами; в таком виде они вошли в залу на молитву, что, конечно, закончилось скандалом. «Это было



ребяческое начало, после которого революция вошла в сознание. Класс разделился на равнодушных и сознательных. Мы собирали деньги, удирали на митинги. Моей подруге было легче, а я каждый день выдерживала бой. Папа распластывался перед дверьми и кричал, что я выйду из дому только через его труп, не от того, что не сочувствовал, — боялся за меня. Я плакала и удирала с черного хода»<sup>27</sup>.

Во всех случаях отец вел себя на удивление потерянно, буквально распластывался перед Лилей. Где это видано, чтобы отец целовал руки дочери? Да еще какой дочери — распутнице, навлекшей позор на благородное семейство!

Юрий Александрович, как видно, не просто обожал дочь, он перед ней преклонялся. Все мы знаем из психологии, что взаимоотношения отца и дочери еще в детстве задают программу общения взрослой женщины с противоположным полом. Если папа носит тебя на руках, значит, ты успешна, очаровательна, неотразима; значит, ты принцесса. У Лили Брик, несмотря на объективные недостатки внешности, не возникало даже сомнения в собственной невероятной женской привлекательности. Она умела принимать чужую любовь, и на мужчин это действовало гипнотически. Правда, в жизни Брик были, кажется, не только мужчины. «Рядом с ней, — пишет Б. Янгфельдт, — в мастерской работала Катя — девушка из Одессы, всего на год старше Лили, но весьма умудренная опытом для своего возраста. Когда она оставалась ночевать у Лили, дело иногда доходило до ласк, вследствие чего Лили оказывалась всё более посвященной в тайны и технику любви»<sup>28</sup>.

Техника любви юной Лиле в Мюнхене невероятно пригодилась. Будущая муза авангарда закрутила в столице Баварии сразу три романа. После занятий в мастерской она встречалась с Алексеем Михайловичем Грановским (настоящее имя — Абрам Михайлович Азарх), приехавшим учиться режиссуре у Макса Рейнхардта. Они бродили по музеям, антикварным лавкам, гуляли до полуночи, поедали моккейс (так Лили называла гясе — кофе с мороженым, видно, соединив название сорта кофе «мокко» и лед — «айс»), обсуждали левый театр, эскизы и декорации, в ночи проводили в комнатухе Грановского с отдельным входом прямо с лестницы. В самый разгар этой идиллии в Мюнхен прибыли Гарри Блюменфельд и Осип Волк. Ко второму она бегала в гостиницу, с первым моталась в поисках свободного ателье. «Каждый раз, когда я слышу старый анекдот про лодочника, которому надо было переправить

на другой берег волка, козу и капусту, я вспоминаю подобную ситуацию в Мюнхене»<sup>29</sup>, — смеялась потом Лиля Юрьевна.

Волк появится в воспоминаниях Лили еще разок: по возвращении в Москву он пригласит ее в Художественный театр, и в фойе театра она встретит специально примчавшегося взглянуть на нее Брика. Что случилось с наследником кожевенных миллионов после 1917-го, неизвестно, но шорно-седельная фабрика торгового дома «Г. Волк и К°» осталась в истории как одно из крупнейших столичных предприятий кануна революции.

Грановский же дебютировал в 1914 году в рижском Новом театре, после революции изучал кинорежиссуру в Швеции. Потом вернулся в Петроград, где открыл Театр трагедий своей постановкой «Царя Эдипа», основал еврейскую театральную студию, которая, переехав в Москву, превратилась в Государственный еврейский камерный театр. Режиссировал там основные спектакли, пока в 1928-м не отправился с труппой на длительные гастроли за границу и отказался возвращаться в СССР. Родня невозвращенца растеклась по свету, многие его родственники под разными фамилиями стали известными деятелями искусства во Франции и США. Да и у нас кое-кто остался — к примеру, недавно скончавшийся худрук Театра им. Моссовета Павел Хомский, племянник Грановского.

Лили бросила Грановского и осталась с Блюменфельдом. Он писал ее голой. Позже в Москве, по свидетельству Катаняна-младшего, Лилю доконала укорами подруга Сонечка — дескать, неужто тебя писали голой? — на что Лили, не сдержавшись, ответила: «Конечно. А тебя что, в шубе?»

Картин получалось сразу две: «Женщина в корсете» на манер Рубенса («Я в розовом элегантном корсете, в очень тонких черных шелковых чулках и в атласных, черных, спадающих с пяток, утренних туфлях. Из-под корсета на груди кружево рубашки»<sup>30</sup>) и «Венера» («Я буду лежать голая, на кушетке, покрытой ослепительно белой, даже слегка накрахмаленной, простыней. Как на блюде, говорит Гарри. Куплен темно-серый тяжелый шелк, он повешен густыми складками фоном позади кушетки. Куплено также множество подушек разнообразных размеров и форм, обтянутых золотой и серебряной парчой всех фактур и оттенков. Я буду полулежать. Волосы чуть сплетены и перекинuty на плечо. На одну руку я опустила голову, в другой деревянное, золоченое, найденное с величайшим трудом у анти-

квара венецианское зеркало. На простыне передо мной огромная пуховка в розовой пудре, губы подмазаны»<sup>31</sup>).

Лежать часами нагишом было тяжело, но сходство выходило изумительным, и Лиля терпела. Художника, по ее словам, она не любила, но жалела его и восторгалась им. Причина для жалости была серьезная: Блюменфельд болел сифилисом. Б. Янгфельдт пишет: «Лили оказалась целиком в его власти: ей нравились его работы, а от его вдохновенных речей у нее розовели щеки. Как-то, намереваясь напудриться, Лили взяла его пудреницу, а он вскрикнул: “Что вы делаете, у меня сифилис!” Этим восклицанием Гарри завоевал ее сердце, и две недели, которые оставались до отъезда, они были любовниками, не думая о его заболевании»<sup>32</sup>.

Возможно ли, чтобы Лили при этом не заразилась? Объяснения может быть два: либо болезнь протекала в скрытой форме (не имелось ни изъязвления — твердого шанкра, ни рубцов, возникающих в результате образования узлов — сифилитической гуммы), либо Лили относилась к крошечному проценту людей, устойчивых к сифилису. Но могла ли она это знать? Разумеется, нет. Выходит, играла в рулетку. Я задавала этот вопрос Бенгту Янгфельдту и получила ответ: «Я имел повод изучать этот вопрос в связи с работой. Поэтому знаю, что болезнь заразительна только на первой стадии (несколько недель). Есть еще три стадии, человек постепенно сходит с ума, но он не заражает».

Впрочем, в последних редакциях воспоминаний никакой сифилис прямо не упоминается — имеются только туманные ссылки на некую болезнь: «Сеансы эти кончились сами собой. У Гарри на почве его болезни начались дикие головные боли. Он ни на шаг не отпускал меня, рыдал, когда я делала попытку уйти. Боль оставляла его только к вечеру, уже неменяемого от усталости»<sup>33</sup>.

Б. Янгфельдт подхватывает: «Только ближе к вечеру боль отпускала, и они занимались любовью. По словам Лили, Гарри “в своей эротомании был чудовищем” и принуждал ее к действиям, которые она никогда прежде не совершала и о которых даже не слышала. Врач предупреждал Лили о том, что болезнь Гарри опасна и что ей следует быть предельно осторожной, чтобы не заразиться. Несмотря на это, они продолжали жить вместе. “Ужасно мне было его жалко”, — объясняла Лили»<sup>34</sup>.

Подробности действий, к которым принуждал Лилю больной художник, так и остались неизвестными. Настораживает эротомания. Сифилитики обычно страдают

снижением либидо (правда, вызвано это обычно приемом лекарственных препаратов) и целым веером эректильных дисфункций. Может быть, молодой Блюменфельд просто пытался произвести трагическое впечатление, фанфаронился, а никакого сифилиса у него на самом деле не было? В своих «Пристрастных рассказах» Лиля Брик пишет, что мюнхенский любовник вдобавок оказался туберкулезником:

«Впоследствии я узнала, что Гарри заболел туберкулезом и попал в сумасшедший дом. Что он женился и у него был ребенок. Несколько раз он приходил к нам в Петрограде. Был уже тогда неизлечимым морфинистом, бросался на людей и требовал морфия и опять попал в сумасшедший дом.

Умер он от туберкулеза [в] 26 лет. Перед смертью подарил мне чудесный пейзаж — черный с белым. В голодные годы я продала его в Музей живописной культуры»<sup>35</sup>.

Очень может быть, что туберкулезом история болезни и ограничивалась. По популярным представлениям, эта болезнь на определенном этапе провоцирует неистовый половой аппетит. Во всяком случае, ни один официальный источник ни о какой «французской болезни» Блюменфельда даже не заикается. Но прожил он и вправду недолго — зато ярко. Генрих Матвеевич (так на самом деле звали Гарри) стал участником знаменитого общества художников-авангардистов «Бубновый валет», занимался в студии члена объединения «Мир искусства» и одного из основателей «Бубнового валаета» Ильи Машкова, на которого весьма повлиял, затем преподавал в его студии теорию живописи. Постоянные туры по туберкулезным санаториям не помешали ему в 1915 году жениться на будущей известной художнице Антонине Сафроновой и на третий день после венчания отправиться на фронт Первой мировой войны. Блюменфельд преподавал в Пензенских государственных свободных художественных мастерских, где его лекции пользовались бешеной популярностью. В Пензе он и умер. Его дочь Ирина, родившаяся в 1917-м, тоже стала художницей. В общем, раз жена и дочь Гарри были здоровы, какой уж тут сифилис? Впрочем, оставим и этот вопрос на совести самой Лили.

Блюменфельд, кстати, якшался и с братьями Бурлюками, и с Маяковским — что неудивительно, ведь «Бубновый валет», начиная с названия (бубновый валет был семиотической отсылкой к каторжникам и плутам), тоже являлся пощечиной общественному вкусу — их первая выставка 1910 года на Воздвиженке с композициями на религиозные

темы даже сейчас вызвала бы вулканическую реакцию у оскорбленных любителей искусства.

Как бы то ни было, Блюменфельд уехал лечиться, а Лиля, получив известие о болезни отца, вернулась в Первопрестольную. Еще одно ее горячее увлечение — скульптура — было брошено на полпути.

## ФРУКТЫ И ШАМПАНСКОЕ

В Москве произошло упомянутое столкновение с Осипом Бриком в фойе Художественного театра. На следующий день на еврейском балу Лиля снова призналась ему в любви. А еще через день они пошли гулять, зашли в ресторан, заказали кофейничек. Лиля рассказывала про лепку, про Гарри, про свои похождения... «и без всяких переходов Ося попросил меня выйти за него замуж. Он сказал: “Лиличка, не отказывай мне, ведь ты — моя весна”»<sup>36</sup>. Лиля ответила: «Давай попробуем».

Каганы, конечно, были вне себя от радости. Наконец-то! Дочка-профурсетка уgomонится и свяжет себя с состоятельной и уважаемой семьей. Осип тут же написал родителям: «Я стал женихом. Моя невеста, как вы уже догадываетесь, Лили Каган. Я ее люблю безумно, всегда любил. А она меня любит так, как, кажется, еще никогда ни одна женщина на свете не любила. Вы не можете себе вообразить, дорогие папа-мама, в каком удивительном состоянии я сейчас нахожусь. Умоляю вас только, отнеситесь к этому известию так, как я об этом мечтаю»<sup>37</sup>.

Папа и мама, разумеется, испытали шок и панику и пытались вразумить Осика. Ему нужен спокойный домашний очаг, а Лили — артистическая натура. Мама и вовсе билась в истерику — она была в курсе сомнительных интрижек недавней-боже-невестки. Но Осип не сдавался: «Лили, моя невеста, молодая, красивая, образован[н]а, из хорошей семьи, еврейка, меня страшно любит, что же еще? Ее прошлое? Но что было в ее прошлом? Детские увлечения, игра пылкого темперамента. Но у какой современной барышни этого не было? А я? Мало [ли] я увлекался, однако же мне ничего не стоит бросить всякую память о прошлом и будущих увлечениях, так как я люблю Лилию. Для нее же это еще легче, так как она всегда любила только меня»<sup>38</sup>.

Но Лили знала, как найти ключик к будущим свекру и свекрови. «Купила я их тем, что просила свадебный пода-

рок в виде брильянтового колье заменить роялем “Сте[й]н-вей”. Из этого они вывели заключение, что я бескорыстна и культурна»<sup>39</sup>. Целый месяц будущие супруги целовались по углам и философствовали о сверхъестественном, потом из-за границы приехали родители Осипа, затем Осип по отцовским делам отлучился на месяц на ярмарку в Верхнеудинск — продавать «якутам» кораллы. А по его возвращении, 26 марта 1912 года, сыграли свадьбу.

Лиля отказалась идти в синагогу, и раввин Мазе, университетский товарищ ее отца, венчал их в доме Каганов, причем Лиля заявила, что, если тот возьмется держать речи, они с Осей сбегут из-под хупы — свадебного балдахина.

«Мама говорила, что из всей церемонии она помнит только мои зубы из-под белого шарфа, — вспоминала Лиля. — Невозможно было смотреть на Осю, со всей серьезностью произносящего только что вызубренную еврейскую молитву. Словом, положение у нас было дурацкое.

Нас обвенчали. Раввин обиженным голосом сказал: “Я, кажется, не задержал молодых”, — и мы сели обедать, а после обеда в кухне долго рыдала Поля (мамина старая кухарка, фанатичка своего дела), оттого что в волнении забыла подать к ростбифу тертый хрен. После этого она работала у нас лет пять и каждый раз, когда подавала ростбиф, говорила, мол, уж сегодня-то я не забыла хрен, как намереди.

Нас долго уговаривали поехать в свадебное путешествие, но нам надоело скитаться и ужасно нравилась новенькая квартирка, и мы после обеда пошли домой. А когда мы легли в постель, взяли с собой наше шампанское»<sup>40</sup>.

Ревнующий Маяковский, «весь — боль и ушиб», которому Лиля поведала впоследствии о подробностях своей первой брачной ночи, напишет:

В грубом убийстве не пачкала рук ты.  
Ты  
уронила только:  
«В мягкой постели  
он,  
фрукты,  
вино на ладони ночного столика».

Многие недоумевают: как Осип пошел на брак с женщиной, выдавшей виды? А как же мужское чувство собственника? Б. Янгфельдт полагает: «Свободное отношение Лили к сексу не беспокоило Осипа по той простой причине, что сам он не связывал любовь с эротикой. И если, по

словам ее знакомой А. Азарх-Грановской, Лили было свойственно “обостренное половое любопытство”, то Осип таковым не страдал — его, по-видимому, не возмущало даже то, что это любопытство не ослабело и после свадьбы. “Мы никогда с ним не спали в одной постели, он этого не умел, не любил. Он говорил, что тогда он не отдыхает”, — рассказывала Лили»<sup>41</sup>.

Высказывания Брик в этом духе породили клокотание сплетен. Один за другим биографы Лили намекают, что у Осипа Брика по постельной части были проблемы. Источником подобных толков выступает в том числе его двоюродный брат, советский физик и полиглот, специалист по квантовой механике и оптике Юрий Борисович Румер — яркий ученый, арестованный в 1938-м как пособник «врага народа» Льва Ландау и якобы агент германской разведки, отсидевший в одной шарашке с Туполевым и Королевым, а потом, после долгих ссыльных мытарств, устроившийся работать в Новосибирске, где позже возглавил Институт радиофизики и электроники. Феликс Икшин, автор книжки «Лили Брик. Жизнеописание великой любовницы», пишет:

«Начинавшаяся столь романтично (шампанское на прикроватном столике, там же и ваза с фруктами), брачная ночь, судя по всему, принесла разочарование. Или, если сказать иначе, сразу после брачной ночи следовало решать: как жить дальше.

Младший из братьев Румеров, с которым Осип Максимович отнюдь не дружил и по десятилетней разнице в возрасте, и по интересу к братьям старшим, особенно к Исидору, вспоминал, что и с ним, почти мальчишкой, Осип Максимович говорил откровенно. Спросил как-то: тебе нравится Лили? А когда услышал восторженное “очень”, признался: мне она тоже очень нравится. Вспоминал Юрий Борисович и подробные рассказы Лили Юрьевны о том, что оказался Осип Максимович “непомерком”»<sup>42</sup>.

Вот и А. Ваксберг настаивает: «По словам Лили, Осип был равнодушен к плотской любви»<sup>43</sup>.

Из подобных свидетельств следует, во-первых, что Лили с Осипом решили потерпеть до свадьбы, и тут-то, у столика с фруктами и шампанским, всё и вскрылось; во-вторых, что Лили мгновенно и жестоко разочаровалась в Осе-любовнике. Однако же первые два года, по признанию Лили, были самым счастливым, самым безмятежным временем ее жизни. Родители сняли им четырехкомнатную квартиру в Большом Чернышёвском переулке (ныне — Вознесенский)

между Тверской и Никитской улицами, и Лиля ее тут же роскошно обстроила.

Молодые почти не отлипали друг от друга, вместе зачитывались Ницше и Чернышевским, Достоевским и Фрейдом. Осипу приходилось отлучаться из Москвы в долгие поездки по делам семейной фирмы, и Лиля почти всегда его сопровождала. Летом 1912-го поехали в Нижний, где жили в караван-сарае. Осип запирали жену снаружи и убегал вниз, в контору. «Из моей комнаты в лавку проведен звонок; я дико скучаю и с утра до вечера капризничаю. Звоню я к Осе поминутно, то же самое делает Максим Павлович (свекор. — А. Г.), когда Ося наверху. Ося с ног сбился, бегая взад-назад, и даже похудел»<sup>44</sup>, — ностальгически вспоминала Брик.

Зимой они поехали в Читу, лакомились рябчиками и пельменями, а вечерами играли в лото. Две осени подряд провели в Туркестане, где им настолько понравилось, что они возмечтали остаться там на несколько лет. Туркестан тогда охватывал территорию нескольких современных среднеазиатских государств и был классической имперской колонией. Брики мотались по пустыне из города в город, обгоняли караваны верблюдов, ошивались по базарным лавкам, водили дружбу с местными купцами, которые закармливали их пловом и осыпали подарками. Были в Самарканде, Ташкенте, Коканде, Бухаре, Намангане, Андижане, Оше. Не обошлось без новых Лилиных амурных побед. В Коканде толстый мальчик-узбек, сын купца, срезал самую сказочную розу в саду, поставил ее в чайник с водой и каждый день ждал, что Лиля пройдет мимо. Наконец знакомые сжалились и упростили ее появиться. Вышло как нельзя лучше. «Роза действительно была волшебная. Мальчик был в восторге, а я почувствовала себя принцессой из тысячи и одной ночи»<sup>45</sup>.

В амплуа принцессы Лиля пребывала и по возвращении домой, не считая краткого периода работы сестрой милосердия. Началась Первая мировая война, в Москву стали прибывать раненые, и они с золовкой Верой устроились на медицинские курсы, потом работали в перевязочной Первой градской больницы — видели и страшные раны, и ампутированные конечности. Но милосердие было прервано переездом в Санкт-Петербург, называвшийся теперь Петроградом, где Осип Брик по протекции знаменитого тенора Леонида Собинова поступил в автомобильную роту. Сначала Брики поселились в двухкомнатной квартире с



полным пансионом на Загородном проспекте, дом 23, а в январе 1915-го перебрались на улицу Жуковского, дом 7, в трехкомнатную квартиру 42 на шестом этаже флигеля. В 1917 году они переедут в квартиру 35 в том же доме, где одну из шести комнат переоборудуют в зал для занятий Лили балетом.

Ах, эта улочка Жуковского, соединяющая Лиговский и Литейный проспекты! О ней знает любой биограф Бриков и Маяковского. На планах столичного города Санкт-Петербурга улица с таким названием появилась лишь в июле 1902 года, к пятидесятилетию со дня смерти автора «Светланы». До этого она именовалась Малой Итальянской — в отличие от Большой Итальянской (в советское время — улицы Ракова). Оба старых топонима восходят к Итальянскому дворцу на Фонтанке и одноименному саду, простиравшемуся некогда от Литейной до Знаменской (ныне — улица Восстания).

Недалеко от Бриков, в доме 6, когда-то жил Николай Добролюбов, там же родилась и провела детство Нина Берберова; в доме 10/2 обитал биолог Иван Сеченов, в доме 13 — декабрист Александр Корнилович. Улица эта имела вполне благообразный и респектабельный вид, свойственный большинству улиц Литейной части.

Там-то, в Северной столице, Лиля вновь забурлила, с головой окунулась в светскую жизнь: богатые гостиные, развлечения, сплетни о придворных... В. Катанян-младший пересказывал откровения своей мачехи:

«Встречались и нувориши, и дамы полусвета, про одну из них, какую-то Любовь Викторовну, ЛЮ писала в своих позднейших записках: “Мы завтракали втроем с князем Трубецким, жуликом и проходимцем. Я ее спросила: ‘Любовь Викторовна, говорят, вы с мужчинами живете за деньги?’ — ‘А что, Лиля Юрьевна, разве даром лучше?’”.

В ложе Мариинского театра ее познакомили с Митькой Рубинштейном (как все его звали за глаза), другом Распутина, спекулянтом, разбогатевшим на поставках в армию. Он и его жена в три обхвата, увешанная бриллиантами, ходили в театр потому, что так надо, а Лиля увлекалась Кшесинской и не пропускала балетов с ее участием»<sup>46</sup>.

Кстати, с этого самого Митьки (Дмитрия Леоновича) Рубинштейна можно было бы писать портрет любого современного олигарха. Банкир, кутежник, директор и член различных правлений, он успешно продавал акции российских предприятий германским (вражеским) бизнесме-

нам и наживался на сногшибательных комиссионных за заграничные сделки, за что в итоге и попал под суд. Впрочем, по другой версии — и это тоже в духе сегодняшних коррупционных скандалов, — ни в чем предосудительном он замешан не был, а попал под раздачу лишь потому, что конкуренты решили прибрать к рукам его Русско-французский банк. Так или иначе, горе-богатея так и не посадили — заступилась императрица (как шептались тогдашние сплетники, в обмен на вспомоществование ее германским родственникам).

Итак, в числе Лилиных друзей — эксцентричные, изменявшие мужьям актрисы, представительницы богатейших семейств, у одного из которых даже имелись автомобиль и обезьянка, для которой приглашали маникюршу.

В это время случилась встреча, которая могла бы вылиться в отчаянное эротическое приключение. Родственница Оси, Фанюша (Фаня Ратнер), решила снять дачу в Царском Селе и пригласила Лию присоединиться к ней. Брик вспоминала:

«Поезд оказался переполненным, и пришлось сесть в разных концах вагона. Наискось от меня сидит странный человек и на меня посматривает; одет он в длинный суконный кафтан на шелковой пестрой подкладке, высокие сапоги, прекрасная бобровая шапка и палка с дорогим набалдашником, при всём этом грязная борода и черные ногти. Я долго и беззастенчиво его рассматривала, а он совсем скосил глаза в мою сторону, причем глаза оказались ослепительно-синие и веселые, и вдруг прикрыл лицо бородашкой и фыркнул. Меня это рассмешило, и я стала с ним переглядываться. Так и доехали до Царского. Я побежала к Фанюше, мы вместе вышли из вагона, и я тут же забыла бы о своем флирте, если бы мы не столкнулись с ним на платформе, и моя спутница, раскланиваясь с ним, шепнула мне, покраснев: “Это Распутин”.

Ходили мы по Царскому, смотрели дачи, нашли одну подходящую, но в ней только что болели скарлатиной, и Фанюша испугалась за своих ребят. Пришли на вокзал, ждем обратного поезда в Петербург. Опять Распутин! Он немедленно подошел к нам — рассказал, что ездил в Царское, во дворец, и сел с нами в один вагон. Сначала он успокаивал Фанюшу, что это лучше, если известно, что на даче была скарлатина, по крайней мере сделают дезинфекцию, а в другой даче кто его знает, что могло быть, а потом стал разговаривать уже только со мной: “Кто ты такая? есть ли

муж? где живешь? что делаешь? Ты ко мне приходи обязательно, чайку попьем. Бери и мужа с собой, только позвони раньше по телефону, а то у меня всегда народу много, обязательно раньше позвони, телефон такой-то". И Фанюше раз двадцать: "Обязательно приведи ее".

Приехала домой, рассказала Осе. Пойти мне к Распутину ужасно хотелось, но Осю даже уговаривать не пришлось — он заявил сразу и категорически, что об этом не может быть и речи, что нисколько это не интересно и что каждому и так известно, какая это банда. Что он даже не верит, что я могу этим интересоваться. Я вздохнула, и дело ограничилось тем, что мне дня два все извозчики казались Распутиными, даже глаза у большинства из них оказались такими же ослепительно-синими»<sup>47</sup>.

Чувствуется, что Лиля была раздосадована, что так и не попила чайку у сладострастного мужика. Кто знает, вдруг ее ожидала невероятная эзотерическая оргия? Лиля, конечно, с самого начала семейной жизни крутила романы на стороне, но без утайки рассказывала о них мужу. Она не мыслила себя без сексуальной свободы, и Ося это принимал, по крайней мере поначалу. Но любовники, видимо, выбирались с его одобрения. Если кто-то, как Распутин, ему категорически не нравился, Лиля не перечила. Некоторые из гревшихся в Лилиной постели остались друзьями семьи на всю жизнь — в их числе, к примеру, элегантный сын банкира Лев Гринкруг, унаследованный Лилей от любвеобильной прима-балерины Екатерины Гельцер. Богатый денди с моноклем в глазу, во фраке из Лондона в советские годы превратился в киноредактора, прожил почти век, а в конце жизни, в восьмидесятые годы XX столетия, занимался дубляжем фильмов на Киностудии им. Горького.

Осип не только отпускал Лилю погулять, но еще и посещал вместе с ней публичные дома. Интерес к проституткам у теоретика ЛЕФа был, видно, не физиологический. Еще гимназистом он вместе с товарищами наведывался к падшим созданиям в качестве юриста и «соцработника». Одной из них он даже купил швейную машинку, а потом писал о проститутках кандидатскую диссертацию и помогал им разрешать конфликты с клиентами и полицией. Ночные бабочки называли его «бл\*дским папашей».

Теперь, скорее уже в качестве развлечения, он водил в бордели молодую жену. В первую свою зиму в Париже они смотрели в доме терпимости представление двух лесбиянок, а в Самарканде — танец самой знаменитой и богатой

из тамошних «жриц любви». «Платье у нее, — вспоминала Лиля, — серое до пят, рукава такие длинные, что не видно даже кистей рук, и закрытый ворот, но когда она начала двигаться, оказалось, что застегнут один воротник, платье разрезано почти до колен, а застёжки никакой. Под платьем ничего не надето, и при малейшем движении мелькает голое тело»<sup>48</sup>. Это были первые в Средней Азии публичные дома и проститутки; раньше для ублажения мужчин использовались бачи — мальчики с длинными волосами, которые плясали на свадьбах и в чайханах.

Но теперь, в Питере, пока Ося нес службу в автомобильной роте, Лиля отчаянно скучала. «В конце концов, — пишет Б. Янгфельдт, — бездеятельность и скука повергли ее в отчаяние. Однажды во время прогулки она столкнулась с двумя молодыми людьми из московского бомонда и отправилась вместе с ними в оперетту. Потом они продолжили вечер в ресторане, где выпили много вина, Лили опьянела и рассказала об их с Осипом приключениях в парижском борделе. Спутники предложили показать ей подобное заведение в Петрограде, и следующим утром она проснулась в комнате с огромной кроватью, зеркалом на потолке, коврами и задернутыми шторами — она провела ночь в знаменитом доме свиданий в Аптекарском переулке. Спешно вернувшись домой, она рассказала обо всём Осипу, который спокойно сказал, что ей нужно принять ванну и обо всём забыть»<sup>49</sup>.

Об этом же (или подобном) эпизоде вспоминал потом в разговоре с В. Дувакиным писатель и сотрудник сатирического журнала «Красный перец» Виктор Ардов: «Рассказывал мне Левидов Михаил Юльевич — журналист, драматург, интересный человек, убитый в начале 41 года, — почему-то его признали опасным, когда начнется война. Его арестовали 22 июня 41-го года, а потом убили в лагерях. Так вот, Брик рассказывал, что однажды, еще в Петербурге, поссорился Брик со своей супругой — Лилия Юрьевна ушла из дома, рассердившись, вернулась поздно, пьяная, и сказала ему: “Так как я на тебя рассердилась, то я пошла вот... гулять, а там ко мне привязался какой-то офицер, я с ним пошла в ресторан, в отдельный кабинет, я ему отдалась. Вот, что теперь делать?” Он сказал: “Прежде всего принять ванну”»<sup>50</sup>.

Откуда у Осипа Максимовича такая выдержка? У гениального Виктора Шкловского, обсуждавшего этот эпизод с Дувакиным уже в конце 1960-х, нашлось простое, но весьма убедительное объяснение:

«В[иктор] Ш[кловский]: Она его любила. Она обижалась, что он не ревнует. Когда-то давно...

В[иктор] Д[увакин]: А он что же, был?..

В. Ш.: Он не был импотентом. Он был циник. Когда она пришла и сказала: “Вот, я только что изменила”. Он сказал: “Ну что ж, прими ванну”.

В. Д.: Страшно цинично.

В. Ш.: Ну вот. Он ее не любил»<sup>51</sup>.

Брик, кажется, и вправду не был ни гомосексуалистом, ни импотентом — последующая интимная жизнь с женщинами у него складывалась вполне радужно. Но жену он, видимо, не любил и не ревновал. Выходит, единственная настоящая любовь роковой Лили Брик оказалась неразделенной. Не это ли в числе прочего заставляло ее, забыв о молитвене, метаться из будуара в будуар? Во всяком случае, супруги довольно скоро прекратили всякие половые сношения.

Феликс Икшин предполагает: «Возможно, Осип Максимович испугался одержимости жены постелью, ибо разговоры разговорами, однако действительность оказалась грандиознее самых непристойных сплетен. Так вот, я бы хотел обратить ваше внимание не только на то, что физиологические особенности Осипа Максимовича не удовлетворяли Лилию Юрьевну. Ее не удовлетворяли еще и потребности мужа в сексе. Ее потребности были намного выше. Проще говоря, Лилия Юрьевна в молодости и ранней зрелости была нимфоманкой. У нее был на тему секса скорее всего болезненный сдвиг»<sup>52</sup>.

Сразу вспоминается фраза из заметки Луэллы Краснощековой, дочери любовника Лили, попавшего в тюрьму, в 1924 году взятой Бриками на лето на свою дачу в Пушкине: «Лилия сказала мне: тебе будут говорить, что я целуюсь со всеми под любым забором, ничему не верь, а сама меня узнай. Я узнала ее и знаю, что она самая замечательная женщина на свете...»<sup>53</sup> Да, вполне возможно, что темпераменты у супругов мучительно не совпали. Но нимфомания — диагноз серьезный. Это ведь не просто пристрастие к разнообразию и обилию чувственных удовольствий, а серьезный психиатрический диагноз. Часто она является результатом черепно-мозговой травмы и нарушений в гипоталамусе. При нимфомании у женщин, как и при сатириазисе у мужчин, дело доходит почти до неразличения сексуального объекта, постоянный и бесконтрольный поиск новых сексуальных партнеров превращается в наваждение, исчезает безразличность. Однако погоню Лили за любовными при-

ключениями бесконтрольной не назовешь — не переспала же она с толстым узбекским мальчиком. Нет, у нее был вкус. Она выбирала начитанных и блестящих. И желательно — знаменитых.

Это, конечно, тоже пахнет самоутверждением за счет покоренных мужчин, но к сексу относится лишь окольно. Лилию Брик, скорее всего, прельщала не столько сама физическая близость с мужчинами, сколько их статус и таланты. Помните, как сестры и мачеха Золушки в лентфильмовской картине 1947 года считали на балу знаки внимания принца? Черта вполне общеженская. Важно, скольким ты разбила сердце, а не скольких заманила в будуар. Будуар — только средство.

А всё же семья Брик многим видится союзом гулены и добровольного рогоносца: супруга приманивает в дом шикарных персонажей, а у мужа от этого пухнет эго, дескать, вот она какая, моя женушка. Тем более что мужем в полном смысле этого слова Ося перестал быть еще в 1914 году. Лилия пишет: «Я уже вела самостоятельную жизнь, и мы физически с ним как-то расплозились... Прошел год, мы уже не жили друг с другом, но были в дружбе, может быть, еще более тесной. Тут в нашей жизни появился Маяковский»<sup>54</sup>. И, отвечая на роившиеся досужие слухи, подчеркивает: «Мы с Осей больше никогда не были близки физически, так что все сплетни о “треугольнике”, “любви втроем” и т. п. совершенно не похожи на то, что было. Я любила, люблю и буду любить Осю больше, чем брата, больше, чем мужа, больше, чем сына. Про такую любовь я не читала ни в каких стихах, ни в какой литературе. Я люблю его с детства. Он неотделим от меня. Может быть, когда-нибудь я напишу об этой любви. Сейчас моя цель другая. Эта любовь не мешала моей любви к Володе. Наоборот, если бы не Ося, я любила бы Володю не так сильно»<sup>55</sup>.

Нет, Осип Брик явно не был «куколдом», то есть мазохистом, страстно желающим унижения в виде жениных измен. Он не был рабом или вуайеристом. Так в чем же дело? Неужто в революции?

## КРЫЛАТЫЙ ЭРОС

Сложное уравнение семьи Брик, в котором к двум друзьям-партнерам присобачиваются любовники, в первую очередь любовники жены, многие пытаются разрешить

с помощью логарифмической линейки большевистской революции. Дескать, Октябрь разрушил институт семьи, а Брики шагали в ногу со временем. Почитайте, дескать, валькирию революции Александру Коллонтай и ее открытое письмо трудящейся молодежи «Дорогу крылатому Эросу!».

Основная мысль этой статьи 1921 года довольно нехитрая: миновала пора Гражданской войны, когда народу было не до любовных волнений и нежностей. Бескрылый Эрос — тупая похоть — отшабашил свое. Пришла пора ему обрастать крыльями, а его адептам — ложиться не абы с кем, а с теми, к кому испытываешь чувства, разумеется, не ограничиваясь единственным избранником, как того требовала буржуазная мораль, а расплескивая любовь свободно и по-товарищески щедро, удушив ревность как остаточный мелкособственнический инстинкт. «Буржуазная идеология учила, вдалбливала в голову людей, что любовь, притом взаимная, дает право на обладание сердцем любимого человека целиком и безраздельно. Подобный идеал, такая исключительность в любви вытекала естественно из установленной формы парного брака и из буржуазного идеала “всепоглощающей любви” двух супругов. Но может ли такой идеал отвечать интересам рабочего класса? Не является ли, наоборот, важным и желательным с точки зрения пролетарской идеологии, чтобы чувства людей становились богаче, многоструннее?»<sup>56</sup>

Крылатый Эрос взялся у будущей дипломатки и первой женщины-министра Коллонтай, разумеется, не с потолка, а из «Пира» античного философа Платона, в котором мучающиеся похмельем знаменитые древние греки пространно классифицируют виды любви, от самой низменной тяги к конкретному телу до метафизической любви к идее. В передовых трудах на «половую» тему Платон, как можно догадаться, всплывал не случайно. Именно он в своем «Государстве» впервые заговорил о сексуальной коллективизации: «Все жены этих мужей должны быть общими, а отдельно пусть ни одна ни с кем не сожительствует. И дети тоже должны быть общими, и пусть отец не знает, какой ребенок его, а ребенок — кто его отец»<sup>57</sup>.

После Платона эта идея циркулировала в различных утопических фантазиях — к примеру, у француза Шарля Фурье (1772—1832), мечтавшего о коммунальных дворцах-фаланстерах, обитатели которых жили бы и трудились все вместе, без всякого рабского принуждения, а рождавшиеся дети сразу же сдавались бы в коммунальный детсад. Кстати,

фаланстеры несколько раз пытались устроить на практике. В частности, в 1902 году в Париже возникла коммуна «Улей», где в 140 ателье-студиях бок о бок работали художники, литераторы и прочий творческий люд, в том числе и Жозеф Леже, и Марк Шагал, и Давид Штеренберг, впоследствии дружившие с Лилей Брик и с удовольствием писавшие ее портреты.

Но Платона поминали не только социалисты, но и метафизики. В частности, философ и мистик Владимир Соловьев, озабоченный достижением религиозного всеединства (по сути, еще один вид антибуржуазного общежития), апеллировал к великому философу. Взять хотя бы его «Жизненную драму Платона» (1898) или «Смысл в любви» (1892—1894), где некоторые пассажи почти буквально предвосхищают тезисы эрудитки Коллонтай, безусловно, Соловьевым пропитавшейся: «Из того, что самое глубокое и интенсивное проявление любви выражается во взаимоотношении двух восполняющих друг друга существ, никак не следует, чтобы это взаимоотношение могло отделять и обособлять себя от всего прочего как нечто самодовлеющее»<sup>58</sup>.

Итак, новая пролетарская мораль, которую проповедовала Коллонтай, опиралась на следующие положения:

«1) равенство во взаимных отношениях (без мужского самодовления и рабского растворения своей личности в любви со стороны женщины),

2) взаимное признание прав другого, без претензии владеть безраздельно сердцем и душой другого (чувство ответственности, взрощенное буржуазной культурой),

3) товарищеская чуткость, умение прислушаться и понять работу души близкого и любимого человека (буржуазная культура требовала эту чуткость в любви только со стороны женщины)»<sup>59</sup>.

Надо сказать, самой Александре Михайловне «многострунность» чувств и отказ от собственнического инстинкта по отношению к возлюбленному давались со скрипом. Будучи замужем за неотесанным матросом Павлом Дыбенко (по легенде, к браку свободолюбивую Коллонтай приговорил Ленин в качестве наказания за политический проступок) и узнав о наличии у мужа любовницы (ее собственной секретарши!), она никак не могла побороть атавистическую буржуазную ревность. Потом эта стыдная ревность вспыхивала не раз по поводу разных женщин и в конце концов закончилась далеко не пролетарской мелодрамой: в пылу уродливой супружеской ссоры Дыбенко стрелял в себя, но промазал.



Как бы то ни было, именно Коллонтай вопиюще несправедливо приписывают знаменитую теорию стакана воды — дескать, потребность в любви сродни элементарной жажде, и сексуальная разрядка должна быть так же доступна, как стакан воды для питья. Теория распространялась, как саранча; красноармейцы насиловали кого попало, а Ленин с наркомом просвещения Луначарским срывали голоса, пытаясь втолковать молодежи, что классовая отмена брачных оков и животное сластолюбие — совершенно разные вещи.

Обсуждая распущенную молодежь в разговоре с еще одной поборницей женских прав, Кларой Цеткин, Ленин не мог сдержатъ раздражения:

«Многие называют свою позицию “революционной” и “коммунистической”. Они искренне думают, что это так. Мне, старику, это не импонирует. Хотя я меньше всего мрачный аскет, но мне так называемая “новая половая жизнь” молодежи, а часто и взрослых довольно часто кажется чисто буржуазной, кажется разновидностью доброго буржуазного дома терпимости. Всё это не имеет ничего общего со свободой любви, как мы, коммунисты, ее понимаем. Вы, конечно, знаете знаменитую теорию о том, что будто бы в коммунистическом обществе удовлетворить половые стремления и любовную потребность так же просто и незначительно, как выпить стакан воды. От этой теории “стакана воды” наша молодежь взбесилась, прямо взбесилась. Эта теория стала злым роком многих юношей и девушек. Приверженцы ее утверждают, что теория эта марксистская. Спасибо за такой “марксизм”, который все явления и изменения в идеологической надстройке общества выводит непосредственно, прямолинейно и без остатка исключительно только из экономического базиса. Дело обстоит совсем не так уж просто. Некий Фридрих Энгельс уже давно установил эту истину, касающуюся исторического материализма.

Я считаю знаменитую теорию “стакана воды” совершенно не марксистской и, сверх того, противообщественной. В половой жизни проявляется не только данное природой, но и привнесенное культурой, будь оно возвышенно или низко. Энгельс в “Происхождении семьи” указал на то, как важно, чтобы половая любовь развилась и утончилась. Отношения между полами не являются просто выражением игры между общественной экономикой и физической потребностью. Было бы не марксизмом, а рационализмом

стремиться свести непосредственно к экономическому базису общества изменение этих отношений самих по себе, выделенных из общей связи их со всей идеологией. Конечно, жажда требует удовлетворения. Но разве нормальный человек при нормальных условиях ляжет на улице в грязь и будет пить из лужи? Или даже из стакана, край которого захватан десятками губ? <...> Как коммунист я не питаю ни малейшей симпатии к теории “стакана воды”, хотя бы на ней и красовалась этикетка “освобожденная любовь”. Вдобавок она и не нова, и не коммунистична. Вы, вероятно, помните, что эта теория проповедовалась в изящной литературе, примерно в середине прошлого века как “эмансипация сердца”. В буржуазной практике она обратилась в эмансипацию тела»<sup>60</sup>.

Не могу не привести и слова Луначарского — из доклада, прочитанного в Ленинграде 18 ноября 1926 года: «Молодежь говорит: пол, удовлетворение пола есть вещь голая, простая, надо отучиться об этом задумываться. А если у девушки возникали сомнения, если она говорила: может быть, это и правильно, может быть, это и научно, но всё-таки как же это будет: если ты меня бросишь, а у меня будет ребенок, то что же мне делать? — “Он” отвечал ей: какие мещанские рассуждения! Какая мещанская предусмотрительность! До какой степени ты сидишь в буржуазных предрассудках! Нельзя тебя считать за товарища! И запуганная девушка думала, что она поступает по-марксистски, по-ленински, если она никому не отказывает. От этого происходили самые настоящие трагедии, самые настоящие беды, самая настоящая гибель женской молодежи»<sup>61</sup>. Сразу вспоминается мотивация юной Лили Каган отдаться своему растлителю Крейну — страх быть уличенной в мещанстве. «Гибель женской молодежи», на которую ссылается нарком просвещения, в те годы и вправду цвела буйным цветом.

Наконец-то разрешили аборт. И, самое главное, тогда же, 16 (29) декабря 1917 года появился декрет «О расторжении брака» — отныне для развода было достаточно «просьбы о том обоих супругов или, хотя бы, одного из них». Драмы в стиле «Джейн Эйр» и «Анны Карениной» отменялись.

Сексуальная революция следовала шаг в шаг за социальной, в полном соответствии с заветами Маркса и Энгельса. Последний был автором краеугольной статьи «Происхождение семьи, частной собственности и государства» (1884)<sup>62</sup>, в которой подробно разбирал устройство семьи на разных стадиях развития человечества. В доклассовом об-

шестве, к примеру, существовал групповой брак, в котором каждая женщина принадлежала каждому мужчине, а каждый мужчина — каждой женщине. В будущем, когда классы исчезнут, считал основоположник коммунистической теории, моногамная модель семьи тоже подвергнется эволюции. А что уж точно неизбежно, так это равенство полов. Вот этого равенства и добивались революционеры, отменяя привычное церковное брачное таинство, закабальвавшее супругов навечно. Но в первые послереволюционные годы порывание с традицией стремительно выходило из берегов. Это было целое движение вроде современной группы «Фемин». Правда, в отличие от последней оно было массовым, в нем участвовали представители обоих полов, обнажались не только женские груди, но и другие интимные части мужских и женских тел.

Анекдотов о голышах, разъезжавших в трамваях в одной лишь кумачовой ленте с надписью «Долой стыд!», предостаточно, но вот исторических документов почти нет. Зато спекуляций на эту тему в средствах массовой информации — миллион. Вот, к примеру, что говорилось об обнаженных демонстрациях 1920-х годов на Красной площади в документальном фильме «Секс в СССР»: «Да, во главе этого дикого шествия следовал в чем мать родила большевик со стажем, любимец Ленина, блестящий публицист и работник комиссариата иностранных дел Карл Радек, бесменный лидер движения “Долой стыд!”. <...> Надо вам сказать, что Карл Радек был с впалой грудью, маленький и горбатый, зато у него был член до колен, и он разгуливал дома совершенно обнаженный, пугая живущих с ним родную сестру с ее детьми, которые так и выросли сексуальными уродами из-за этого»<sup>63</sup>. В общем, если прямые фотосвидетельства и остались, то в тридцатые годы их, конечно, постарались уничтожить или запрятать поглубже.

Впрочем, отдельные лоскуты информации о творившихся нудистских безобразиях до нас дошли — в частности, выдержка из статьи в «Известиях ВЦИК», в которой нарком здравоохранения Николай Семашко пытается вправить мозги распоясавшимся (буквально) гражданам: «Подобное поведение необходимо самым категорическим образом осудить со всех точек зрения. Во-первых... жестоко ошибаются, когда думают, что если ходить голым, отрастить волосы и ногти, то это будет самая настоящая “революционность”... Во-вторых, путешествие по Москве в голом виде совершенно недопустимо с гигиенической

точки зрения. Нельзя подставлять свое тело под пыль, дождь и грязь... Улицы Москвы — не берег Черного моря... В-третьих, очень спорно, содействует ли это дикое новшество нравственности. В тот момент, в который мы живем, когда еще не изжиты такие капиталистические уродства, как проституция, хулиганство, обнажение содействует не нравственности, а безнравственности... Поэтому я считаю абсолютно необходимым немедленно прекратить это безобразие, если нужно, то репрессивными мерами»<sup>64</sup>.

Несмотря на эти увещевания, набирали популярность комсомольские коммуны, в которых разбивание на парочки осуждалось как индивидуализм, как угроза коллективизму. Поощрялось перекрестное соитие. Это видно и по литературе двадцатых годов. К примеру, в романе Ивана Рудина «Содружество» описывается студенческая коммуна «Задруга», в которой новоприбывшая стыдливая девушка Лиза подвергается мощной идейной обработке со стороны парней. Забавно, что их риторика отчасти напоминает первое выступление Ромео под балконом Джульетты: «Девичий стыд, воспетый некогда поэтами, — наследственный страх перед нападающими самцами», «Товарищества с мужчиной можно достигнуть, лишь переступив через стыдливость», «Стыдливость и девственность — первое препятствие к эмансипации»<sup>65</sup>... «Ты должна потерять стыд тела. Ну, например, не стесняться и быть обнаженной». (Как мы помним, это качество было присуще Лиле Брик с рождения.) Девушка Лиза, надо сказать, в конце концов воспиталась и сняла все крюки и запоры с дверей — заходи, кто хочет, — но закончилось дело всё равно трагически — изнасилованием и смертями.

В другом произведении — повести Сергея Малашкина «Луна с правой стороны» — комсомольские будни рисуются почти декадентскими красками: «новые люди» перенимают у обормотов Серебряного века и богемный шик, и кокаиновый угар. Героиня повести, комсомолка Таня, приехавшая в Москву из деревни, записывает в дневнике: «За мной ухаживало много ребят, а когда я не отвечала на эти ухаживания взаимностью, меня стали публично называть мещанкой»<sup>66</sup>. Со временем Таня, конечно, исправляется: обрезает волосы, начинает пить, курить и якшаться с парнями.

Или прогремевший рассказ «Без черемухи» Пантелеймона Романова — как раз о бескрылом Эросе, грубо физиологическом, не украшенном старорежимными воздыха-

ниями и экивоками. Героине рассказа хочется красоты и черемухи, а ею пользуются, как клизмой. «Девушки легко сходятся с нашими товарищами-мужчинами на неделю, на месяц или случайно — на одну ночь. И на всех, кто в любви ищет чего-то большего, чем физиология, смотрят с насмешкой, как на убогих и умственно поврежденных субъектов»<sup>67</sup>, — жалуется она подруге.

Складывается впечатление, что все эти пореволюционные страсти прямоком произросли из скандального романа Михаила Арцыбашева «Санин» (1907) с его культом удовлетворения плотских желаний, только под чистый безыдейный гедонизм теперь подводились мудреные марксистские формулировки. И совсем не удивительно, что буйство молодежных коммун и радикальных законодательных новшеств сопровождалось курьезными фальшивками.

Самая известная из них — так называемый декрет о национализации женщин, сфабрикованный врагами большевиков для подрыва их авторитета (по одной из версий, декрет сварганил владелец саратовской чайной Михаил Уваров, и его потом за это ограбила и зарезала толпа анархистов). В 1918 году декрет наделал грандиозный переполох в Саратовской и некоторых других губерниях — его перепечатывали, а кое-где, приняв за чистую монету, с рвением применяли на практике. Его содержание и стилистика блестяще выдержаны в духе псевдомарксистского креатива (некоторые историки уверены даже, что большевики сочинили его сами, но потом, испугавшись народного гнева, открестились от него и свалили всё на недобитков-буржуев). Документ постановлял, что с 1 мая 1918 года все женщины от семнадцати до тридцати лет (за исключением матерей пятерых и более детей) изымаются из частного владения и передаются рабочему классу как экземпляры народного достояния; за их бывшими мужьями сохранялась возможность внеочередного пользования ими, остальные члены трудового коллектива имели на это право не чаще четырех раз в неделю и не дольше трех часов (неясно, правда, одновременно или за всю неделю), отчисляя за это два процента своего заработка в фонд народного поколения, на средства которого планировалось содержать «народные ясли» для обобществленных младенцев. Если же мужчина не мог предъявить удостоверение от профсоюза или заводского комитета, то за право попользоваться «отчужденной» женщиной ему предлагали заплатить в вышеуказанный фонд аж тысячу рублей. Кстати, фонд обязывался содер-

жать и «коллективизированных» женщин, выделяя каждой по 280 рублей в месяц. Беременным обещали отгул в четыре месяца, а родившим двойню — 200 рублей. Какие именно имелись в виду рубли — «николаевки» или «керенки», — не уточнялось (кстати, первые в пору военного коммунизма котировались гораздо выше). Выяснить, что можно было купить в 1918-м, скажем, на 280 рублей, довольно сложно, учитывая, что рост цен бешеными скачками обгонял эмиссию купюр. На одном белорусском портале я наткнулась на заверение, что именно такой была в тот год зарплата минского машиниста паровоза и купить на нее можно было четыре пуда (65,5 килограмма) ржаной муки. Как бы то ни было, курьезный декрет, по сути, не опровергал, а доводил «буржуазную» логику до крайности — женщину низводили до категории товара и собственности.

К ряду фейков, отлично передающих сексуальную неразбериху того времени, можно причислить и утверждение, что якобы в уставе Российского коммунистического союза молодежи (РКСМ), принятом в 1918 году, существовал параграф: «Каждая комсомолка обязана отдаться любому комсомольцу по первому требованию, если он регулярно платит членские взносы и занимается общественной работой», — изъятый только в 1929 году, когда принимали вторую редакцию устава.

Повторяю, все эти домыслы и фальсификации отлично отражают правду революционной эпохи — освобождение от тесноты привычных общественных оков, от норм, от предубеждений.

Впрочем, в какой-то момент свобода пролетарских нравов явно стала зашкаливать, поэтому в 1924 году психиатр Арон Залкинд выпустил популярные «Двенадцать половых заповедей революционного пролетариата», где призывал воздерживаться от секса до брака (а именно до 20—25 лет), не тасовать партнеров, как карточную колоду, не частить с половыми актами, но при этом помнить о революционно-пролетарской целесообразности, остерегаться флирта, кокетства и ухаживаний, не допускать извращений и ревности. Половое начало при этом всегда следовало подчинять классовому. Заповеди Залкинда еще войдут в плоть и кровь советского общества, но пока, на заре Советского государства, неистовствовала разнузданная карнавальная вольность.

В разговоре с Виктором Дувакиным Виктор Шкловский, знаменитый теоретик формализма, человек-приключение из ближайшего круга Бриков, так и говорит: «Мы все

вольные были. А кто нам был неволя? Почему? Если он мне нравится? Если он мне сейчас нравится? Мы переносим, когда у нас есть квартиры и пенсии, и мы боимся алиментов, и мы нравы 50-летней революции переносим в 10-летнюю революцию. Это другая... другая нравственность, не установленная нравственность, но не опровергнутая»<sup>68</sup>.

И в той же беседе:

«В[иктор] Ш[кловский]: У меня есть вопрос такой: изменится ли любовь?... В “Гильгамеше”, в шумеро-аккадском эпосе, у Гильгамеша есть соперник, человек-зверь, который ходит по лесам и освобождает зверей, и топчет поля. Он сильнее Гильгамеша. А Гильгамеш имеет только медное оружие и живет в глиняном городе, стены которого кажутся как бы обожженными (еще не было кирпича, были горшки). Это необыкновенная история. И вот для того, чтобы победить дух, Гильгамеш (это всё про Лилю Брик) насылает на него блудницу и говорит: “Открой перед ним свою наготу”. Он сходится с ней, три дня они лежат вместе. Когда он очнулся, он увидел, что звери вокруг него отошли, и проститутка (значит, это древнее занятие) говорит ему: “Ешь хлеб, потому что это пища человека, пей вино — это судьба человека, одень платье — потому что ты человек”. И она разрывает свое платье и половину отдает ему. То есть самый древний эпос, три тысячи, четыре тысячи лет до нашего эпоса — облагораживание той любви, которая у нас считается уже незаконной.

В[иктор] Д[увакин]: Что называется сейчас словом “секс”.

В. Ш.: Секс. Мы не знали, какая будет любовь, то есть так, как писал Энгельс, что будущее людей будут знать те, кто будет его делать. Предполагалось, что старый брак — это две проституции, которые создают подобие одной верности. Князь Петр Вяземский в записных книжках говорит, что, конечно, женщина из порядочного дома не должна изменять мужу для того, чтобы не вводить незаконных наследников. Но если она уже беременна, то она свободна, она застрахована своим мужем, она родит ребенка от него. Это всё ошибки вот этих (неразборчиво) огоньков на болоте... внутренняя ошибка, что они думали, что революция — это продолжение старой жизни, старой нравственности, только деньги будут у них, а не у буржуа, и женщины будут у них. Но жить они будут так же, что будет моногамный брак, в то время когда Энгельс цитирует Фурье, что моногамный брак и земельная собственность — это один заговор богатых против бедных»<sup>69</sup>.

О тогдашнем отношении к женщинам:

*В. Ш.:* Но мы думали, что это... что мы не платим, мы не связываем, мы помогаем, но мы не думаем, что мы владыцы. Мы не старшие для них.

*В. Д.:* Не старшие?

*В. Ш.:* Не старшие, для них, для этих женщин. И вот это ощущение потери собственности, что вы сперва завладеете женщиной, как бы приобретете, а потом она ваша. Она не ваша, она...

*В. Д.:* Вы каждый день должны завоевывать снова.

*В. Ш.:* Да. Она... она своя»<sup>70</sup>.

Впрочем, не все отзывы о полигамной философии тех лет одинаково радужные. Художница и лефовка Елизавета Лавинская, вынужденная по заветам Коллонтай и Бриков делить своего мужа с залетными любовницами, не смогла в мемуарах подавить разъедающей горечи:

«А вся неразбериха, уродливость в вопросах быта, морали? Ревность — “буржуазный предрассудок”. “Жены, дружите с возлюбленными своих мужей”. “Хорошая жена сама подбирает подходящую возлюбленную своему мужу, а муж рекомендует своей жене своих товарищей”. Нормальная семья расценивалась как некая мешанская ограниченность. Всё это проводилось в жизнь Лилей Юрьевной и получало идеологическое подкрепление в теориях Осипа Максимовича»<sup>71</sup>.

При этом тот же Шкловский настойчиво намекает, что дом у Бриков был буржуазный и за Лилиными романами маячила тень не столько Энгельса, сколько того самого «доброго буржуазного дома терпимости», по поводу которого в разговоре с Цеткин горячился Ленин.

Тут как раз уместно вспомнить «изящную литературу» середины XIX века, на которую тогда скептически ссылался Владимир Ильич. В 1834 году вышел роман Жорж Санд «Жак», за который католические критики честили автора потрясателем основ семьи и общества. Фабула его следующая: герой убеждается, что его жена любит другого, и кончает с собой, чтобы не мешать их счастью. А чтобы любимую жену не терзали угрызения совести, обставляет дело так, будто бы он погиб в результате несчастного случая. В общем, приносит самозабвенную жертву во имя любви и свободы.

«Жака» прочитал Николай Чернышевский и, сидя зимой 1862/63 года в Петропавловской крепости, переиначил сюжет на свой лад. Если помните, в его культовом романе «Что делать?» Вера Павловна Розальская сбегает от власт-



ной матери замуж за студента-медика Лопухова. Брак полуживотный — для девушки это скорее спасение от мешанского тоталитаризма матери, ее настойчивого принуждения дочери к замужеству. (Кстати, будучи в отрочестве поклонницей «Что делать?», я и сама впоследствии воспользовалась этим блестящим рецептом и через краткое замужество уберегла себя от реального традиционного семейного ада, почти неизбежного для любой дагестанки.) Живя с Лопуховым, Вера Павловна влюбляется в его друга Кирсанова, и они какое-то время практически живут втроем. А потом Лопухов инсценирует самоубийство и уезжает в Америку, откуда потом возвращается под именем Чарльза Бьюмонта, женится на дочери промышленника и поселяется с женой и Кирсановыми в одной коммуне — сообществе «новых людей». То есть Чернышевский дает своему Жаку шанс на вторую жизнь, притом какую — практически по лекалу Фурье (недаром дворец-фаланстер появляется в четвертом сне Веры Павловны, а обитающие там люди будущего хвастаются повышенной сексуальностью и вообще жадой жизни).

Любопытно, что мотив самоубийства ради счастья любимой с другим повторился потом и в реальности. В 1895 году дворянин из обрусевших немцев Николай Гиммер инсценировал собственное самоубийство на Софийской набережной в Москве. Его жена любила другого, но в официальном разводе им отказывали, а мнимая смерть мужа позволила ей выйти замуж вторично. Однако вскоре Гиммер был разоблачен. Его жену судили за двоемужество, а его самого — за пособничество. Супругов приговорили к семилетней ссылке, замененной годом заключения. Их история вдохновила Льва Толстого на сочинение пьесы «Живой труп». Кстати, сын Гиммеров потом прославился как яркий эсер, публицист, масон и экономист Николай Суханов, в тридцатые годы дважды арестовывался (существовал даже такой ругательный термин «сухановщина») и был расстрелян в Омске в 1940-м.

Роман Чернышевского Лиля обожала, они с Осей перечитывали его во время медового месяца. Катанян-младший пишет про Бриков: «Особенно они любили — вопреки многим — “Что делать?” Чернышевского, и любили этот роман до конца жизни»<sup>72</sup>.

Сама Лиля Юрьевна в мемуарах не раз подчеркивает, что Маяковский эту ее библиострасть разделял: «Одной из самых близких ему книг была “Что делать?” Чернышевского. Он постоянно возвращался к ней. Жизнь, описанная в

ней, перекликалась с нашей. Маяковский как бы советовался с Чернышевским о своих личных делах, находил в нем поддержку. “Что делать?” была последняя книга, которую он читал перед смертью»<sup>73</sup>. (Утверждение более чем смелое, учитывая, что Лилия Юрьевна в последние дни жизни Маяковского разъезжала с Осипом по Европе и о том, что поэт читал перед смертью, доподлинно знать не могла.)

Шкловский в разговоре с Дувакиным тему Чернышевского тоже затрагивает: «Для Маяковского программа жизни была сделана Чернышевским, “Что делать?”, что может быть даже чай втроем. То есть для него свобода любви была свободой женщины от мужчины, чтоб он ее не привязывал к себе тем, что он дал ей деньги. Он ее не привязывает к себе. Для Лилии свобода любви была свободой измены. Они... это было классово... как пишет Ленин в письме к Инессе Арманд — это было классово осознанное различие одно и то же явление»<sup>74</sup>.

Имеется в виду письмо Ленина Инессе Арманд от 17 января 1915 года по поводу брошюры о проблемах любви и брака, которую она собиралась писать для работниц. Вот о чем, в частности, толкует Ильич:

«Одно мнение должен высказать уже сейчас: § 3 — “требование (женское) свободы любви” советуя вовсе выкинуть. Это выходит действительно не пролетарское, а буржуазное требование. В самом деле, что Вы под ним понимаете? Что можно понимать под этим?»

1. Свободу от материальных (финансовых) расчетов в деле любви?

2. То же от материальных забот?

3. От предрассудков религиозных?

4. От запрета папаши etc.?

5. От предрассудков “общества”?

6. От узкой обстановки (крестьянской или мещанской или интеллигентски-буржуазной) среды?

7. От уз закона, суда и полиции?

8. От серьезного в любви?

9. От деторождения?

10. Свободу адюльтера? и т. д.

Я перечислил много (не все, конечно) оттенков. Вы понимаете, конечно, не №№ 8—10, а или №№ 1—7 или вроде №№ 1—7. Но для №№ 1—7 надо выбрать иное обозначение, ибо свобода любви не выражает точно этой мысли. А публика, читатели брошюры неизбежно поймут под “свободой любви” вообще нечто вроде №№ 8—10, даже вопреки Вашей воле. Именно потому, что в современном обществе

классы, наиболее говорливые, шумливые и “вверхуидные”, понимают под “свободой любви” №№ 8—10, именно поэтому сие есть не пролетарское, а буржуазное требование.

Пролетариату важнее всего №№ 1—2, и затем №№ 1—7, а это собственно не “свобода любви”. Дело не в том, что Вы субъективно “хотите понимать” под этим. Дело в объективной логике классовых отношений в делах любви»<sup>75</sup>.

Вождь революции как в воду глядел. «Говорливая», «шумливая», «вверхуидная» Лиля Брик под свободой любви подразумевала, конечно, именно пункты 8—10.

Дувакин и Шкловский продолжают:

«В[иктор] Д[увакин]: Различно осознанное в классовом отношении?... Но явление одно и то же?

В[иктор] Ш[кловский]: Одно и то же. А у Володи было несколько женщин, хотя он был не весьма предприимчивым мужчиной. У Лили было сколько угодно. Причем про одного, Герцмана... Володя говорил: “Вот если бы я узнал, что у нее был роман с Герцманом, я бы навсегда ушел от нее”. А у нее был роман с Герцманом, конечно. Герцман...

В. Д.: То есть до чего она опускалась, что даже...

В. Ш.: Она не опускалась, она...

В. Д.: ...какой-то Герцман...

В. Ш.: Ну да, она... Вот эта история, что такая... ну такая богема буржуазная совпала, на время пересеклась с революционным отношением к жизни. Вот что произошло»<sup>76</sup>.

Лев Герцман был сотрудником Всероссийского кооперативного акционерного общества — АРКОСа (All Russian Cooperative Society Limited), открывшегося в Великобритании в 1920 году. Лиля Брик заигрывала с ним на лондонских ночных танцполах в 1922-м, когда навещала эмигрировавших из СССР мать и сестру. Ее поведение и вправду отлично вписывалось в богемную буржуазную модель фиджержальдовских эмансипированных девушек (сейчас бы сказали «флэпперш») из «ревуших двадцатых», в модель, лишь по случайности совпавшую, по выражению Шкловского, с революционным отношением к жизни. Юбки до колена и шляпки-клош, мимолетные связи и яркие губы, алкоголь и сигареты, чарльстон и шимми, мужчины и автомобили, смелость и независимость — именно из этого вздорного теста лепилась Лиля Брик. На ее счастье, имидж девочки-бабочки вдруг отлично срифмовался с образом пролетарки, объявляющей бой кухонному рабству. Она и сама, напивавшись белым шумом эпохи, безусловно верила, что Чернышевский, новый быт, война с мещанством — это

всё про нее. Но про нее ли? И не раздирали ли самого Чернышевского вполне обыкновенная, банальная личная драма?

Рукопись «Что делать?» он посвятил «моему другу О. С. Ч.», то есть жене, Ольге Сократовне Чернышевской, которую в молодости привез из Саратова. Она была дочерью врача, с примесью итальянской крови (кое-кто из современников называл ее цыганкой) и нрава безудержного. Якобы крутила романы направо и налево, еще до отправки мужа на каторгу, а тот на всё смотрел сквозь пальцы: дескать, женщина должна быть во всём равна мужчине, в том числе и в своем праве на адюльтеры.

Если верить сплетням, Ольга Сократовна предавалась любви с приятелем мужа Иваном Савицким чуть ли не на глазах самого Николая Гавриловича, в соседней комнате. Сплетня эта очень похожа на ту, что поэт Андрей Вознесенский пустил про Лилу Брик уже после ее смерти: «Однажды она призналась: “Я любила заниматься любовью с Осей (тут ЛЮБ, как это бывает с дамами, смакуя, употребила запредельный глагол). Мы тогда запирали Володю на кухне. Он рвался, хотел к нам, царапался в дверь и плакал”. После этого я полгода не мог приходить в ее дом. Она казалась мне монстром. Но Маяковский любил такую. С хлыстом. Значит, она святая»<sup>77</sup>. После этой публикации Катанян-младший прекратил с Вознесенским все отношения, и тот вроде бы даже извинялся потом за свои фантазии на одном малокалиберном телеканале.

Так вот, Ольгу Сократовну очень зло описывал Набоков в романе «Дар»: «Старухой она любила вспоминать, как в Павловске, пыльным, солнечным вечером, на рысаке, в фазтоне, перегоняла вел. кн. Константина, откидывая вдруг синюю вуаль и его поражая огненным взглядом, или как изменяла мужу с польским эмигрантом Савицким, человеком, славившимся длиной усов: “канашечка-то знал... Мы с Иваном Федоровичем в алькове, а он пишет себе у окна”. Канашечку очень жаль, — и очень мучительны, верно, были ему молодые люди, окружавшие жену и находившиеся с ней в разных стадиях любовной близости, от аза до ижицы»<sup>78</sup>. Ну чем не портрет Лили Юрьевны?

Существует мнение, что Чернышевский страдал кандаулезизмом — подсознательным желанием поделиться своей женщиной с другим мужчиной, как бы соединяясь с соперником через эту посредницу. То есть это такой замещенный латентный гомосексуализм, который якобы был повально присущ революционерам-демократам XIX века: и

издателю Ивану Панаеву, опубликовавшему «Что делать?» в «Современнике» (делил жену с поэтом Некрасовым), и еще одному родоначальнику народничества Александру Герцену. Последний поселился с первой женой (и одновременно кузиной) Натальей в заграничной микрокоммуне вместе с семьей Георга Гервега, своего соратника-социалиста и приятеля Маркса и Вагнера. В итоге Наталья сблизилась с Гервегом; одна из ее дочерей, Ольга, якобы родилась от этой связи (что похоже на правду, поскольку Ольга дожила до 103 лет, тогда как прочие дети Натальи, рожденные в близкородственном браке, умирали через несколько дней после появления на свет).

Герцен, однако, не сдержал ревности, прогнал Гервега, а жену свою с ним не отпустил, за что вся революционная общественность его осудила: мол, как же так? это же моральное принуждение! А вот друг Герцена Николай Огарев, тот самый, с которым они приносили знаменитую клятву на Воробьевых горах, после смерти Натальи поступил гораздо менее буржуазно — позволил своей жене Наталье Тучковой-Огаревой сожительствовать с Герценом и даже рожать ему детей.

Подвижный любовный многоугольник Бриков, куда на 15 лет постоянным углом втемяшился Маяковский, — как будто прямое продолжение описанной славной традиции. Осип Брик в этом случае тоже кандаулезист. Правда, если уж совсем точно, эта перверсия предполагает вполне конкретную склонность: сексуальное наслаждение, которое мужчина получает от созерцания другими обнаженного тела его партнерши. Термин произошел от имени полумифического царя Лидии Кандавла, который настолько гордился красотой любимой супруги, что предложил своему телохранителю тайком во время ее подготовки ко сну полюбоваться ее наготой. Для царя эта маленькая шалость закончилась трагически: раздосадованная супруга под угрозой казни велела бодигарду убить Кандавла и жениться на ней...

Ощущала ли Лилия Брик свое родство с упомянутыми революционными женами? Думаю, да. С Ольгой Сократовой уж точно. Это видно из свидетельства Катаняна-младшего. Он воспроизводит магнитофонную запись разговора Лилии с художником Михаилом Кулаковым:

«— Лилия Юрьевна, “Что делать?” вам нравилось с художественной стороны или... вот...

— Я не отделяю этого. Все говорят, что это художественно плохо написано, а я так не считаю. Это достаточ-

но хорошо написано, чтобы читать с восторгом. Во всяком случае, мне это ближе, чем Тургенев.

— А Рахметов? Как вы к нему относитесь тогда?

— Я к нему вообще хорошо отношусь, он мне нравится. Прочтите этот роман сейчас. Интересно. Не слишком придирайтесь к тому, как это написано. И вообще надо держать в уме, что всё это написано в тюрьме. Что он никогда не жаловался, ни в чем не покривил душой. Что его боготворила молодежь, чуть не на коленях читала его вслух. И на студенческих вечеринках пели: “Выпьем мы за того, кто ‘Что делать?’ писал, за героев его, за его идеал”.

— У Ольги Сократовны есть воспоминания, где она предстает очень легкомысленной особой по отношению к Чернышевскому.

— Он же всю жизнь сидел в тюрьме. Ясно, что она с кем-то жила. Она была самостоятельна, он ей давал эту свободу, он ее очень любил.

— Она вспоминает, как он сидит, пишет, а она в нише, где-то там в алькове с кем-то...

— Целовались? Делов-то!

— Да нет, не целовались...

— Жили? Может, и жили. Это ничего не значит. Это не значит, что она его не любила. Нет, это сложно, так нельзя — по какому-то воспоминанию... Ну целовались, ну и что? *(Прекращает разговор, который ей неприятен.)*<sup>79</sup>.

Конечно, неприятен. Это только видимость, что речь о жене Чернышевского. На самом деле — о самой Лиле. Лиле, которая, не обладая канонической красотой, легко похищала мужчин. Пусть даже чужих. Пусть даже у родной сестры.

## ГЛАЗА ЭЛЬЗЫ

Пройдет время, и в 1941 году французский поэт Луи Арагон посвятит ей стихи (перевод Вильгельма Левика):

И если мир сметет кровавая гроза,  
И люди вновь зажгут костры в потемках синих,  
Мне будет маяком сиять в морских пустынях  
Твой, Эльза, дивный взор, твои, мой друг, глаза.

А модельер Ив Сен-Лоран создаст костюм «Глаза Эльзы», на котором по черному бархату фиолетовым и золотым бисером будут вышиты ее удивительные зрачки.

Элла Каган превратилась в Эльзу Триоле в 1918-м, когда вышла замуж за французского офицера Андре Триоле и уехала с ним и своей матерью за границу. Именно она открыла Лиле и Осипу Маяковского. Она, в отличие от старшей сестры, всё всегда доводила до конца: получила диплом архитектора, а впоследствии стала известной французской писательницей, переводчицей, лауреатом Гонкуровской премии — высшей литературной награды Франции. Лилия же от всего быстро уставала и ничего, по сути, так и не создала. Музыка, математика, скульптура, балет, актерство, режиссура, сочинение пьес — всё, за что бралась похитительница сердец, так и осталось недоделанным, недодуманным, всё провалилось в забвение. Лилия Брик осталась в истории не в качестве великого создателя, а в качестве великой женщины. И всё равно умудрилась затмить трудолюбивую младшенькую!

Лилия была властная, залюбленная, очень раскрепощенная и, естественно, командовала парадом еще в детской. Младшая — белокурая, голубоглазая, девочка-одуванчик, старшая — сметливая, по-сестрински жестокая. А кто из нас не бывал жесток за дверями детской, пока не видят родители? Катанян-младший пишет, как мама повела дочерей в театр и те остались чрезвычайно впечатлены волшебницей, которая взмахивала волшебной палочкой, проносила «Кракс!» и превращала детей то в животных, то в неодушевленные предметы. Лиле было восемь лет, и она мгновенно приняла этот трюк на вооружение:

«— Эльза, принеси мне яблоко из столовой.

— Пойди сама.

— Что?!

Лилия брала отвалившуюся завитушку от буфета, поднимала ее, подобно волшебнице, и Эльза понимала, что сейчас прозвучит “Кракс!”, что она превратится в котенка, и сломя голову бежала за яблоком.

— Эльза, закрой занавеску.

— Не хочу.

— Не хочешь?!

Лилия хватала завитушку, и Эльза бросалась задерживать штору.

Конец этому рабству положила мама. Видя постоянно испуганную Эльзу, она выпытала у нее, в чем дело, и Лиле здорово влетело»<sup>80</sup>.

Кажется, Лилия так и пошла по жизни с волшебной палочкой в руках, повелевая окружающими, а те и рады были

подчиняться. Вот как филолог София Вишневская вспоминает встречу с Лилей Брик в Доме кино на премьере фильма Сергея Параджанова:

«Публика стоит, сидит в проходах, на ступеньках. Вносятся дополнительные стулья. Мест нет. Только в первом ряду три пустых кресла. “А что не начинают?” — спрашиваю, стораю от нетерпения. “Ждут кого-то”. — “А кого???”

Дождались. В зал, можно сказать и так — внесли женщину в красных волосах и черных узких брючках, мода на которые придет лет через 10. Помните детей, идущих с мамой и папой за ручку и вдруг зависающих в воздухе, поджимаемая коленки? Так передвигалась эта женщина — она словно висела: с одной стороны на локте Андрея Вознесенского, с другой — на плече мужчины восточной наружности, потом говорили, что это был Василий Катанян (младший). В такт хаотичному движению раскачивались и болтались на уровне ее груди очки и какое-то колечко на цепочке. Мумифицированная главная гостья премьеры была древней старушкой — нарумяненной, с нарисованными тонкими черными бровями на асбестово-белом заштукатуренном лице. Портрет известен. Красные волосы создавали эффект пламени, корриды, опасности, вызова!

Наши места были во втором ряду, пустовавшие кресла первого ряда зияли ровно перед нами. Вот к ним и устремилось это экзотическое трио, нежно поддерживаемое (так и хочется написать — за ноги) ринувшимся навстречу самим маэстро, режиссером Сергеем Параджановым, и молодым красавцем. Даму, можно сказать, возложили в кресло. Свет не гасили, еще шли какие-то приготовления. Я как загипнотизированная разглядывала жидкую косицу на роскошной черной шали, розоватый затылок, просвечивающий сквозь красные волосы. Нет, это не было смесью красок — хны и басмы, это был красный стрептоцид, известный мне с детства.

Помимо цвета существовал еще запах, оглушительно прекрасный, не соответствующий ничему, — это был запах роскоши. “Герлэн”, “Шанель номер пять”, “Мицуко”, “Нарсис нуар”...

“Кто это?” — прошептала я, боясь звука собственного голоса. — “Лиля Брик”. — “О, боже...”

Она слегка пошевелила рукой, и в зале погас свет, по мановению, по неуловимому движению искаженных артритом пальцев — на экране зацвел гранатовый сад, или полетели голуби, или проскакал всадник на коне, полилась



музыка. Я еще тогда подумала о магии имени. Ничего бы не началось, если бы я встала и начала махать двумя руками. И даже кричать и требовать. Или кто-то другой»<sup>81</sup>.

Ну чем не волшебница из Лилиного детства?

Характерна и дневниковая запись Михаила Пришвина, периодически рассуждавшего о ведьмах: «У Достоевского в “Бесах” нет ведьмы. Почему? Вот ЛЕФ — это подлинные бесы: Маяковский — это Ставрогин, но Лиля Брик — это ведьма. Почему Достоевский не осмелился поднять руку на ведьму? Мне кажется, что если бы Достоевский посягнул и на это, то ему самому неоткуда было бы и расти. Ведьмы хороши у Гоголя, но всё-таки нет у него и ни у кого нет такой отчетливой ведьмы, как Лиля Брик»<sup>82</sup>.

Ведьма или нет, но уже во время девчоночьих игр Лиля забирала у сестренки всё самое лучшее — хорошо же быть сильнее на целых пять лет! Во время детских игр, перед сном, когда они сочиняли роман или пьесу и делили персонажей пополам, Лиля предпочитала разговаривать за князей и графинь с самыми звучными фамилиями, самым интересным гардеробом, самыми заманчивыми талантами и хобби. «Звучала игра так: “Тогда княгиня Оболенская надела платье из бледно-абрикосового муара, всё вышитое с натуры осенними листьями, на голову она приколола венок из чайных роз и пошла на концерт, на котором должна была петь певица Тамара Валентиновна Орлова. А теперь ты говори, что было дальше”»<sup>83</sup>.

Занимательно, что сестры Каган играли «в жизнь», что называется, в повествовательных жанрах. В моем детстве мы с кузинами предпочитали жанры чисто диалоговые, сериальные. Мы не описывали — мы восклицали и действовали. Помню, однажды какое-то кресло в квартире было объявлено обмороком, и мы в него падали. А наши вымышленные герои блистали совсем не муаром и не вокалом, а сумасшествием, патологической ревностью и склонностью к шантажу, воровству и убийствам. По этой характеристике сразу ясно, чем 1990-е годы отличались от 1890-х.

В ранней юности у Эльзы открывается талант рисовальщицы, она занимается в студии у основателя «Бубнового валета» Ильи Машкова, который хвалит ее работы. В это время в студии преподает и тот самый Гарри Блюменфельд, мюнхенская зазноба Лили, и Эльза влюбляется в него безответно. Бенгт Янгфельдт проницательно замечает, что дневник Эльзы 1912—1913 годов свидетельствует о закомплексованности на себе и сильно развитом комплексе неполно-

ценности младшей сестры. В 16 лет Эльза во всем навязчиво сравнивает себя с Лилей, которую обожает, как кумира:

«Я должна была родиться красивой. Тогда бы мне не нужны были бы столько денег, то есть, не то чтобы не нужны были бы, но подобно Лили это бы не снилось мне». Отношения между сестрами при этом весьма сложны. Жалуюсь на старшую сестру за то, что та, «как обычно», не обращает на нее внимания и не слышит, что она говорит, Эльза одновременно дает себе следующую убийственную характеристику: «Я бессовестная, невыносимая, и я никогда не бываю довольной. Точно как Лили».

Пока Лили и Осип путешествуют по Туркестану, Эльза живет в их квартире, где ее вдохновляют «своего рода мысли», которые здесь «витают в воздухе»: и у нее, как она пишет, случаются «чувственные сны», она «не то что развращенная», но «жаждет непристойностей, лишь бы они не были противными». Она часто влюбляется, но без взаимности, и страдает, потому что кажется себе непривлекательной: «Бог дал мне желание любить, создал мою душу для любви, но не дал мне тело, созданное для любви»<sup>84</sup>.

Маяковский познакомился с девочкой-подростком осенью 1913 года у ее подружек Иды и Али Хвас, близких к музыкальным и художественным кругам. Дружба тянулась еще с Эльзиного детства, когда сестры Хвас сообщали с Лилей записки несчастную в уборной, заставляя орать и метаться. Но вот Эльза выросла, и экзекуции, казалось бы, остались позади. Молодой Маяковский, в это время вернувшийся из футуристического турне, уже носил цилиндр, черное пальто и взятую напрокат в магазине на Сретенке джентльменскую трость, но при этом был привычно вульгарен, нахален и неотесан. Его поведение потом шокировало Эльзиных родителей и остальных благопристойных буржуа. Метафорические щеки общественного вкуса горели от пощечин.

В 1966 году Триоле вспоминала о судьбоносной встрече:

«Мне было уже шестнадцать лет, я кончила гимназию, семь классов, и поступила в восьмой, так называемый педагогический. Лиля, после кратковременного увлечения скульптурой, вышла замуж. Ида стала незаурядной пианисткой, Аля — художницей. Я тоже собиралась учиться живописи у Машкова, разница лет начинала стираться, и когда я вернулась с летних каникул из Финляндии, я пошла к Хвасам уже самостоятельно, без старших.

В хвасовской гостиной, там, где стоял рояль и пальмы, было много чужих людей. Все шумели, говорили, Ида си-

дела у рояля, играла, напевала. Почему-то запомнился художник Осьмеркин, с бледным, прозрачным носом, и болезненного вида человек по фамилии Фриденсон. Кто-то необычайно большой, в черной бархатной блузе, размашисто ходил взад и вперед, смотрел мимо всех невидящими глазами и что-то бормотал про себя. Потом, как мне сейчас кажется — внезапно, он также мимо всех загремел огромным голосом. И в этот первый раз на меня произвели впечатление не стихи, не человек, который их читал, а всё это вместе взятое, как явление природы, как гроза... Маяковский читал “Бунт вещей”, впоследствии переименованный в трагедию “Владимир Маяковский”.

Ужинали всё в той же мастерской за длинным столом, но родителей с нами не было, не знаю, где они скрывались, может быть, спали. Сидели, пили чай... Эти, двадцатилетние, были тогда в разгаре боя за такое или эдакое искусство, я же ничего не понимала, сидела девчонка девчонкой, слушала и теребила бусы на шее... нитка разорвалась, бусы посыпались, покатались во все стороны. Я под стол, собирать, а Маяковский за мной, помогать. На всю долгую жизнь запомнились полутьма, портняжий сор, булавки, нитки, скользкие бусы и рука Маяковского, легшая на мою руку»<sup>85</sup>.

Для молодого футуриста, холерически менявшего увлечения, страстно влюблявшегося сразу в двух, трех, пятерых, готового скупать (если были деньги) миллион алых роз для каждой, Эльза, конечно, была рядовым приключением. Но для шестнадцатилетней девушки роман с высоким, красивым, гениальным, широкоплечим стал безусловным событием, первым опытом взросления и разрыва с родительским гнездом. Наконец-то она парила.

Маяковский катал ее на трамвае, засиживался у нее в гостях до первых петухов, приезжал и на дачу к Каганам в Малаховку, где, гуляя с Эльзой по лесу, читал «Если звезды зажигают», а девица только млела и впитывала.

Альтер эго Эльзы Триоле в ее повести «Тетради, зарытые под персиковым деревом» (1944) принадлежит признание: «Два года все мои мысли были заняты Владимиром, я ни разу не вышла из дому, не подумав, что могу его встретить, я жила только им одним. Он научил меня понимать, что такое любовь»<sup>86</sup>. Это про Маяковского. Воспоминания о романтической поре их знакомства подернуты сладкой горечью:

«Виджу его у меня в комнате, он сидит, размалевывает свои лубки военных дней (очевидно, то было в августе—сентябре 14-го года):

Плыли этим месяцем  
Турки с полумесяцем.  
С криком “Дейчланд юбер аллес!”  
Немцы с поля убирались.  
Австрияки у Карпат  
Поднимали благой мат.

Возможно, что именно эти лубки были сделаны у меня, уж очень крепко засели в голове подписи к ним. Володя малюет, а я рядом что-нибудь зубрю, случалось, правлю ему орфографические ошибки.

Вижу себя в гостиной, у рояля (я тогда училась в музыкальной школе Гнесиных, у Ольги Фабиановны), а Володя ходит за моей спиной и бурчит: стихи пишет. Он любил под музыку.

А еще помню его за ужином: за столом папа, мама, Володя и я. Володя вежливо молчит, изредка обращаясь к моей матери с фразами вроде “Простите, Елена Юльевна, я у вас все котлеты сжевал...” и категорически избегая вступать в разговоры с моим отцом. Под конец вечера, когда родители шли спать, мы с Володей переезжали в отцовский кабинет, с большим письменным столом, с ковровым диваном и креслами на персидском ковре, книжным шкафом... Но мать не спала, ждала, когда же Володя наконец уйдет, и по нескольку раз, уже в халате, приходила его выгонять: “Владимир Владимирович, вам пора уходить!” Но Володя, нисколько не обижаясь, упирался и не уходил. Наконец, мы в передней, Володя влезает в пальто и тут же попутно вспоминает о существовании в доме швейцара, которого придется будить и для которого у него даже гривенника на чай не найдется. Здесь кадр такой: я даю Володе двугривенный для швейцара, а в Володиной душе разыгрывается борьба между так называемым принципом, согласно которому порядочный человек не берет денег у женщины, и неприятным представлением о встрече с разбуженным швейцаром. Володя берет серебряную монетку, потом кладет ее на подзеркальник, опять берет, опять кладет... и наконец уходит навстречу презрительному гневу швейцара, но с незапятнанной честью»<sup>87</sup>.

При этом в своих мемуарах Эльза Юрьевна, видно, не желая потерять лицо, всячески представляет себя равнодушной, беспристрастной, не очень-то и влюбленной. «Я же относилась к Маяковскому ласково и равнодушно, ни ему, ни себе не задавала никаких вопросов, присутствие его в доме считала вполне естественным, училась, читала

книги и, случалось, задерживалась где-нибудь, несмотря на то, что он должен был прийти»<sup>88</sup>.

Полудетская страсть явно боролась у нее с природной уживчивостью и нравом пай-девочки: «...в Москву из Петрограда приехала Лиля. Здоровье отца опять ухудшилось. Как-то мимоходом она мне сказала: “К тебе тут какой-то Маяковский ходит... Мама из-за него плачет”. Я необычайно удивилась и ужаснулась: мама плачет! И когда Володя позвонил мне по телефону, я тут же сказала ему: “Больше не приходите, мама плачет”»<sup>89</sup>. Тем не менее Эльза Маяковского обожала. Она превратилась в ярую пропагандистку его стихов, которые все знала наизусть. Но в позднейших воспоминаниях она как будто постоянно оправдывается: «За этим восторгом не крылись ни влюбленность, ни поэтические принципы или теории, это был вполне непосредственный восторг, который ощущаешь перед красотой пейзажа, морем, вечными снегами»<sup>90</sup>.

Нет, не проведешь! Тайные ее встречи с Маяковским, порывание с кодексом хорошей девочки, болезненная страсть, которой проникнуты ее письма к поэту, — всё говорит об обратном. Это была любовь не только к стихам, но и к мужчине. Впрочем, отделимо ли одно от другого? Эльза так гордилась ухажером, так стремилась доказать всему свету, насколько он гениален (Маяковского тогда еще не настигла гремящая слава), так спешила похвастать возлюбленным перед старшей сестрой, жившей с человеком невысоким, очкастым, не очень заметным, что сама же летом 1915 года и притащила Маяковского в Петербург на квартиру к Брикам.

Впрочем, Маяковского Лилия и Ося встречали и до того, на вечере Бальмонта, и относились к нему с изрядным опасением — как к хулигану из ватаги футуристов (по свидетельству Романа Якобсона, эта парочка шикала и подсвистывала на Маяковского громче всех). Но летом 1915-го, за месяц до легендарной встречи на улице Жуковского, была еще одна, без особенных последствий для участников. Лилия сидела со Львом Гринкрутом на лавочке в Малаховке. Гигант Маяковский увлек романтическую Эльзу гулять. Зарядил дождь, а парочка никак не возвращалась. Без Эльзы в дом было нельзя, к тому же папа уже лежал смертельно больной. Лилия страшно нервничала, злилась, переживала и, как только влюбленные показались на горизонте, накинулась на сестру: дескать, где же ты шляешься, я тут сижу под дождем, как дура.

«На следующий день мама жаловалась мне, что Маяковский повадился к Эльзочке, что просиживает ночи напролет, так что мама через каждые полчаса встает с постели гнать его, а утром он хвастается, что ушел в дверь, а вернулся в окно. Он выжил из дому “Остров мертвых” (картину немецкого художника-символиста Арнольда Бёклина — ту самую, про которую Набоков в романе «Отчаяние» иронизировал, что ее можно найти в каждом берлинском доме, о которой вздыхал в «Вещах» Арсений Тарковский: «Где “Остров мертвых” в декадентской раме?» — и о которой писал сам Маяковский в посвященной Лиле поэме «Про это»: «Со стенки / На город разросшийся / Бёклин / Москвой расставил “Остров мертвых”». — А. Г.), а когда один раз не застал Эльзу дома, оставил желтую визитную карточку таких размеров, что мама не удержалась и на следующий день вернула ему карточку со словами: “Владимир Владимирович, вы забыли у нас вчера вашу вывеску”»<sup>91</sup>.

Так вот, та самая, роковая встреча произошла через месяц после первой. Умер Юрий Каган. Эльза привела возлюбленного в квартиру Бриков на улице Жуковского. Квартира была богемная, со всеми удобствами (лифт, телефон, ванна), кругом японские веера, узбекские блюда и ковры, картина одного из самых дорогих и престижных портретистов 1910-х годов Бориса Григорьева «Лилия в Разливе», пропавшая в революцию: Лилия Юрьевна лежит в траве на фоне полыхающего заката.

О том легендарном вечере Лилия вспоминает так:

«Поздоровавшись, он пристально посмотрел на меня, нахмурился, потемнел, сказал: “Вы катастрофически похудели...” И замолчал. Он был совсем другой, чем тогда, когда в первый раз так неожиданно пришел к нам. Не было в нем и следа тогдашней развязности. Он молчал и с тревогой взглядывал на меня. Мы умоляюще шепнули Эльзе: “Не проси его читать”. Но Эльза не послушалась, и мы услышали в первый раз “Облако в штанах”. Читал он потрясающе. Между двумя комнатами для экономии места была вынута дверь. Маяковский стоял, прислонившись спиной к дверной раме. Из внутреннего кармана пиджака он извлек небольшую тетрадку, заглянул в нее и сунул в тот же карман. Он задумался. Потом обвел глазами комнату, как огромную аудиторию, прочел пролог и спросил — не стихами, прозой — негромким, с тех пор незабываемым голосом:

— Вы думаете, это бредит малярия? Это было. Было в Одессе.

Мы подняли головы и до конца не спускали глаз с невиданного чуда.

Маяковский ни разу не переменял позы. Ни на кого не взглянул. Он жаловался, негодовал, издевался, требовал, впадал в истерику, делал паузы между частями.

Вот он уже сидит за столом и с деланой развязностью требует чаю.

Я торопливо наливаю из самовара, я молчу, а Эльза торжествует — так и знала!

Мы обалдели. Это было то, что мы так давно ждали. Последнее время ничего не могли читать. Вся поэзия казалась никчемной — писали не так и не про то, а тут вдруг и так, и про то.

Первый пришел в себя Осип Максимович. Он не представлял себе! Думать не мог! Это лучше всего, что он знает в поэзии!.. Маяковский — величайший поэт, даже если ничего больше не напишет.

Ося взял тетрадь с рукописью и не отдавал весь вечер — читал. Маяковский сидел рядом с Эльзой и пил чай с вареньем. Он улыбался и смотрел большими детскими глазами. Я потеряла дар речи»<sup>92</sup>.

В Эльзиной же характеристике вечера чувствуется еще не полностью вытравленная боль: «Брики отнеслись к стихам восторженно, безвозвратно полюбили их. Маяковский безвозвратно полюбил Лилу»<sup>93</sup>.

От удара Эльза явно не оправилась до конца жизни. Ведь это ей — ей! — Маяковский читал «Облако в штанах» под звездным небом в Малаховке. Но стоило только поэту по-настоящему увидеть старшую, рыжую, как тут же, в присутствии ее мужа, он посвящает поэму Лиле. Хотя писалась она о других женщинах — не давшей ему Марии Денисовой и давшей Софье (Сонке, как называл ее поэт) Шамардиной.

После чтения у Бриков Маяковского от Эльзы как отрезало. Он теперь пропадал в Петербурге у Лили и Осипа, которые не на шутку им увлеклись и принялись готовить услышанную поэму к изданию. Для Эльзы он почему-то превратился в «дядю Володю», от переписки с ней отлынивал, перепоручая ее своим друзьям вроде инженера Станислава Гурвица-Гурского. Маяковский теперь — не сердечный друг, а далекий, снисходительный конфидендент, обезумевший от любви к Лиле, замужней, окруженной поклонниками. А их с Эльзой роман оборван на взлете.

Катанян-младший приводит отрывки из Эльзиных пи-

сем Маяковскому, в которых томятся отвергнутые чувства. Нет в них ни ненависти, ни злобы, ни обиды, ни гордости, а есть щенячья, почти раболепная преданность:

«...Сердечные дела мои всё по-старому: кто мне мил, ему я не мила, и наоборот. Уже отчаялась в возможности, что будет по-другому, но это совершенно не важно».

«...А ты мне еще напишешь? Очень бы это было хорошо! Я себя чувствую очень одинокой, и никто мне не мил, не забывай хоть ты, родной, я тебя всегда помню и люблю».

«...Я на белом свете никого не люблю, не умею, должно быть, ты вот очень счастливый... К тебе у меня такая нежность, а всё-таки мне так мертво и тихо. Хорошо бы на некоторое время совершенно потерять способность ощущать, сознать, почти как бы спать. Хорошо бы! Тебя целую крепко, крепко».

«...Мне обязательно хочется тебя повидать! Я что-то такое чувствую в воздухе, чего не должно быть, и всё время мысль о тебе у меня связана с каким-то беспокойством».

«...Жду тебя с нетерпением, люблю тебя очень. А ты меня не разлюбил? Ты был такой тихий на вокзале... Целую тебя, родненький, крепко, крепко».

«...Как у тебя там всё? Жду тебя очень, неужели не приедешь? Напиши хоть, что любишь меня по-прежнему крепко. Целую тебя, милый, много раз»<sup>94</sup>.

«Летом она собиралась принять яд, но теперь просто чувствовала отвращение к жизни вообще»<sup>95</sup>, — отмечает Б. Янгфельдт.

Брики же бредили Маяковским и взялись его издавать и спонсировать. До этого ни футуризмом, ни литературой они особенно не увлекались (не считая совместного чтения классики). Правда, признаки меценатства уже проявляли: катали за свой счет по Туркестану поэта и любителя Востока Константина Липскерова. Под впечатлением от поездок тот потом выпустил дебютный сборник стихов «Песок и розы», удостоившийся похвалы поэта, впоследствии одного из главных критиков русской эмиграции Владислава Ходасевича. Его сын Михаил стал писателем, драматургом и сценаристом, а внук Дмитрий — романистом, автором интеллектуальной телеигры девяностых «Золотая лихорадка» и соучредителем литературной премии «Дебют», с которой началась когда-то моя прозаическая стезя.

«Облако в штанах» с посвящением «Тебе, Лиля» было напечатано тиражом 1050 экземпляров, обошедшимся в 150 рублей (часть суммы Маяковский тогда прикарманил,



о чем Брики ведали и за что ему потом было стыдно). Лиля с упоением вспоминала: «Мы знали “Облако” наизусть, корректуры ждали, как свидания, запрещенные места вписывали от руки. Я была влюблена в оранжевую обложку, в шрифт, в посвящение и переплела свой экземпляр у самого лучшего переплетчика в самый дорогой кожаный переплет с золотым тиснением, на ослепительно белой муаровой подкладке. Такого с Маяковским еще не бывало, и он радовался безмерно»<sup>96</sup>.

При этом как мужчина Маяковский Лилю не очень-то и привлекал. Поначалу она держала железную оборону — видимо, заводя этим поэта всё больше и больше.

«Володя не просто влюбился в меня, он напал на меня, это было нападение.

Два с половиной года у меня не было спокойной минуты — буквально. Я сразу поняла, что Володя гениальный поэт, но он мне не нравился. Я не любила звонких людей — внешне звонких. Мне не нравилось, что он такого большого роста, что на него оборачиваются на улице, не нравилось, что он слушает свой собственный голос, не нравилось даже, что фамилия его — Маяковский — такая звучная и похожа на псевдоним, причем на пошлый псевдоним»<sup>97</sup>.

И всё же Лиля Юрьевна, наверняка страдавшая от своего «расползания» с Осей и слегка утомившаяся от общества нуворишей и мещан, с удовольствием окунулась вместе с мужем в стихию футуристического бедлама. Новый, 1916 год встречали у них, на улице Жуковского. К елке прицепили черные штаны с ватным облаком и подвесили к потолку опрокинутым конусом, зажгли свечи, завесили стены белыми простынями. Гости явились ряженные. Маяковский — в красном кашне и с кастетом, Шкловский — в матросской блузе, Давид Бурлюк — с лорнетом, поэт Василий Каменский — с выкрашенным усом и с нарисованной на щеке птичкой, Эльза — с высокой башней из волос с пером на конце. Хозяин встречал футуристов в узбекском халате и чалме, а Лиля завораживала голыми коленками, красными чулками, коротким шотландским килтом и русским платком, завязанным вместо лифа.

Пили контрабандный спирт (была пора «сухого закона») пополам с вишневым сиропом. Каменский той ночью сидел рядом с Эльзой и под утро сделал ей предложение, на которое она ответила отказом. Лиля Юрьевна замечает в мемуарах (не без снисходительного торжества), что это предложение руки и сердца было самым первым в Эльзиной

жизни. По словам Янгфельдта, «она не обладала привлекательностью старшей сестры и часто влюблялась безответно и отчаянно»<sup>98</sup>. Утверждение спорное, ведь от Эльзы еще страдают поклонники (да какие — Виктор Шкловский, Роман Jakobson!). По версии Дмитрия Быкова, автора биографии Маяковского<sup>99</sup>, Эльза, жестоко и не очень объяснимо отказывая сватавшимся к ней и потом страдавшим талантам, как бы мстила за утерянного гения — Маяковского и не успокоилась, пока не получила Луи Арагона, поэта значительного, хотя и калибром поменьше. Вполне может быть, чужая душа — потемки. Правда, кое-что очевидно: на фотокарточках молодая Эльза — тихая, робкая и, видно, не очень уверенная в себе, гораздо красивее сестры-скандалистки.

Но, видимо, правы мужчины, когда утверждают, что в женщинах их привлекает не столько внешность, сколько природный магнетизм, дерзость и пристрастие к сексу, то самое половое любопытство, которым славилась Лиля Брик. Музыкант Андрей Макаревич, когда мы с ним рассуждали о феномене Лили, вспомнил, какое впечатление на него произвела в свое время жена Джона Леннона Йоко Оно. Казалось бы, что такого в этой маленькой женщине? Но когда Йоко заговорила, когда заблестели ее глаза, когда лицо озарилось ежесекундным движением, она совершенно преобразилась и сразу стала невероятно интересной...

Маяковский, конечно, с самого начала вовсю заваливал свою Лиличку горячечными стихами. Осенью 1915-го была написана «Флейта-позвоночник». Она печаталась (с цензурными купюрами) в придуманном Маяковским альманахе «Взял», а потом и в одноименном издательстве отдельной книжкой. Гораздо позже, уже в 1919-м, Лиля Брик вручную переписала поэму для самодельной книги, проиллюстрированной автором собственными акварелями. В этих стихах — адские муки ревности, желчь, боль, ярость, отчаяние. А возлюбленная — «накрашенная, рыжая» Лиля — предстает чуть ли не той самой ведьмой, которая чудилась Пришвину:

...Версты улиц взмахами шагов мну.  
Куда уйду я, этот ад тая!  
Какому небесному Гофману  
выдумалась ты, проклятая?!

.....  
Бог потирает ладони ручек.  
Думает бог:  
погоди, Владимир!

Это ему, ему же,  
чтоб не догадался, кто ты,  
выдумалось дать тебе настоящего мужа  
и на рояль положить человечьи ноты.  
Если вдруг подкрасться к двери спальной,  
перекрестить над вами стёганье одеялово,  
знаю —  
запахнет шерстью паленой,  
и серой издымится мясо дьявола.  
А я вместо этого до утра раннего  
в ужасе, что тебя любить увели,  
метался  
и крики в строчки выгранивал,  
уже наполовину сумасшедший ювелир.

.....  
Делай что хочешь.  
Хочешь, четвертуй.  
Я сам тебе, праведный, руки вымою.  
Только —  
слышишь! —  
убери проклятую ту,  
которую сделал моей любимой!..

Неясность своего положения, безумная ревность к мужу, который продолжал жить с Лилей как ни в чем не бывало (не может же быть, что они не спят вместе!), разрывали нервного Маяковского на куски. Летом 1916-го он чуть было не застрелился. «Всегдашние разговоры Маяковского о самоубийстве! Это был террор. В 16-м году рано утром меня разбудил телефонный звонок. Глухой, тихий голос Маяковского: “Я стреляюсь. Прощай, Лилик”. Я крикнула: “Подожди меня!” — что-то накинула поверх халата, скатилась с лестницы, умоляла, гнала, била извозчика кулаками в спину. Маяковский открыл мне дверь. В его комнате на столе лежал пистолет. Он сказал: “Стрелялся, осечка, второй раз не решился, ждал тебя”. Я была в неопишемом ужасе, не могла прийти в себя. Мы вместе пошли ко мне, на Жуковскую, и он заставил меня играть с ним в гусарский преферанс. Мы резались бешено»<sup>100</sup>.

Самоубийства Маяковского боялись многие в его окружении, такой уж у него был темперамент — испуганный, порывистый. Всю жизнь — игра в рулетку с самим собой. Отсюда и бешеный азарт, страсть к играм, вечные проигрыши и выигрыши. Вот и Эльза в декабре 1916-го получила от Маяковского письмо со строчкой из «Облака»: «Уже у нервов подкашиваются ноги» — и, испугавшись до чертиков,

что тот покончит с собой (вечная ее фобия), бросилась в Петроград, не спросив у матери, вместе с которой после смерти отца переехала в Замоскворечье. В Петрограде, в доме 52 на Надеждинской (теперь улица Маяковского), куда поэт переселился в конце лета 1915-го, чтобы быть поближе к Брикам, напоролась на угрюмого, в одиночку цедящего вино Маяковского. Так и не дождавшись от него ни слова, попыталась сбежать; но тут уже Маяковский в мрачном сардоническом упрямстве принялся удерживать ее силой. Она вырывалась, тем более что под окнами ее ждал поклонник Владимир Козлинский — художник, потом руководивший созданием петроградских «Окон РОСТА».

«Когда я вышла на улицу, Володя уже сидел в санях, рядом с поджидавшим меня Владимиром Ивановичем. Маяковский заявил, что проведет вечер с нами, и тут же, с места, начал меня смешить и измываться над Владимиром Ивановичем. А тому, конечно, не под силу было отшутиться, кто же мог в этом деле состязаться с Маяковским? И мы, действительно, провели весь вечер втроем, ужинали, смотрели какую-то программу... и смех, и слезы! Но каким Маяковский был трудным и тяжелым человеком!»<sup>101</sup>

Но Бенгт Янгфельдт договаривает за сдержанной Эльзой: «В своих воспоминаниях Эльза молчит о том, что после ее недельного пребывания в Петрограде их отношения возобновились. Вернувшись домой, она немедленно пишет ему письмо, в котором рассказывает, что безутешно плакала в поезде и что “мама и не знала, что ей со мной делать”. “А всё ты — гадость эдакая!” Маяковский пообещал приехать в Москву, и она ждет его с нетерпением: “...Люблю тебя очень. А ты меня разлюбил?” Не получив ответа, 4 января 1917 года она пишет ему снова: “Не приедешь ты, я знаю! <...> Напиши хоть, что любишь меня по-прежнему крепко”. Но Маяковский приехал: в день, когда Эльза отправляла письмо, он получил трехнедельный отпуск в автомобильной роте и уехал в Москву, где встречался с матерью, сестрами и, конечно, с Эльзой. (В автомобильную роту — ту же самую, где служил Осип, — поэт попал при помощи своего тогдашнего обожателя Максима Горького, который через знакомых устроил его туда чертежником. — А. Г.) Нетрудно представить чувство победы, переполнявшее Эльзу, — ведь ей удалось пусть на время, но отвлечь Маяковского от Лили...»<sup>102</sup>

Однако Маяковский в это время был одержим Лилей — женщиной из другого круга: богатой, элегантной,

эксцентричной, начитанной, очень модной, скептической, столичной, знающей несколько языков, объездившей пол-Европы, не очень ему понятной. К тому же он чувствовал, что Лиля, хотя и влюблена в его стихи, не падает в обморок от его красоты, не сохнет по нему, как юная Эльза, как толпы других поклонниц. Она сняла с него желтую кофту, заказала ему новую одежду, галстук, английское пальто, заставила постричься и повела к дантисту — все зубы у Маяковского были гнилые.

Катанян-младший приводит слова Лили об этом, самом начальном, периоде их жизни: «...хотя фактически мы с Осипом Максимовичем жили в разводе, я сопротивлялась поэту. Меня пугали его напористость, рост, его громада, неумная, необузданная страсть. Любовь его была безмерна. Володя влюбился в меня сразу и навсегда. Я говорю — навсегда, навеки — оттого, что это останется в веках, и не родился тот богатырь, который сотрет эту любовь с лица земли.

Не смоют любовь ни ссоры, ни версты.  
Продумана,  
выверена,  
проверена.  
Подъемля торжественно стих строкоперстый,  
клянусь —  
люблю  
неизменно и верно!

Когда мы познакомились, он сразу бросился бешено за мной ухаживать, а вокруг ходили мрачные мои поклонники, и, я помню, он сказал: “Господи, как мне нравится, когда мучаются, ревнуют...”».

«Однажды, — продолжает Катанян, — он попросил рассказать ему об ее свадебной ночи. Она долго отказывалась, но он так неистово настаивал, что она сдалась. Она понимала, что не следует говорить ему об этом, но у нее не было сил бороться с его настойчивостью. Она не представляла, что он может ревновать к тому, что произошло в прошлом, до их встречи. Но он бросился вон из комнаты и выбежал на улицу, рыдая»<sup>103</sup>.

Терзания Маяковского превращались в стихи, а Лилиа его только подначивала: гениально! больше! И она терзала его дальше, всю жизнь. Недаром народное творчество до сих пор порождает на этот трагигэротический сюжет до-вольню развязные вирши. К примеру:

К Лиле Брик  
В койку — прыг!

Или:

Лилька Брик — большая бл\*дь —  
Жизнь испортила Володе.  
Не пускала погулять,  
Не давала толком вроде.  
Лишь бы он стишки писал,  
Мучаясь и проклиная.  
Лишь бы чаще повторял:  
Лиска, киска дорогая.  
Вот стервоза, вот чекистка —  
Супер-пупер эгоистка.

Они встречались пока что полутайно, иногда — в домах свиданий. Лиля Юрьевна еще не впускала его в свою жизнь на постоянных правах. Может быть, еще надеялась вернуть отдалившегося физически Осю? Но тот совсем не ревновал — напротив, по уши влюбился в громогласного поэта, обещал покупать у него построчно стихи для последующих изданий. Даже прибил в своей комнате простую полку, дескать, это для всех футуристических изданий Маяковского. Первой книгой на этой полке стала оплаченная им «Облако в штанах». Лиля Юрьевна вспоминала, что Ося даже «стал ходить вразвалку, заговорил басом и написал стихи, которые кончались так:

Я сам умру, когда захочется,  
и в список добровольных жертв  
впишу фамилию, имя, отчество  
и день, в который буду мертв.  
Внесу долги во все магазины,  
куплю последний альманах  
и буду ждать свой гроб заказанный,  
читая «Облако в штанах»»<sup>104</sup>.

А в футуристическом альманахе «Взял» Осип дебютировал с первой литературно-критической статьей «Хлеба!», длиной в несколько абзацев, пестрящей почти витринными, рекламными интонациями: «Радуйтесь, кричите громче: у нас опять есть хлеб! Не доверяйте прислуге, пойдите сами, встаньте в очередь и купите книгу Маяковского «Облако в штанах». Бережней разрезайте страницы, чтобы, как голодный не теряет ни одной крошки, вы ни одной буквы

не потеряли бы из этой книги-хлеба. Если же вы так отравлены, что лекарство здоровой пищи вам помочь не может, умрите — умрите от своей сахарной болезни...»<sup>105</sup>

Бацилла футуризма оказалась заразительна. Буржуи-экспериментаторы Брики превращались в покровителей пестрой авангардной толпы. Глашатай нового искусства Маяковский оказался у них в плену. А вместо Эльзиных глаз ему сияли теперь глаза-небеса «проклятой» любимой — Лили:

Круглые  
да карие,  
горячие  
до гари.

Слышалась музыка революции. А глава про Эльзу — «Кракс!» — и превратилась в еще одну главу про Лилию. Ну а как еще? Ведьма, волшебница!

## НОГИ ТВОИ ИССТУПЛЕННО ГЛАДИЛ...

Итак, новый, большой и громогласный возлюбленный, опасный зверь-футурист был приручен и посажен на цепь. Одев Маяковского, как благородного денди, в шляпе и с тростью, Лилия запечатлелась с ним на первой совместной фотографии. На снимке муза блещет фирменной, жемчужной, похожей на оскал улыбкой, поэт же преданно и обожающе прижимается к боготворимому лицу — как будто вождя, но робея слиться с ним воедино.

Цепь эту Маяковский искал сам. У него не было своего дома, не было умных ценителей-опекунов, а тут — нате! — и покровитель, и муза в одной связке. Брики, большие слухачи и разгадыватели талантов, утомившись якшаться с банкирами и богачами, сразу поняли, кто к ним прибил, и возликовали. Их квартира тут же превратилась в литературный салон, а Лилия Юрьевна — в салонную царицу, как мадам Рекамье или Гертруда Стайн.

Это сейчас все салоны переместились в Фейсбук. В наших столицах днем с огнем не найти не то что домашних литературных четвергов или пятниц — даже жалкой кафешки или бара, где бы регулярно собирался творческий люд, не отыщешь. Впрочем, порой случаются и сходки, и форумы молодых писателей, на которых крутятся романы и начинаются группки и даже совместные арт-проекты. На

знаменитом литературском форуме в подмосковных Липках, в бывшем пансионате для космонавтов, я когда-то познакомилась с половиной ныне действующих русских авторов, причем в декорациях и нарядах более чем компрометирующих (хотя, по сути, невинных): кто-то был в красных трусах, другие парились в сауне, и у всех горели глаза. Как сказал Маяковский на одной из бриковских посиделок: «Вот так, дома, за чаем, и возникают новые литературные течения»<sup>106</sup>. Иногда не дома, иногда не за чаем, а за чем-нибудь покрепче, но Маяковский был невероятно прав.

«У нее карие глаза. Она большеголовая, красивая, рыжая, легкая, хочет быть танцовщицей. Много знакомых... — описывает укротительницу Маяковского формалист Виктор Шкловский. — Л. Брик любит вещи, серьги в виде золотых мух и старые русские серьги, у нее жемчужный жгут, и она полна прекрасной чепухой, очень старой и очень человечеству знакомой. Она умела быть грустной, женственной, капризной, гордой, пустой, непостоянной, влюбленной, умной и какой угодно. Так описывал женщину Шекспир в комедии»<sup>107</sup>.

И вот у этой шекспировской женщины за черным чаем и бутербродами (почти как когда-то в салоне жены и дочерей писателя и историка Николая Карамзина) собирались самые разные люди: художники, финансисты, гении. Шла Первая мировая, на фронт и обратно мотались знакомые. Осипу Максимовичу как еврею полагалось под конвоем ехать служить на станцию Медведь, а потом на передовую, но Лиля в слезах заявила, что перестанет его уважать и не простит никогда, если он согласится везти себя, как каторжного. В итоге Ося симулировал болезнь и, увильнув от армии, до самой революции жил полулегально — и при этом умудрился развернуть бурную деятельность в их с Лилей новоявленном салоне на улице Жуковского, где глаз радовали изящные безделушки, подушки, шелковая скатерть, фыркающий паром никелированный кофейник. К Брикам приходили Борис Пастернак, Владимир Хлебников, Корней Чуковский, лингвисты Лев Якубинский, Евгений Поливанов... «Две маленькие нарядные комнатки. Быстрый худенький Осип Максимович. Лилия Юрьевна, улыбающаяся огромными золотистыми глазами. Здесь единственное место в Питере, показавшееся мне тогда уютным»<sup>108</sup>, — признавался поэт-футурист Сергей Спасский.



Появляется в петроградском гнездышке и поэт Николай Асеев, прошедший с Маяковским весь литературный путь, до самого последнего дня: «И вот я был введен им в непохожую на другие квартиру, цветистую от материи ручной раскраски, звонкую от стихов, только что написанных или только что прочитанных, с яркими жаркими глазами хозяйки, умеющей убедить и озадачить никогда не слышанным мнением, собственным, не с улицы пришедшим, не занятым у авторитетов. Мы — я, Шкловский, кажется, Каменский — были взяты в плен этими глазами, этими высказываниями, впрочем, никогда не навязываемыми, сказанными как бы мимоходом, но в самую гущу, в самую точку обсуждаемого. Это была Лиля Юрьевна Брик, ставшая с той поры главной героиней стихов Маяковского»<sup>109</sup>.

Читались стихи, сочинялись теоретические статьи и манифесты. Сборники по теории поэтического языка (вот оно, зарождение знаменитого ОПОЯЗа) печатались в издательстве Осипа Брика с аббревиатурой ОМБ на обложке. Маяковский из Москвы слал Лиле пылкие письма. Позже он подарит ей знаменитое кольцо с тремя выгравированными по внешней окружности буквами Л. Ю. Б., которые читались бесконечным уроборосом: люблю, люблю, люблю... А в ответ получит от Лили кольцо с латинскими инициалами WM. Оба эти кольца Лиля Юрьевна носила в старости на груди, как кулоны.

Ося издал альманах «Взял», придуманный Маяковским, — 500 экземпляров с новаторскими стихами Пастернака, Асеева, Бурлюка, самого Маяковского... Изданный на бумаге верже, в суровой обертке, названный словом, которым, если верить Лиле, Маяковский хотел наречь сына. Сына не было — зато был футуризм.

Вместо привычных дамских альбомов, непременно атрибута салонов XIX века, во славу хозяйки во всю стену был повешен огромный рулон бумаги, куда каждый мог написать что вздумается. Лиля вспоминала: «Володя про Кушнера\*: «Бегемот в реку шнырял, обалдев от Кушныря»; обо мне по поводу шубы, которую я собиралась заказать: «Я настаиваю, чтобы горностаевую»; про только что купленный фотоаппарат: «Мама рада, папа рад, что купили

---

\* Борис Анисимович Кушнер (1888—1937) — поэт-футурист, один из основателей ОПОЯЗа, сотрудник журнала «ЛЕФ». В 1935 году арестован, в 1937-м расстрелян «за участие в контрреволюционной организации».

аппарат”. Я почему-то рисовала тогда на всех коробках и бумажках фантастических зверей с выменем. Один из них был увековечен на листе с надписью: “Что в вымени тебе моем?” Бурлюк рисовал небоскребы и трехгрудых женщин, Каменский вырезал и наклеивал птиц из разноцветной бумаги, Шкловский писал афоризмы: “Раздражение на человечество накапкапливается по капле”»<sup>110</sup>.

Для Шкловского знакомство с Бриками стало серьезной вехой в его авантюрной автобиографии. В своей печальной публицистической книжке «Третья фабрика» он вспоминал: «Среди туркестанских вышивок, засовывая шелковые подушки за диван, пачкая кожей штанов обивку, съедая всё на столе, варился с другими у Бриков. На столе особенно помню: 1) смоква, 2) сыр большим куском, 3) паштет из печенки»<sup>111</sup>.

На бриковском диване, где Шкловский от смущения запихнул все подушки между спинкой и сиденьем, он познакомился с Романом Якобсоном — будущим другом, еще одним претендентом на сердце Эльзы, теоретиком структурализма, основателем московского, а затем и пражского лингвистических кружков, профессором Гарвардского и Массачусетского университетов. Лет через сорок его даже номинируют на Нобелевскую премию по литературе, а пока он просто Ромка, детский друг сестричек Каган. Их с Эльзой прочили друг другу еще с пеленок. Он и вправду влюблен всерьез и сватается бесперебойно, но Эльза явно всё еще полна Маяковским, полна ревностью, болью, надеждами. Эльза чувствует, что у ее Володи с Лилей не всё безоблачно (и не совсем бесштанно), что та еще раздумывает, приближать ли поэта полностью:

...отобрала сердце  
и просто  
пошла играть —  
как девочка мячиком.

Эльза пока пытается бороться. Растравливает в поэте ревность к бесчисленным Лилиным поклонникам. Срывается к нему в Петроград — правда, всё реже, ведь она учится на архитектора и уже получает похвалы за свои проекты. Но и Якобсон, к ее досаде, после первого визита на улицу Жуковского, откуда его не выпускали дней пять (а по другим сведениям, и все десять), закармливая богемой, колбасой и сыром и поя бесконечным чаем, тоже возвращается в Москву «совершенно бриковским».

Там, на Жуковского, в буржуазном уюте эксцентричной семейки, в квартире с роялем и самоваром, рождались главные идеи больших научных теорий. Осип Брик, бывший торговец кораллами, хоронился от военного призыва, конструируя гигантские карточные домики, слушая литераторов и выколдовывая вместе с ними главные тезы нового искусства. Не зря Лилия любила его. Голова у него была светлая, ум блестящий. Якобсон потом писал, что Брик охотно разбрасывался идеями (к примеру, о звуковых повторях в стихе), не претендуя на авторство и не горя тщеславием. Шкловский объяснял это природной осторожностью, неумением лезть на рожон. «Почему Брик не пишет? У него нет воли к совершенству. Ему не хочется резать, и он не дотачивает нож. Он человек уклоняющийся и отсутствующий. В его любви нет совершенства. И всё от осторожной жизни. Если отрезать Брику ноги, то он станет доказывать, что так удобней»<sup>112</sup>.

Впрочем, возможно, ум и яркость Осипа были фикцией. Возможно, они только чудились и Лиле, и ее литературно-ученому окружению (хотела написать про «эффект Цахеса», но сравнение с гофмановским героем было бы совсем несправедливо и обидно). Вот что, к примеру, писал о нем Вячеслав Всеволодович Иванов через несколько десятилетий после знакомства: «Якобсон... о Бrike неизменно отзывался как о гении, что не переставало меня удивлять (чтобы удостовериться в степени обоснованности этой оценки, я позднее взял у Лили Юрьевны всё, что у нее было из его рукописных ненапечатанных работ и лекций: следов гениальности не нашел)»<sup>113</sup>.

Тем временем вокруг, параллельно спорам и игре в карты на Лилиной кухне (резались обычно в «тетку», «винт», «покер», причем на деньги, иногда на валюту, проигрывая и выигрывая астрономические суммы), бурлили социальные катаклизмы. С хлебных очередей, с армейского ропота, со зверствующей инфляции начиналась Февральская революция. Маяковский пишет пацифистскую поэму «Война и мир», которую Горький печатает в своем журнале «Летопись». Свержение монархии, отречение Николая II на станции Дно — всё рождало эйфорию. Интеллигенция ходила счастливая, будто надышавшаяся эфиром. Слушала музыку революции.

В марте 1917-го Маяковского избирают в президиум Союза деятелей искусств, куда входит вся палитра политических и эстетических групп. Маяковский, который вот-

вот станет «чистить себя под Лениным» и рекламировать в стихах госпродукты, выступает против смешения политики и искусства (хотя и пишет посвященное Лиле стихотворение «Революция» — Лиле теперь посвящается совершенно всё, даже созданное еще до «радостнейшего» знакомства). Горький основывает газету «Новая жизнь», в которой публикуются и Ося, и Маяковский. И если Маяковский государства пока сторонится, Ося держит нос по ветру — даже с толпой встречает возвращающегося из Германии Ленина на Финляндском вокзале.

В письмах, летавших в то время между Лилей и Маяковским, Октябрьской революции как будто нет, единственная примета — смена Лилиного адреса. После большевистского переворота в доме на улице Жуковского освободилось много квартир (кто-то из жильцов бежал, кто-то погиб). Брики, не растерявшись, тут же переехали из двухкомнатной в шестикомнатную. С развалом армии и страны Осипу больше не нужно было скрываться от мобилизации. Он к тому времени уже познакомился с наркомом просвещения Луначарским и выполнял роль посредника между новым правительством и пестрым Союзом деятелей искусств. Его даже избрали в Петроградскую городскую думу по списку РСДРП, хотя в «Новой жизни», куда Осип был принят на постоянную работу, он как будто отрешивается от связи с большевистской партией и критикует пролеткультовскую программу. Большевики собирались воплощать революционное содержание в старых формах, ну а как же словотворчество, авангардный прорыв? Брик, однако, принимает решение использовать свое избрание депутатом Думы во благо искусству, для спасения его от вандализма. Маяковский, впрочем, тогда настолько не ужился с большевизмом, что в знак протеста даже уехал из Петрограда в Москву, где оставался до лета 1918-го.

Из Москвы он мимоходом пишет Лиле про клуб Бурлюка и Каменского «Кафе поэтов» (реинкарнацию питерского артистического кабачка «Бродячая собака»), про «елку футуристов» (в программе значились рычание, хохот, предсказания, ливень идей и пр.), про избрание короля поэтов: с большим отрывом победил Северянин, Маяковский занял второе место, Каменский — третье. Председателем президиума выступал циркач Валерий Дуров, а Яacobсон помогал подсчитывать голоса. Футуристы потом бойкотировали результат и даже устроили вечер под лозунгом «Долой ваших королей!». Помимо «Кафе поэтов» футуристы

постоянно выступали еще в подвальном «Питтореске». Буржуа приходили сюда поесть и послушать поэтов-скандалистов. Вход был платным, а футуристы скандировали строки Маяковского:

Ешь ананасы, рябчиков жуй,  
День твой последний приходит, буржуй!

Атмосфера немного напоминала теперешние «камеди клубы», в которых богатые и известные люди за бокалом слушают, как их ругают со сцены. В Москве Маяковский явно прожужжал всем уши про свою возлюбленную. Народ, судя по следующей реплике в его письме, в ответ пожимал плечами:

«Счастливые люди, побывавшие в этой сказочной стране, называемой “у Вас”, отделиваются, мерзавцы, классической фразой “Лиля как Лиля!”»<sup>114</sup>.

«Лиля как Лиля» писала гораздо реже, поначалу называя Маяковского милым Володинойкой, расспрашивала о разной рабочей текучке — публикациях стихов и брошюр. О себе — всегда немного жеманно:

«У меня болит колено, и я вторую неделю не танцую. <...> Я на три фунта потолстела и пришла в отчаяние. Хочу худеть, но почему-то с утра до ночи есть хочется, и не могу удержаться. Комната моя мила, но не очень: многого не хватает (обои, портьеры, лампы)» (заметим, о портьерах и обоях пишется во второй половине декабря 1917-го! — А. Г.).

«У меня есть новые, очень красивые вещи. Свою комнату оклеила обоями — черными с золотом; на двери красная штофная портьера. Звучит всё это роскошно, да и в действительности довольно красиво. Настроение из-за здоровья отвратительное. Для веселья купила красных чулок и надеваю их, когда никто не видит — очень весело!!»<sup>115</sup> (это уже апрель 1918-го).

Разгорается Гражданская война, но у Лили свое веселье — вожделенные обои и портьеры наконец-то добыты.  
А вот еще:

«У меня совсем заболели нервы. Мы (конечно, Лиля и Осик. — А. Г.) уезжаем в Японию. Привезу тебе оттуда халат. Ноги болят, но я уже танцую. Питер надоел так, как еще ничего в жизни не надоело. Оська сам напишет тебе

про свои дела. <...> Я была всё время в ужасной тоске. Теперь повеселела — после того как мы окончательно решили ехать. Ты написал что-нибудь новое? Я совсем не выхожу. Не бываю даже в балете в свой абонемент — такие сугробы!»<sup>116</sup> (31 декабря 1917 года).

О грандиозной поездке Маяковскому сообщается как бы между прочим — не как возлюбленному, а как знакомцу семьи.

Поездка в Японию так и не состоялась, но занятия балетом и вправду шли полным ходом в специально переоборудованной комнате. Лилия переодевалась в пуанты и пачку и так позировала фотографу (потом она будет хвастаться этим снимком Майе Плисецкой, и та не удержится от язвительного замечания по поводу неправильно повернутого носка).

Занималась с Лилей балерина Александра (Пася) Доринская, танцевавшая с Вацлавом Нижинским в дягилевских Русских сезонах, но отрезанная от труппы с началом войны; собственно, она и собиралась в Японию на гастроли, а Лиле предлагала присоединиться. Б. Янгфельдт в комментариях к переписке Маяковского и Брик приводит отзыв Доринской о своей ученице: «Среднего роста, тоненькая, хрупкая, она являлась олицетворением женственности. Причесанная гладко, на прямой пробор, с косой, закрученной низко на затылке, блестящей естественным золотом своих воспетых [в “Флейте-позвоночнике”] “рыжих” волос. Ее глаза действительно “вырылись ямами двух могил” (из той же поэмы. — Б. Я.) — большие, были карими и добрыми; довольно крупный рот, красиво очерченный и ярко накрашенный, открывал при улыбке ровные приятные зубы. Бледные, узкие, типично женские руки, с одним только обручальным кольцом на пальце, и маленькие изящные ножки, одетые с тонким вкусом, как, впрочем, и вся она, в умелом сочетании требований моды с индивидуальностью подхода к ней. Дефектом внешности Лили Юрьевны можно было бы посчитать несколько крупную голову и тяжеловатую нижнюю часть лица; но, может быть, это имело свою особую прелесть в ее внешности, очень далекой от классической красоты»<sup>117</sup>.

Сколько длилась осада поэтом крепости своей музы и когда она была взята, уже не узнать. «Когда я в первый раз пришла к нему, — вспоминает Лилия Юрьевна, — на меня накинулась хозяйская крошечная собачонка, я страшно

испугалась и никогда больше не видела, чтобы Володя так хохотал. “Такая большая женщина испугалась такой капельной собачонки!”»<sup>118</sup>. Но это было еще в пору работы над «Флейтой-позвоночником», писавшейся мучительно, частями. Брик тогда обещала Маяковскому приходить к нему и слушать каждое стихотворение. К свиданиям поэт готовился тщательно: надевал самый красивый галстук, ставил в вазу цветы, накрывал полный стол угощений специально для Лили. Происходило ли тогда между ними что-то помимо чтений? Скорее всего да, но Маяковский тем не менее мучился страшно. Это видно и по знаменитому стихотворению «Лиличке! (вместо письма)», написанному в конце мая 1916-го. Там и откровение о первом физическом контакте:

Вспомни — за этим окном впервые  
Руки твои иступленно гладил.

В первом варианте — как, судя по всему, и в действительности — были «ноги». Но Маяковский стыдливо заменил их на «руки» — получилось не так вульгарно.

...День еще —  
выгонишь,  
может быть, изругав.  
В мутной передней долго не влезет  
сломанная дрожью рука в рукав.  
Выбегу,  
тело в улицу брошу я.  
Дикий,  
обезумлюсь,  
отчаяньем иссечась.  
Не надо этого,  
дорогая,  
хорошая,  
дай простимся сейчас.  
Всё равно  
любовь моя —  
тяжкая гиря ведь —  
висит на тебе,  
куда ни бежала б.  
Дай в последнем крике выречь  
горечь обиженных жалоб...

Крик был далеко не последний. Крик этот длился целых 15 лет. Но о каких же жалобах шла речь?

...Кроме любви твоей,  
мне  
нету солнца,  
а я и не знаю, где ты и с кем.  
Если б так поэта измучила,  
он  
любимую на деньги б и славу выменял,  
а мне  
ни один не радостен звон,  
кроме звона твоего любимого имени.  
.....  
Дай хоть  
последней нежностью выстелить  
твой уходящий шаг.

Сразу вслед за «Лиличке!» писалась поэма «Дон Жуан», которая и вовсе вывела музу из себя. «Я рассердилась, что опять про любовь, — как не надоело! Володя вырвал рукопись из кармана, разорвал в клочья и пустил по Жуковской улице по ветру»<sup>119</sup>.

Словом, Маяковский томился от безответности. Лиля вроде бы находилась рядом — гуляла с ним ночами в красивой шляпке, бродила по магазинам, покупая карандаши для Оси, — но в то же время витала далеко. С ним, но не с ним одним. Стихи его она обожала, но Маяковского-мужчину — любила ли? Вряд ли. При этом отпускать поводья не соглашалась. Какой такой последний крик, какая такая последняя нежность? Шаги ее удалялись, но как только Маяковский начинал отчаиваться и прощаться, приближались вновь, утешая, возрождая пламя. И как бы Маяковский ни звенел своей цепью, как бы ни метался, вырывывая по-володьи хоть какую-то определенность в отношениях (пан или пропал), Лиля привычно играла его сердцем, как мячиком. То напишет ласковое, то отстранится. То забежит на чаек, то спрячется. И не то чтобы это были сознательные манипуляции (хотя отчасти, наверное, и так). Просто для флирта и альковных утех у нее хватало ухажеров и без великого футуриста. Но отпустить его насовсем было нельзя — у Лили имелся нюх на истинные таланты, и бросаться столь драгоценным трофеем она не собиралась.

До конца жизни Брик ревностно напоминала окружающим, что всё творчество Маяковского посвящалось ей, что его любовь к ней увековечена до скончания времен «и не нашелся еще богатырь...». Вообще-то похоже на неистребимое женское тщеславие, обычно разбухающее у дам



от поклонения каких-нибудь знаменитостей или исторических фигур. Но в данном случае тщеславие было помножено на искреннее и мудрое восхищение талантом. Вот и Зиновий Паперный высказывался в том же духе: «Все годы, что я знал Лилю Брик, всю эту четверть века, она жила лирикой Маяковского. Не то чтобы “цитировала” его стихи, но произносила их как что-то близкое, родное, навсегда укорененное в самом ее существе. Это были, как сказал поэт, цитаты сердца. Создавалось даже впечатление, что Маяковского-поэта она любила более сильно и безоговорочно, чем Маяковского — близкого друга. Строки его стихов и поэмы произносила так, словно тоже незримо их писала»<sup>120</sup>.

Даже слепо обожавший Лилю Юрьевну пасынок, Василий Катанян-младший, признаётся: «Временами мне казалось, что она больше любила его поэзию, чем его самого. Повторяю — казалось»<sup>121</sup>. Впрочем, он же приводит такой эпизод. Как-то в сороковых годах обсуждали с Лилей Юрьевной поэму Николая Асеева:

...А та, которой  
он всё посвятил,  
стихов и страстей  
лавину,  
свой смех и гнев,  
гордость и пыл —  
любила его  
вполовину.  
Всё видела в нем  
недотепу-юнца  
в рифмованной  
оболочке:  
любила крепко,  
да не до конца,  
не до последней  
точки...

«ЛЮ сказала: “Коля судит о Маяковском по себе, а сам полная ему противоположность. Прожил с ним жизнь, но так ничего и не понял. Вот он пишет обо мне: ‘Любила крепко, да не до конца, не до последней точки’. Это неверно, я любила Володю ‘до последней точки’, но я ему не давалась. Я всё время удивлялась от него. А если бы я вышла за него замуж, нарожала бы детей, то ему стало бы неинтересно, и он перестал бы писать стихи. А это в нем было главное. Я ведь все это знала!” Помню, как меня удивили эти слова»<sup>122</sup>.

В общем, Лиля Брик объясняла свое равнодушие как манипуляцию (сомнительную) во имя благой цели. Слова эти действительно удивительны и похожи на довольно-таки неубедительное самооправдание. Многочисленные свидетельства говорят о том, что «до точки» и навсегда Лиля Юрьевна любила лишь одного мужчину, расплзшегося с ней, холодного, не желавшего спать вместе, — Осю, в чем она многожды признавалась. Чего стоит ее фраза, оброненная после смерти Осипа Максимовича: «Когда умер Маяковский, это умер он; когда умер Ося, это умерла я». Или вот этот диалог, приведенный в записных книжках Лидии Гинзбург:

«Биография Маяк[овского] состоит из двух фактов: четырнадцати лет от роду он два месяца сидел в тюрьме, а в 1918 году отвозил на автомобиле одного арестованного. <...> Когда я прочитала это Шкловскому, он сказал:

— Вы не правы — у М[аяковского] есть биография. Его съела женщина. Он двенадцать лет любил одну женщину — и какую женщину!.. А Лилия его ненавидит.

— Почему?

— За то, что он дворянин, что он мужик. И за то, что гениальный человек он, а не Ося.

— Так Брика она любит?

— Ну конечно»<sup>123</sup>.

Ее диалог с маяковедом Олегом Смолой, состоявшийся в год ухода, тоже подтверждает бесчисленные свидетельства:

«*Л[илия] Ю[рьевна Брик]*: Если Маяковский был гениальный поэт, то Осип Максимович Брик — гениальный человек. Того Маяковского, которого мы знаем, не было бы, если бы не было Брика. Нет, публично я не заявила бы этого — слишком смелое утверждение. Но это так. Осип Максимович был очень хороший человек — бескорыстный, бесконечно добрый, умный, чуткий. У нас по ночам подолгу засиживались, играя в карты. В комнате дыма — не продохнешь, все курят. И вот папирос ни у кого уже нет. Гости расходятся, и, когда мы остаемся одни, Володя вдруг вытаскивает из кармана пиджака три папиросы. Брик так никогда бы не сделал, всё, что у него есть, он всё отдаст. Рядом с ним Володе было очень хорошо.

*Я* (Олег Смола. — *А. Г.*): Что же, Маяковский был скуп?

*Л. Ю.*: Что вы, совсем нет. Просто он не мог заснуть, не покурив. А Брик готов был не спать, но отдаст всё, что есть.

*Я*: Скажите, Лилия Юрьевна, а были у Владимира Владимировича недостатки?

*Л. Ю.:* Ну у кого же их нет? Были, конечно.

*Л. Ю.* после этих слов задумалась, даже, как мне показалось, чуть-чуть растерялась, не зная, о каком недостатке Маяковского сказать.

*Я:* Наверное, он был очень ревнив.

*Л. Ю.:* А, вы вот о каких недостатках... Да, он был очень ревнивый. Причем чаще всего без всяких к тому оснований. Он скорее придумывал себе причину для ревности, воображал ее, и иногда это ему нужно было для творчества, например, в работе над поэмой “Про это”. Нет, В. В. был хороший человек, — почти задумчиво добавила *Л. Ю.*»<sup>124</sup>.

Ревности действительно хватало. Во-первых, такую свободонравную и своевольную трудно не ревновать. Во-вторых, холерик Маяковский и вправду сам себя доводил до изнеможения («отчаяньем иссечась»). Читая их переписку, нельзя не заметить, что пасы Лили ленивы, неторопливы, полны достоинства и легкого кокетства. Маяковский же донельзя нетерпелив. Он мечется. Он обидчиво сравнивает количество писем, которое Лилия шлет ему, с количеством писем, отправленных ею своему старому любовнику и другу Льву Гринкругу или маме с Эльзой. Даже вычерчивает (чертежник же!) шуточный график. Выходит, что ему, Маяковскому, писем достается меньше всего. Он даже рисует, как бы сейчас сказали, смайлики — схематические изображения лиц, своего и Гринкруга. Гринкруг улыбается, Маяковский печален.

«Пиши же, Лиленок! Мне в достаточной степени отвратительно. Скучаю. Болею. Злюсь»<sup>125</sup> (март 1918 года).

«Дорогой, но едва ли милый ко мне Лилик!

Отчего ты не пишешь мне ни слова? Я послал тебе три письма и в ответ ни строчки. Неужели шестьсот верст такая сильная штука? Не надо этого, детанька. Тебе не к лицу! Напиши, пожалуйста, я каждый день встаю с тоской: “Что Лилия?” Не забывай, что кроме тебя мне ничего не нужно и не интересно. Люблю тебя»<sup>126</sup> (апрель 1918-го).

В начале марта 1918 года в отношении Лили к Маяковскому произошел заметный перелом. Лед тронулся. Вместо привычного «Володеньки» в ее письме вдруг возникает «милый мой милый Щененок». «Совсем он был еще тогда щенок, — вспоминала потом Лилия Юрьевна, — да и внешностью ужасно походил на щенка: огромные лапы и голова, — и по улицам носился, задрав хвост, и лаял зря, на кого попало, и страшно вилял хвостом, когда провинится. Мы

его так и прозвали Щеном, — он даже в телеграммах подписывался Счен, а в заграничных Schen»<sup>127</sup>.

Причиной такой перемены может быть не только внутреннее созревание Лили до нежности, но и вещи абсолютно случайные, ситуативные — жар и слабость, которые тогда ее мучили, на фоне успехов обаятельного Маяковского в Москве. Ей, видимо, вдруг стало скучно и одиноко. «Володенька» в январском письме мимоходом отчитывается: «Все женщины меня любят. Все мужчины меня уважают. Все женщины липкие и скушные. Все мужчины прохвосты»<sup>128</sup>. А в Лиле (далеко не в последний раз) проснулась собственница; вслед за «Щененком» сразу же следует требовательное: «Ты мне сегодня всю ночь снился: что ты живешь с какой-то женщиной, что она тебя ужасно ревнует и ты боишься ей про меня рассказать. Как тебе не стыдно, Володенька?»<sup>129</sup>

«Володенька» явно шокирован таким поворотом и на этот раз пишет исключительно Лиле (а не «Лилинку и Осюхе», как обычно). Начинает с признания, что всё время читает ее письмо (еще бы такая неожиданная нежность!), жалуется, что Щененок он хоть и Лилин, но отданный в чужие руки и потому облезший, ребра наружу, и глаз у него красный от слёз. И тут же спешит оправдаться, дескать, сон Лиличкин вовсе не в руку: «От женщин отсаживаюсь стула на три, на четыре — не надышали б чего вредного»<sup>130</sup>. Вот после этого прорыва и начинается череда жалобных писем поэта с угрозой обзавестись могилкой с червями, потому что Лили молчит. В ответ он снова получает от музы очень нежное письмо, в котором та подхватывает слащаво-сюсюкающий стиль поэта, называет его снова Щененком и детанькой, уверяет, что любит и что кольца его (того самого кольца-печатки) не снимает.

Женщины, от которых якобы отсаживался Маяковский, и вправду существовали. Вернее, одна женщина — художница Евгения Ланг, с которой он познакомился в 1911 году на похоронах живописца Валентина Серова и с которой закрутил было роман, но потом расстался. За время их разлуки художница успела дважды выйти замуж не по любви, а Маяковский втрескался по уши в Лилию. В Москве поэт и Евгения Ланг снова сошлись. Он жил тогда не с матерью и сестрами на Пресне, а в гостинице «Сан-Ремо» и появлялся с Евгенией на людях, в том же Политехническом музее на избрании короля поэтов. На этих вечерах бывала и Эльза с Якобсоном — так, видно, сплетня дошла

до Лили. Скорее всего, мучительное для Маяковского отсутствие посланий было сознательным Лилиным приемом: раз ценный поклонник начал отбиваться от рук, стоило его выдрессировать. Испугать молчанием.

Про этот свой пореволюционный роман с Маяковским Ланг рассказывала В. Дувакину в 1969 году. Всё закрутилось, когда Маяковский высмотрел и узнал ее в толпе, явившейся к нему на выступление в Политехнический музей в июле 1917-го. Евгения пошла за ним, как сомнамбула, бросив подругу. «Дошли мы до кафе “Сиву”. Такое было на Неглинной кафе “Сиву”. Зашли мы в это кафе. Оно пустое было почти что в это время, каких-то два столика было занято, и оно было полутемное. Мы заказали что-то, кофе, кажется. И вот стали друг другу рассказывать эти несколько лет. Он мне сказал: “В моей жизни есть женщина, она рыжая, она еврейка. И я дружен с ее мужем”»<sup>131</sup>.

Они стали встречаться каждый день, Евгения даже объявила мужу-авокату, что разводится с ним. «Я вам скажу, — призналась она Дувакину, — не хочу скрывать, это были месяцы счастья. Маяковский умел, когда хотел, давать счастье. Как во сне, была зима, с его выступлениями, китайские тени мы с ним делали, ходили по Москве, бесконечные прогулки по сугробам, и были в чаду»<sup>132</sup>.

Но летом 1918-го идиллия кончилась: в Москву — сниматься в фильме по сценарию Маяковского — приехала Лилия Брик. «В газете была маленькая заметочка: “Возвращается Осип Максимович Брик с супругой”. Как сейчас помню, маленьким шрифтом была в газете заметочка. Я утром пила кофе. Меня это так кольнуло. Я поняла, что в мой покой что-то врывается. Я пошла на Кузнецкий Мост. Мы встретились с Маяковским недалеко от Лубянки, против дома, где я родилась, и я говорю: “Володя, я сегодня в газете прочла, что Брики возвращаются”. “Да, — говорит, — сегодня утром получил от них письмо. Они приезжают завтра”. А я человек, может, и резкий, но я люблю ясные ситуации. Я говорю: “Вот видишь, Володя, я тогда очень просто покончила со своими личными делами. Я совершенно свободна. Теперь твое дело решать твою и нашу судьбу”. Тогда он мне сказал: “Я с ними расстаться не могу”. Я говорю: “Я понимаю, и я ухожу из твоей жизни. Не будет ни сцен, ни слёз, ни упреков. Была зима, было каких-то восемь месяцев, было счастье. Не в каждой человеческой жизни это бывает”. Тогда он сказал: “Но ведь они же приезжают только завтра. Сегодняшний день еще наш”.

А я ему сказала: “Знаешь что, Володя, я сейчас храбрая, а вот буду ли я храбрая завтра, я не знаю. И я предпочитаю с тобой покончить сейчас. Будь счастлив, не бойся никаких упреков, не бойся слёз. Я не с собой кончаю и никаких истерик не устраиваю. Было хорошо — за хорошее спасибо”. Тогда он мне ответил: “Значит, ты меня никогда не любила”. Я говорю: “Ну, это нелогичный вывод, совершенно нелогичный, потому что любовь не в том, чтобы устраивать сцену, кататься, не в том она”. Тут же повернулась и по той же Лубянке пошла к себе домой на Сухареву площадь»<sup>133</sup>.

По рассказам Ланг, Маяковский ей потом звонил ночью домой, когда она рисовала череп, который они купали вместе, и уверял, что всё равно будет ее ждать, но она положила трубку. И потом, через год, когда Ланг собиралась уезжать за границу и прощалась с поэтом всерьез, он якобы снова твердил, что ее не отпустит, но она сказала, как отрезала: мол, ты сделал выбор, у тебя Брики, а я, мол, буду художницей. Заявление было не пустым, потому что Ося, да и все футуристы тогда проповедовали отказ от станковой живописи как от пережитка и полный переход к плакату.

Конечно, Евгения Ланг, как свойственно многим женщинам, верила, что гений любил ее по-настоящему, а исследователи по злому умыслу преуменьшали его чувства:

«Е[вгения] Л[анг]: Катанян совершенно этот период в Москве обходит молчанием. Вот тут-то они против меня зуб большой возымели. Понимаете, что он тут в Москве-то застрял.

В[иктор] Д[увакин]: А они жили в Петербурге?

Е. Л.: Они жили в Петербурге. Он туда часто ездил. Я не подозрительная и не ревнивая, и потом, я чувствовала, что человек так мне принадлежит, что мне нечего было ревновать, понимаете. Ну, поехал и поехал. И всё. Возвращался он всегда очень быстро из Ленинграда (Петроград был переименован в Ленинград спустя четыре дня после смерти вождя революции. — А. Г.)»<sup>134</sup>.

Однако, судя по всему, Маяковский и вправду любил только Лилию, а с прочими лишь грелся и утешался. По воспоминаниям Евгении Ланг, она порвала с ним в марте — начале апреля 1918-го; Брики же приехали в Москву гораздо позже. Очень возможно, что конец «чаду» был положен не газетной заметкой о приезде Осипа с супругой, а «Щененком» в Лилином письме. Тем более что проницательная Лилия очень тонко ввернула эпизод со сном — никакого сна, скорее всего, на самом деле не было. Это был предупреди-

тельный выстрел, и очень вероятно, что инициатором «отсаживания» был именно Маяковский. Ланг признаёт, что потом поняла, что для поэта романчик с ней был лишь эпизодом. Впрочем, по ее заверениям, Лиля Юрьевна тогда всё же напряглась:

*Е. Л.:* ...У меня только впечатление, что она Маяковского не любила, между прочим, никогда. Так я думаю.

*В. Д.:* Многие так думают.

*Е. Л.:* Мне кажется, что она его не любила. Я к ней неприязни не чувствую никакой. Никакой! Она в его жизни играла большую роль, почему-то трагическую, почему-то всё вышло нехорошо. Но я чересчур мало осведомлена об этом всём, чтобы судить, как это всё было. Я к ней никакой неприязни не чувствую. Наоборот, я считаю: она в его жизни сыграла самую большую женскую роль. Ну и исполать ей, ну и всё.

*В. Д.:* А Лиля о вас знает вообще?

*Е. Л.:* Знает. Терпеть меня не может. Это мне часто передавали. Она говорила, что единственный, так сказать, камень преткновения в ее жизни, где она боялась, была я. Что тут у нее была опасность потерять Маяковского. <...> Но Маяковский мне моей любви к профессии не мог простить. И вот когда он мне ночью позвонил и спросил: “Ты что делаешь?” — я сказала правду: “Я рисую”.

*В. Д.:* Спрашивая, он хотел услышать ответ: “Думаю о тебе”.

*Е. Л.:* Да-да. А я сказала: “Я рисую”. Понимаете, я была для Маяковского чересчур равносильным партнером. Ведь он, как Людмила Владимировна (сестра Маяковского. — *А. Г.*), хотел подчинения себе какого-то полного, а у меня было равенство, у меня никакого подчинения не было.

*В. Д.:* Видите ли, ведь с Лилей Юрьевной, наоборот, отношения были подчиненности...

*Е. Л.:* Вот! Или самому подчиняться нужно. Вот такие люди или хотят подчинить, или сами подчиняются. А я терпеть не могу и не умею никого подчинять, но никогда сама не подчиняюсь.

*В. Д.:* Он всю жизнь, мне кажется, искал абсолютно самоотверженной женщины.

*Е. Л.:* Да-да. За которую можно затоптать, да.

*В. Д.:* И вместе с тем нес Лилину сумочку в руках.

*Е. Л.:* Да»<sup>135</sup>.

История с сумочкой очень известная, за годы пересказов успевшая превратиться в анекдот. Как-то Лиля Брик за-

была в кафе свою сумочку, и Маяковский побежал за ней. В кафе в это время сидела революционерка и журналистка, дипломат и военный политик Лариса Рейснер (вот уж действительно красавица — жаль, умерла в 30 лет от брюшного тифа, выпив стакан сырого молока; но, не умри она, попала бы под репрессии) и сочувствующе спросила: «Вы теперь так и будете таскать эту сумочку всю жизнь?» — на что Маяковский ответил запальчиво: «Я, Лариса, эту сумочку могу и в зубах носить». В любви, дескать, стыда нет.

Словом, отношения Лили и Маяковского были садомазохистские. Вместе с восторгом, добротой, искусством, поэзией и уважением клубились в них и человеческие пороки, и корысть, и нарциссизм, и тяжелые комплексы. Может, потому-то мы и обсуждаем эту любовь до сих пор?

## ВАШЕ ЛИЛИЧЕСТВО

Не все знают, что поэта Владимира Маяковского можно увидеть не только на фотографиях, но и на экране. Кино было новым искусством, волшебным, живым, творящимся на глазах. Лилия не раз будет влюбляться в режиссеров и крутить романы с киношниками. И Осип, и Маяковский писали киносценарии, а Лилия даже сама села в режиссерское кресло (еще одна ее творческая стезя, на которой так ничего и не вышло).

Маяковский не только писал для кино — он в нем снимался. И неудивительно, с такой-то мощной фактурой! «Кинематографщики говорят что я для них небывалый артист. Соблазняют речами, славой и деньгами»<sup>136</sup>, — пишет он Лиле в апреле 1918-го.

Опыт сотрудничества с кинематографом для Лилиного Щененка был далеко не первым. Он уже писал для экрана:

«Погоня за славою» (1913) — сценарий был отнесен на киностудию Перского и категорически отвергнут, а после украден и реализован без упоминания имени Маяковского. Картина была утрачена.

«Я хочу быть футуристом» (1914) — режиссировал Александр Гурьев, Маяковский снимался вместе с клоуном Виталием Лазаренко, с которым очень дружил и для которого даже писал цирковые политические антре и репризы. Эта картина тоже до нас не дошла.

«Драма в кабаре футуристов № 13» (1914) — кинопародия режиссера Владимира Касьянова на уголовно-приклю-



ченческий фильм, со звездным артистическим составом — от Натальи Гончаровой и Михаила Ларионова до братьев Бурлюков. Маяковский, говорят, снимался и там — в роли Демона или Смерти, но проверить это невозможно — в конце тридцатых годов фильм исчез.

В 1918-м поэт получил сразу два заказа от супругов Антик, издателей книжной серии «Универсальная библиотека» и владельцев киноателье «Нептун». Первая картина, по мотивам романа Джека Лондона «Мартин Иден», называлась «Не для денег родившийся». В главной роли — Маяковский, сценарий — Маяковского. До нас она тоже, к сожалению, не дошла. Сюжетная канва ее отчасти перекликалась с личной судьбой автора. Поэт Иван Нов, вышедший из низов, влюбляется в дочь богатых родителей, прибегает к футуристам, зарабатывает славу и состояние, переодевается в респектабельные пальто и цилиндр; но любимая всё равно не отвечает ему взаимностью, а когда всё же оттаивает, он начинает подозревать, что ей нужны только его деньги. На диспуте с фраппированными пушкинистами Нов смахивает с пьедестала — практически «с парохода современности» — бюст Пушкина и даже думает покончить с собой (Маяковский не успокоился, пока не воплотил этот навязчивый сюжет в жизнь), но в итоге стреляет в учебный скелет, избавляется от цилиндра, надевает старую рабочую робу и уходит вдаль, свободный и одинокий. На рекламном плакате, нарисованном самим Маяковским, Иван Нов сжимает опоясавшую его змею (подсознательная аллюзия на Лилию?). Роль буржуазной возлюбленной исполнила Маргарита Кибальчич, прическа у героини была (по воспоминаниям литературоведа Владимира Мануйлова) такая же, как у Лили: гладко зачесанные волосы, разделенные прямым пробором. Брата героини играл тот самый Лев Гринкруг, который по количеству писем, полученных из Петрограда, значительно опережал Маяковского.

Фильм снимали быстро, общими планами, без репетиций. Помимо Гринкруга, в ролях киношных футуристов отметились футуристы всамделишные — Бурлюк, Каменский. Премьера прошла в кинотеатре «Модерн», располагавшемся прямо в гостинице «Метрополь». Это был первый в стране двухзальный кинотеатр, открывшийся еще в 1906 году, потом его переименовали в «Метрополь». Присутствовавший на показе Луначарский остался страшно доволен, и картину крутили во многих городах аж до 1924 года. Потом и она пропала.

Очевидно, именно снимок Маяковского в образе разбогатевшего Ивана Нова имеет в виду его двоюродная сестра Вера Агачева-Нанейшвили, когда пишет:

«До этого я знала его только по фотографии, подаренной им моей маме с надписью: “Дорогой тете Мане. Любящий Володя”. Володя, очевидно, снимался для кино, на фотографии он запечатлен в богатой одежде, с высоким цилиндром на голове. Несмотря на это, он был очень красив, и я много лет любовалась этой фотографией.

Но в 1924 году Володя приехал в Тбилиси, пришел к нам, увидел над письменным столом свою фотографию, снял ее со стены, положил на стол обратной стороной вверх и сказал мне:

— Я очень тебя прошу — не вешай! Эту фотографию я очень не люблю»<sup>137</sup>.

Вторая картина, сценарий которой заказали Маяковскому Антики, — «Барышня и хулиган» по повести итальянца Эдмондо де Амичиса «Учительница рабочих» — дошла-таки до нас. Маяковский там высокий, красивый, но при этом с несколько чаплиновской походкой. Хулигана он играет убедительно. По сюжету лущающий семечки босяк встречает на улице учительницу — ее играет ведущая актриса немого кино Александра Ребикова (потом ее изуродовала базедова болезнь, из-за чего она сначала пряталась в четырех стенах, а потом покончила с собой, приняв смертельную дозу люминала). Хулиган, разумеется, влюбляется и начинает таскаться к ней на уроки. Как-то раз в школе учительницу обижает дебошир, влюбленный хулиган бросается на ее защиту. Мстительный папаша дебошира со своими дружками нападает на рыцаря-хулигана с ножами, и тот умирает в больнице на глазах у возлюбленной, которая целует его в губы и закрывает ему глаза. В первом варианте в финале появлялся священник, но потом его, конечно же, вымарали. Фильм стал популярным, и крутили его довольно долго.

Критик Бенедикт Сарнов утверждал, что смотрел эту картину вместе с Лилей Брик в Институте истории искусств в Козицком переулке и якобы Лиля играла там барышню. То ли Брик Сарнова разыграла, то ли он всё перепутал. Не могла же Лиля Юрьевна сама смешать себя с Ребиковой. Забавно, что Сарнов даже цитирует lamentацию Лили Юрьевны по окончании просмотра. «Я бездарна, — сказала она. — А Володя гений»<sup>138</sup>.

В ответах на анкету журнала «Новый зритель» в 1926 году Маяковский называл обе вышеуказанные работы сенти-

ментальной ерундой, а в других местах ругал их халтурой. Впрочем, критики хвалили его игру, называли многообещающим характерным киноактером. А вот Лилия по поводу Маяковского-актера никакого восторга не испытывала. В ноябре 1936-го нейроморфолог Григорий Поляков законспектировал свою беседу с Лилей Юрьевной о поэте: «Был хороший объект для кино. Актерской одаренности, однако, сам при этом не обнаружил. Никакой роли сыграть не мог. Мог изобразить только себя. <...> Мимика однообразная и небогатая, но очень выразительная. Было несколько выражений»<sup>139</sup>. Осип Максимович в мае 1933 года изъяснялся в том же ключе: «По сравнению с общей большой подвижностью — мимика была скорее малоподвижна. Улыбался нечасто. <...> Голос также не был богат интонациями, но достаточно выразительный»<sup>140</sup>.

Тем не менее, получив от Маяковского предложение сняться в кино («На лето хотелось бы сняться с тобой в кино. Сделал бы для тебя сценарий. Этот план я разовью по приезду. Почему-то уверен в твоём согласии»<sup>141</sup>), охочая до развлечений Лилия загорелась энтузиазмом. Видно, это предложение было отчаянной попыткой заинтересовать, растормошить безучастную Лилю. Попытка сработала — Лилия мгновенно ответила:

«Пожалуйста, детка, напиши сценарий для нас с тобой и постарайся устроить так, чтобы через неделю или две можно было его разыграть. Я тогда специально для этого приеду в Москву. Ответь, возможно ли это, и пошли ответ с Миклашевским (драматург, специалист по комедии дель арте, постоянный гость петроградского салона Бриков, позже эмигрировавший. — А. Г.). Ужасно хочется сняться с тобой в одной картине»<sup>142</sup>.

Сроки, даже по нашим постсоветским меркам, были заданы предельно маленькие, но «детка» всё устроил. Фильм назывался «Закованная фильмой» (слово «фильм», то есть «пленка», тогда употреблялось в женском роде). Маяковский мигом написал сценарий, и они с Лилей сыграли главные роли.

Сюжет фильма, что называется, наваян. Картина была о неразделенной любви, о связи искусства и жизни — словом, обо всём, что горячо и по-настоящему волновало Маяковского. Главный герой, художник, бродит по городу, заговаривает с прохожими, с женой, с другом и видит, что все они вдруг становятся прозрачными, а вместо сердца



Маяковский не только написал сценарий кинокартины «Закованная фильмой», где сыграл вместе с Лилей, но и изобразил любимую на афише. 1918 г.

у них — нет, не пламенный мотор, а черт-те что: у прохожей — безделушки, у жены — кастрюля, у друга — карты и бутылки, у цыганки-гадалки (ее роль исполняла Ребикова) — монеты. И вот, наконец, он идет в кино, на «Сердце экрана». Афиши этого фильма — с балериной, держащей сердце на ладони, — расклеены по всему городу. После показа он подходит к экрану и так сильно аплодирует, что балерина (Лиля Брик) сходит к нему в зал. Они вдвоем выбираются на дождливую улицу, но, испугавшись дождя, балерина вдруг скрывается за запертой дверью. Художник бьется в нее что есть мочи, но тщетно. С горя он заболевает, и служанка бежит в аптеку за лекарствами. По дороге пакет рвется, и лекарства спешно заворачиваются в сорвавшуюся со столба афишу с изображением балерины. В доме художника (преданную жену больной выпроваживает из спальни) балерина снова оживает — и в этот самый момент пропадает со всех афиш и экранов. Счастливый художник везет балерину за город, где она начинает тосковать по пленке и кидаться на всё экраноподобное. Продюсеры тем временем, разумеется, паникуют: «Сердце экрана» давало бешеные кассовые сборы, а героиня пропала! По просьбе балерины художник едет в город доставать ей настоящий экран, пробирается в пустой кинотеатр и вырезает экран ножичком. Пока герой совершает акт вандализма, на дачу является влюбленная в него цыганка и, застав балерину в саду, нападает на соперницу. Та в ужасе прижимается к дереву и превращается в афишу. Цыганка в панике скликает всю киношную шайку — бородатого продюсера и кинозвезд (Чарли Чаплина, Мэри Пикфорд, Асту Нильсен, ковбоев, злодеев и сыщиков). Тогда балерина соскакивает с афиши и в восторге бросается к своим. Ее укутывают кинопленкой, в которой она растворяется, и уносят, а цыганка теряет сознание. Тут прибегает художник, приводит в чувство цыганку, и та ему обо всём рассказывает. Тогда он кидается к афише за подсказкой и читает название киностраны, в которой исчезла его любимая: Любляндия. Одержимый художник отправляется на поиски этой страны. На этом фильм обрывается. Должна была быть еще и вторая серия, которая так и не была запущена в производство. Да и то, что было отснято (съемки закончились в июне 1918-го), погибло в пожаре.

Кажется, папахивает каким-то постмодернистским хоррором про гомункулов, параллельную реальность и симулякры. Чего стоят кадры, в которых глаза Лили-балери-

ны на афише вдруг начинают двигаться, когда та подслушивает разговор врача и цыганки о болезни художника, или в которых художник кладет балерину на диван и сворачивает в трубочку, словно рулон бумаги. Мотив схождения кинозвезды с экрана позже использовал Вуди Аллен в «Пурпурной розе Каира» (1985). Обратный мотив — попадание реального человека в заэкраный мир — можно встретить у Бестера Китона в «Шерлоке-младшем» (1924). Кстати, Маяковский очень любил фильмы с Китоном.

До нас от «Закованной фильмой» дошли только отрезки, забракованные кусочки, чудом сохраненные Лилей и смонтированные в 1970-е годы. Брик на этих кадрах — маленькая, аккуратная, слегка кифозная, с пучком на затылке и завитками волос на щеках, сначала в белом трико на худых ногах и в пачке, сидящей на ней нелепо, как пышное платье для детсадовского утренника на девочке-шестилетке, а потом в черном платье с белым воротником, похожем на школьную форму. Катанян-младший пишет, что «отец замуи» Алексей Кручёных, увидев эти кадры уже в 1970-е и вспомнив далекое время, разразился стихотворением:

#### Лилическое отступление

Волшебница кукол, повелительница вздохов,  
Чаровательница взоров, врагам анчарная Лилиада,  
Лейся, лелеемая песня, сквозь камни,  
Упорно, подземно, глухо, до удушья...  
В судорогах наворочены глыбы кинодрам,  
Руины романов, пласты сновидений...  
Ваше Лиличество, сердце экрана!  
Взгляни на крепчайшей дружбы пирамиду.  
Я задрожу и вспомню до косточки  
Золотоногую приму-балерину  
В криках плакатов, в цветах аншлагов  
Великолепного идола!<sup>143</sup>

Кстати, в те же годы актер Вениамин Смехов тоже посвятит пожилой Лиле стихотворение и потребует у нее признания, что стихи его хотя и слабее хлебниковских, но сильнее кручёныховских:

Мы на гостелюбивейший брег  
сложим парус, причаливши бриг,  
остановим обыденный бег,  
выпьем чару под чарами Брик.  
Благосклонной токатою Бах

в наших душах воздушно возник.  
Тили-тили! Опять на устах  
тот же звук. Тот же Бог. Та же Брик.  
Тили-тили! Митиль и метель,  
Фейерверк, Фейер-Бах, Метер-линк.  
Жили-были, а жизнь, как мартель,  
лили-лили к ногам Лили Брик...  
Здравствуй, гостелюбивейший брег!  
Прочь печали, причаливши бриг.  
Мы продолжим счастливейший бег,  
выпив чару под чарами Брик<sup>144</sup>.

Сам Маяковский фильмом остался недоволен: мол, постановка «Нептуна» обезобразила сценарий. Но это, кажется, удел многих сценариев и по сей день. «Золотоногая прима» потом жалела, что фильм не сохранился, но особенно по этому поводу не рефлексировала (очевидно, быстро переключилась на другое увлечение). В своих мемуарах она даже не сразу вспоминает название киностраны Люблиндии. И всё же съемки для Маяковского и Лили стали важной вехой — они наконец стали парой. Ну как парой? Тройкой. Официальным тройственным союзом.

## ГОЛУЮ БАБУ НЕ ВИДЕЛИ?

Итак, с лета 1918-го Лилия стала жить с Маяковским открыто. «Медовый месяц» они провели в Левашове под Петроградом. Дачный поселок назвали в честь бывшего владельца тех земель графа Левашова, героя Отечественной войны и участника подавления декабристского восстания. Левашово славилось небольшим озером и сохранившимся барским домом. Брики и Маяковский снимали в одном из левашовских домов три комнаты с пансионом и жизнь вели идиллическую: прогулки, сбор грибов, карты — играли в основном в «короля», проигравший должен был выполнить какое-нибудь не очень приятное поручение вроде похода в дождь на станцию за газетами. Маяковский писал маленькие пейзажи и сочинял «Мистерию-буфф». Домработница Поля — та самая, которая плакала на свадьбе Лили по поводу не поданного к столу тертого хрена, теперь жила при бывшей барышне — привозила из города сахар и ржаной, испеченный собственноручно хлеб.

И всё же не очень понятно, зачем Лиле после стольких раздумий и колебаний понадобился Маяковский. Может,

и вправду привязанность перекипела в любовь? Или совместные съемки всколыхнули что-то дремавшее в подсознании? Только сейчас она объявляет своему ненаглядному Осе, что они с Маяковским любят друг друга, но что стоит только Осе захотеть, она немедленно бросит поэта. Консультация носила, судя по всему, такой же характер, что и по поводу Распутина. Но Распутин Осип Максимович недолюбливал и пускаться с ним в вакханалию запретил, а с Маяковским, напротив, сам давно носился как дурень с писаной торбой, так что какие могли быть возражения? Он ведь, в конце концов, не страдал мещанскими предрассудками, да и ложе с Лилей, по ее всегдашним заверениям, не делил годами. Осип, правда, взял с жены обещание, что она с ним никогда не разъедется, да Лиля и не думала разъезжаться. Мужчины ее сменялись, но боготворимый Ося до самой смерти оставался постоянным коэффициентом каждой ее семьи.

Тем летом Елена Юльевна и Эльза эмигрировали. Эльза, отвергнув настойчивые предложения Романа Якобсона, решила выйти замуж за французского офицера-кавалериста со звучной фамилией Триоле, происходившего из богатой лиможской семьи фарфоровых фабрикантов. Он приехал в Россию в составе французской военной миссии. Обстоятельства его знакомства с Эльзой покрыты мраком, а решение о замужестве явно было принято скоропалительно. По некоторым данным, брак был полуфиктивным — Эльзе просто нужно было за кого-то зацепиться, чтобы вырваться из страны. В сущности, они с матерью бежали от революции, в раздираемой гражданскими бурями РСФСР их уже ничто не держало. Елена Юльевна овдовела, Эльзе разбила сердце родная сестра. Обоих тиранили оккупировавшие их квартиру, распоясавшиеся мужланы-красноармейцы. Привычный мир распадался на куски.

Ехали в Париж через Швецию, на пароходе «Онгерманланд», по официальному поводу — Эльза выходила замуж, а мать ее сопровождала. Но конечной целью мамы был, разумеется, Лондон, где директором филиала банка «Ллойдс» служил ее родной брат Лео Берман — он и выхлопотал им потом переезд в Англию.

Когда Елена Юльевна с младшей дочерью пожаловали в Петроград попрощаться со старшенькой, та уже открыто жила с любовником — давно осточертевшим маме ужасным футуристом. А Осип, как ни поразительно, глядел на всё равнодушно, если не одобрительно. Вот уж точно, муж объ-



елся груш. Мама еще долго не могла оправиться от шока. Она даже не поехала к дочери в Левашово — повидаться напоследок, лишь бы не видеть этого невозможного хахала.

Лиля с Маяковским приняли Эльзиного жениха довольно холодно. Эльза, в свою очередь, не решалась из деликатности прямо заговорить о создавшемся тройственном союзе — не находила слов. «Было очень жарко. Лиличка, загоревшая на солнце до волдырей, лежала в полутемной комнате; Володя молчаливо ходил взад и вперед. Не помню, о чем мы говорили, как попрощались...»<sup>145</sup>

На следующий день Лиля, опомнившись, примчалась с утра в Петроград и пыталась уговорить Эльзу не связываться с французом, остаться в России, выйти за Якобсона. Но та уже приняла решение. «На пристань Володя не приехал, т. к. мама не сменила гнев на милость. На многие годы я увезла с собой молчаливого Володю, ходившего по полутемной комнате, а Лиличку такой, какой она была на пристани в час отбытия. Это было в июле 1918 года. Жара, голодно, по Петрограду гниют горы фруктов, есть их нельзя! оттого, что холера, как сыщик, хватает людей где попало, на улице, в трамвае, по домам. С невыносимой тоской смотрю с палубы на Лиличку, которая тянется к нам, хочет передать нам сверток с котлетами, драгоценным мясом. Вижу ее удивительно маленькие ноги в тоненьких туфлях рядом с вонючей, может быть холерной, лужей, ее тонкую фигурку, глаза...»

Лиля осталась одна, в своей новой осяче-кисяче-щенячьей семье. Когда пришла пора расплачиваться за пансион, пришлось продать григорьевскую «Лилию в разливе». Маяковский возвращался жить к Брикам — пока еще в отдельной квартирке в том же доме, на одной с ними лестнице, чтобы быть под боком. Мейерхольд тогда полным ходом ставил «Мистерию-буфф» в Театре музыкальной драмы, занимавшем зал Большой Петроградской консерватории. Художником выступил Казимир Малевич. Репетиции шли с большим трудом из-за всевозможных палок в колесах, вставляемых служащими театра. Премьера состоялась в первую годовщину Октябрьской революции. Лиля тогда внезапно оказалась в роли помощника режиссера — учила актеров хором читать стихи. Правда, поставленные Мейерхольдом спектакли по Маяковскому ей не очень нравились, она считала, что два взаимно очарованных гения друг друга ослепляли и что это отрицательно сказывалось на конечном результате.

В начале марта 1919-го Брики и Маяковские вслед за партией и правительством переезжают в Москву, в коммуналку в Полуэктовом переулке между Остоженкой и Пречистенкой (сейчас он называется Сеченовским). В огромной квартире, куда также заселился художник Давид Штеренберг с женой, было так холодно, что топили только в одной комнатке с камином, снеся туда все теплые вещи и укутав стены и пол коврами. Из Пушкина был привезен бродячий рыжий сеттер Щеник, который тут же подружился с соседской собачкой Муськой.

Двенадцать  
    квадратных аршин жилья.  
Четверо  
    в помещении —  
Лиля,  
    Ося,  
    я  
и собака  
    Щеник.

Время было не только холодное, но и голодное, приходилось изворачиваться. Лиля Юрьевна переписала от руки «Флейту-позвоночник», а Маяковский сам нарисовал обложку, на которой чернилами значилось «В. Маяковский. “Флейта-позвоночник”. Поэма. Посвящается Л. Ю. Брик. Переписала Л. Брик. Обложка В. Маяковского». Книга была продана в комиссионном магазине, и вырученных денег хватило на два дня относительной сытости. В тот год у Лили начался авитаминоз, и Маяковский выискивал для нее фрукты и овощи. Потом он напишет об этом в поэме «Хорошо!»:

...карие  
глазища  
сжала  
голода  
опухоль.  
Врач наболтал —  
чтоб глаза  
глазели,  
нужна  
теплота,  
нужна  
зелень.  
Не домой,

не на суп,  
а к любимой  
в гости  
две  
морковинки  
несу  
за зеленый хвостик.  
Я  
много дарил  
конфekt да букетов,  
но больше  
всех  
дорогих даров  
я помню  
морковь драгоценную эту  
и пол-  
полена  
березовых дров.  
.....  
Вспухли щеки.  
Глазки-  
щелки.  
Зелень  
и ласки  
выходили глазки.  
Больше  
блюдца,  
смотрят  
революцию...

В 1918-м Маяковский и Осип успели учредить издательство «Искусство молодых» (ИМО), и после переезда в Москву Маяковский мотался в Петроград по делам издательства. Представителем ИМО в Петрограде был Шкловский, которого Брики оставили жить в своей бывшей квартире. В ИМО, просуществовавшем совсем недолго, вышли главные опоязовские святыни: третий выпуск по теории поэтического языка «Поэтика», революционная хрестоматия для футуристов «Ржаное слово», а еще «Мистерия-буфф» и «Всё сочиненное Владимиром Маяковским (1909—1919)»...

Железную дорогу в то время объяла Гражданская. Поезд тащился сутки — и это можно было счесть удачей, ведь по некоторым маршрутам движение и вовсе было заморожено. В одну из таких невыносимо долгих поездок Маяковский пишет «Дневник для Личики», в котором ежечасно фиксирует обсессивно-компульсивные мысли о возлюбленной:

«1 ч 28 м Думаю только о Лилике всё время слышу Глазки болят (при нехватке витаминов в организме в глазах обычно двоится, они краснеют, болят и слезятся. — А. Г.) люблю страшно скучаю вернулся б с удовольствием. Едет Гукасов (Павел Осипович Гукасов (Гукасянц) — крупный нефтепромышленник, основатель электромашиностроительного завода в Петербурге; сразу после путешествия в поезде с Маяковским эмигрировал в Париж. — А. Г.) — противно. Сажусь за Холмса (в дороге Маяковский читал одну из книжек Конан Дойла. — А. Г.).

3 ч 9 м Детка еду целую люблю. Раз десять хотел вернуться но почему-то казалось глупо. Если б не надо заработать не уехал бы ни за что.

3 ч 21 “Глазки болят”. Милая.

3 ч 50 м Пью чай и люблю.

4-30 Тоскую без Личики

5-40 Думаю только об Кисье

6 ч 30 м Кисик люблю

6 ч 36 Лилек люблю тебя люблю нежно думаю о тебе всё время а пишу тогда только когда тоска по тебе страшная пишу для того что если бы ты захотела ты б убедилась что и в отсутствии твоём у меня нет ничего кроме тебя любимого

7 ч 5 Детка тоскую по тебе

7-25 Темно боюсь нельзя будет писать думаю только о Кисе

9-45 Люблю при фонарике Лику Спокойной Сплю»<sup>146</sup>.

На следующий день, 8 марта, любовный экстаз продолжается:

«7-45 Доброе утро люблю Кисю. Продрал глаза

9 ч. 6 Думаю только о Кисе

9 40 Люблю Детку Лику

10-40 Дорогой Кисит.

11-45 Лилек думаю только о тебе и люблю ужасно

12 Лисик.

12 30 Подъезжаю с тоской по Кисе рвусь к тебе любящий Кисю щенок...»

Дневник заканчивается на патетической ноте:

«9 35 Поезд подходит к Кисе или как говорит спутник к Москве»<sup>147</sup>.

Сердце щемит от этой одержимости. И насколько же нестерпимой кажется участь Лили Брик — жертвы и объекта почти маниакального поклонения. Неудивительно, что она срывалась и что Маяковский боялся ее ужасно. Отруга-

ет — и хоть в петлю лезь. Вот уж действительно свет клином сошелся. Для иллюстрации — характерный эпизод. Еще до левашовского соединения, 30 октября 1916 года, Лиля в Петрограде справляла свое 25-летие и пригласила Маяковского на блины. Велела не опаздывать. Узнав, что в тот же день Маяковский зван домой к Блоку, милостиво отпустила, но с уговором успеть к началу блинного торжества и принести ей книгу Блока с автографом. Блок же на своем домашнем вечере как-то заболтался, потом очень долго думал над автографом, с Маяковского тем временем семь потов сошло — до того боялся опоздать к Лиле и провалить поручение. На разговоры с Блоком о поэзии не остался. Автограф в спешке немного размазал (об этом со слов Маяковского пишет Корней Чуковский в своем дневнике).

А летом дачничали под Москвой, в Пушкине: 27 верст по Ярославской железной дороге, по адресу: Акулова гора, дача Румянцевой. Лили называла дачу «избушкой на курьих ножках», но дом был хотя и деревянный, но не такой уж «избушечный». В 1990-е его многократно поджигали, пока не изничтожили вконец. Средства на недавнее восстановление дома и открытие в нем музея и арт-пространства собрал местный священник (вот Маяковский удивился бы!). Подлинных вещей там, правда, не найдешь — разве что вездесущий медный самовар и одну из посмертных масок поэта; зато можно запросто попасть на выставку или поэтический вечер.

Пушкино стало излюбленным местом летнего отдыха Лили Юрьевны и всего ее окружения на многие годы. Здесь вертелись невероятные амуры, писались стихи и разбивались сердца. Интересно, задумывался ли об этом рукоположенный благодетель музея?

Питались тогда практически одними собранными в лесу сыроежками и ежевечерне садились перед домом смотреть закат. Дачу делили с Якобсоном. Играли в крокет, загорали. Лили ходила по дому и саду полуголая. Как-то, увидев подглядывавшего за ней из-за забора мужика, крикнула: «Вы что, голую бабу не видели?»

Возмущение Лили понятно. В стране полыхает революция и полным ходом разворачивается движение «Долой стыд!», а по углам всё еще шныряют вуайеристы.

(К слову, о вуайеристах и эксгибиционистах. Есть у меня коллега, поэтесса, которую мы, друзья, зовем Листиком. Листик тоже любит раздеваться. С бывшим мужем она познакомилась на нудистском пляже в Серебряном Бору.

Периодически устраивает голые перформансы, которые в Москве давно не новость. Но желающих посокрушаться хватает и сейчас. Как-то на вручении одной неформальной литпремии я танцевала с Листиком, одетой лишь в юбку из газетных версток, с приклеенными на сосках лавровыми листками. Мой дядя, самых честных правил, увидев танец на видеозаписи, решил, что я лесбиянка, и потребовал сменить фамилию. Прошел целый век, а нравы, кажется, стали только консервативнее...)

Так вот, примерно в этот сладкий период обретенного счастья со своей Кисой Маяковский увидел на Кузнецком Мосту «Окно сатиры РОСТА» и устроился туда рисовать плакаты с креативными подписями — от двух до шестнадцати рисунков на одном плакате, по сути, гигантские комиксы. «Окна» разрослись, открывались их отделения в разных городах. Количество художников множилось, работали весело, нахрапом, иногда без сна. В офис ходили на Срегенский бульвар, Лиля была у Маяковского подмастерьем. Он делал рисунки углем, ученица раскрашивала, затем наставник наводил глянец и сочинял стихотворные подписи. С руководившим «Окнами» художником Михаилом Черемных Маяковский устраивал состязание — рисование углем на двенадцати листах бумаги наперегонки, по Лилиной отмашке.

Говоря о Маяковском периода РОСТА (который длился три года), мемуаристы обязательно вспоминают трудившуюся на подхвате Лилю. Периодически увлекавшаяся разными творческими забавами вроде лепки и музыки, Лиля никогда, по сути, нигде не служила. При этом ни дня не занималась домашним хозяйством (потому что «долой кухонное рабство»), всегда — и это в пору диктатуры пролетариата! — держала домработниц, кухарок и помощниц. «Она никогда не работала в отличие от ее сестры, писательницы Эльзы Триоле, которая трудилась не покладая рук, — говорит актриса Татьяна Васильева. — Эльза просыпалась в 5 утра, выпивала стакан сока и начинала писать. А Лиля вставала не раньше 3—4 часов дня. На этой почве между сестрами всегда были раздоры»<sup>148</sup>. Но вот, пожалуйста, целая галерея портретов Лили-труженицы:

«Работают на полу. Маяковский делает плакат, другие трафаретят, делают на картоне вырезки по контуру, третьи размножают по трафарету. Лиля в платье, сделанном из зеленой рубчатой бархатной портьеры, подбитой беличьими брюшками, тоже пишет красками. Она умеет работать, когда работает» (Виктор Шкловский «В снегах»).

«В ту зиму 1920/1921 года Маяковский очень много работал. Его действительно совсем “заела Роста”. Он приходил туда с утра, весь день сидел над плакатами и часто брал работу домой. Обычно он делал рисунок контуром, а Лилия Юрьевна раскрашивала. <...> Вдоль окон стояли длинные столы: налево стол Маяковского, правый, против двери — Лили Юрьевны. <...> За что бы она ни бралась — всегда бралась всерьез, стараясь сделать как можно лучше. Наклоняясь над столом, она, то мелко-мелко водя тонкой кистью, то плавным мазком накладывая одну краску, тщательно и ловко заполняла контуры плакатов, сделанные Маяковским. В просветы его рукой было вписано: “красная”, “синяя”, “зеленая”. Иногда Лилия говорила:

— Володик, а может быть, тут разруху — желтой? Виднее будет ворона.

Маяковский смотрел на плакат, очевидно, прикидывая, как будет, если разруху сделать не коричневой, а желтой, и чаще всего говорил:

— Правильно, делай желтой, только тогда и паровоз надо переменить — пусть теперь он будет коричневый» (Рита Райт «Только воспоминания») <sup>149</sup>.

А вот фрагмент разговора Виктора Дувакина с художником Николаем Виноградовым:

«...В[иктор] Д[увакин]: А Лилию Юрьевну видели в мастерской?

Н[иколай] В[иноградов]: Эту самую... Брик?

В. Д.: Брик, да.

Н. В.: Да, я видел, как она раскрашивала трафареты, то есть рисунки Маяковского. Маяковский давал ей в контуре сделанные, понимаете, контур — она его раскрашивала краской, краску накладывала. Это я помню, как сейчас. Делала она это на полу. А Маяковский ей делал указания.

В. Д.: Какой краской раскрашивать, Маяковский сам указывал? Или она по своему усмотрению раскрашивала?

Н. В.: Она, скажем, ведет кистью, а он говорит: “Нет, бросьте. Возьмите другой тон”.

В. Д.: Вот это важно. Но в некоторых случаях, возможно, и ее есть, да?

Н. В.: Что ее?

В. Д.: Цвет. Выбор цвета.

Н. В.: Цвет? Да-да.

В. Д.: В отдельных случаях может быть и ее, да?

Н. В.: Да.

В. Д.: Но Маяковский обычно... Черемных пишет или

в рассказе мне говорил, что он писал карандашом краску несколькими буквами: “кр.”, “желт.”. А еще была такая краска, которая называлась “мордовая”, которой разрисовывали лица, — светло-розовая»<sup>150</sup>.

Сама Брик припомнила забавный эпизод из того времени:

«Мы вдвоем с Маяковским поздно оставались в помещении РОСТА, и к телефону подходил Маяковский.

Звонок:

— Кто у вас есть?

— Никого.

— Заведующий здесь?

— Нет.

— А кто его замещает?

— Никто.

— Значит, нет никого? Совсем?

— Совсем никого.

— Здорово!

— А кто говорит?

— Ленин.

Трубка повешена. Маяковский долго не мог опомниться»<sup>151</sup>.

Плакаты утверждались через Союз деятелей искусств и размножались ручным трафаретным способом. За пару недель клоны висевшего в Москве оригинала уже разлетались по всей стране. Кроме «Окон РОСТА», иллюстрировавших злободневные события, делали плакаты для Политуправления Красной армии, для транспортников, для Московского коммунального хозяйства и т. д. Это были пропаганда и реклама — два в одном, за три года более тысячи рукотворных плакатов со стихотворными лозунгами:

С помощью резинотреста  
Мне везде сухое место.

У украинцев и русских клич один  
Да не будет пан над рабочим господин.

Забивай забойщик  
Поднимай производительность за пудом пуд  
Задание выполнишь  
Разрухе капут.

Весь провел советский план  
Зря не тратил время я  
И на это сразу дан  
Орден мне и премия.



Плакаты эти популярны до сих пор в качестве сувенирных ретрооткрыток. Да и разнообразных народных мемов и шуточных перепевов в характерной для «Окон РОСТА» стилистике хватает. Одна из моих любимых:

Женщина!  
Хватит на заводе околачиваться!  
Проституция и приятней,  
И выше оплачивается.

«Окна РОСТА» умерли в 1921 году, когда заработали лито- и цинкографии. Союз деятелей искусств к тому времени уже прищучили. Еще в 1918-м Луначарский основал Отдел изобразительных искусств Наркомпроса (ИЗО). Поначалу там состояли всего семеро художников — остальные не спешили сближаться с большевиками. Но гайки стремительно закручивались, оппозиция новой власти убывала. Летом вымели все небольшевистские издания, расстреляли Романовых, а после покушения эсерки Каплан на Ленина развернулся красный террор.

Полутона выжгли, остался простой выбор: либо красные, либо белые. И Маяковский с Осипом вступили в ИЗО. С декабря Ося вместе с художником-авангардистом Натаном Альтманом, искусствоведам Николаем Пуниным, Малевичем, Шагалом и Шкловским стали выпускать еженедельную газету «Искусство коммуны» со стихотворными передовицами Маяковского. В рабочих районах Петрограда устраивались лекции и чтения стихов. Из подобных вылазок в народ родился Коллектив коммунистов-футуристов (Комфут), куда вошли к тому времени уже партийный Ося, поэт Борис Кушнер и несколько пролетариев.

Большевики тем не менее Комфута чурались и футуристов, с их непонятностью и страшной далекостью от народа, недолюбливали. Вскоре авангард был согнан с государственного пьедестала. Сначала футуристам просто не дали изготавливать уличные декорации к 1 Мая 1919 года, а затем Ленин и вовсе пригвоздил их как нелепейшее и несуразное кривляние, не имеющее никакого отношения к пролетарскому искусству.

В общем, вихри враждебные веяли повсю. Лиля, казалось бы, могла найти успокоение в личной жизни — она жила, как хотела. Любила одного, была любима другим. Талантливейший поэт посвящал ей все свои стихи и целовал песок, по которому она ходила, о чем судачили в обеих столицах. Но не тут-то было. Они с Маяковским безудержно

и нескончаемо ссорились и даже завели «Желтую книгу боевых действий между Лилей и Володей» — блокнотик на шнурочке и с ластиком, чтобы несчастнейший Маяковский мог записывать, а потом стирать свои обиды.

«Якобсон сообщал Эльзе в Париж: “Лиле Володя давно надоел, он превратился в такого истового мещанского мужа, который жену кормит — откармливает. Разумеется, было не по Лиле”»<sup>152</sup>, — пишет Б. Янгфельдт. Видно, Лиля и вправду ужасно устала от ядовитой и болезненной ревности Маяковского. Осенью 1919-го тот был изгнан из коммуналки в Полуэктовом переулке и поселился в своем рабочем кабинете, выделенном ему правительством еще в марте — по адресу: Лубянский проезд, дом 3, коммунальная квартира 12. Квартира принадлежала другу Якобсона, который искал надежных жильцов, чтобы его не уплотнили. Кабинет оставался за Маяковским до смерти, именно там он в конце концов свел счеты с жизнью.

Наступило временное отлучение одного из мужей от общей жены. И дело, кажется, крылось не только в истовом мещанстве.

## ТРИППЕР — БЫЛ

Лиля не прекращала своих романчиков, а Маяковский никак не мог выдать из себя мещанина. Доставая из широких штанин советский паспорт, он тем не менее слишком погряз в дореволюционной морали с ее культом моногамной семьи. Периодически избивал Лилиных поклонников (после того как на улице напал с кулаками на некоего Жака Израилевича, даже вызывали милицию).

Вот как об этом Израилевиче говорили Дувакин и Шкловский:

*«В[иктор] Д[увакин]: Он за Лилей ухаживал?*

*В[иктор] Ш[кловский]: Да.*

*В. Д.: И безуспешно?*

*В. Ш.: Он с ней жил.*

*В. Д.: Это в какое время? Ах, да-да, он потом заведовал Домом писателя в Ленинграде, домом Маяковского. Это тот самый. Он представительный довольно мужчина, недурен собой, такой красивый еврей. Но я его знал уже в 30-х годах, ему было лет сорок семь — сорок восемь. А потом мне Рита Яковлевна Райт рассказала как раз о Лиле и... такой эпизод, который чрезвычайно закругляет... значит, Лиля*

встретилась где-то (очевидно, позже) с Израилевичем, и Израилевич что-то острил, как-то себя активно держал, публично, Лиля (не знаю, какие у нее были на это причины), глядя, так сказать, сквозь него, громко, при всех, сказала: «Говно!» — и пошла прочь.

*В. Ш.:* ...Его очень любили бабы. Он любил дарить вещи, не всегда ему принадлежащие, он мог подарить и чужую вещь, но у Лили был с ним роман. А то, что она сказала про него, — довольно точно»<sup>153</sup>.

По поводу Маяковского Б. Янгфельдт в своей книге передает рассказанный Якобсоном случай. Однажды Роман Осипович отправился с Бриками и Маяковским на выставку эротической гравюры. Лили с Осипом с наслаждением комментировали каждый откровенный рисунок, а Маяковский невероятно смущался и не знал, куда деть глаза.

Но была и проблема совсем уж интимная. Близкая подруга Лили откровенничала с тем же Янгфельдтом, что Маяковский был мукой в постели, а «чугунная женщина» Нина Берберова передавала шведскому слависту когда-то услышанную от Шкловского сплетню: Маяковский страдал преждевременным семяизвержением. Об этом же, по свидетельству Янгфельдта, Лили Юрьевна писала в уничтоженном впоследствии дневнике. Она предполагала, что напасть скорострела, наверное, случалась от чрезмерного чувства. Маяковский, очевидно, так горячо волновался и настолько млел и робел перед своей властительницей, что разрядка наступала слишком быстро. Впрочем, как пишет Янгфельдт, Эльза (несмотря на то, что ей приписывают фразу: «Только он дал мне познать всю полноту любви. Физической тоже») не была в восторге от Маяковского-любовника и называла его недостаточно похабным.

Так ли было в самом деле? Похоже, что да. В беседе с уже упоминавшимся Григорием Поляковым в 1936 году Лили обмолвилась, что сексуальная потребность у Маяковского была выражена средне. Видно, в поэте удивительно сочетались нескромность в быту (взять хотя бы его пророческое хвастовство, что скоро в Москве будет площадь его имени или шокировавшую многих невоспитанность, несоблюдение приличий) и скромность в постели. «Совершенно не обладал способностью индивидуально подходить к людям. Этим объясняется и то, что не мог найти женщину “по себе”»<sup>154</sup>, — записал Поляков мнение Осипа Брика.

К слову, в разговоре с Дувакиным Шкловский тоже коснулся темы несовместимости Лили и Маяковского:

«...В[иктор] Ш[кловский]: Володя попробовал другое — тоже не вышло, женщина не та. Она не поверила, что он ее лучше.

В[иктор] Д[увакин]: Что он ее больше?

В. Ш.: Что он ее больше. Она думала, по отношению к Володе, что Ося его больше.

В. Д.: Что Ося больше, чем Володя?

В. Ш.: Да.

В. Д.: Как человек искусства и вообще как человек?..

В. Ш.: Да.

В. Д.: Ну, тогда она просто глупая.

В. Ш.: Она, конечно, дура.

В. Д.: Вы не считаете ее интеллектуально сильным человеком?

В. Ш.: Нет.

В. Д.: Нет?

В. Ш.: Нет. Видите ли...

В. Д.: Имея сексуальную силу, но...

В. Ш.: Я не знаю, я с ней не жил...

В. Д.: Нет, но что она интеллектуально человек не богатый?

В. Ш.: Нет, она буржуазный человек<sup>155</sup>.

Про то, что Лиля не считала Маяковского гигантом секса, Шкловский сообщает в том разговоре мимоходом:

«В. Ш.: “Мелкий Бескин” был любовником Лили, и я ей сказал, что это невозможно, она сказала: “Я могу об нем написать на четырех страницах, какой он хороший мужчина, а Володя — мужчина на два с минусом”.

В. Д.: Это кто сказал? Лили?

В. Ш.: Лили.

В. Д.: Но это значит абсолютное отделение, так сказать, секса от личности. А это значит, мне так кажется (может быть, я действительно старомоден), это разложение личности»<sup>156</sup>.

«Мелким Бескиным» Шкловский остроумно называл советского критика Осипа Бескина, бывшего любовником не только Лили, но в дальнейшем и последней женщины в жизни Маяковского, актрисы Вероники Полонской. Лысеющий такой и, видно, очень бумажный, номенклатурный человек. Недаром в старости его сделали персональным пенсионером союзного значения — это значит, что Бескин получал максимальные 200 рублей в месяц с парой дополнительных ежегодных пенсий на оздоровление, а еще право лечиться в привилегированных больницах и поликлиниках, покупать лекарства за 20 процентов цены, пла-

тить лишь половину стоимости коммунальных услуг и т. д. Такого удостаивалась лишь социалистическая элита...

Итак, Маяковский был, по Лилиным меркам, во-первых, чрезмерно ревнив, во-вторых — слишком далек от идеалов свободной любви. Мещанином. Впрочем, тот же Шкловский считал, что дело обстояло ровно наоборот. Это не Маяковский был буржуазен, это Лилия была буржуазна:

«В[иктор] Д[увакин]: ...трагизм Маяковского был в том... не в том, что он стал недостаточно новым человеком в том смысле, в каком это они представляли, а наоборот, в том, что он был очень человечен в любви, а Лилия была бесчеловечна.

В[иктор] Ш[кловский]: Она не бесчеловечна была, она была буржуазна.

В. Д.: Это, очевидно, одно и то же».

Чуть ниже искрометный Виктор Борисович Шкловский продолжает давать оценки:

«В. Ш.: Понимаете, в чем дело, Лилия... Я даже не думаю, что она очень сексуальная женщина.

В. Д.: Вот так уверяют, что она была исключительной, так сказать, в этом смысле, что она была такой Мессалиной, ненасытной гетерой, которая с огромным половым любопытством...

В. Ш.: Любопытство было большое. Она неподходящая жена.

В. Д.: Жена, да.

В. Ш.: Жена неподходящая»<sup>157</sup>.

Но как бы то ни было, именно Лилия вступилась за честь своего Щененка, когда Чуковский пустил слух, что автор «Облака...» — сифилитик. Впрочем, очень возможно, переживала она больше за себя, за собственную репутацию — не могла же она в глазах общественности открыто сожительствовать с почти смертельно заразным типом.

Дело было так. Еще до Лили Маяковский встречался со студенткой Бестужевских курсов Сонкой Шамардиной, отсидевшей потом в гулаговских лагерях, но оставшейся стойкой коммунисткой (гвозди бы делать из этих людей). Поэт описывал ее в «Облаке...». В свое время он отбил Сонку у Чуковского; тот, видно, затаил ненависть. Внешне их дружба продолжалась — на первый свой судьбоносный визит к Брикам в 1915 году Маяковский попал прямоком из Куоккалы, где жил тогда Чуковский. Поэт не знал, что Сонка от него забеременела (еще в 1914-м), в чем исповедалась Корнею Ивановичу в Куоккале, в дачной бане, при свече, за колбасой и хлебом (в дом было нельзя — там жена). Чу-

ковский напел ей, что Маяковский сифилитик и водиться с ним больше не стоит. Сонка сделала поздний аборт, о чем потом сильно жалела. Чуковский же стал трепаться об этой ужасной истории про соблазненное и зараженное дитя направо и налево, донес и до Горького. «Буревестник» подхватил клеветнический слух, хотя еще недавно, слушая стихи Маяковского, рыдал от восторга (он вообще рыдал довольно часто и по разным поводам).

Слух дошел даже до Луначарского, и Лиля, заметив холодность наркома, забеспокоилась: в чем же дело? Тогда-то Шкловский и рассказал ей про Горького и про лживую сплетню. Сплетня, кстати, оказалась такой устойчивой, что продолжала курсировать даже после смерти героя. Галина Катанян пишет в воспоминаниях, как один ее собеседник-проводной уже после рокового ухода поэта вдруг заявил: «Сифилис теперь излечим, и нечего было Маяковскому стреляться из-за того, что он был болен». Галина ударила клеветника по шее, а потом еще и по спине. Влетела в квартиру к Брикам яростная, со сбившейся шляпой. И Лиля, примачивая ей ушибленную руку холодной водой, рассказывала, как сама когда-то отреагировала на новость о грязных пересудах и длинном горьковском языке:

«Я взяла Шкловского и тут же поехала к Горькому. Витю оставила в гостинной, а сама прошла в кабинет. Горький сидел за столом, перед ним стоял стакан молока и белый хлеб — это в 19-м году! “Так и так, мол, откуда вы взяли, Алексей Максимович, что Володя кого-то заразил?” — “Я этого не говорил”. Тогда я открыла дверь в гостиную и позвала: “Витя! Повтори, что ты мне рассказал”. Тот повторил, что да, в присутствии такого-то. Горький был приперт к стене и не простил нам этого. Он сказал, что “такой-то” действительно это говорил со слов одного врача. То есть типичная сплетня. Я попросила связать меня с этим “некто” и с врачом. Я бы их всех вывела на чистую воду! Но Горький никого из них “не мог найти”. Недели через две я послала ему записку, и он на обороте написал, что этот “некто” уехал и он не может ничем помочь и т. д.

— Зачем же Горькому надо было выдумывать такое?

— Горький очень сложный человек. И опасный, — задумчиво ответила мне Лиля».

(Перепечатывая архив, я видела этот ответ, написанный мелким почерком: «Я не мог еще узнать ни имени, ни адреса доктора, ибо лицо, которое могло бы сообщить мне это, выбыло на Украину...»)

«Конечно, не было никакого врача в природе, — продолжала Лиля. — Я рассказала эту историю Луначарскому и просила передать Горькому, что он не бит Маяковским только благодаря своей старости и болезни»<sup>158</sup>.

Зиновий Паперный передает рассказ Лили Юрьевны:

«В 1914 году Максиму Горькому передали, что несколько лет назад Маяковский якобы соблазнил и заразил сифилисом женщину. Речь шла о “Сонке”. Поверив этой клевете, великий гуманист Горький пришел в негодование и стал во всеуслышание осуждать Маяковского. Но сам Маяковский отнесся ко всему этому довольно просто: “Пойду и набью Горькому морду”.

А я сказала:

— Никуда ты не пойдешь. Поедем мы с Витей (Шкловским).

Горького я спросила:

— На каком основании вы заявили, что Маяковский заразил женщину?

Горький сначала отказался.

Шкловский потом очень весело и увлеченно говорил мне, что было дальше:

— Ну, тут я ему выдал! Горькому деваться было некуда. Он стал ссылаться на кого-то, но назвать имени так и не смог.

Эта история не просто “отложила отпечаток” на отношения Маяковского и Горького. Она явилась началом долголетней вражды двух писателей, которая уже не прекращалась. Примирения быть не могло»<sup>159</sup>.

Историю эту со слов Брик потом пересказывали многие. Зажигательный литератор Бенедикт Сарнов, восхищаясь решимостью и смелостью Лили в ее благородном прыжке на самого Алексея Максимовича, признавался:

«Во всё этом рассказе мне ярче всего запомнилась одна деталь. Когда она вошла к Горькому в кабинет, он сидел за столом в халате, а перед ним стоял стакан молока, накрытый белой булочкой.

— Представляете? Молоко и белая булочка! — с нажимом повторила Л. Ю. — Вы даже вообразить не можете, какая это была тогда немыслимая роскошь!

И еще одна фраза особенно запомнилась мне в этом ее рассказе.

— Да не было у Володи никогда никакого сифилиса! — гневно сказала она.

И тут же, без тени смущения, добавила:

— Триппер — был...

Мол, что было — то было. И она этого не скрывает. И стесняться тут нечего: дело житейское.

Тут надо сказать, что в те первые послереволюционные годы и про сифилис говорили, что это “не позор, а несчастье”. Так что если бы у Маяковского и в самом деле был сифилис, она бы этого тоже, я думаю, скрывать не стала. Но — чего не было, того не было. И возводить на своего Володю напраслину она не позволит!»<sup>160</sup>

Значит, сифилиса не было, а триппер был. Тогда почему же Галина Катанян так сильно рассердилась на поэта Виктора Соснору, который «не погнушался реанимировать старую клевету»?<sup>161</sup> Соснора, в каком-то смысле продолжатель линии футуристов, сдружился с Лилей Юрьевой в последние годы ее жизни. В своем сборнике эссе «Дом дней», действительно полным всяческими фантазиями и допущениями (вроде того, что вслед за Маяковским на тбилисской площади одновременно застрелились 37 мальчиков-грузин, по числу лет поэта), он писал следующее:

«Пришел Маяковский, его именной стакан, налитый, на столе. Он берет его рукой в платочке, ставит на шкаф.

— Что с вами, В. В.? Вы больны? — обеспокоена Лиля.

— Я здоров, — говорит В. В. М. — У меня триппер.

— Господи, и кто же? Какая гадина вас награла?

— ... (называет имя, отчество, фамилию).

— Ах ты, так сказать! И что вы ей сделали?

— Послал букет сирени»<sup>162</sup>.

Так какая же это реанимация сплетни, если Соснора говорит не о сифилисе, а о триппере? Вот и Вяч. Вс. Иванов подтверждает, что триппер и вправду был: «Якобсон попросил Лилю Юрьевну объяснить туманное место в “Полутораглазом стрельце” Бенедикта Лившица, где говорится о трудностях, возникших у Маяковского в общении с женщинами. Та ответила, что всё очень просто, он болел триппером. Другой раз она вспомнила, что Маяковский сослался на эту болезнь, объясняя в гостях, почему не пьет вино. Меня озадачило, когда несколько лет спустя Якобсон повторил при мне Лиле Юрьевне тот же вопрос по поводу книги Лившица и получил тот же ответ. Память у него была хорошая. Маловероятно, что он просто забыл о предыдущем разговоре. Возможно, что он усомнился в правильности простого объяснения и думал, что во второй раз узнает что-то более важное»<sup>163</sup>.

Но очень возможно, что Чуковский ни на кого не гре-



шил и никакого сифилиса Маяковскому не выдумывал. Очень возможно, что он рассказал Сонке правду — про триппер, действительно за нее волнуясь. Горький же то ли не расслышал, то ли переиначил со зла (Маяковский постепенно отбился от его цепких рук, он взревновал, и пошло-поехало). И вот подтверждение — письмо Чуковского писателю Сергею Сергееву-Ценскому от 25 февраля 1914 года: «Водился осенью с футуристами: Хлебников, Маяковский, Кручёных, Игорь Северянин были мои первые друзья; теперь же, после того как Маяковский напоил и употребил мою знакомую курсистку (милую, прелестную, 18-летнюю) и забеременил и заразил таким страшным триппером, что она теперь в больнице, без копейки, скрываясь от родных, — я потерял к футуристам аппетит»<sup>164</sup>.

К концу жизни поэта легенда обрела второе дыхание. И вот как ее объясняет сотрудник Гослитмузея Артемий Бромберг, помогавший Маяковскому готовить печальную персональную выставку к двадцатилетию творческой работы: «Во время выставки у Маяковского на носу вскочил прыщик. Зная его болезненную мнительность, нетрудно представить, как это его расстраивало. Он постоянно возился с носовым платком, рассматривал нос в зеркальце. Враги из уголков пустили гадкий слухок насчет сифилиса»<sup>165</sup>.

Но Маяковский страдал не от одной только мнительности и бациллофобии (оттого, что его отец когда-то умер от заражения крови, уколовшись ржавой булавкой, постоянно — мыльница в кармане, осторожность с дверными ручками и т. д.). Он воспринимал мир гротескно, гиперболически. Жесты его — и буквальные, и метафорические — были избыточны. Он не способен был просто подарить девушке коробку конфет и букет — он скупал целые охапки цветов и ящики сладостей. Если радовался — то бурно, если любил — то неистово, если печалился — то до самоубийства.

Вот и Поляков, опросив по своей анкете длиннющий список знакомых поэта, убедительно заключает: «М[аяковский] таил внутри себя большой запас нежности, заботливости, он бывал порой очень сентиментальным, чувствовал большую потребность входить в интимный “душевный” контакт с людьми. <...> Однако излишней резкостью и несдержанностью проявлений своих чувств, доходившими до грубости, он часто отталкивал от себя тех, к кому испытывал влечение. В особенности это сказывалось на его отношениях с женщинами. Не случайно поэтому М. жалуется, что он никогда не мог найти женщину по себе,

хотя знал очень много женщин. Даже с Л. Ю. Брик, с которой у него были наиболее интимные отношения, они сохраняли свой интимный характер непродолжительное время, и впоследствии М. говорил: «Л. — это не женщина, это философ»<sup>166</sup>. Вспоминается другое восклицание поэта, обращенное к Осе: «Разве Лиличка женщина? — она исключение!»<sup>167</sup> Шкловский как-то выразился о Лиле в схожем ключе: «Правда, не женщина, а сплошная цитата!»<sup>168</sup>

По поводу слов «это не женщина, это философ» можно было бы хихикнуть, но, судя по всему, у Маяковского — красивого, но нервного, немного несуразного (длинное туловище, короткие ноги), гипертрофированно эмоционального, обидчивого, громкого, стыдливого и вместе с тем дерзкого — весь пыл, весь азарт и вправду уходил либо в игры, либо в декламацию. После такой сублимации женщинам мало что оставалось. «Никогда не был похабен или циничен. Одна женщина передавала, “что М. как любовник не представлял большого интереса”. Был очень влюбчив»<sup>169</sup>, — конспектирует Поляков.

Зачем же он Лиле такой понадобился? Поэт Николай Асеев в интервью с Поляковым объяснил это тем, что ей нравились размах его натуры и бурность его чувства к ней. Выходит, Лиля Юрьевна и вправду упивалась властью, тешила тщеславие? Или же пыталась компенсировать неполноту любви со стороны своего единственного — Осипа Брика?

Многие комментаторы подчеркивают корыстные мотивы Бриков, живших за счет Маяковского (как будто забывая, что в начале их тройственного пути скорее они спонсировали его, а не он их). Доля правды в этих доводах, однако, имеется. Маяковский, будучи непритязательным аскетом, и вправду пахал что есть мочи, чтобы обеспечивать и баловать родного «Кисита». Свои деньги у Бриков после революции особенно не водились, Лиля и вовсе за редким исключением никогда не работала.

Паразитичность Бриков современники подмечали хором. Вот что, к примеру, говорила художница Елена Семенова, работавшая одно время в «Новом ЛЕФе»:

«Реально не существовало ни ее, ни О. М. Брика материальной независимости. Они зависели от Маяковского, причем этого никто не скрывал. Брик был одним из эрудированных дилетантов, рассыпающих идеи, но реально не создающих какой-то стройной системы этих идей. Они мнялись, появлялись и пропадали в зависимости от очеред-

ного увлечения. Он много знал, был пресыщен, а потому искал особо острые и крайние идеи в искусстве, в литературе. Почва для такого широкого дилетантизма была самая благоприятная: он, собственно, нигде долго и прочно не работал, заставить его сделать статью, излагающую одну из этих, в сущности интересных, его же собственных теорий, было очень трудно. Он недолго работал в рекламбюро Моссельпрома, в кино, писал небольшие статьи для “Синей блузы” (журнала). Он имел полную возможность не заботиться ни о каких “житейских мелочах”, он был вполне обеспечен — о нем заботился Маяковский.

Лиля Юрьевна тоже временами рвалась к труду — так было и в РОСТе, и позже в кино. Но опять-таки это были только кратковременные броски. Вдруг оказывалось, что она “не одета”, и она ехала за границу “приодеться”. Такое приходилось слышать от нее самой.

Как маленький штрих этого быта меня поразила рассказ Ольги Третьяковой. Когда она была секретарем Лефа, то однажды, разбирая с Маяковским очередной материал для журнала, увидела стопку каких-то бланков. Оказалось, что Маяковский должен пойти уплатить в профсоюз за домработницу в Гендриковом. Ольга отобрала бланки и сделала это сама. И это тоже должен был делать Маяковский, при неработающей хозяйке дома и минимально занятом Брике?»<sup>170</sup>

Как известно, Маяковский и после смерти продолжал обеспечивать Лилу, оставаясь ей подспорьем и финансовой подушкой безопасности. Она владела половиной авторских прав на все его произведения. В 1932 году Корней Чуковский запишет у себя в дневнике: «Шкловский говорит об отношении Брика к Маяковскому: “варят клей из покойника”»<sup>171</sup>.

Может ли быть, что сам Маяковский подозревал, что им пользуются? Ведь в его сценарии «Не для денег родившийся» именно такой сюжет: девушка из «бывших» долго ломается и отдается футуристу, лишь позарившись на внезапно свалившиеся на него славу и богатство (в своих работах он был всегда довольно автобиографичен). В этой связи вспоминается приписываемый ему матерный стишок:

Не те  
бл\*ди,  
что хлеба  
ради  
спереди  
и сзади

дают нам  
е\*ти,  
Бог их прости!  
А те бл\*ди —  
лущие,  
деньги  
сосущие,  
еть  
не дающие —  
вот бл\*ди  
сущие,  
мать их ети!

Если вспомнить, что настроение у Маяковского качалось маятником, то можно легко представить, что в минуты ссоры он думал о Лиле в таком нецензурном ключе — ведь назвал же ее во «Флейте...» проклятой. Кстати, про сифилис он тоже вспоминает в другом стихе, если, конечно, поверить в его (небесспорное) авторство:

Нам е\*ля нужна,  
как китайцам  
рис.  
Не надоест х\*ю  
радиомачтой топорщиться!  
В обе дырки  
гляди —  
не поймай  
сифилис.  
А то будешь  
перед врачами  
корчиться!

«Обе дырки» особенно интригуют. Неужели речь о содомии? Или он обращается исключительно к дамам? Как бы то ни было, с Маяковским Лиля на время рассталась и пустилась во все тяжкие. Ей тогда было 29 лет.

## НИКОГДА НЕ КОНЧАЛА

Избавившись от надоедливового Маяковского, Лиля с головой окунулась в любимое занятие — флирт и романы. Если верить адвокату и писателю Аркадию Ваксбергу, с одним из поклонников Лиля отправилась в Петроград и на обоих пришлась одна койка. Легли валетом, и, когда погасили свет, тот впился ей в ноги, но харассмент не закончил-

ся ничем. В Петрограде носился за ней, как сумасшедший, на обратном пути ехали уже втроем с Борисом Кушнером. «Обожателя отослали спать на верхнюю полку, а на нижнюю Лиля легла вместе с Кушнером: по той же “модели” — голова к ногам. Теперь уже Кушнер “впивается в ноги” и получает тот же афронт...»<sup>172</sup>

Лили тогда блистала. На публичных чтениях Маяковского ее имя называлось громко, во всеуслышание: «Посвящается Лиле Юрьевне Брик». Ваксберг пишет: «Многие годы спустя писатель Вениамин Каверин рассказывал интервьюеру, вспоминая 1920 год: “Как-то [в Петрограде] я был у Шкловского. Туда пришел Маяковский с Лилей Брик — прелестной, необыкновенно красивой, милой женщиной, которая мне очень нравилась тогда. Она была очень молода и хороша”»<sup>173</sup>.

Что бы ни таилось за этой магией — изящность, остроумие, нетривиальность суждений, живость лица, ослепительная улыбка или скакавшие в карих глазах чертенья, обещавшие жаркую ночь любви, — но в Лилину постель попадали люди значительные. Она стала спать с искусствоведом Николаем Пуниным. Выпускник Царскосельской гимназии заведовал Петроградским ИЗО Наркомпроса, служил комиссаром при Русском музее и Государственном Эрмитаже. К тому времени он уже издал книги «Японская гравюра» и «Андрей Рублев». Блестяще образованный, тонкий, в глазах Лили он был прямой противоположностью уванью Маяковскому.

Маяковский, видимо, почти не читал, по крайней мере толстых книг (Лев Кассиль в беседе с Григорием Поляковым характеризовал эрудицию поэта как слабую) — не хватало терпения и усидчивости долистать до конца хоть один роман. Писал с миллионом орфографических ошибок. Не особенно интересовался музеями или историческими достопримечательностями — предпочитал бильярд, карты, рулетку и прочие азартные игры (в этом пристрастии они с Лилей совпадали). Надиктовывать на почтамте телеграммы любил больше, чем писать письма. Вообще был человеком устной, а не письменной культуры, сочинял всегда на ходу. Искусство, наука и техника вне человека его мало интересовали.

Наверное, не просто так, не совсем впустую многим казалось, что Брик, при всём восхищении громадой поэтического таланта, к Маяковскому-человеку относилась слегка снисходительно. Он всё же был не из их с Осипом круга.

Характерно то, что пишет живущая в США мемуаристка, дочь советского литфункционера Вадима Кожевникова Надежда (замечу в скобках, что тележурналист Дмитрий Киселев приходится ей деверем): «Неискоренимое плебейство Маяковского, вкусившего уже славу, Лилю бесило. По ее почину он заменил гнилые зубы искусственными, ослепительными. Одевался не как прежде, апашем, а безупречным джентльменом. Но нутро-то никуда не денешь. В переписке с Маяковским Лиля с отменным артистизмом, лицедейством поддерживала пошловато-приторную манеру его к ней посланий. В письмах к Эльзе стиль у нее совершенно иной. Доверительное общение равных, а Маяковский — чужой»<sup>174</sup>.

Впрочем, ледниковый период продлился не очень долго, потому что осенью 1920-го Лилия открыто выходит с Маяковским в свет. Чуковский, видно, мучившийся угрызаниями совести после скандала с сифилисом, соблазняет поэта предложением пожаловать в Петроград и пожить в Доме искусств со столовой и бесплатным бильярдом. Корней Чуковский записывает в дневнике 5 декабря 1920 года:

«Прибыл он с женою Брика, Лили Юрьевной, которая держится с ним чудесно: дружески, весело и непутано. Видно, что связаны они крепко — и сколько уже лет: с 1915. Никогда не мог я подумать, чтобы такой ч[елове]к, как Маяковский, мог столько лет остаться в браке с одною».

А два дня спустя тот же Чуковский отмечает:

«Всё утро Маяк[овский] искал у нас в библиотеке Дюма, а после обеда учил Лилю играть на бильярде. Она говорит, что ей 29 лет, ему лет 27—28, он любит ее благодушно и спокойно»<sup>175</sup>.

Однако еще незадолго до этих благодушия и спокойствия в душе у Лили бурлили лихие страсти. Неизвестно, догадывался ли Маяковский, что Пунин, присутствовавший на его выступлении в Петрограде перед учениками Тенишевского коммерческого училища, амурничал с его Лиличкой? Еще в мае 1920-го музейный комиссар записывает в дневнике: «Зрачки ее переходят в ресницы и темнеют от волнения; у нее торжественные глаза; есть что-то наглое и сладкое в ее лице с накрашенными губами и темными веками, она молчит и никогда не кончает... Муж оставил на ней сухую самоуверенность, Маяковский — забитость, но

эта «самая обаятельная женщина» много знает о человеческой любви и любви чувственной. Ее спасает способность любить, сила любви, определенность требований. Не представляю себе женщины, которой я мог бы обладать с большей полнотой. Физически она создана для меня, но она разговаривает об искусстве — я не мог...»<sup>176</sup>

Судя по этой записи, Пунина Лиля сильно возбуждала. Впрочем, не очень понятны некоторые моменты: как именно забитость Маяковского и сухая самоуверенность Осипа отражались в ее поведении в кровати? Почему она никогда не кончала и что же в этом хорошего? Скорее всего, Пунин здесь имеет в виду Лилину ненасытность. Феромоны при их встречах бурлили не на шутку. Пунину явно нравилось, что Лиля знает свое тело и понимает, чего она хочет в постели, не зажимаясь и не комплексуя («определенность требований»). Однако Лиля, привыкшая вещать о высоких материях, не могла ограничиться только сексом. Она спала с историком искусства, и после сплетенья тел ей хотелось сплестись с ним языками. Пунину же разговоры с ней претили — то ли потому, что Лиля своими суждениями недоотягивала до его уровня, то ли оттого, что он в принципе не считал женщин достойными собеседницами. Ясно одно — роман разворачивался не так, как хотелось Лиле: мужчина желал ее тело, но не был влюблен в нее.

Пунин продолжает: «Наша короткая встреча оставила на мне сладкую, крепкую и спокойную грусть, как если бы я подарил любимую вещь за то, чтобы сохранить нелюбимую жизнь. Не сожалею, не плачу, но Лиля Б[рик] осталась живым куском в моей жизни, и мне долго будет памятен ее взгляд и ценно ее мнение обо мне. Если бы мы встретились лет десять назад — это был бы напряженный, долгий и тяжелый роман, но как будто полюбить я уже не могу так нежно, так до конца, так человечески, по-родному, как люблю жену»<sup>177</sup>. (Он тогда был женат на Анне Евгеньевне Аренс, дочери генерала флота из старинного немецкого рода и одной из первых женщин-врачей в России.)

Тем не менее Брик увлеклась Пуниным не на шутку. Они продолжали встречаться. В июне Пунин поверяет дневнику подробности: «Когда так любит девочка, еще не забывшая географию, или когда так любит женщина, беспомощная и прижавшаяся к жизни, — тяжело и страшно, но когда Л. Б., которая много знает о любви, крепкая и вымеренная, балованная, гордая и выдержанная, так любит — хорошо. Но к соглашению мы не пришли. Вечером я

вернулся от нее из “Астории”, где нельзя было говорить, и позвонил; в комнате она была уже одна, и я сказал ей, что для меня она интересна только физически и что, если она согласна так понимать меня, будем видеться, другого я не хочу и не могу; если же не согласна, прошу ее сделать так, чтобы не видеться. “Не будем видеться”. — Она попрощалась и повесила трубку»<sup>178</sup>.

Янгфельдт из этих записей заключает, что в отношениях с мужчинами для Лили был важен не столько секс, сколько власть над ними и постоянное подтверждение собственной неотразимости. Из дневника Пунина 1923 года ясно, что она еще долго не могла оправиться от удара (как? кинула не она! кинули ее саму! просто использовали как самку, для животных утех, ни в грош не оценили ее понимание искусства!). «Л. Б., — пишет Пунин, — говорила о своем еще живом чувстве, о том, как много “ревела” из-за меня. Главное, — говорила она, — совсем не знала, как с вами быть; если активнее — вы сжимаетесь и уходите, а когда я становлюсь пассивной, вы тоже никак не реагируете. Но она одного не знает, что я разлюбился, что вообще ничего не могло быть без влюбленности, какая бы она, Лилия, ни была... Л. Б. думает, что не равнодушен, что я не как камень сейчас по отношению к ней. Она гладила мою руку и хотела, чтобы я ее поцеловал, я ее не поцеловал, помня Ан.»<sup>179</sup>.

Натиск снова провалился! Соблазнение не удалось. Самонадеянная Лилия натолкнулась на равнодушие. Кстати, под «Ан.» в этой записи имеется в виду не Анна Аренс, а Анна Ахматова, с которой Пунин сошелся как раз в 1923 году. Жили они, кстати, тоже втроем: сам Пунин, жена Анна и любовница Анна. Так ему было удобнее: жена занималась домашним хозяйством (к чему Ахматова была не способна) да еще и зарабатывала на всю семью. По воспоминаниям современников (к примеру, Лидии Чуковской), видно, что Пунин и вправду был немножко женоненавистником. Он сам пописывал стихи и, ревнуя к таланту Ахматовой, всячески затапывал ее уверенность в себе: за 16 лет нелегкой жизни с ним — жизни на птичьих правах в доме законной жены любовника, жизни, в которой были и аресты, и невзгоды, — она почти не писала стихов. Видно, он в принципе не очень любил разговаривать с женщинами о чем-то серьезном.

Наверное, Ахматова что-то слышала от Пунина и о Брик (может, тот в постели неосторожно похвалил темперамент рыжей любовницы?) и по этой причине недолюб-



ливала ее. В разговоре с дочкой Чуковского Лидией речь зашла о Лиле, и Анна Андреевна обронила: «Я ее видела впервые в театре на “Продавцах славы”, когда ей было едва 30 лет. Лицо несвежее, волосы крашенные, и на истасканном лице — наглые глаза»<sup>180</sup>. Возможно, причиной этой затаенной нелюбви было и то, что в треугольниках Анны Ахматовой (и с Николаем Гумилевым, и с Владимиром Шилейко, и с Николаем Пуниным) она всегда была второй женщиной, а Лилия Юрьевна в своих — всегда единственной.

## КИСИТ И ВОЛОСИТ

Осенью 1920-го семья Бриков и Маяковского переехала по другому московскому адресу: Водопьяный переулок, дом 3, квартира 4.

В проулок!

Скорей!

Водопьяному в тишь!

Ух!

Но никакой тиши на месте Водопьяного сейчас не найти, да и самого переулка тоже. «Какая странная пустота открылась передо мной на том месте, где я привык видеть Водопьяный переулок, — сокрушался Валентин Катаев в автобиографическом романе «Алмазный мой венец». — Его не было. Он исчез, этот Водопьяный переулок. Он просто больше не существовал. Он исчез вместе со всеми домами, составлявшими его. Как будто их всех вырезали из тела города. Исчезла библиотека имени Тургенева. Исчезла булочная. Исчезла междугородная переговорная. Открылась непомерно большая площадь — пустота, с которой трудно было примириться»<sup>181</sup>.

Переулок пропал в 1970-е годы, в пору строительства Новокировского проспекта (теперь проспект Академика Сахарова) и станции метро «Тургеневская». На месте целого старинного квартала возникла Тургеневская площадь. Свирепая, хищная перестройка Москвы продолжалась. Сожрав во время сталинских реконструкций всё, что попало под лапу, сметя Красные и Иверские ворота, Сухареву башню и Китайгородскую стену, церковь Успения Пресвятой Богородицы на Покровке и Симонов монастырь, храмы и усадьбы, — она ринулась дальше.

Дом 3 был красивый, трехэтажный. На первом этаже располагались студия проката фортепиано и булочная, а после войны — кафе «Ландыш». Квартира на верхнем этаже, из восьми комнат, принадлежала семье присяжного поверенного Николая Гринберга. По новым законам Гринбергам пришлось уплотниться. Но благодаря хлопотам вместо рабочих к ним подселили нашу троицу, к пролетариату не имевшую никакого отношения. В эту же квартиру потом поселились и родственники Гринбергов — семья купца-кожевника Блюменталья, чья дочь Мэри (ей тогда было девять лет), впоследствии жена поэта Марка Талова, очень красочно вспоминала атмосферу тех лет.

В школах тогда почему-то не было мест, и Мэри все дни проводила с домработницей Бриков Аннушкой, занимавшей «людскую» комнату напротив столовой. В самой огромной столовой поселилась Лиля. Там стояли большой обеденный стол с самоваром (куда ж без него!) и даже рояль. Кровать Лили пряталась за ширмой, а большая надпись над ней гласила: «На кровать никому садиться не разрешается». В левом торце комнаты иногда работал Маяковский, хотя обычно днем он ходил к себе на Лубянский. В смежной с гостиной комнате — забитом книгами кабинете с диваном — жил Осип Максимович. Мэри постоянно читала неграмотной Аннушке Гоголя, Гончарова, а вечером, когда «господа» (Лили с эскортом мужчин) уезжали в театр, безнаказанно заходила за убиравшейся Аннушкой в бриковские покои. В одной из «людских» они держали поросеночка, который как-то выпал из окна, сломал ногу, и потом его съели. После театра Брики и их многочисленные гости до утра резались в карты, с ними и Роман Гринберг, который впоследствии уедет за границу в эмиграцию и станет издавать в Нью-Йорке альманах «Воздушные пути». На столе — вино, конфеты.

«Меня поражало, — вспоминала М. Талова про Лилю, — как эта маленькая, не обладавшая никакими талантами и, по моему мнению, вовсе не красивая, густо накрашенная женщина вертит этим громадиной Маяковским, будто спичкой»<sup>182</sup>.

О духе времени говорят многие детали: хозяина квартиры, Гринберга, к тому времени успели арестовать как эсера и снова выпустить на свободу. Старшую сестру Мэри расстреляли белые, а ее отец скончался сразу после переезда на Водопьянный по совсем уж идиотской причине — от сепсиса, начавшегося после того, как в трамвае вор, вырезав из

его кармана часы, задел ногу бритвой. На этом фоне становится понятным и скепсис Мэри по отношению к соседке-обольстительнице. Как-то раз вслед за поросенком из разбитого окна «людской» выпал и расшибся насмерть Лилин рыжий котенок. «Несколько дней Лили Юрьевна металась по комнатам, громко рыдая и жалуясь. Я понимала ее горе, но не понимала, к чему этот спектакль. Это было так нелепо в сравнении с поведением мамы и тети, которые с таким достоинством молча несли свое великое горе»<sup>183</sup>.

Лилины мужчины стали прилично зарабатывать, а ее мама, устроившаяся в Лондоне в советской хозяйственной организации АРКОС, присылала духи, перчатки, сумочки и прочие милые вещички. Еще недавно опухавшая от голода Лиля теперь завела весы, чтобы следить за фигурой. Летом поехали на дачу в Пушкино, где по воскресеньям собирали много гостей и Аннушка жарила на всех котлеты.

Лиля и Маяковский жили тогда душа в душу. Квартира их снова превратилась в публичный клуб, куда с утра до вечера приходили люди — играть, спорить, резаться в карты, проигрываясь в пух и прах. Лидия Гинзбург много позже записала у себя в блокноте: «Лиля Юрьевна с ужасом вспоминала о том, как они жили втроем в одной комнате. Они повесили на дверях объявление: “Брики никого не принимают”; но комната была во втором этаже на Мясницкой — все люди проходили мимо, и все заходили завтракать, обедать и ужинать. Маяковский: По сравнению с тем, что там делалось, публичный дом — прямо церковь. Туда хоть днем не ходят. А к нам — целый день; и все бесплатно»<sup>184</sup>. Мемуаристка ошиблась с количеством комнат и этажом, но суть передала верно.

Несмотря на радости в частной жизни, Маяковский в тот период уже подвергался политическим нападкам. Выпуск его поэмы «150.000.000» затянулся на целый год — чиновники намеренно канителили, мытарили и издали в итоге ничтожным по тогдашним меркам тиражом — пять тысяч экземпляров.

А еще поэт судился с Госиздатом — там сначала отказались печатать новую редакцию «Мистерии-буфф», а когда Маяковский продал публикацию в госиздатовском журнале «Вестник театра», заартачились и не стали выплачивать гонорар. Деньги из Госиздата были выбиты только после двух судов. Руководителя Театра РСФСР-1 Всеволода Мейерхольда, больного фурункулезом, со всей его недоедавшей труппой тоже тиранили, не давая спокойно

работать над новой постановкой: влиятельным шишкам показалось, что спектакль слишком разорителен; однако премьера состоялась в срок — 1 мая 1921 года и прошла с оглушительным успехом. Злободневности, по сравнению с первым спектаклем, прибавилось, текст был напичкан репризами и остротами о текущем моменте. По сцене теперь шныряли красноармейцы и меньшевики, политики Клемансо и Ллойд Джордж. В спектакле перемежались акробатика, цирк, балаган и буффонада, с потолка по канату спускался клоун и прыгун, друг Маяковского Виталий Лазаренко.

Но «сверху» на футуристов продолжали катиться бочки. В «Правде» вышла передовица заведующего Отделом пропаганды и агитации ЦК РКП(б) Льва Сосновского «Довольно маяковщины!». Ленин же взъелся на поэму «150.000.000». Его не растрогало даже то, что Маяковский лично отправил ему экземпляр — на обложке вместе с автором расписались Лиля, Ося, Борис Кушнер и кое-кто из футуристов. Ильич неистовствовал — дескать, вздор, махровая глупость и претенциозность, а Луначарского за симпатии к футуристам — высечь.

В декабре в «Правде» было опубликовано письмо ЦК РКП(б) «О пролеткультах» — о том, что «футуристы, декаденты, сторонники враждебной марксизму идеалистической философии и, наконец, просто неудачники»<sup>185</sup> слишком уж всем заправляют и навязывают свои гнусные, вредоносные взгляды пролетариату. В ответ Маяковский, Брики и компания создали в январе 1921-го второй Комфут, но дело кончилось пшиком. Да еще и одна трагедия за другой: смерть Блока, расстрел Гумилева... Круги интеллигенции были потрясены происходившим на их глазах историческим поворотом.

Устав ходить по мукам, Маяковский даже подумывал улепетнуть на Дальний Восток и связался с читинскими футуристами — группой «Творчество», где оказались его друзья: и Давид Бурлюк, бежавший из Москвы после облавы ЧК на анархистов, и Николай Асеев, и Сергей Третьяков, заделавшийся товарищем наркома просвещения Дальневосточной республики. Республика была создана в апреле 1920-го вернувшимся из Америки Александром Краснощековым со товарищи как буферная зона между РСФСР и Японией. Стрелки времени там как будто перевелись на пару-тройку лет назад — в республике цвела полная свобода печати, экономика была капиталистическая, а в На-

родном совете заседали эсеры, меньшевики и даже кадеты. Но независимость была совершенно липовая: руководящие кадры поставлялись из Москвы, а внутренняя и внешняя политика регулировалась большевиками. В 1922 году, когда претензии Японии ослабли и она убрала свои войска из Приморья, республика вошла в состав Советской России. Концерт окончился.

Но пока что Маяковского манили читинские нравы. Руководитель группы «Творчество» Николай Чужак почитал его как кумира и не побоялся (единственный!) дать печатный отпор Сосновскому. В Чите неистово агитировали за стихи поэта, в конце 1921 года Третьяков даже поставил трагедию «Владимир Маяковский», в которой сыграл главную роль. Летом 1921-го Краснощеков приехал в Москву, бывал на даче в Пушкине, и Маяковский всерьез подумывал сесть ему на хвост. Но мечте оборвали крылья — Краснощекова вдруг уволили с поста председателя правительства Дальневосточной республики. Несмотря на заступничество Ленина и Троцкого (с последним тот работал еще в Америке), его уже давно пинали за крамольную партийную пестроту в дальневосточном парламенте и подозревали в желании совсем отмежеваться от Советов. Впрочем, в Москве отставленному Краснощекову пока что нашли применение — назначили заместителем наркома финансов РСФСР. И Маяковский тоже остался в Москве.

Лилия же осенью 1921-го на целых три месяца умотала в Ригу. Вообще-то она собиралась в Лондон, навестить маму, но Великобритания на тот момент не признавала Советское государство — дипотношения были разорваны, и визы не выдавались. И Лилия решила ехать на Альбион через Латвию — в Риге жила ее тетушка Эльза Гиршберг, — а заодно найти Маяковскому латвийского издателя. Латвия, впрочем, тоже не принимала советских граждан, а потому Лиле справили удостоверение сотрудницы дипломатического представительства РСФСР в Риге — связи для получения такого документика у Бриков имелись.

В Латвии Лилия Юрьевна развела бурную деятельность: стала вести переговоры со всеми издателями и типографиями. В письмах Брику и Маяковскому она то и дело отчитывается о ходе переговоров. «Корочки» работницы дипмиссии давали ей право пользоваться курьерской почтой — обычная работала с перебоями, и все письма, конечно же, перлюстрировались. Попутно она покупала любимым Осика и Володику продукты и подарочки; правда,

резиновую ванну для Маяковского (он никогда не мылся в общих ваннах и душевых — боялся чем-нибудь заразиться) так и не нашла. Вот несколько отрывков из ее писем:

«Смотрите, как бы масло не испортилось, оно соленое, но не топленое. <...> Сейчас иду искать подвязки и книги. Милые вы мои щенятки и киски! <...> Книги посылаю — не знаю, годятся ли. Дюжину лезвий. Подвязок других нет во всей Риге. Единственный сорт имеющихся здесь гаванских сигар; говорят, что очень хорошие. Резиновые кружочки трех размеров — излишки отдай бедным»<sup>186</sup> (13 октября 1921 года).

«Посылаю вам 10 коробок шпрот, 3 кор. овсянки, 4 ф[унта] чаю, 2 ф. кофе, 1 ф. какао, 5 ф. шоколаду, 2 ф. конфет. Не прозевайте посылку и смотрите, чтобы всё в ней оказалось. Овсянка варится на молоке: 2 1/2 стакана»<sup>187</sup> (20 октября).

«Посылаю 10 ф. песку и 2 ф. какао»<sup>188</sup> (11 ноября).

«Получили вы (давно уже) три бутылки вина? (в одном пакете). Прошу вас ответить мне против вашего подлого обыкновения на все мои вопросы. Получили ли вы посылку, в которой было 4 фунта чая? Сейчас посылаю вам материи и подкладки на костюмы. Осик — четыре аршина. Волосику — пять, хотя нужно только четыре с половиной. Пол-аршина на две книги. Аннушке три аршина на юбку. На костюмы материя изумительная: английская. Пользуюсь случаем и посылаю 10 ф. сахару»<sup>189</sup> (28 декабря).

«Так как я опять не знаю, когда попаду в Москву, а вы, должно быть, обносились, то шейте костюмы. Осик, не забудь Володиной подкладке — твоя гораздо лучше и дороже, к сожалению, для Володика такой уже не было. <...> Очень рада, что Аннушка довольна юбкой. Привезу ей еще такой же материи на жакет, чтобы был костюм. Я продала кое-что из своих тряпок и вместо них купила себе замечательное непромокаемое пальто, вязаный костюм, вязаное платье, две шляпы, башмаки, ботики, ночные туфли; починила шубу, купила несколько материй на платья и белье. Всё это здесь ужасно дорого. Зато приеду шикарная!! Одна беда — потолок ужасно! Здесь все откармливаются, и я за компанию»<sup>190</sup> (середина января 1922 года).

Сразу видно, кто из двоих любимый муж — тот, у кого подкладка дороже. Вообще тон писем более чем приторный. Задал его Маяковский со своей гиперболической чувствительностью и поэтическим чутьем — он вообще любит перекачивать слова на языке, вылепляя новое, вкусное, звучное, — а Брики подхватили. Есть дурацкий анекдот:

«Маяковский очень любил Лилию Брик и ласково называл ее бричкой». На самом деле у каждого в семье имелось собственное зоологическое прозвище: Маяковский — Щен, Лиля — Киса, кошечка, Ося — кот.

Осип Максимович, судя по фотографиям, и вправду был похож на кота в пенсне — маленький, осторожный, крадущийся. Лиля — под стать ему: опрятная, нарядная, тоже маленькая, могла ластиться, а могла и выпустить коготки. Маяковский называет Лилию не только Кисей, Киситом, Личикой, но и Лисенком, Лисиком, Лисенышем, детиком, Лилятиком, Лильком, Лилечком, Лиленком и т. д. Лиля Маяковского — Щеняткой, Щенитом, звериком, Волосиком, Волоситом; Осипа — Осиком, котиком, Ослитом. Обращаясь к обоим, пишет им то «светлики», то «зверики», то «кислики», то «щеники». Ося подписывается «кот». Все трое рисуют схематические изображения своих тотемчиков. У Маяковского — фирменный щенок с крестообразным носом. Пиктограмма Осипа — отвернувшийся кот (кружок и загогулина хвостика) — отражает его прячущуюся и уклоняющуюся натуру. А Лиля потом и вовсе заведет себе печатку с кошечкой для заверения писем.

Маяковский в посланиях иногда впадает в совершеннейший экстаз и не может остановиться:

«Лисик милый  
Лисик замечательный  
Лисик прекрасный  
Лисик чудный  
Лисик детка  
Лисик удивительный  
Лисик котик  
Лисик киса  
Лисик солнышко  
Лисик рыжик  
Лисик котенок  
Лисик личика  
Лисик сладкий  
Лисик обаятельный  
Лисик восхитительный  
Лисик маленькая  
Лисик красавица  
Лисик обворожительный  
Лисик потрясающий  
Лисик фантастический  
Лисик звездочка»<sup>191</sup> (19 декабря 1921 года).





Темой животных проникнуты все письма. Они всё время рассказывают друг другу (и так всю жизнь) про встреченных «кошковых и собаков». Лиля пишет про разродившуюся у знакомых сучку, умиляется шеночкам:

«Они целый день играют друг с дружкой. Я их целую в пузики и в носики. Вчера видела трех толстых, желтых, одинаковых такс на цепочках»<sup>192</sup> (15 октября).

Маяковский сообщает из Москвы (орфография и пунктуация сохранены):

«Самое интересное событие это то, что 6 ноября открывается в зоологическом саду собачья выставка. Переселюсь туда. Оська уже поговаривает насчет сетереныша. Уж и не знаю, как это без тебя щенков смотреть!»<sup>193</sup> (20 октября).

«Приходила к нам в субботу серая Киса и перецарапала. Твой от головы до хвоста и обратно Щен. Целую 32 м[иллиона] раз в минуту»<sup>194</sup> (24 октября).

Лиля Юрьевна писала позже, что именно Маяковский научил ее любить животных. Рыжего пса Щена, которого подобрали под забором в Пушкине в голодный год, он баловал страшно и каждое утро по дороге на работу угощал в мясной лавке. Когда пес пропал и прошел слух, что его убили, грозился застрелить убийцу. У них и после Щена бывали собаки (Скотик, Булька). Поэт обожал животных с детства, в этом проявлялась его сентиментальность. В детстве, в Грузии, любил уходить с собаками в лес, а в начале двадцатых годов даже завел себе белку — купил на улице у мальчика за три рубля.

По уехавшей надолго Лиле он страшно скучал и рассказывал, как, не стесняясь курьера, плачет в ее отсутствие:

[illegible]

Человек аффективный, импульсивный, он целиком поддавался минутному чувству. Мог реветь в три ручья и рыдать в голос. Лиля, надо отдать ей должное, была тогда невероятно ласкова в ответ и в промежутках между просьбами похлопотать о справках, необходимых для ее поездки в Англию (Маяковский, разумеется, послушно обегал все учреждения и обил пороги кабинетов всех начальников), и отчетами об издательских делах подхватывает инфантильную лексику и сломанные нежностью грамматику и пунктуацию своего Волосита:

«Волосик, Щеник, Щенятка, зверик, скучаю по тебе невысказанно! С новым годом. Солнышко! Ты мой маленький громадик! Мне тебе хочется! А тебе? <...> Целую переносик и родные лапки, и шарик всё равно стриженный или мохнатенький, и вообще всё целую!»<sup>196</sup> (конец декабря).

В этот период у Лили появляется несвойственная ей мания — она постоянно пишет «зверикам», что блюдет целомудрие и того же требует от них. В первую очередь это, конечно, касалось Маяковского, с которым они были физически близки:

«Пишу вам с каждым курьером. Целую! Милые! любимые! родные! светики! солнышки! котятики! щенятики! Любите меня! Не изменяйте! А то я вам все лапки оборву!! Ваша Киса Лилия»<sup>197</sup> (27 октября).

«Не изменяй!!! Я ужасно боюсь этого. Я верна тебе абсолютно. Знакомых у меня теперь много. Есть даже поклонники, но мне никто, нисколько не нравится. Все они по сравнению с тобой — дураки и уроды! Вообще ты мой любимый Щен, чего уж там! Каждый вечер целую твой переносик! Не пью совершенно! Не хочется. Словом — ты был бы мною доволен»<sup>198</sup> (конец октября).

«Веду себя безупречно (последнее слово трижды подчеркнуто. — А. Г.)! Любите! Не забывайте! Не изменяйте! Пишите обо всём!»<sup>199</sup> (2 ноября).

«Я тебе очень верная. Больше одной рюмочки не пью, да и то редко. А ты? Хочу, чтобы ты ужасно любил мне! Глажу за тебя всех песиков. Люблю тебя окончательно на всю жизнь»<sup>200</sup> (ноябрь).

Как можно догадаться, Лили лукавила. Не могла же она целых три месяца продержаться совсем без романа, да еще и в буржуазной Риге! Походы в кино, рестораны, цирк, бутики — всё настраивало на праздник. Между кипучей

перепиской с возможными издателями Маяковского и попытками выбить себе визу в Англию (а потом, после окончательной неудачи, — в Германию) Лиля находила время на развлечения с сотрудником Наркомата иностранных дел Михаилом Альтером.

Периодически она просит Маяковского прислать ей через Альтера свои поэмы и плакаты — для показа издателям. Альтер, в частности, свел ее с издательством «Новый путь», с которым был как-то связан. В газете «Новый путь» в это время выходят две статьи, пропагандирующие футуристов и подписанные инициалами «Л. Б.». Видно, Лиля их и написала. Но почему она уверяет Маяковского в своей фантастической верности? Может быть, потому, что в этот период почему-то боится его потерять. Это видно по подозрительности, ощутимой в ее письмах, в несвойственных ей сомнениях и вопросах, а то и в прямых упреках. Легкая нервозность и перепады настроения с обеих сторон поддерживались тем, что письма доходили через раз: почта хромала, курьеры жульничали.

«Милые, родные, сладенькие! Наконец-то я получила от вас настоящие ласковые письма! Я думала, что вы уже совсем разлюбили меня! <...> Не изменяй мне (это — Маяковскому. — А. Г.) в Харькове!!! Ласкала сегодня замечательного басаврючка и думала о тебе и за тебя тоже погладила — он ужасно быстро и долго вилял хвостиком. Вообще здесь собачков очень много, и все чудесные! <...> Все обо мне заботятся. У меня масса цветов. Я уже писала вам, что абсолютно верна вам. <...> Сволочной котенок (это уже Осипу. — А. Г.)! Опять ты не пишешь! Как тебе без меня живется? Мне без тебя очень плохо! Совсем у-у-у! пришел. Во всей Риге котятиков нету! Щенков много а кисов нет! Беда!

Целую твой хвостик, твоя жена <кошечка><sup>201</sup> (6 ноября).

Она вдруг начинает допытываться у поэта:

«Напиши честно, тебе не легче живется иногда без меня? Ты никогда не бываешь рад, что я уехала? — Никто не мучает! Не капризничает! Не треплет твои и без того трепатые нервочки! Люблю тебя, Щенит!! Ты мой? Тебе больше никто не нужен? Я совсем твоя, родной мой детик! Всего целую»<sup>202</sup> (середина ноября).

В ответ Маяковский тоже подревновывает, волнуется, переживает, что Лиля как-то скупно делится впечатлениями:



*Steen*



Юрий  
Александрович  
и Елена Юльевна  
Каган с маленькой  
Лилей. 1892 г.

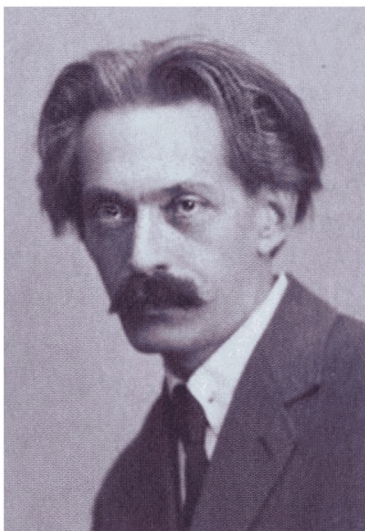


Сестрички  
Эля и Лия.  
Около 1900 г.





Пятнадцатилетняя Лиля с матерью и сестрой  
на германском курорте. 1906 г.



Ум и усики Осипа  
Брика с первого  
взгляда и навсегда  
покорили Лилию.  
*1908 г.*



Композитор  
Григорий Крейн —  
возможный Лилин  
совратитель

Пухлощекая  
Эльза-гимназистка  
завидовала  
внешности и успехам  
старшей сестры.  
*Первая половина  
1910-х гг.*





Ко времени замужества Лиля уже имела мощный любовный бэкграунд. Среди ее поклонников были художник-бубнововалетчик Гарри Блюменфельд и режиссер Алексей Грановский

Супруги Брик сразу после свадьбы. 1913 г.







Первую совместную фотографию Маяковский всегда носил с собой в отцовском портсигаре. 1915 г.

Лиля и Маяковский обменялись кольцами-амулетами с инициалами ЛЮБ и WM





Перед эмиграцией Эльзы с матерью: Лев Гринкруг, Эльза, ее подруга Тамара Беглярова, Елена Юльевна и Лиля. *Лето 1918 г.*

Первая встреча с матерью и сестрой после их эмиграции.  
*Лондон, август 1922 г.*







Лиля и Маяковский на немецком острове-курорте Нордерней.  
*Фото О. Брика. 1923 г.*

Во Франции Эльза наконец-то нашла личное счастье, выйдя замуж за поэта-коммуниста Луи Арагона





Воспетые Маяковским Лиля и сеттер Щеник у дома  
в Полуэктовом переулке. 1920 г.

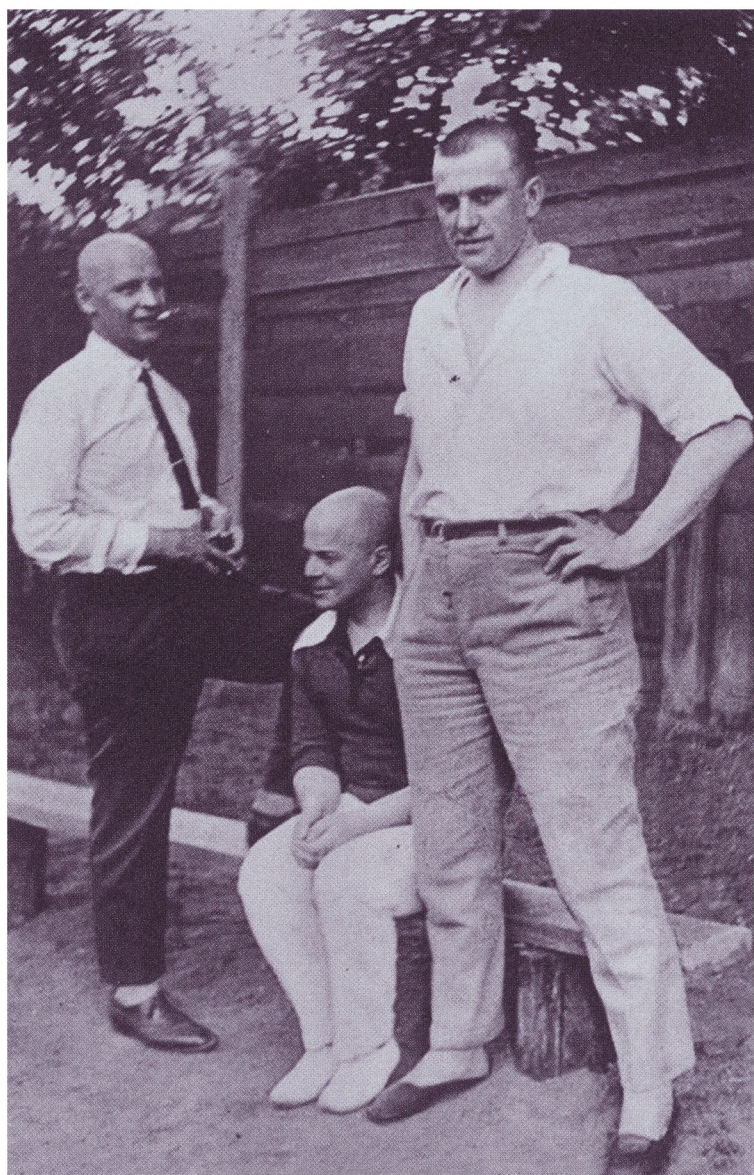




С 1926 года Маяковский и Брики жили в доме 15 в Гендриковом переулке (ныне переулок Маяковского)

Утро в Гендриковом переулке. Владимир Маяковский, Варвара Степанова, Осип Бескин, Лиля Брик. *Фото А. Родченко. 1926 г.*





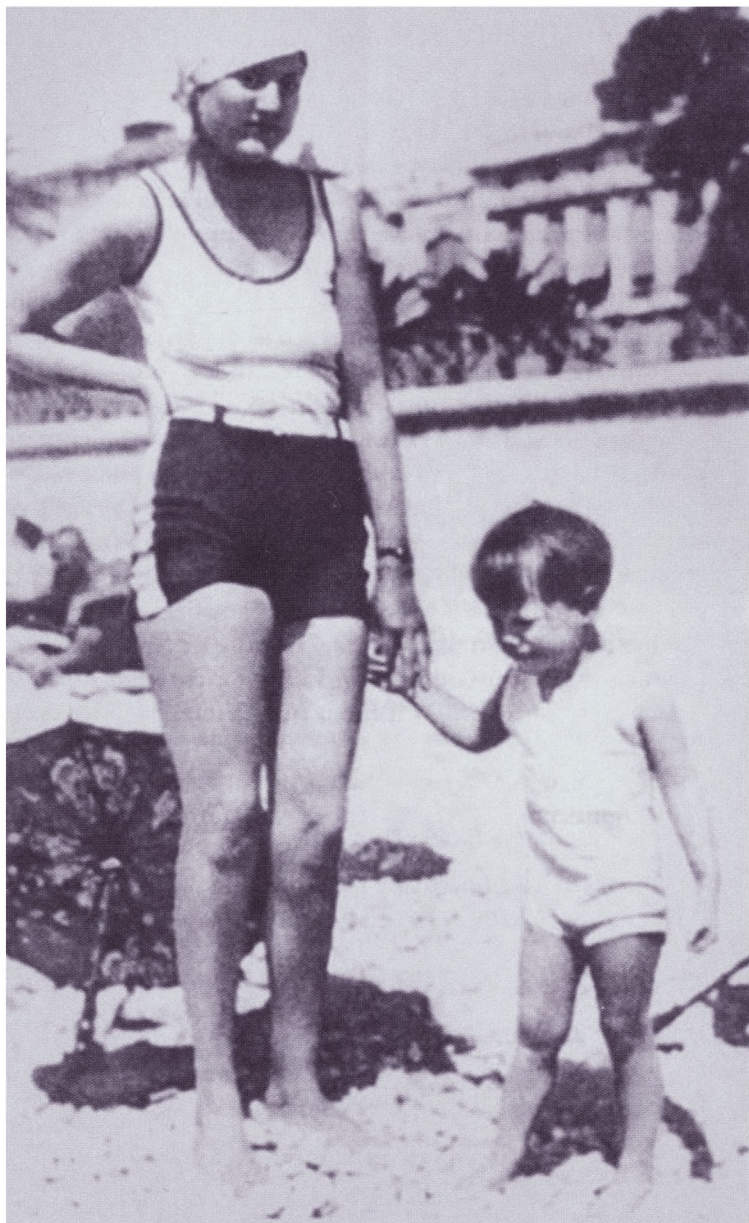
Александр Родченко, Виктор Шкловский и Владимир Маяковский  
у дома в Гендриковом переулке. Фото В. Степановой. 1926 г.





Ни артистке-футуристке Софье (Сонке) Шамардиной, ни художнице Евгении Ланг, ни сотруднице Госиздата Наталье Брюханенко, ни киевской подружке Маяковского Наталье Рябовой не удалось излечить его от мучительной страсти к Лиле





Со своей американской дочерью Хелен Патрицией и ее матерью Элли (Елизаветой) Джонс Маяковский увиделся в Ницце. 1928 г.





Искусствовед  
Николая Пунина  
Лиля интересовала  
как женщина,  
но не как  
собеседница

Замнаркома  
финансов Александр  
Краснощеков из-за  
Лили попал под суд  
за растрату

Киргизский  
партфункционер  
Юсуп  
Абдрахманов —  
экзотический  
экспонат в Лилиной  
коллекции  
поклонников



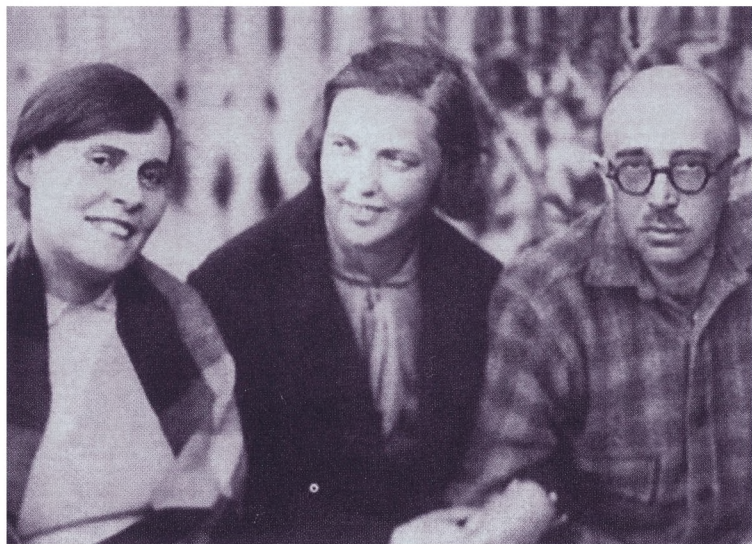
Режиссер Лев Кулешов — владелец шикарного мотоцикла, в коляске которого Лилия часто рассекала по Москве. *Фото А. Родченко. 1926 г.*





Со своими дорогими Осей и Володиком. 1928 г.

Жена кинорежиссера, сотрудница детской библиотеки  
Женя Соколова-Жемчужная вытеснила Лилию из сердца Осипа. 1933 г.



«Я ходил последние дни такой мрачный что все меня спрашивали что со мной. Шлялся по кафам по каким то знакомым и приходил еще мрачней а сейчас успокоился немного. Особенно меня тревожило то что ты о себе ничего не писала. Я был убежден что у тебя есть причины о себе не писать»<sup>203</sup> (12 ноября).

На все ее вопросы и опасения поэт отчитывается:

«Живу я дома — тепло уж очень — но ни единая душа (без различия пола) не переступала моего порога. Мы с Оськой по возможности ходим вместе и только и делаем что разговариваем о тебе (тема: единственный человек на свете — киса). Вообще мы с ним очень дружим. Я рисую а он мне Чехова читает»<sup>204</sup> (16 ноября).

«Каждое утро прихожу к Осе и говорю “скушно брат Кис без лиски” и Оська говорит “скушно брат щен без Кисы”»<sup>205</sup> (28 ноября).

«1) “Честно” тебе сообщаю, что ни на одну секунду не чувствовал я себя без тебя лучше чем с тобой.

2) Ни одной секунды я не радовался что ты уехала а ежедневно ужаснейше горюю об этом.

3) К сожалению никто не капризничает. Ради христа приезжай поскорее и покапризничай»<sup>206</sup> (23 ноября).

Но Маяковский был молод, влюбчив и, конечно, немножко волочил за юбками. Его тогда увлекла Зинаида Гинзбург. Зинаида Львовна и ее сестры Роза и Софья с детства дружили с Левой Гринкругом, были близки к литературным кругам. (Через несколько лет старшая, Роза, попросила Маяковского найти ей в квартиру холостого жильца. Тот предложил Шкловского, предупредив, правда, что Витя может запросто оставить открытыми водопроводные краны. Но потом выяснилось, что Шкловский женат, и у Розы Гинзбург поселился Исаак Бабель...) Так вот, Лиле донесли о похождениях ее Волосита, и она взорвалась вулканом:

«Юлия Григорьевна Лъенар рассказала мне о том, как ты напиваешься до рвоты и как ты влюблен в младшую Гинзбург, как ты пристаешь к ней, как ходишь и едешь с ней в нежных позах по улицам. Ты знаешь, как я к этому отношусь. Через две недели я буду в Москве и сделаю по отношению к тебе вид, что я ни о чем не знаю. Но требую: чтобы всё, что мне может не понравиться, было абсолютно ликвидировано.

Чтобы не было ни единого телефонного звонка и т. п. Если всё это не будет исполнено до самой мелкой мелочи — мне придется расстаться с тобой, что мне совсем не хочется, оттого что я тебя люблю. Хорошо же ты выполняешь условия: “не напиваться” и “ждать”. Я до сих пор выполнила и то и другое. Дальше — видно будет»<sup>207</sup> (начало января 1922 года).

Возможно, не уверенная в том, что письмо-угроза дошло до провинившегося адресата, она вслед отправляет еще одно:

«У меня была Юлия Григорьевна Льенар. С первого раза она мне совершенно не понравилась. Судя по ее рассказам, живете вы очень весело, у вас много новых знакомых дам, и я за вас рада. Называет она всех вас “своей компанией” и “Ося, Володя” по именам. Вы, конечно, понимаете, что, несмотря на то, что я очень радуюсь, что вы так веселитесь, — вам перед моим приездом придется открыть все окна и произвести дезинфекцию. Такие микробы, как Боба (Роман Гринкруг, сын хозяев квартиры в Водопьяном переулке. — А. Г.) и дамы типа Юлии Григорьевны, так же как и клопы в стенах, — должны быть радикально истреблены»<sup>208</sup> (начало января).

Щенит в ответ на Лилины инвективы уходит в полнейший отказ (лучшая тактика для изменщиков):

«Получил твое письмо о моем времяпрепровождении. Информация тенденциознейшая. В натуре всё это чушь фантастическая. Но пока что я на всякий случай сильно загрустил. Одно утешение — с первого знакомства я и сам убедился и других убеждал что баба эта дрянь страшная. <...> Я не больше чем ты из “этой компании”»<sup>209</sup> (9 января; к письму пририсован щен, грустно всхлипывающий: «Ууу!»).

На следующий день, справившись со злостью на доносицу и еще раз собравшись с духом, он снова делает попытку обелиться:

«Конечно я не буду хвастаться что я живу как затворник. Хожу и в гости и в театры, и гуляю и провожаю. Но у меня нет никакого романа нет и не было. Никакие мои отношения не выходят из пределов балдежа. Что же касается до Гинзбургов и до младших и до старших то они не плохой народ но так как я нашел биллиардную то в последнее

время видется с ними не приходится совсем. К “компаний” же Юл[ии] Г[ригорьевны] я не принадлежал ни когда обозвав ее сволочью в первый же день знакомства в сем убеждении и пребываю. Избегал ее всегда и всячески»<sup>210</sup> (10 января).

В начале февраля Лиля вернулась в Москву. Издательские хлопоты кончились ничем. Вроде бы наклевывалось дело с эмигрантом и владельцем крупной типографии Зивом: Маяковский согласился стать его представителем в Москве и даже получил аванс в валюте на издание книжки, но потом оказалось, что Зив скорее заинтересован в учебниках, а вопрос с учебниками решался только через Крупскую, которая, как и Ленин, футуристов не переваривала. Пришлось махнуть рукой на всё предприятие.

В Москве Лиля была встречена стихотворением, которое велела Маяковскому сочинить к своему приезду (она была музой с кнутом). Писалось оно медленно и мучительно. В итоге родилось «Люблю».

...Пришла —  
деловито,  
за рыком,  
за ростом,  
взглянув,  
разглядела просто мальчика.  
Взяла,  
отобрала сердце  
и просто  
пошла играть —  
как девочка мячиком.  
И каждая —  
чудо будто видится —  
где дама вкопалась,  
а где девица.  
«Такого любить?  
Да этакий ринется!  
Должно, укротительница.  
Должно, из зверинца!»  
А я ликую.  
Нет его —  
ига!  
От радости себя не помня,  
скакал,  
индейцем свадебным прыгал,  
так было весело,  
было легко мне...

Видно, именно Лилина дамская снисходительность к «мальчику» и привязала к ней Маяковского столь сильно. Другие женщины шарахались от его чрезмерных и буйных чувств, таяли, ломались, влюблялись — она же им просто играла, и это наполняло его судорожным мазохистским счастьем. И иго ему было не иго. Поэма «Люблю» стала первой публикацией книжного издательства МАФ (Московской ассоциации футуристов). Лилины «зверики» затеяли его, как только появился правительственный декрет, разрешающий частные и кооперативные книгоиздательства. Милые, короткие нэповские поблажки! У Маяковского-поэта наступила светлая полоса. Ленин вдруг публично похвалил его «Прозаседавшихся», что сразу раскрыло ему ворота газетных полос. «Известия» напечатали друг за другом шесть его стихотворений.

А Лиля в апреле 1922-го снова умотала в Ригу — во-первых, еще не был поставлен крест на несвершившихся издательских планах; во-вторых, она должна была добиться-таки немецкой и английской виз. Из Латвии прислала «мальчикам» по паре сандалий, ноты, немецкие журналы, Маяковскому с Гринкругом — по колоде карт, Осе — очки с запасными стеклами и всей семье с Аннушкой и друзьями — Ритой Райт, Асеевыми и Гринкругом — шоколад, ликер и четыре банки консервов (видимо, шпрот) для совместного съедения.

В Риге «Киса» договорилась о девятидневных гастролях Маяковского, и в мае тот действительно к ней присоединился — в гостинице «Бельвю» (Альтер к тому времени уехал лечиться в санаторий). Катанян-младший пишет, что, путешествуя, они всегда занимали разные комнаты и никогда не ночевали в одной постели: «Она говорила: “Володя такой большой, что удобнее индивидуальный гроб, чем двуспальная кровать”»<sup>211</sup>. Когда-то, еще будучи ее стопроцентным мужем, Ося не желал с ней спать ночами на одном ложе — дескать, неудобно. Теперь роли менялись: кукушонком в кровати становится Лиля.

Для Маяковского это была первая заграничная поездка, для которой ему, как и его возлюбленной, пришлось нацепить официальную личину представителя Наркомпроса. Луначарский в принципе благоволил всей компании, накануне отъезда Маяковского в Ригу наркому даже устроили домашний прием на квартире в Водопьяном, где собрались Пастернак, Асеев, Хлебников...

В антисоветски настроенной Латвии Маяковский про-

никся патриотизмом. Как же, ведь на родине его обожают, а в Риге запретили выступление, хотя уже висели афиши. Тираж поэмы «Люблю», выпущенный симпатизирующим коммунистам еврейским культурным центром «Арбайтергейм», арестовала полиция.

Но в тот год поэта ждало еще много заграничных впечатлений. Правда, сначала был традиционный дачный сезон в Пушкине (лес, грибы, веранда, Аннушка). Если не гуляли, то занимались излюбленными забавами: Осип бился с гостями в шахматы, Маяковский предпочитал менее интеллектуальные карты и постоянно побеждал переводчицу Риту Райт. Проигравшей приходилось мыть его бритву.

В августе Лиля, наконец, получила немецкую и английскую визы (отношения РСФСР с Германией были восстановлены еще весной) и отправилась сначала в Берлин, а затем и в Лондон. Из Берлина она инструктировала мужей, как поскорее получить немецкую визу: надо сказатьсь больными — дескать, едем на лечение в Киссинген, а по дороге остановимся в Берлине. Пока Володя и Ося принимали гостей и оформляли визы, Лиля продолжала отрываться по полной: каталась на лошадях в манеже, купила себе несколько платьев и «чудесное кожаное пальто». Развлекали ее братья Льва Гринкруга и прочие московские друзья.

Из Берлина Лиля успела слетать в Лондон и увидеться — впервые с 1918 года — с мамой и Эльзой. Последняя в эмиграции влачила довольно жалкое существование. Андре Триоле, оказавшийся азартным лошадиником и, похоже, не очень ее любивший, согласился жениться только спустя год после отъезда из России (хотя, казалось бы, на свадьбу и уезжали). Вдвоем они отправились на остров Таити, о чем Эльза потом напишет в своей одноименной книге.

В 1921-м они с мужем вернулись в Париж, где почти полгода ютились по углам, у родственников и в гостиницах. В августе она писала сестре в Ригу уже из собственной, пока пустоватой квартиры, заверяя, что у нее с Андре всё замечательно: они уже перешли на «ты» (!) и привыкли друг к другу. Лиля пересказывала радостную новость своим «звездам». Но в счастье Эльзы верится мало — хотя бы из-за таких вот ее строк:

«Андрей, как и полагается французскому мужу, меня шпыняет, что я ему носки не штопаю, бифштексы не жарю и что беспорядок. Пришлось превратиться в примерную хозяйку, и теперь “у меня чистота, у меня порядок”. <...> В Па-



риже я мало кого знаю, друзей у меня нет, да, думается мне, что, дойдя до известного возраста (через пару недель ей исполнилось 25 лет. — А. Г.), новых друзей не приобретешь»<sup>212</sup>.

К концу года она расходится с Триоле и перебирается к матери в Лондон, где устраивается на работу в архитектурную фирму. Зарплаты еле хватает на губной карандаш. Мама, Елена Юльевна, служившая в российской торгово-дипломатической миссии АРКОС и развлекавшая коллег игрой на фортепиано, тоже грустила: ее брат Лео Берман — тот самый, который кидался к Лиле с предложением руки и сердца, который помог беглянкам Каган с обустройством на Западе и предоставил сестре свой лондонский кров, — попался на подделке деловых бумаг и в 1920 году угодил в тюрьму на пять лет.

Из Лондона Лилия пишет «родным зверикам», чтобы те приезжали скорее и привозили побольше денег, потому что вещи кругом изумительные, глаза разбегаются. Без особенных эмоций замечает: «Завтра приезжает Эльза — интересно»<sup>213</sup>.

Детали встречи после долгой разлуки неизвестны. Ясно только, что сестры ринулись в омут того, что Маяковский назвал балдежом. Каждый день они мотались на дансинги, где отплясывали модный фокстрот. Учителем Лили был блондин Лев Герцман, переводчик из АРКОСа. Фокстрот у них с Лилей, конечно, перетек в другой, гораздо более интимный танец. Параллельно наша флэпперша смекала, как бы успеть метнуться к Михаилу Альтеру на германский курорт Санкт-Блазиен. Жонглирование любовниками было любимым Лилиным фокусом.

С Ритой Райт Лилия взахлеб делится лондонскими радостями — здесь и музеи, и театры, и шелковые чулки, и, главное, никаких футуристов! (Зачитывая Лилино письмо «зверикам» вслух, на этом месте Райт споткнулась, но Маяковский всё понял и потемнел тучей.) Она бы с удовольствием осталась в Лондоне еще на несколько месяцев, но пора было в Берлин — встречать своих мужчин. Осип и Маяковский ехали туда через Эстонию в качестве технического персонала советской дипмиссии в Ревеле. В Берлин сестры отправились вдвоем, а мама, всё еще не свыкшаяся с аморальным, по ее мнению, двоемужеством дочери, осталась ворчать и поцыкивать на Туманном Альбионе. Маяковский, конечно, стал уже совсем знаменитым, имя его гремело, но зачем же было стулья ломать?

## КАРТЫ И ПОЛОВОЙ ИНСТИНКТ

Наконец-то дружная компания, балаганившая когда-то на улице Жуковского в Петрограде, воссоединилась! Шкловский и Яacobсон тоже были здесь. Да и кого здесь только не было! Казалось, все интеллектуальные сливки царской России переместились в Берлин. Белый, Пастернак, Есенин, Северянин, сменовеховцы\* во главе с будущим красным графом Алексеем Толстым и т. д. Литераторы-эмигранты жадно выпивали и дискутировали с литераторами советскими. Занавес был еще не железным, а тюлевым.

Жизнь у тогдашних людей в Европе складывалась до того авантюрно, что даже завидно. Шкловский ко времени берлинской встречи уже написал свои главные теоретические работы про поэтику, остранение и прочих фантастических тварей, успел покомандовать атакой броневого царского дивизиона, получить сложнейшее ранение и Георгиевский крест из рук генерала Корнилова, эвакуировать российские войска из Персии в качестве представителя Временного правительства... В Петрограде он участвовал в антибольшевистском заговоре эсеров, в Киеве свергал гетмана Скоропадского (и попал в роман «Белая гвардия» под фамилией Шполянский), на ходу выпрыгивал из поезда, убегая от ЧК, стрелялся на дуэли, сражался в рядах Красной армии, стал профессором и ведущим критиком и, наконец, после начавшихся арестов эсеров бежал по льду в Финляндию. Его жена Василиса оставалась у большевиков заложницей.

За границей Шкловский встретил любимого Яacobсона, с которым познакомился когда-то на диване у Бриков и которого еще недавно в журнале «Книжный угол» призывал вернуться в Россию. Яacobсон, будущий всемирно известный структуралист, тоже провел последние несколько лет в режиме быстрой промотки приключенческой ленты: контрреволюционер, ученый, дезертир, полиглот. В Праге он успел освоить еще и чешский язык и переводил стихи Хлебникова и Маяковского. Преподавал в Карловом университете, подвизался переводчиком во впервые открыв-

---

\* Сменовеховцы — участники неформального общественного движения русской, по большей части эмигрантской либеральной интеллигенции (название пошло от опубликованного в Праге в 1921 году сборника публицистических статей «Смена вех»). С началом нэпа они поверили в перерождение Советской России, считали, что нации нужно примириться и объединиться, и ратовали за возвращение на родину.

шейся советской миссии. Он всё еще страстно любил Эльзу и, хотя в конце концов и женился на студентке-медичке Соне Фельдман, продолжал забрасывать свою бывшую московскую пассию душещипательными письмами.

В Берлине Шкловского снова тяжело ранило — на этот раз стрелой Купидона. Объектом его чувства стала та же Эльза. Любви двух друзей-теоретиков схлестнулись в смертном бою.

Через много лет Шкловский рассказывал об этом Виктору Дувакину. Диалог получился дерганный, пунктирный:

«...*В[иктор] Ш[кловский]*: Когда я влюблен был в Эльзу, я разогнал, правда, вокруг нее на километр всех мужчин. Просто они боялись меня, но это было просто от дурного характера.

*В[иктор] Д[увакин]*: Выходило, что если бы вы не разгоняли, а держались бы на противоположном полюсе, так, как держался Осип Максимович: “Прими ванну” (намек на тот веселый эпизод Лилиной биографии, когда она напилась с двумя незнакомыми офицерами, проснулась наутро в борделе, а Осип, продемонстрировав змеиное самообладание, прокомментировал женину выходку: «Прими ванну и обо всём забудь». — *А. Г.*), то...

*В. Ш.*: Вы откуда знаете, от меня, нет?

*В. Д.*: И от вас тоже, мне уже четыре раза говорили... то выходит, что вы были бы на более, так сказать, высоком уровне, были бы более человеколюбивым? По-моему, это вполне естественно. Это доказывает, что вы в то время Эльзу любили...

*В. Ш.*: Конечно, любил. Видите ли, в чем дело, мало, что я ее любил, я ее сделал писательницей, за то, что я ее любил. Я ее научил писать. Я дал ей индукцию. Ну вот, Эльза...

*В. Д.*: Вы Триоле знали, самого?

*В. Ш.*: Знал. Эльза более прозаичная, чем... менее трагичный человек, чем Лилия. <...>

*В. Д.*: Ну, а если разогнали?

*В. Ш.*: Разогнал — это... Они меня боялись. Я одного человека взял и бросил в Рейн. Но это... я не думал, что это мое право. Это мой характер.

*В. Д.*: А вы были физически сильным?

*В. Ш.*: Очень сильным. Я у Эльзы в квартире ударил кулаком изразцовую печку и вышел изразец голым кулаком.

*В. Д.*: Плохой был печник. <...>

*В. Ш.*: Плохой был печник. Нет! Это был немецкий печник, немецкий печник был. Причем, видите, в чем дело

было. Вот если вы ударите этот стол, не думая о руке, то, вероятно, его можно сломать. А если вы подумаете о руке, вы его никогда не сломаете. Вы разобьете руку»<sup>214</sup>.

Шкловский и вправду разгонял поклонников Эльзы кулаками. Одного англичанина в ресторане бросил на роль. Жил впроголодь, чтобы ежедневно класть под Эльзиной дверь букет цветов. Мало того, он бесперебойно писал (вернее, надиктовывал) ей невероятные по метафорике письма, в которых воспевал ее глаза, волосы, даже пятки, просил стать его женой и родить ребенка. (Параллельно не забывал и свою заложницу-жену: «Верен тебе совершенно. Ночью кричу. Приехали Брик, М[аяковский] и Лиля. Очень неприятны. <...> Люблю тебя больше прежнего. Жить без тебя не умею»<sup>215</sup>.)

Из писем сложится шедевр — «Zoo, или Письма не о любви». Эльза там выведена как Аля, а соперник Якобсон остается инкогнито. Роман Осипович, конечно, страшно злился, что Шкловский переплавляет их историю в книгу. Янгфельдт приводит цитату из его письма Эльзе: «Надоело, что Витя хочет нас с тобой инсценировать, а себе взять на драму корреспондентский билет, если не удастся заделаться актером на вторые роли»<sup>216</sup>. Многие потом пеняли Шкловскому, что книга слишком «сделанная», образцово формалистская. Пусть даже и так. Но она вся надрывается чувством. Она, по собственному выражению автора, получилась такой влюбленной, что, взяв ее в руки, невозможно не обжечься. Актриса Рина Зеленая, прочитав «Zoo», решила, что ее автор — этакий худой и страдающий герой, похожий на гётевского Вертера, и была разочарована, увидев пышущего здоровьем, крутобокого Шкловского.

Кстати, весьма любопытна фраза, которую Шкловский обронил в разговоре с литературоведом Александром Чудаковым: «Лилия меня не любила. У нее в комнате висело масло: Лилия обнаженная, в натуралистической манере. Однажды она сделала мне предложение в прямой форме. Я не согласился: Эльза была лучше»<sup>217</sup>. Да уж, между Шкловским и Лилей всегда били молнии. А глубинная причина, выходит, кроется в простом: женщина соблазняла, а мужчина — не захотел.

Вообще, если вспомнить, как Лилия гладила руку Пунина, как не выпускала ладонь юного Виктора Ерофеева, прожигая его огненным взглядом, можно вывести гипотезу о ее методах соблазнения. Она нападала первая, но это не было «женским» приставанием в обычном смысле — жал-

ким, просительным, унижающим. Не являлось это и тем, что называется мужским харассментом, когда грань между страстным напором и изнасилованием ужасно неустойчива; хрупкая Лиля не могла бы никого изнасиловать даже при большом желании. Это было скорее исполненное чувством собственной неотразимости, горделивое и не терпящее возражений требование — «дай, хочу». И подавляющее большинство мужчин, конечно, теряли голову. Редкая женщина умеет предложить себя без экивоков, без нытья, без игрищ и прятков. И редкий мужчина откажется, когда женщина (даже не очень красивая) сама себя предлагает.

Иногда это было пробой температуры воды. Подход совершенно мужской, а вернее, активно феминистский. Помню, во время одного застолья слышала от известной российской телеведущей, как к ней приставал президент одной из постсоветских стран: взял ее в охапку и начал кружить — а вдруг понравится и она ослабит сопротивление? Так и Лилия. Она прощупывала ситуацию, как обычно делают мужчины: пожму руку, ошпарю взглядом, а дальше... А дальше мужчины сами падали к ее ногам — за очень редким исключением.

Что же до осады Эльзы, то для Шкловского она, судя по некоторым деталям, оказалась не такой уж безуспешной. Кое-что сладкое он всё-таки урвал. В «Письмах не о любви» говорится о поцелуях в губы. А в разговоре Виктора Борисовича с Чудаковым прорывается не очень деликатное бахвальство: «Эльза, когда я с ней был в первый раз, удивилась: “Я не думала, что ты такой специалист”. Длинного романа не было. Были встречи. Когда встретились после “Zoo”, она сказала: “Теперь это получается у тебя хуже”»<sup>218</sup>. Неудивительно, что современники называли Шкловского эротоманом, а Гинзбург писала, что у него гипертрофия полового инстинкта. Впрочем, при всей горячности чувств к эмигрантке Эльзе Шкловский собирался вернуться на родину. Последнее письмо в его книге — обращение ко ВЦИКу с просьбой впустить его обратно в Страну Советов. И ВЦИК, к всеобщему удивлению, смилоствовался.

Кстати, ответы Эльзы в «Zoo» — подлинные. Узнав об этом, Горький восхитился ее пером и посоветовал писать прозу. Шкловский почувствовал себя Пигмалионом — гордился, что женщина, не ответившая на его чувства, стала его Галатеей, что это он сделал ее писателем. Как литератор Эльза окажется весьма плодотворной: всю жизнь будет писать романы, рассказы, усердно переводить с русского

на французский и с французского на русский... Но первые свои тексты — «На Таити» и «Земляничку» — Эльза посвящает не Пигмалиону Шкловскому, а преданному ей с детства Ромику Якобсону.

Странно и обидно, что его горячие признания не получили в ее сердце должного отклика. Какая была бы блестящая партия! Но Эльза, увы, всё еще болела Маяковским. Видно, приезд всей компании всколыхнул дремавшие переживания, сорвал корочку с незажившей раны. Позже она вспомнит, как они встретились, как поселились всем табором в «Курфюрстен-отеле», где целыми днями толкался народ. Как Маяковский с головой погрузился в азартные игры и почти не разговаривал с ней. Его злосчастные карты, его равнодушие так измотали Эльзу, что она переехала из отеля в меблированные комнаты. Табор явился к ней на новоселье, Маяковский — снова с картами. Поругались, Маяковский ушел, испортив веселье. Лиля их помирила.

Кровь из раны, видно, продолжала пульсировать и почти через год, в 1923-м, когда вся компания отдыхала на Фризских островах в Северном море: «Даже когда я тяжело заболела по приезду на остров Нордерней (“дыра дырой — ни хорошая, ни дрянная — немецкий курорт, — живу в Нордернее...”), куда мы поехали все вместе — мама, Володя с Лилей и все те, что потянулись за нами, — даже тогда Володя на меня, можно сказать, не обернулся. Вижу себя в кровати, лежу, страдаю, а на дворе солнце, все на пляже... Быстро и весело входит Володя, берет с вешалки Лилино полотняное пальто, назидательно говорит самому себе, видимо, повторяя Лилины слова: “Не уколись, там две булавыки...” — и уходит, не сказав мне ни слова»<sup>219</sup>.

Но злилась и бесилась не только Эльза — Лиля тоже была ужасно недовольна Щеником. Все ее мечты о совместных походах по музеям разбились вдребезги. Маяковский дни и ночи проводил в покерном угаре и выходил на улицу только в цветочный киоск, где покупал для Лили гигантские букеты — прямо с витрины, вместе с вазами. Ужинали в самом дорогом ресторане «Хорхер», где Маяковский щедро платил за всех. Лиля стеснялась — ей казалось, что Маяковский вел себя, как купец: заказывал себе сразу две кружки пива и не меньше пяти порций компота и дыни (дыни он, видно, очень любил; когда мать Осипа однажды принесла сыну в качестве гостинца большую экзотическую дыню, Маяковский бесцеремонно набросился на лакомство и слопал его в одиночку, оставив Полину Юрьевну со-

вершенно обескураженной). Пока Маяковский прожигал время за картами, Лиля бродила по музеям с Осипом. Тот даже читал лекции в Академии нового искусства. А поведение Маяковского доставало ее до печенок.

Катанян-младший, правда, Маяковского оправдывает. Дескать, мужчина был крупный, со здоровым аппетитом, потому и засиживался в ресторациях. Что же до театров и прочей культурной программы, то без знания языка он всё равно не смог бы насладиться спектаклями и вернисажами в полной мере. К тому же он много писал, встречался с издателями, ездил в Париж на деловые переговоры с Сергеем Дягилевым, а потому имел полное право немножко расслабиться за карточной колодой.

Выступления у него и вправду были. Еще в Ревеле (современный Таллин) Маяковский прочитал лекцию о пролетарской поэзии, а в Берлине вместе с Осипом участвовал в открытии выставки русского искусства в галерее «Ван Димен», где западной публике впервые демонстрировались работы Татлина, Малевича, Шагала, Родченко, Кандинского, Лисицкого, Бурлюка. Здесь же висели сделанные Маяковским плакаты «Окон РОСТА». Также Маяковский подписал с издательством «Накануне» договор на поэтический сборник, а еще издал книгу «Два голоса» с визуальной поэзией для чтения вслух — художник-авангардист и архитектор Лазарь (Элизер или Эль) Лисицкий разбил типографские строки так, чтобы ритм и интонация стихов буквально читались глазами. Что же касается обильных многочасовых обедов в лучших ресторанах, то берлинские туристы в то время легко могли пошиковать. Марка в послевоенной Германии почти ничего не стоила. В воздухе уже сквозил национализм. Шкловский в те дни писал жене, что на Европу спускается ночь: «Ночь наступает, будем любить крепче. Здесь чахнет Ремизов, танцует А. Белый, скрипит Ходасевич, хамит Маяковский, пьет А. Толстой, остальные шиберуют»<sup>220</sup>. («Шиберуют» — значит «спекулируют», от немецкого Schieber — толкатель.)

Неудивительно, что Лилу эта поездка к Маяковскому значительно охладила. На фоне образованного, любознательного, знающего языки Осипа Владимир Владимирович с его извечными киями, картами и ревностью был несносен. Когда он уехал на неделю в Париж, Лиля с облегчением выдохнула. В Париже Маяковский встретился со старыми друзьями-художниками Михаилом Ларионовым и Наталией Гончаровой, познакомился с композитором Игорем Стра-

винским, художниками Пабло Пикассо, Фернаном Леже, Жоржем Браком, Робером Делоне, Жаном Кокто и даже попал на похороны писателя Марселя Пруста. А когда вернулся в Берлин, началось то же самое: карты в четырех стенах и никакого интереса ни к чему, что прямо его не касалось.

Что ж, в любой сказке нарушение запретов приводит героя к жестокому наказанию судьбы. Так и с Маяковским. За плохое поведение во время заграничной поездки ему пришлось горько расплакиваться и расплачиваться. Мучительно и наотмашь.

## ТАНЦУЕМ СЕБЕ ПОНЕМНОГУ

Семья Бриков и Маяковского вернулась в Москву, и на столичных афишах сразу запестрело «Что Берлин?», «Что Париж?». Это были объявления о выступлениях Маяковского с рассказами про поездки. Организовывал выступления известный театральный и литературный антрепренер Федор Долидзе. Этот неумный импресарио зажег немало поэтических звезд, развозя по всей стране Куприна, Есенина, Брюсова, Рюрика Ивнева, Вадима Шершеневича и др. Кстати, знаменитые выборы короля поэтов в Политехническом тоже устраивал Долидзе.

Количество желающих послушать Маяковского зашкаливало. У Политехнического музея было столпотворение, подключилась даже конная милиция. Не доставшие билетов штурмовали дверь. В зале сидели в проходах и на эстраде, свесив ноги. На каждом стуле жалось по двое. Маяковский вышагнул под гром аплодисментов и стал эффектно вещать про Берлин и Париж. Разумеется, с чужих слов, потому что сам из-за карт ничего не видел и ничем не интересовался. Лиля, и без того раздраженная, буквально лопалась от досады, перебивала громко и обидно. В перерыве Долидзе заклинал ее уговориться и не устраивать скандала, чуть ли не запер в артистической. Но Лиля и не собиралась оставаться на второе отделение — сбежала домой, где переживала, долго маялась бессонницей, даже приняла снотворное. На следующий день огорченный Маяковский пришел обедать, и Лиля заявила, что на его концерты больше не пойдет. Пусть, если хочет, отменяет. Но Маяковский, хотя и ходил бука букой, выступления не отменил. Все они пользовались грандиозным успехом. Друзья волновались, почему не присутствует Лиля, — не заболела ли?



В итоге вызрел тяжелый разговор на двоих — по нашим меркам наивный, утопический. Дескать, не революционно мы живем, товарищ, утопаем в быте, ко всему притерлись. Пьем чаек, наслаждаемся трясинной нэпа. Лиля была неменьшей, а то и большей гедонисткой, чем Маяковский, но кругом виноватым вышел в итоге только он.

Лиля приговорила: два месяца разлуки, никаких контактов. А там, дескать, встретимся и решим, как жить дальше. Это было 28 декабря 1922 года. Назначенный срок конца испытания — 28 февраля 1923-го. Тут-то для мнительного, заикленного на Лиле Маяковского и начался крошечный адский ужас. Тем же вечером он пишет:

«Раньше прогоняемый тобою я верил во встречу. Теперь я чувствую что меня совсем отодрали от жизни что больше ничего и никогда не будет. Жизни без тебя нет. <...> Я сижу в кафэ и реву надо мной смеются продавщицы. Страшно думать что вся моя жизнь дальше будет такою. Я пишу только о себе а не о тебе. Мне страшно думать что ты спокойна и что с каждой секундой ты дальше от меня и еще несколько их и я забыт совсем. Если ты почувствуешь от этого письма что нибудь кроме боли и отвращения ответь ради Христа ответь сейчас же я бегу домой я буду ждать. Если нет страшное страшное горе»<sup>221</sup>.

Два зимних месяца Маяковский бегал с Лубянского проезда в Водопьяный переулок и заглядывал в окна, за которыми Лилия веселилась как ни в чем не бывало. И хотя условлено было не писать писем, не наводить мосты, он не мог отрезать себя совсем. Плача, передавал через Аннушку записочки, рисунки, книжки с горькими рифмованными посвящениями, цветы и живых птиц в клетках — таких же заключенных, как он сам. В такой обстановке горя, постоянных рыданий, нервного потрясения и отвращения к самому себе, к быту, к обывательщине, к попойкам и картам писалась поэма «Про это».

Пока Маяковский изживал быт, Лилия без всяких утрызений совести погружалась в него еще глубже. И мещанского чаевничанья, которое Маяковский поносит в поэме, не бросала. В начале февраля она хвастает Эльзе успехом своего эксперимента над поэтом:

«Прошло уже больше месяца: он днем и ночью ходит под окнами, нигде не бывает и написал лирическую поэму в 1300 строк. Значит, на пользу! Я в замечательном настроении. Тик мой (заработанный в Тюрингии, еще в девичестве,



Дувакин назвал ее бесчеловечной). Это было добывание фарша эмоций из живого человека. Фарш получился великолепным, сочным, а вот человек чуть не сдох. Поэт пишет по свежим следам тяжелого разговора:

«Мозг говорит мне что делать такое с человеком нельзя. При всех условиях моей жизни если б такое случилось с Личикой я б прекратил это в тот же день. Если Лилик меня любит она (я это чувствую всем сердцем) прекратит это или как то облегчит. Это должна почувствовать, должна понять. Я буду у Лилика в 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> часа дня 28 февраля. Если хотя б за час до срока Лилик ничего не сделает я буду знать что я любящий идиот и для Лилика испытуемый кролик»<sup>223</sup>.

Здесь впору воскликнуть: «Аллилуйя, Владимир Владимирович! Неужто прозрели?» Но подопытный кролик не бежит из лаборатории. Он с упоением подставляет под зомболуч дрожащее нежное тельце. Бдит у подъезда, шлет с прислугой записочки, выманивает в ответ хоть несколько строчек и плачет, плачет.

...Откуда вода?  
Почему много?  
Сам наплакал.  
Плакса.  
Слякоть.  
Неправда —  
столько нельзя наплакать.  
Чёртова ванна!  
Вода за диваном.  
Под столом,  
за шкафом вода.  
С дивана,  
сдвинут воды задеванием,  
в окно проплыл чемодан...

«Про это», как и «Zoo» Шкловского, родом из берлинской поездки. И там и там упоминается наводнение. Две сестры — два разбитых сердца — два шедевра русской литературы.

За каждую свою нелегальную записочку «на волю» Маяковский слезно извинялся:

«...не тревожься мой любименький солник что я у тебя вымогаю записочки о твоей любви. Я понимаю что ты их пишешь больше для того что б мне не было зря больно.

Я ничего, никаких твоих “обязательств” на этом не строю, и конечно ни на что при их посредстве — не надеюсь. Забьтся детанька о себе о своем покое. Я надеюсь что я еще буду когда нибудь приятен тебе вне всяких договоров, без всяких моих диких выходов. Клянусь тебе твоей жизнью детик что при всех моих ревностях, сквозь них, через них я всегда счастлив узнать что тебе хорошо и весело. Не ругай меня детик за письма больше чем следует»<sup>224</sup>.

«Детик», конечно, ругает. Ведь сказано было: не звонить, не видаться. Письма писать — только если совсем припрет. Но Маяковский круглосуточно находился в состоянии «припертости». Его колбасило. О Щениных жалобах и громких терзаниях Лиле, конечно, доносили. Она хмурилась. Маяковский, узнав, что «лучик» хмурится, снова раздражался ипохондрическими посланиями с нарисованным на полях щеником за решеткой. Щеник, страшно раззявив пасть, орет: «Люблю!!»

У Лили тогда жил подаренный Маяковским клест. Ему казалось, что клест похож на него и что он хотя бы в таком вот птичьем виде находится рядом с Лилей. Лилия не выдерживала, давала слабинку и посылала страдальцу на бумажных клочках довольно ласковые ответные записки — лишь бы не покончил с собой, лишь бы писал поэму. Изоляция от источника света — Лили — должна была родить поэтический взрыв. И он рождался.

...Лубянский проезд  
Водопьяный.  
Вид  
вот.  
Вот  
фон.  
В постели она.  
Она лежит.  
Он.  
На столе телефон.  
«Он» и «она» баллада моя.  
Не страшно нов я.  
Страшно то,  
что «он» — это я  
и то, что «она» —  
моя.  
При чем тюрьма?  
Рождество.  
Кутерьма.

Без решеток окошки домика!  
Это вас не касается.

Говорю — тюрьма.

Стол.

На столе соломинка.

.....  
Вселенная

вся

как будто в бинокле,  
в огромном бинокле (с другой стороны).  
Горизонт распрявился

ровно-ровно.

Тесьма.

Натянут бечевкой тугой.

Край один —

я в моей комнате,  
ты в своей комнате — край другой.

А между —

такая,

какая не снится,  
какая-то гордая белой обновой,  
через вселенную

легла Мясницкая

миниатюрой кости слоновой.

Ясность.

Прозрачайшей ясностью пытка...

А попутно корчились письма:

«Конечно ты меня не любишь но ты мне скажи об этом  
немного ласково. Иногда мне кажется что мне сообща при-  
думана такая казнь — послать меня к черту 28-го! Какая я  
ни на есть дрянь я немного все таки человек. Мне просто  
больно. Все ко мне относятся как к запаршивленному ни-  
щему — подать если просит и перебежать на другую ули-  
цу. Больно писать эти письма и ужасно их передавать через  
Гринберговских прислуг»<sup>225</sup>.

Уже после смерти Маяковского Лиля Юрьевна, раз-  
бирая его архив, наткнулась на связку своих фотографий,  
обернутых в исписанную тетрадь. Тетрадь эту она видела  
впервые. Это был дневник-письмо, который Маяковский  
вел во время работы над поэмой «Про это». Галина Ката-  
нян, помогавшая тогда сортировать бумаги, потом напи-  
шет, что некоторые страницы были закапаны слезами, дру-  
гие написаны тем же крупным, сумасшедшим почерком,  
что и предсмертная записка поэта, — видимо, во время Ли-

линого эксперимента он не раз был близок к самоубийству (это видно по поэме, в которой то и дело появляются персонажи, готовые броситься с моста, кончающие с собой).

В дневнике он признаёт, что опустился, покрылся квартирной пылью. Самобичевание не очень справедливое, поскольку подушки, скатерти и самовары любила прокурор Лиля, а вовсе не узник Маяковский. Его главное преступление — азарт и равнодушие к берлинским красотам — было проявлением его натуры, от которой не уйти. Психология и быт — штуки разные.

Дневник и вправду разверзает глубины мрака, в котором поэт обитал те два месяца:

«...наказания моего хватит на каждую — не даже, что эти месяцы, а то, что нет теперь ни прошлого просто, ни давно прошедшего для меня нет, а есть один... до сегодняшнего дня длящийся теперь ничем не делимый ужас. Ужас не слово, Лиличка, а состояние — всем видам человеческого горя я б дал сейчас описание с мясом и кровью... Быта никакого никогда ни в чем не будет! Ничего старого бытового не пролезет — за ЭТО я ручаюсь твердо. Это-то я уж во всяком случае гарантирую. Если я этого не смогу сделать, то я не увижу тебя никогда, увиденный, приласканный даже тобой — если я увижу опять начало быта, я убегу. (Весело мне говорить сейчас об этом, мне, живущему два месяца только для того чтоб 28 февраля в 3 часа дня взглянуть на тебя, даже не будучи уверенным что ты это допустишь.)»<sup>226</sup>.

Маяковский не просто считает дни — он считает часы, минуты до своего освобождения. Лилия предлагает 28-го числа вместе отправиться в Петроград; обсуждается покупка билетов. А Маяковский злится, что поезд в восемь вечера — это значит, конец его муке наступит на пять с половиной часов позже.

Переводчица Рита Райт, сдружившаяся с Лилей до состояния «подлилки» (так называли женщин, находившихся всецело под влиянием Лили), вспоминала потом, как в «день икс» сопровождала Лилю на вокзал и как та волновалась — даже сорвала с себя шапку, несмотря на ветреный день. Маяковский ждал ее не на перроне, а на ступеньке поезда, весь окаменевший, как статуя. Брик спрыгнула с коляски, чмокнула Риту и пошла навстречу ему. Поезд тронулся. Он прислонился к двери и прочел ей «Про это». А прочитав, разразился слезами облегчения. Лилия торжествовала. «Поэма, которую я только что услышала, — ут-

верждала она, — не была бы написана, если б я не хотела видеть в Маяковском свой идеал и идеал человечества»<sup>227</sup>. Это тоже похоже на ликование Пигмалиона перед ожившей Галатеей.

В Петрограде провели несколько дней вдвоем в гостинице «Европейская», хоронясь от знакомых, «чтобы разные Чуковские не прознали о нашем приезде»<sup>228</sup> (на Чуковского всё-таки имели зуб из-за слуха о сифилисе). Вернувшись в Москву, тут же устроили домашние чтения новой поэмы. Слушатели, в числе которых были и нарком Луначарский с женой-актрисой, и Пастернак, и Асеев, и художник Штеренберг, были потрясены. Слава и вес Маяковского набирали обороты.

## ЛЕФ И НЕМНОЖКО СУТЕНЕР

Все видели обложку книги «Про это», с которой Лиля Юрьевна Брик взирает строгими, немного выпученными глазами. Это фотография гения конструктивизма Александра Родченко, который снимал ее так часто, что обзавидуешься. Получились фотографии на века. А еще за пару месяцев до издания отдельной книжкой — в конце марта 1923-го — поэма вышла в журнале «ЛЕФ». Группа ЛЕФ (Левый фронт искусств) открывала новую (и последнюю) страницу футуризма в России, ей требовалась печатная платформа, и Госиздат дал добро. Во время тяжелейшего своего зимнего отлучения от тела любимой Маяковский умудрялся впрягаться и в подготовку к выходу первого номера — к нему на Лубянский проезд для этого ежедневно забегал Осип. Осип был основным идейным мотором, Маяковский — лицом и главным редактором. К работе подключилась даже Лиля — перевела с немецкого статью Георга Гросса «К моим работам» и пьесу «Беглец» Карла Виттфогеля.

В ЛЕФе сошлись авангардисты: поэты Николай Асеев и Сергей Третьяков, художники Александр Родченко и Антон Лавинский, режиссер Сергей Эйзенштейн (на тот момент еще не кино-, а только театральный), теоретики Брик, Борис Арватов, приехавший из Читы Николай Чужак, Борис Кушнер (тот, который в поезде вцеплялся Лиле в ноги и про которого она писала Эльзе, что он очень умен, интересен и вообще стоит при желании к нему присмотреться).

ЛЕФ выступал за жизнестроение как противоположность жизнеотражению. Искусство должно было стать ути-

литарным и прислуживать социуму и революции. Художникам следовало бросить традиционные жанры и заняться плакатом, росписью ситца и оформлением фабричных стен. Кино должно было выкраивать новую реальность с помощью монтажа (мы это увидим потом в грандиозном «Киноглазе» Дзиги Вертова). Новая послереволюционная действительность требовала новой техники, новых эстетических приемов. Слово «левый» подчеркивало, что правое крыло футуристов, чуждое социальной проблематике, отбрасывается, остается левое крыло искусства, готовое выполнять сугубо практические задачи. Надо поднять дух пролетарию, чтобы он чаще и сильнее долбил молотом? Поднимем. Надо вдохновить народ на прокладку труб? Вдохновим. Надо поздравить рабочих Курска с добычей первой руды? Поздравим.

Одна из левовских художниц, Елизавета Лавинская, будет потом горько сетовать, что Ося, закулисный вождь ЛЕФа, задуривал им головы разговорчиками про функционализм и фактографию, отрывая от подлинного искусства, от станковой психологической живописи, — признавались только вещи конкретные, полезные обществу, вроде фотомонтажа и плакатов. «А сколько талантливой молодежи бросило искусство, ограничив себя оформительством. А Лавинский, бросивший скульптуру более чем на десять лет! — восклицала она уже в конце сороковых. — Родченко, оставивший живопись и лет через пятнадцать вернувшийся к ней, как к какому-то тайному греху. Ведь уходили от искусства не потому, что не любили, а из-за фанатичной веры в то, что искусство должно умереть, что пролетариату оно не нужно, искусство — буржуазный пережиток, вытравливали из себя эту любовь. <...> Влияние Брика на нас было настолько сильно, что весь трагизм поэмы “Про это”, вся глубина поставленных в ней вопросов в тот период мной не были осознаны. И то, что Маяковский заперся у себя на Лубянке, и крик “ты, может, к ихней примазался касте”, и слова “вороны-гости” — ведь всё изобличало этот страшный быт. Лилей Юрьевной это осваивалось несколько иначе — “он сам из себя вытравливает пережитки старого быта, вот ему и тяжело”. “Вы себе не представляете, — говорила она, — Володя такой скучный, он даже устраивает сцены ревности”»<sup>229</sup>.

В 1923 году под влиянием левовских идей Александр Родченко и муж Елизаветы Антон Лавинский отказались от преподавания во ВХУТЕМАСе — Высших художественно-технических мастерских — один живописи, другой скульп-



туры, стали деканами соответственно металлообрабатывающего и деревообделочного факультетов. Лавинский даже разбил все сделанные им скульптуры, а Родченко далеко запрятал свои живописные работы. Саму Елизавету, которая мечтала о скульптуре, левовцы, по ее словам, чуть ли не принудили идти в архитекторы. Мало того, поддавшись пропаганде Лавинской, со скульптурного факультета ушли и художница Семенова, и еще десять или пятнадцать самых талантливых студентов.

Они же с Семеновой стали обращать в левовцев и архитекторов. За эту подрывную деятельность девушек выгоняли из ВХУТЕМАСа, потом восстанавливали. Лавинская вспоминает, как остро завидовала тем, кто остался заниматься скульптурой, но вытрапливала свою тягу к «чистому» творчеству как буржуазную гниль:

«Скульптуру я любила, так же как остальные, жила искусством, но для нас занятие искусством стало просто-напросто не советским делом. Искусство стало равноценно религии, так как же мы, советская молодежь, можем служить этому культу? Бриковские теории преспокойно укладывались в голове, как идеи Маяковского, и никто из нас — ни из младшего, ни из старшего поколения — не задумывался над тем, чем же в конце концов занимается Маяковский да и тот же Асеев, когда пишут поэмы и революционные стихи!

В 1930 году, уже после смерти Маяковского, Асеев сказал нам — Антону и мне:

— Вы, художники, были дураки, нужно было ломать чужое искусство, а не свое.

Помню, эта фраза потрясла меня своим цинизмом, но потом я поняла, что это была именно фраза: в тот период ничего подобного Асеев не думал и совершенно искренне сам громил и живопись, и скульптуру, воспевая фотомонтаж»<sup>230</sup>.

Характерна сцена, описанная Чуковским в дневнике еще в феврале, в день приезда Маяковского и Лили в Петербург после зимнего двухмесячного испытания (всё-таки скрыться от «всяких Чуковских» им тогда не удалось): «Я сказал Маяковскому, что Анненков хочет написать его портрет. Маяк[овский] согласился позировать. Но тут вмешалась Лилия Брик. “Как тебе не стыдно, Володя. Конструктивист — и вдруг позирует художнику. Если ты хочешь иметь свой портрет, поди к фотографу Вассерману — он тебе хоть двадцать дюжин бесплатно сделает”»<sup>231</sup>. И это говорила женщина, сама с удовольствием позировавшая художникам!

Московский немец Дмитрий Вассерман раньше работал в фотоателье на Кузнецком Мосту, под началом у пруссака Карла Фишера, одного из основателей Русского фотографического общества. Туда приходили позировать разные замечательные личности. В объектив Вассермана, в частности, попал и Распутин. Судя по Лилиной реплике, ему удалось пережить все перевороты режимов и даже открыть собственное дело (впрочем, впоследствии он эмигрировал во Францию).

Что до Елизаветы Лавинской (которую тоже называли Лилей), то, когда писались ее воспоминания, она пребывала в депрессии и к тому же болела туберкулезом. Сплетники в окружении Лили Брик называли ее сумасшедшей. Поэтому слова ее стоит, наверное, делить надвое. Но если убрать из этих записок накипь горечи, всё равно остается скелет правды: журналистика в левовской оптике оказывалась выше литературы, пропаганда — выше художественного романа, рекламные агитки — выше поэзии. Другое дело, что авангардные изобретения в области формы были и впрямь настолько революционны, а люди, входившие в ЛЕФ, настолько талантливы, что даже фотофакты, киноглазы и агитки у них получались высоким искусством, актуальным и по сию пору. Реклама, созданная Родченко и Маяковским, шедеврально. Взять хотя бы лозунги-плакаты «Лучших сосок не было и нет. Готов сосать до старых лет» и, конечно, «Нигде кроме как в Моссельпроме». А знаменитый плакат с Лилей, рупором приложившей руку ко рту и широко обнажающей белые зубы в крике: «Ленгиз. Книги по всем отраслям знаний!» Эта родченковская Лиля стала одним из символов XX века, ее и сейчас охотно монтируют в современные рекламные плакаты, гораздо более пошлые.

Довольно естественно, что в той атмосфере Лилия, то и дело подстегивая Маяковского к творчеству, верила, что идеальное искусство нового государства не только служит земным общественным нуждам, но и прямо вытекает из конкретных жизненных перипетий творящих его людей. Отсюда живучая формула: «Чтобы создать гениальное, нужно помучиться в жизни». Чтобы Маяковский не деградировал, чтобы прогрессировал, надо было держать его в черном теле. Теоретик Осип был для нее, конечно, непререкаемым авторитетом. Лавинская вспоминает такие Лилины речи:

«Разве можно, — говорила она, — сравнивать Володю с Осей? Осин ум оценят будущие поколения. Ося, правда, ленив, он барин, но он бросает идеи, которые подбирают

другие. Усидчивая, кропотливая работа не Осин стиль, ему становится скучно. По существу, Осе нужна стенографистка, которая записывала бы все его слова”.

О Маяковском она отзывалась так: “Какая разница между Володей и извозчиком? Один управляет лошадью, другой — рифмой”. И т. д. Такие заключения я слышала от Лили Юрьевны сама, так же как и ее вывод: “Страдать Володе полезно, он помучается и напишет хорошие стихи”»<sup>232</sup>.

Любопытно, что и сейчас подобные стереотипы весьма популярны. Якобы чем больше разнообразного опыта выпадает на долю автора, чем глубже он окунается в кровь и почву, гной и сперму, шампанское и кокаин, тем гениальнее текст на выходе. Помню, еще на заре своей прозаической стези я оказалась в охраняемом владении одного известного телеведущего, где происходили съемки регулярной телепрограммы про честность и нравственность, в которых разоблачались пороки. Потом он прочитал мою книжку и хотел поделиться своими замечаниями:

— Вы меня простите за такие выражения, но чего вы боитесь? У вас бурлят эмоции, но еще два года такой порядочной жизни, и вы пропали. Вы будете деградировать. Вы засохнете.

— И что вы предлагаете? — спросила я.

— Уйти с цыганами, плюнуть на приличия, отдаться желаниям! Вам нужно три дня провести в борделе! Многие мои знакомые известные женщины прошли через этот опыт! Я могу вам устроить!

— И как это поможет моей прозе? — недоумевала я.

— Я могу сделать из вас Льва Толстого, — похвастался телеведущий. — Я знаю, как это сделать, но вы должны сказать «да». Я вас насквозь вижу! Скучная жизнь, никакого разврата, Коран в голове... Вас с детства запугали, вас зашорили! Давайте сделаем так. Я вам вечером с семи до двенадцати закажу трех обалденных, проверенных проституток и трех мальчиков. Пусть они вам покажут, что такое страсть. И еще двух п\*дорасов. Настоящему писателю нужно это увидеть! Никакого принуждения — будете сидеть с блокнотом и записывать. Я вас уверяю, не пройдет и получаса, как вам самой захочется присоединиться. А если не захочется, то я от вас отстану.

— И что, бордель меня сделает Толстым? — смеялась я.

— Поймите, Горький, Гиляровский — все ходили в народ, к бомжам, а без реального познания ничего не будет. Как вы опишете высшее общество, если не побываете в

ресторане, где в последний раз ужинала принцесса Диана? Вам нужно в оперы, вам нужно на Мальдивы, вам нужно к трансвеститам. Иначе — не опишете! Получится фальшак. Да или нет? Да или нет? — повторял он.

Я, разумеется, сбежала — и была в отместку вырезана из его передачи. В общем, жизнестроительство — штука шаткая, и слишком уж полагаться на нее не стоит.

ЛЕФ, конечно, так и не перевалил через бугор двадцатых годов. Пройдя несколько реинкарнаций — ЛЕФ, Новый ЛЕФ, РЕФ, — он свалится под бронированные колеса ВАППА — Всероссийской ассоциации пролетарских писателей, пролетарской литературы, сшитой по лекалам реализма XIX века. (ВАПП, родившаяся в 1920 году, через восемь лет переименовалась в РАПП — из Всероссийской стала Российской.) Вот что было главным расхождением: левовцы считали, что революция требует новых форм и соответствующих революционных экспериментов; вапповцы же были слишком «двухмерны», на эксперименты у них не хватало воображения. Квинтэссенцией писательского ремесла для них была не техника, а марксистское содержание и классовое происхождение автора. Литература рабочих о рабочих и для рабочих — вот к чему следовало стремиться. Ну и равнялись, ясен перец, не на новое, опасное и непонятное, а на посконные и привычные образцы литературы из предыдущего столетия.

Но были у левовцев и другие оппоненты. К примеру, группа «Перевал», участники которой — дурачки — плевали на классовую принадлежность и пеклись о свободе художника. Спустя несколько лет, уже в журнале «Новый ЛЕФ», Осип Максимович будет их брыкать:

«Начитавшись Воронских и Полонских, каждый молодой начинающий писатель прежде всего стремится стать “творческой индивидуальностью”. Он... знает, что, работая в газете или в журнале, ему не удастся во всю ширь развернуть свою творческую индивидуальность, ему придется бегать и писать по заданиям редакции, писать о том, что нужно и важно сегодня, что нужно и важно читателю, что нужно и важно для всего нашего культурного строительства.

Он знает также, что, сколько бы интересных фактов он ни собрал, сколько бы талантливых очерков ни написал, ни один Воронский и Полонский не напишут о нем ни одной статьи, не возвестят миру о появлении новой творческой индивидуальности, а вместе с этим и не дадут ему мандата на “свободное” проявление своих творческих задат-

ков. <...> Неважно, будут ли его ругать или хвалить. Важно, что статьи о нем начнутся со слов: “Творческий путь молодого писателя такого-то отмечен” и т. д. — дальше пойдут неизменные лестные или нелестные сравнения этого нового молодого писателя с Толстым и Достоевским, с указанием, в чем он с ними совпадает и в чем расходится.

Мандат на творческую личность получен. Можно расплеваться с редакциями, можно на законном основании перейти из “Дома печати” в “Дом Герцена”, брать авансы и, сидя у себя в конуре, высасывать из пальца “свободные” рифмы и “обобщающие” образы.

А еще через некоторое время можно, сидя в пивной, жаловаться на строгости цензуры и писать письма Горькому о том, что в Советской России настоящему писателю трудно развернуться.

Мы, лефовцы, совместно с руководителями ВАППа боролись против этой индивидуалистической заразы. Мы всеми средствами убеждения доказывали руководящим органам и писательскому молодняку, что путь Воронских и Полонских гибелен для советской литературы. И, кажется, мы многого на этом пути достигли»<sup>233</sup>.

Но внутри ЛЕФа кипели противоречия. Не все были настроены на чистый утилитаризм. В ЛЕФе состоял Пастернак — уж он ли не индивидуалист? Да и Маяковский — и за это в первом номере «ЛЕФа» его критикует Чужак — единственный выход из быта видел в будущем, за каким-то фантастическим горизонтом. Ну а как еще, если всё в принципе осталось по-прежнему. Тустепы, таперы, шубки, богатство и нищета. В стихотворении «О дряни» (1921) Маяковский нападает на мещанство в виде котят и канареек, но сам же посылает Лиле клеста, лелеет их общее гнездышко и обожает домашних животных. Несовпадение получается. Несовпадение, которое его в итоге разломало.

О том, что лефовская доктрина была во многом навязана Маяковскому обожавшим его Осипом Бриком, можно понять из позднейшего разговора Шкловского с Дувакиным:

*«В[иктор] Ш[кловский]:* Брик был прежде всего человеком аскетическим. Он нравился женщинам, но он женщин не любил. Он был раньше богат, но богатство он не любил. Он был скромным человеком, ну, как вам сказать, но немножко талмудистом, но человеком с превосходной аналитаторской головой, слишком отвлеченным для искусства, но самоотверженным.

*В[иктор] Д[увакин]:* По отношению к?..

*В. Ш.:* Маяковскому.

*В. Д.:* К Маяковскому или к искусству?

*В. Ш.:* К Маяковскому. Он был настоящий апостол Маяковского. Одновременно, как всякие апостолы, они хотят втереть свое учение Христу. Это кончается тем, что Павел подменяет Христа. Но вот литература факта... Брик не любил искусство. Он любил кино за то, что кино — не искусство, что оно плохое искусство, скажем, что его надо отдалять от искусства. Но вот эта литература факта, с одной стороны, была... черт его знает, там и мои статьи очень ранние, но это вообще... истерика этого — была бриковская истерика. Я тогда печатал, что когда они отрицали искусство, я говорю, что у нас в журнале печатается Маяковский, Пастернак, Асеев, печатают Бабеля и одновременно говорят, что искусства нет. Это не получается. Это получается так, как ханжа попадает в тюрьму в “Пиквикском клубе” и ему говорят: “Хотите что-нибудь выпить?” Он говорит: “Все спиртные напитки — это суета сует”. Тогда его спрашивают: “А какую из суеты сует вы любите?” Он говорит: “Крепкую”. И ему подают ром. Так что всё это суета сует. Значит, литература факта — это не была ошибка, потому что она сейчас значила в мировом искусстве очень много и очень много значит в чешском искусстве. И это значение мемуара и включение по достоверности... там такая школа Дзиги Вертова, включение, новое отношение к фотографии, отношение... создание эстетики фабричных зданий, понимание того, что эстетика облегчает работу, — это было всё...

*В. Д.:* Всё это придумано было уже тогда. Сейчас...

*В. Ш.:* Это было придумано тогда.

*В. Д.:* А сейчас это к нам вторично приходит с Запада.

*В. Ш.:* К сожалению, вот видите, это очень так серьезно. Была такая история. ЛЕФ был аскетическая организация.

*В. Д.:* ЛЕФ?

*В. Ш.:* Да. Там, значит, служащие: один на жалованье — это Петя...

*В. Д.:* Незнамов, да (поэт и критик Петр Незнамов состоял во владивостокской футуристической группе «Творчество». — *А. Г.*). Еще были две... машинистка... Чистякова? (Черткова?) и Ольга Маяковская (младшая сестра Маяковского. — *А. Г.*).

*В. Ш.:* Ольга Маяковская тоже служила там на четверть ставки. И всё, больше никого. И мы издавали журнал. Ну, платили, конечно, за рукописи мало.

*В. Д.:* Но платили всё-таки?

*В. Ш.:* Платили, но мало. Это привело в ужас Бабея, когда мы за его... собственно, за его собрание сочинений заплатили столько, что он мог пойти в кафе или один раз пообедать. Неправдоподобно мало. Ну вот. И ЛЕФ был великое непонятное революционное искусство. Там были номера, когда в одном номере печатался Маяковский, Эйзенштейн, Дзига Вертов, опоязовцы — и всё это были вещи, которые остались.

*В. Д.:* Да. Не все номера равноценны. Вот это как раз вы говорите про первые номера, 23-го года, лучшие»<sup>234</sup>.

В общем, в 1923 году Маяковский, с одной стороны, ваял агитки (не поступаясь при этом новаторством воплощения), с другой — занимался тем самым бытом. Надо было постоянно подтверждать свое право на комнатку в Лубянском проезде: он с Бриками снова собирался за границу, и за время отсутствия хозяина квадратные метры могли изъять. Рассматривался даже вариант с пропиской там Лили.

Любовные отношения тоже стоило привести в порядок, вышколить себя, повыдергивать из тела мещанские колючки ревности. Лили мечтала научить его жить так, как легко удавалось ей самой: совмещая ненавистный, казалось бы, быт (уют, чаепития, бирюльки, портниху в Фурманном переулке, прислугу Аннушку) и свободные взгляды на секс и любовь. Она пишет:

«Ты мог бы мне сейчас нравиться, могла бы любить тебя, если бы был со мной и для меня. Если бы, независимо от того, где были и что делали днем, мы могли бы вечером или ночью вместе рядом полежать в чистой удобной постели; в комнате с чистым воздухом; после теплой ванны! Разве не верно? Тебе кажется — опять мудрю, капризничаю. Обдумай серьезно, по-взрослому. Я долго думала и для себя — решила. Хотелось бы, чтобы ты моему желанию и решению был рад, а не просто подчинился!»<sup>235</sup>

Вот как просто всё складывалось у нее в голове: днем гулять и крутить романы, а вечером, после ванны, лежать рядышком как ни в чем не бывало. Романы романами, а семья — святое. И почему Маяковский не мог понять? Ося ведь понял.

Летом они полетели в Германию — рейсом Москва—Кёнигсберг, про который Маяковский напишет стихи. Сначала в санаторий под Гёттингеном, потом на остров Нордерней, куда также приехали Эльза, Елена Юльевна, Шкловский и еще несколько друзей. Эльза лежала в комнате больная и ду-

лась — Шкловский был с ней всё так же нестерпимо горяч, а Маяковский — всё так же холоден. На этот раз он вел себя паинькой. Никаких карт — купание в море, прогулки на парходике, ловля крабов, загорание на пляже, чтение Гейне (книжку, которую он в то лето всё время носил с собой, Эльза сохранила у себя как реликвию). Впрочем, Якобсон, по словам Б. Янгфельдта, вспоминал, что до Нордернея был не Гёттинген, а южнонемецкий курорт Бад-Флинсберг (сейчас — польский Сврадув-Здруй), и вот там-то Маяковский с огромным пылом обыгрывал в карты всех подвернувшихся, в частности какого-то русского эмигранта, вывезшего из Сибири чуть ли не тонну платины.

Маме Каган, видать, пришлось смириться с ненавистным поэтом. На фотографиях вся компания отдыхающих выглядит счастливой. Еще бы, несколько недель сплошного отдыха — сказка. Мужчины на снимках в черных купальных костюмах, Лиля счастливо шурится на солнце: фирменная широкая улыбка, нос вздернут.

Маяковский, по воспоминаниям Шкловского, был весел и по-мальчишески плескался в волнах. Правда, как сказано в стихотворении «Нордерней», написанном 4 августа, ему якобы всё время чудились выстрел «Авроры» и буря революции, кроме которой ему, дескать, ничего не надо — что явно притянута за уши, чтобы оправдать собственное наслаждение буржуйским курортом. «Аврора» к песчаным дюнам острова так и не подошла:

...Но пляж  
буржуйкам  
ласкает подошвы.  
Но ветер,  
песок  
в ладу с грудастыми.  
С улыбкой:  
— как всё в Германии дешево! —  
валютчики  
греют катары и астмы...

И Брики, и Маяковский, хотя и выехали из РСФСР по выданным Луначарским служебным паспортам, никакой особенной пропагандистской работы не вели. Маяковский лишь раз выступил в Берлине и вернулся на несколько дней раньше Бриков — Осипу надо было выступать, Лиле — гулять по музеям и встречаться со знакомыми. Вернуться-то вернулся, но уже мечтал и хлопотал о поездке в Америку.



Тем более что в Нью-Йорке было кого навестить — там уже обретался Давид Бурлюк.

Брики везли из Германии новую мебель, а Маяковский обсуждал журнал «ЛЕФ» у Луначарского, встречался с Троцким. В Водопьяном продолжались сборища, теперь под эгидой ЛЕФа. Девочка Мэри из их коммунальной квартиры, зимой наблюдавшая с интересом, как выгнанный Маяковский стоит под окнами, теперь прислушивалась к разговорам шикарных жильцов. Днем у них чтение стихов, завтраки, обеды, совещания. Вечером — на извозчиках в ресторан, в театр. Ночью — карты на деньги, иногда до утра. Пока господа в театрах, Аннушка, убиравшая в комнатах, щедро угощала помогавшую ей Мэри конфетами. Девочке нравились краски Маяковского, украшавшие будуар этюды к «Окнам РОСТА» и висевшая в простенке между дверью и окном афиша «Закованная фильмой» с Лилей, запутавшейся в киноплёнке...

Атмосферу тех лет передают два анекдота. Первый со слов Юрия Тынянова, писателя, опоязовца, формалиста, профессора Института истории искусств, записал в дневнике Чуковский. Другой широко пошел в народ. У Тынянова в пятом и шестом номерах «ЛЕФа» (это первые номера 1924 года) выходили статьи «Словарь Ленина-полемиста» и «О литературном факте». Чистая классика. Так вот, напечатать их напечатали, а гонорар всё никак не платили. Версия № 1: «Однажды ЛЕФ в лице Осипа Брика задолжал Тынянову 50 р. и не заплатил. Пришли к Брику они вдвоем с Шкл[овским]. Брика нет. Лиля пудрится, “орнаментирует подбородок”, а Брик не идет... Шкловский советует Тынянову: “Ты поселись у него в квартире и наешь на 50 р.”. План не удался. Тогда Шкл.: “Юра, тебе нужен указатель Лисовского?” (Фундаментальное издание «Библиография русской периодической печати. 1703—1900» книговеда Николая Лисовского, содержащее наиболее полные сведения о всей выходившей тогда в России периодике: время и место издания, данные об изменении названий, периодичность, фамилии издателей, редакторов и т. д. — А. Г.) Еще бы. “Вот возьми”. Снял с полки у Брика книгу, сунул Т[ыняно]ву в портфель, и они оба ушли. Брик заметил пропажу только через год»<sup>236</sup>.

Вторая версия гораздо более пикантная. Тынянов пришел за деньгами, а Брика нет. Лиля одна. Стол сервирован. На столе — алкоголь, угощение. Лиля раздевается и наступает. Тынянов не то чтобы очень хочет, к тому же он же-

нат — на старшей сестре вирусолога и иммунолога, будущего лауреата Сталинской премии Льва Зильбера и писателя Вениамина Каверина. Но подарок слишком соблазнителен — почему бы и нет? Наутро они просыпаются вместе. Тынянов собирается уходить, мнется и робко спрашивает: «А как же гонорар?» Тогда Лиля бросает ему насмешливое: «Ах, вы еще и денег хотите?» В некоторых вариациях анекдота идея расплатиться за публикацию телом Лили принадлежит Осипу Брику. Эпизод, возможно, и выдуманный, но очень похожий на правду. Осип и вправду предстает эдаким невидимым режиссером, маленьким тихоней-дьяволом и немножко сутенером, который дергает за ниточки всех, кто его окружает. «В те годы Брик был настоящим вождем, — вспоминал в разговоре с Дувакиным литератор Виктор Ардов. — Я скажу так, я заметил и тогда, в 20-х годах: если Брик мне сегодня что-нибудь расскажет (какое-нибудь открытие или какой-нибудь тезис, теорию), Маяковский через два месяца будет об этом говорить в Политехническом музее. Он был настоящим вождем»<sup>237</sup>.

Да, Осип был вождем. А Лилия — вождыхой.

## ВСЯЧЕСКИХ ОХОТНИКОВ ДО НАШИХ ЖЕН

Еще зимой 1922/23 года, когда писалась поэма «Про это», Маяковского раздирали ревнивые подозрения — у Лили кто-то есть. 31 января он пишет ей:

«Ты не ответишь потому что я уже заменен что я уже не существую для тебя что тебе хочется чтоб я никогда не был».

Лилия убаюкивает:

«Я не скуплюсь, Володик; я не хочу “переписки”! Ты не заменен. Это правда, хотя я и не обязана быть правдивой с тобой».

Маяковский не отступает:

«Во всём какая то мне угроза. Тебе уже нравится кто то. Ты не назвала даже мое имя. У тебя есть. Все от меня что то таят»<sup>238</sup>.

Похоже на паранойю, ведь буквально в те же дни Лилия кокетливо пишет сестре:

«Романов у меня — никаких. С тех пор, как не бывает Володя, — все пристают пуще прежнего. Но я непоколебима! Довольно нас помещики душили!»<sup>239</sup>

Но Лиля врал. Еще летом 1921 года она познакомилась с бойцом, светилом, революционером и главой Дальневосточной республики Александром Краснощековым. Сын еврейского портного из Чернобыля, в юности под влиянием своего репетитора Урицкого он стал социалистом-подпольщиком, прошел через несколько тюрем и еще за 15 лет до революции бежал сначала в Берлин, а потом в Нью-Йорк, где взял фамилию Тобинсон и осуществил американскую мечту: начал с работы портным, маляром и расклейщиком обоев, а кончил студентом факультета экономики и права Чикагского университета и юристом по вопросам профсоюзов и иммигрантов. Он даже участвовал в создании Рабочего университета Чикаго для просвещения трудящихся, где также преподавал, а еще вступил во всевозможные пролетарские организации, включая анархо-синдикалистский профсоюз. Как только грянула Февральская революция, вернулся в Россию — через Тихий океан во Владивосток, сразу втянулся в бои Гражданской войны, прослыл героем и в 1920-м создал Дальневосточную республику, где стал министром иностранных дел, а потом еще и председателем правительства.

С Маяковским Краснощеков познакомился через чинских футуристов на одном из московских приемов (его тогда часто приглашали переводчиком — к примеру, в качестве компаньона пожаловавшей в СССР танцовщицы Айседоры Дункан). Он приехал из Сибири летом 1921 года в собственном железнодорожном вагоне. В Москве его отстранили от должности. Причина, конечно, крылась в интригах на почве политики. В дальневосточно-забайкальском государстве царили свобода прессы и парламентский плюрализм. Поэтому, когда еще через год угроза со стороны белых и японцев поубавилась, огромную республику одним махом пристегнули к Советской России. Краснощеков тем временем успел поработать в правительстве помощником наркома финансов, а биограф Лили Аркадий Ваксберг утверждает, что у него была еще одна — тайная — должность в комиссии по изъятию церковных ценностей.

Обожавший Краснощекова Ленин уже угасал, поэтому в Наркомфине тот тоже продержался недолго. Впрочем, выбрасывать такие ценные кадры красные вожди при всём

желании еще не могли, и в октябре 1922-го блистательный экономист Краснощеков возглавил свежесозданный Промышленный банк, в задачи которого входила накачка советских предприятий инвестициями. Написанная Краснощековым (вышедшая в 1923-м) книга «Финансирование и кредитование промышленности» прямо относилась к его обязанностям. Мало того что он сразу организовал на американский манер сеть банковских филиалов и значительно облегчил банковские переводы советским гражданам от родственников из-за границы, он к тому же оказался мастером эффектных имиджевых пиар-кампаний. К примеру, будучи председателем правления первой советской авиакомпания «Добролет», он добился, чтобы один из самолетов получил имя «Промбанк». Именно «Промбанк» совершил первый в стране регулярный пассажирский рейс — из Москвы в Нижний Новгород. На борту находился и сам Краснощеков.

Когда Лиля впервые увидела его летом 1921-го, он жил еще с женой, сыном и дочерью. Через год они снимали дачу в Пушкине по соседству с Бриками и Маяковским. Лиля сразу его «навертела». Словечко было унаследовано ею от танцовщицы и вертихвостки Гельцер, с которой она дружила еще до революции. Когда Гельцер нравился какой-нибудь мужчина, она командовала: «Навертите меня ему!» Тогда объекту отправлялись фотографии Гельцер во всех позах, и в дело вступали подружки-«навертчицы», которые приманивали к Гельцер ее жертву.

Вот и Лиля, когда ей становилось скучно и хотелось в кого-нибудь влюбиться, говорила своим «подпилкам»: «Навертите мне кого-нибудь», — и те начинали расписывать какого-нибудь мужчину в ярчайших тонах, вызывая к нему интерес. «Навертеть» Краснощекова было легко: он был высокий, 42-летний, знаменитый, обладал властью, а для Лили это было очень важно. Она коллекционировала героев. И вскоре Краснощеков был пленен. Именно к нему направляла она своих «звериков», когда те хлопотали о заграничных визах в августе 1922-го. Из Риги Лиля вела с ним тайную переписку через Риту Райт, и он, конечно, бывал у них в Водопьяном. Тяжелый разговор с Маяковским после возвращения из-за границы совпал с отъездом жены Краснощекова. Почувяв недоброе в советском воздухе, она с десятилетним сыном вернулась в США, а Краснощеков с дочерью остался в России. Он был всецело у Лилиных ног, и та отвечала ему бурной взаимностью. Маяковский это чувствовал и терзался.

Впрочем, роман Лиля не скрывала. Скоро их связь стала главной светской сплетней красной столицы. Уже было написано «Про это», уже Маяковский был прощен, но Лилия кипела страстью к другому, и страсть была серьезной, выходящей из берегов.

Меж тем вокруг Краснощекова клубились партийные недруги и плелся заговор. Дело было не только в политике, но и в элементарном дележе влияния. Краснощекова ненавидели в Госбанке — конкуренте Промбанка, то и дело подставляли ему подножку — к примеру, в мае 1923-го устроили кунштюк с уменьшением кредита, в результате чего Промбанк остался совсем без денег. К тому же Краснощеков хотя и подчеркивал перед служащими, что Промбанк подчиняется Наркомфину, но как будто не хотел понимать, в какой стране живет, и искренне считал, что так называемый партмаксимум зарплаты, существовавший для начальников-коммунистов, его не касается, ведь у его банка, помимо государства, были и другие акционеры.

В конце концов кто-то пустил слух о растратах директором Промбанка и генпредставителем Российско-американской промышленной корпорации каких-то немислимых денег. Лилия со своими «мальчиками» уехала на моря как раз в разгар этих слухов. На следующий день после возвращения Маяковского из Берлина Краснощекова арестовали.

Дело его очень походило на теперешние «коррупционные» дела, возбуждающиеся по политическим или сугубо личным мотивам: якобы Краснощеков давал ссуды своему брату, возглавлявшему «Американско-российский конструктор», под слишком низкий процент (кстати, Осип Максимович оказывал этой компании юридические услуги), устраивал вакханалии в ленинградской гостинице «Европейская» — той самой, где в марте останавливались Лилия с Маяковским. Якобы приглашал в номера цыган и забрасывал их золотом и толстенными пачками червонцев, отправлял вторую свою зарплату (от Российско-американской промышленной корпорации) за бугор, жене, растрачивал казенные деньги на меха и подарки дамочкам, барствовал на дорожной даче, пользовался принадлежащими банку тремя упряжными лошадьми с колясками и двумя верховыми. Покупку цветов для своих любовниц директор Краснощеков, по версии следствия, оформлял как «вывоз мусора», а специальную заграничную клизму — как инструмент для конюшни, расплачиваясь, разумеется, не своими, а банковскими деньгами.

Новость об аресте Краснощекова стала бомбой. Чиновники поспешили априори заверить общественность, что преступления его доказаны. То есть о правовом судебном разбирательстве речи не шло. Бывшего героя громили в главных правительственных газетах. Процесс был показательным.

Суд состоялся в марте 1924-го, когда Ленин, главный защитник Краснощекова, уже лежал в Мавзолее (Лиля с «мальчиками», конечно, пришла на прощание с вождем, по журналистскому удостоверению Маяковского им удалось пройти без очереди и посмотреть на тело десять раз).

Адвокат Краснощекова блистал красноречием, наглядно объясняя, что гибкость в определении процента ссуды — залог успеха и что за полгода директорства Краснощекова капитал банка увеличился в десять раз и инвестиции потекли рекой. Что роскошная дача в Кунцеве была заброшенным домом и его единственным жильем, а всё остальное (оргии и наличие любовниц) никак не связано с его профессиональной деятельностью. Тем не менее аморального Краснощекова признали виновным по всем статьям и осудили на шесть лет тюрьмы и лишение гражданских прав сроком на три года. Попало также его брату и несколькими служащим.

Любопытно, что Лилия, которая крутила с Краснощевым и наверняка получала от него богатые подарки (хорошо пожить она умела и любила), в деле не упоминалась. Сильные же у нее были покровители! Возможно, ее бесконечные заграничные разъезды, по времени совпавшие со следствием и процессом, тоже были неспроста — нужно было залечь на дно.

Любовницей, фигурировавшей в официальном деле, была другая женщина, Донна Груз, служащая банка с правом второй подписи. (Пройдут годы, Краснощев на ней женится, и в 1937-м его расстреляют, а она получит восемь лет лагерей.)

В день оглашения приговора о растратах и безобразных кутежах, в которых сама она, очевидно, с удовольствием участвовала, Лилия фланировала по Парижу и подумывала, не поехать ли в Ниццу или в Испанию. Они с Эльзой флиртовали, демонстрировали на вечерних приемах наряды от русской модельерши Надежды Ламановой и постоянно скакали с одной вечеринки на другую.

Впрочем, в письме «кошкам, собакам и белкам» (у Бриков тогда жила купленная Маяковским белочка) между

хвастливыми перечислениями светских развлечений и успехов есть и вопрос об «А. М.» — Александре Михайловиче Краснощекове:

«Здесь совсем искутились. Эльзочка завела записную книжечку, в кот[орую] записывает все наши свидания, на десять дней вперед! Я начинаю мечтать о тихой жизни!

Танцую, но — нет Герцмана, кроме Герцмана!!! Все они ему в подметки не годятся, а друг его, René, препротивный субъект. Наши более или менее постоянные кавалеры — Léger (художник) и Шалит (Герцман, кажется, знает — из Лондона). Оба очень славные малые. Водят нас повсюду — от самых шикарных мест — до апашей включительно.

Хорошие тряпки и здесь очень дороги. Если выиграете какие-нибудь бешеные деньги, можете послать через банк, телеграфно (абсолютно выгодно!) или через Либера (диплужащего. — А. Г.) если не очень много (! — А. Г.).

Что с А. М.?»<sup>240</sup>

С А. М. дело было худо — он был в Лефортовской тюрьме. В конце марта Лиля отправилась в Англию к недомагавшей матери, но на границе ее развернули. Причиной была ее близость к Маяковскому, которого тогда секретным циркуляром запретили пускать в Британию как коммунистического пропагандиста. Впрочем, через три недели Лиля каким-то образом в Англию прорвалась (она умела обходить препятствия!). Сам Маяковский к тому времени успел погастролировать по Украине и всё еще пытался добиться визы в США через третью страну (прямых дипотношений тогда не было).

Он еще не знал, что попал под санкции и в британской визе ему откажут, поэтому ждал, маялся и даже успел съездить в Берлин с выступлениями о ЛЕФе. В Берлине он встретился с Лилей, которая привезла из Англии скотч-терьера по кличке Скотик. Здесь-то Лиля, наконец, решила порвать с Маяковским как с мужчиной — видно, чувства к арестованному Краснощекову оказались слишком сильны. Она написала своему Щениту записку, в которой сообщила, что больше его не любит и что ей кажется, что и он любит ее много меньше и особо мучиться не будет. Приведу кусочек беседы В. Шкловского с В. Дувакиным по этому поводу:

«...В[иктор] Ш[кловский]: Поэты нетерпеливы. Они думают, что счастье, разное счастье, в том числе и счастье революции, наступит скоро. Ну вот, так и Володя. Ну, и когда

это затянулось, то он оказался одиноким. У него не было семьи.

*В[иктор] Д[увакин]:* А когда, вы считаете, с Лилей затянулось? Вот как вы трактуете биографически “Про это”? Это расставание?

*В. Ш.:* Расставание. Она хотела уйти к Краснощекову.

*В. Д.:* Это вот директор ГУМа, бывший красный партизан? Судили его за...

*В. Ш.:* Да. Он не директор [ГУМа], он директор... банка, банка.

*В. Д.:* Дело Краснощекова.

*В. Ш.:* Он был крупный деятель Коммунистической партии на Дальнем Востоке.

*В. Д.:* А потом здесь, во время НЭПа, на хозяйственной работе был. И было организовано дело Краснощекова.

*В. Ш.:* Его посадили. Лиля взяла его дочку себе и развелась... видимо, развелась с Бриком.

*В. Д.:* Развелась?

*В. Ш.:* Да. И уехала из бриковской квартиры на новую квартиру на какой-то Олений проезд в Сокольниках.

*В. Д.:* А, я знаю, Олений Вал.

*В. Ш.:* Да. И я помню, Лилия говорит Осе: “Прощай, Брик”, а он ей отвечает: “Прощай, Каган”. Это ее девичье имя. Она приняла новую фамилию.

*В. Д.:* Но потом опять.

*В. Ш.:* Опять стала...

*В. Д.:* И уехала... А на Оленьем Валу она, что же, жила с Краснощековым?

*В. Ш.:* Очевидно.

*В. Д.:* Они же там с Маяковским, по-моему, жили.

*В. Ш.:* Потом они с... Краснощекова уже посадили.

*В. Д.:* Краснощекова посадили позже, в 24-м году.

*В. Ш.:* Ну, во всяком случае, он...

*В. Д.:* Вы знали Краснощекова?

*В. Ш.:* Нет. Вот это “Про это” — это про Краснощекова. Это уход к Краснощекову».

Виктор Борисович, конечно, немного напутал — и немудрено: беседа происходила через 40 лет после событий. Но в целом всё, видимо, случилось примерно так, хотя и не совсем. Одну из двух комнат в Водопьяном переулке у Бриков и Маяковского всё же отобрали как лишнюю площадь — ведь у Маяковского была своя комната на Лубянском проезде. Решили перебраться на дачу в Сокольниках, поближе к Лефортовской тюрьме, где сидел Красноще-



ков, — все вместе. Маяковского хотя и отлучали от Лилиного ложа, но всё держали как члена семьи. Литератор Ардов в разговоре с Дувакиным говорил про Лилю:

*«...В[иктор] А[рдов]:* Именно с ней находясь в связи, Краснощеков так нарушал этические нормы члена партии, что из него сделали подсудимого по показательному процессу о разложенцах во время нэпа, и ему дали несколько лет тюрьмы. Он сидел в Сокольнической тюрьме, а Лилия Юрьевна переехала с Бриком и с Маяковским поближе к нему, в Сокольники.

*В[иктор] Д[увакин]:* Ах вот с чем связано!..

*В. А.:* Да. На эту тему написана пьеса Ромашова “Воздушный пирог”; и там, значит, Лилия Брик называется Рита Грин, по-моему, и Осип Максимович мне сказал, что ему Лилия Юрьевна сказала: “Знаешь, Ося, вот идет пьеса ‘Воздушный пирог’, там про нас что-то нехорошо сказано”»<sup>241</sup>.

На самом деле героиня пьесы Бориса Ромашова звалась Рита Керн и занималась балетом. Сам драматург, будущий лауреат Госпремии СССР, будет так описывать актерам, действующим в пьесе, ее характер: «...очень элегантная, красивая особа... В нее можно влюбиться, хотя это насквозь прожженная огнем беспорядочной жизни и любовных утех женщина. Капризна и избалована... Это своеобразная гетера, которая, пользуясь случаем, делает себе карьеру; она цинична и даже, может быть, к чему-нибудь приспособлена благодаря внешним данным, но по существу глубоко отрицательное явление, паразитическая особа, пахнущая фиалками и способная вскружить голову стройной фигурой и красивым, томным лицом»<sup>242</sup>.

Продолжение беседы:

*«В. А.:* Она была очень крутого темперамента, такая вырвавшаяся на свободу амазонка или Екатерина II — это уже меня и нас с вами не может особенно интересовать, только в той мере, в какой это отражалось на быте Маяковского. Но Маяковский очень скоро к ней охладел...

*В. Д.:* Вы так считаете?

*В. А.:* “Вот и любви пришел какук, дорогой Владим Владимыч...” Это “Разговоры с Пушкиным”.

*В. Д.:* Да, 24-й год.

*В. А.:* Ну вот, видите, а она в это время жила аккуратно с Краснощековым».

Жить с Краснощековым Лилия тогда не могла, но передачи ему в Лефортово носила регулярно. Заключение давалось тому с трудом — он страдал болезнью легких, а в Лефор-

товской тюрьме воздух был вонючий и влажный. В другую тюрьму его так и не перевели, зато позволяли работать в камере. Лиля приносила ему книги, и за время заключения банкир-кутежник перевел Уолта Уитмена и написал глобальный труд «Современный американский банк».

Его дочку Луэллу Лиля действительно забрала к себе в Сокольники. Четырнадцатилетняя девочка, как и большинство встречавших Лилю мужчин и женщин, сразу попала под ее обаяние. Она читала новой «маме» свои школьные сочинения и с радостью примеряла сшитые ею платья. Брики устроили девочку в школу при Центральной биостанции юных натуралистов имени К. А. Тимирязева в Сокольниках.

Дача, которую они занимали, не считалась полноценным жильем (тогда это еще был загород), и потому вселение не требовало никакого согласования с государственными органами. Как обычно, к левовскому тройственному ядру, несмотря на отдаленность, тут же повалили гости. Потом снова отдыхали в любимом Пушкине. Луэлле некуда было деться, и ее взяли и туда. С дочкой Штеренберга Виолеттой (Фиалкой) она играла на Лилиной кровати в «пьяницу», а с дочкой Веры Инбер Жанной прыгала через кучи скошенного сена.

Маяковский теперь часто отлучался и много времени проводил у себя, на Лубянском — переживал сердечную муку. Лиля Брик однажды рассказывала маяковеду Олегу Смоле: «Мы с Володей были близки, как муж и жена, примерно до середины 20-х годов. Потом мне это было уже неприятно, я стала тяготиться близкими отношениями. Начались размолвки, и я уже готова была совсем не встречаться с ним, но В. В. это почувствовал (он ведь был очень умный человек) и старался больше не приставать ко мне. Так, например, мы вместе с ним возвращались в отдельном купе в Москву. Он ехал из Америки, я была в это время в Берлине, из Берлина мы вместе и поехали (видимо, аберрация памяти: из Берлина ехали в мае 1924 года, так и не добыв американскую визу, а в США Маяковский попал только в конце 1925-го. — А. Г.). В течение всего пути он, понимая мое настроение, не сделал ни одной попытки сближения. Когда приехали в Москву, я сказала ему: “Володечка, какой ты умница”. Сказала ему это или что-то в этом роде. А он мне говорит: “Я всё прекрасно понимал, боялся потерять тебя”. С тех пор мы в личном плане были свободны друг от друга»<sup>243</sup>.

Аллюзии на все эти события так и фонтанируют в стихотворении «Юбилейное», приуроченном к 125-летию Пушкина. Маяковский гремит:

...Я  
теперь  
свободен  
от любви  
и от плакатов.  
Шкурой  
ревности медведь  
лежит когтист.  
.....  
Было всякое:  
и под окном стояние,  
письма,  
тряски нервное желе.  
Вот  
когда  
и горевать не в состоянии —  
это,  
Александр Сергеич,  
много тяжелей.  
Айда, Маяковский!  
Маячь на юг!  
Сердце  
рифмами вымучь —  
вот  
и любви пришел каюк,  
дорогой Владим Владимыч.  
.....  
Так сказать,  
невольник чести...  
пулею сражен...  
Их  
и по сегодня  
много ходит —  
всяческих  
охотников  
до наших жен.

После отдыха в Пушкине Лиля и вправду сначала вернулась в Сокольники одна, прихватив Луэллу. «Сняли одну большую комнату поблизости от моей школы, — вспоминает дочь Краснощекова. — У нас был телефон 2-35-79. Мы с Лилей спали на одной тахте под разными одеялами. Лилия иногда читала мне вслух. Помню, что она читала Пушки-

на, и часть наизусть. Денег, очевидно, было мало. Помню, раз вечером нам очень захотелось чего-нибудь вкусного, но денег не было, и вдруг Лиля обнаружила в кармане вязаной кофточки, которую надела после долгого перерыва, 10 рублей. Я немедленно поехала на Сокольнический круг за вкусным»<sup>244</sup>.

Но Лиля недолго оставалась затворницей. Вскоре к девочкам присоединились Ося и Маяковский, и снова начался привычный кавардак. Притащили откуда-то бильярдный стол. Причем играли все, включая Лилю и Луэллу. К Луэлле приходили одноклассницы и тоже повально влюблялись в Лилю, удивляясь, что у Маяковского в доме всё не настолько развратно, как сплетничали у них по домам. Из Водопьяного переулкa приезжала Аннушка — убирать и готовить обед. Ночевали (все, кроме учившейся в Сокольниках Луэллы) в городе, поскольку на даче было слишком холодно. Одну комнату в Водопьяном удалось сохранить, потому что Осип в Союзе писателей оформил Аннушку своим секретарем.

Именно в Водопьяном в ноябре на глазах у плачущих Луэллы и Аннушки умер привезенный из Англии Скотик, подхвативший чумку (в начале декабря Маяковский напишет Лиле: «Ужасно горевал по Скотику. Он был последнее что мы делали с тобой вместе»<sup>245</sup>).

Лиле, как всегда, удалось оставить бывшего любовника в друзьях. Мало того, в их семейной жизни как будто мало что изменилось. Только Маяковский теперь гораздо чаще путешествовал, изо всех сил желая отвлечься от внутренней драмы, от ревности. В августе скатал в живущий под комендантским часом Тифлис (незадолго до того там случилось контрреволюционное выступление), где говорил по-кутаисски, щеголял грузинскими народными частушками-шайри и обсуждал переводы своих стихов на грузинский; в день отъезда чуть не опоздал на поезд, заигравшись в бильярд.

В конце октября поэт уехал в Париж, всё еще надеясь прорваться в Америку. В Париже, в монпарнасской гостинице «Истрия» теперь жила Эльза, перебравшаяся из Берлина. Маяковский поселился там же. Таская с собой в качестве гида и переводчицы Эльзу (изыясняясь, как он выражался, «на триоле»), он встречался с художниками Пикассо, Делоне, Леже. Кутил, играл (по своему азартному обыкновению во всё подряд — от карт до игр, придуманных им самим), покупал подарки для Лили. В этой семье

очень любили покупать подарочки и заботиться обо всех домашних всех знакомых, к тому же Лилиа каждый раз напичкивала его заказами. Маяковский отчитывался:

«...заказали тебе чемоданчик — замечательный и купили шляпы вышлем как только свиной чемодан будет готов. Духи послал (но не литр — этого мне не осилить) — флакон если дойдет в целости буду таковые высылать постепенно. Осилив вышеизложенное займусь пижамками!»<sup>246</sup>

Эльзе он покупает шубу в подарок от себя и Лили. Ходит к портному и сам, указывает ему на рисунке недостатки своего тела и объясняет, как их можно скрыть. При этом признается Лиле в письме, что главные его чувства — тревога до слез, усталость и полнейшее отсутствие интереса ко всему парижскому. Признаётся, что от каждой Эльзиной похожей интонации впадает в «тоскливую сентиментальную лиричность».

Эльза, конечно, чувствовала, что если он и нежен с ней, то какой-то отраженной нежностью. Она вспоминала: «Время от времени Володя меня спрашивал: “Ты Лиличку любишь?” — “Люблю”. — “А меня ты любишь?” — “Люблю”. — “Ну, смотри!” И так он мне надоедал этими вопросами, что в конце концов я начинала сердиться: “Чего — смотри!”»<sup>247</sup>. Вдвоем они ходили глядеть на перенос тела расстрелянного социалиста и борца против колониализма Жана Жореса в Пантеон. Толкалась толпа народа, и Маяковский подсаживал Эльзу к себе на плечо.

Виза же в Америку никак не шла, а из префектуры вдруг прибыла повестка, предписывающая Маяковскому немедленно покинуть Париж. Побежали с Эльзой в префектуру, где какой-то важный чиновник яростно чеканил, что Маяковский должен убраться из Франции в 24 часа (еще бы — советский пропагандист). Но, убедившись, что Маяковский знает по-французски только слово «жамбон» (ветчина), чиновник успокоился и разрешил продлить его пребывание, а другой чиновник, ставя поэту штамп в паспорт и увидав, что Маяковский из грузинского села Багдады, страшно обрадовался: он сам несколько лет работал в Багдады виноделом. То были времена великого перемешивания Европы.

Маяковский в ту парижскую поездку очень громко страдал и сильно отравлял Эльзе жизнь своими некрасивыми выходками: то пошлет взрослого человека за папироса-

ми, то смахнет Эльзины перчатки на грязный заплыванный пол и не поднимет. Причиной, конечно, был Краснощеков. Лиля писала Маяковскому из Москвы:

«Волосик, ужасно обрадовалась письму, а то уж я думала, что ты решил разлюбить и забыть меня (вот этого Лиля стерпеть не могла, как бы сама ни распоряжалась своей любовью. — А. Г.). Что делать? Не могу бросить А. М., пока он в тюрьме. Стыдно! Так стыдно, как никогда в жизни. Поставь себя на мое место. Не могу. Умереть — легче»<sup>248</sup>.

И в том же письме вдруг приказывает, как бы сигналив, что койки, конечно, врозь, но связь у них остается прежняя:

«Куда ты поедешь? Один? В Мексику? Шерсть клочьями? Достань для меня мексиканскую визу — поедем весной вместе»<sup>249</sup>.

В ответном письме (от 6 декабря) Маяковский, как обычно, плачет:

«Я ужасно грущу по тебе. Ежедневно чуть не реву. Трудно писать об этом и не нужно. Последнее письмо твое очень для меня тяжелое и непонятное. Я не знал что на него ответить. Ты пишешь про стыдно. Неужели это всё что связывает тебя с ним и единственное что мешает быть со мной. Не верю! — А если это так то ведь это так на тебя не похоже — так не решительно и так не существенно. Это не выяснение несуществующих отношений — это моя грусть и мои мысли — не считайся с ними. Делай как хочешь ничто никогда и никак моей любви к тебе не изменит. Последние телеграммы твои такие не ласковые — нет ни “люблю” ни “твоя” ни “Киса”!»<sup>250</sup>

При этом Лиля по своему игривому обыкновению общается в письмах, что ее любит Бескин (мелкий Бескин!), что жена Асеева ревнует ее к мужу, потому что она теперь — второй Маяковский и с Асеевым неразлучна, что Альтер (рижский любовник) привез ей в Сокольники доberman-пинчера, сучку. Жалуется: «С шубкой 22 несчастья, не так положили ворс, и когда я в первый раз надела ее, то вызвала в трамвае бурные восторги своими голыми коленками». Рассказывает, что «Малочка звонит по телефону»<sup>251</sup> (по утверждению Шкловского, партийный работник, руководитель кинокомпании «Межрабпом-Русь», а позднее Изогиза Борис Малкин тоже был то ли любовником, то ли ухажером

Лили). Еще одна постоянная тема в письмах — задержка выхода номеров «ЛЕФа». Чем дальше от революции, тем сильнее выпалывалось литературное поле. В 1925-м журнал совсем прекратят финансировать, и он закроется.

Стулья тогда шатались под многими — под тем же наркомвоенмором Троцким. Сохранилось четверостишие, бродившее в народе и якобы принадлежавшее перу Маяковского:

Я — от Лили, Краснощековым взлелеянной,  
вы — от интендантских выдач,  
оба мы получили по шее,  
уважаемый Лев Давыдыч.

Период был мрачный не только для Маяковского, провалившегося со своей американско-кругосветной затеей и вернувшегося в Москву, где всё дразнило его Лилей и Краснощековым. Страдала и Лилия: у Краснощекова в тюрьме развилось воспаление легких, и она писала Рите Райт, что вряд ли его увидит и что думает о самоубийстве.

Но вдруг произошло чудо: «товарищ правительство» неожиданно смиростивилось и перевело Краснощекова в правительственную больницу, а в январе 1925-го бывший глава Дальневосточной республики и директор банка был помилован. Впрочем, он был так плох, что еще долго лежал в клинике. Слегла и Лилия — у нее на нервной почве развилась какая-то гинекологическая опухоль. Лечил ее профессор Исаак Брауде, директор гинекологической клиники Второго МГУ. Лилия чуть ли не месяц провела в больнице, а потом валялась дома, в Сокольниках, и Маяковский, разумеется, с ней нянчился.

Вполне возможно, спасению Краснощекова поспособствовали Лилины хлопоты. Исследователь Анатолий Валюженич приводит ее письмо видному партийному и правительственному функционеру Льву Каменеву от 9 ноября 1924 года — свойское, почти фамильярное; видно, были на короткой ноге:

«Лев Борисович, звонила Вам по телефону три дня — так и не дозвонилась. Если можете найти для меня час времени — очень прошу Вас позвонить мне 67-10, чтоб условиться, когда и куда придти к Вам (может быть, удобнее Вам — ко мне?).

То, о чем хочу говорить с Вами, касается лично меня — хотелось бы, чтобы никто не знал об этом.

Жму руку

Лилия Юрьевна Брик»<sup>252</sup>.

Лиля запросто предлагает зайти к себе домой председателствующему на заседаниях политбюро, зампреду Совнаркома, председателю Совета труда и обороны, директору Института Ленина!

В это же время состоялась премьера ромашовской пьесы, так что личная жизнь Лили Брик и ее мужчин обсуждалась пуще прежнего по всем углам. Как пишет Б. Янгфельдт, о знаменитой нетрадиционной семье судачили даже иностранные журналисты — к примеру, француз Поль Моран, который в своей книге очерков «Я жгу Москву» вывел богемную Лилию под именем Василиса. «Моран констатирует, что все, в том числе и он сам, безоглядно влюблены в соблазнительную Василису, которая принадлежала к столь распространенному типу, что любому мужчине казалось, будто он уже обладал ею»<sup>253</sup>. Книга, конечно, страшно разозлила всю семью. Маяковский потом напишет Лиле: «Сегодня получил вернувшегося из Москвы Морана — гнусность он повидимому изрядная»<sup>254</sup>.

Но тайну магии Лили Брик Моран как будто разгадал. Ее прославленный взгляд каждого ободрял, каждому сулил удовольствие, пробуждал в мужчинах уверенность в своем таланте, уме, силе и манил, как вечная молодость. И как молодая вечность.

## ДЕНЬГОВ СОВСЕМ МАЛО

В 1925 году Маяковскому удалось-таки с третьей попытки добраться до Америки. На вокзале вспомнил, что вместе с ключами оставил дома и подаренное Лилей кольцо-печатку с инициалами WM. Дело в том, что на поэтических выступлениях народ усиленно передавал ему записочки по поводу неуместности кольца на пальце у советского поэта. Сдавшись под напором трудящихся, Маяковский стал носить кольцо в виде брелока, на связке с ключами.

Без кольца он уехать не мог и, меняя извозчиков и трамваи, сквозь уличную чехарду помчался назад, рискуя опоздать и сорвать драгоценную поездку. Лиля Юрьевна позже писала, что поэт относился к кольцу суеверно, как к амулету. В Пушкине нырял за ним в речку, в Ленинграде уронил в сугроб на Троицком мосту и долго рылся, пока не нашел.

С Лилей был связан и другой его амулет — их общая фотокарточка (самая первая, сделанная в 1915 году), встав-



ленная в серебряный отцовский портсигар. Он увозил любимую с собой — в сердце.

Отправился сначала в Париж самолетом через Кёнигсберг и страшно восторгался летчиком Шебановым, который на каждой границе приседал на хвост, при встрече с другими аэропланами помахивал крылышками, а в Кёнигсберге с шиком подкатил к самым дверям таможни, перепугав служащих. В Париже поэт опять брался с художниками Леже, Витраком, Пикассо, бродил по монмартрским богемным клоакам и шикарным ресторанам, встречался с лидером итальянского футуризма Томмазо Маринетти, участвовал в открытии советского павильона на Художественно-промышленной выставке, смотрел фильм Чаплина, покупал, как обычно, подарки Осе и Лиле.

Но дальнейшие планы чуть не полетели в тартарары. Как-то утром, пока Маяковский в отеле «Истрия» выходил в располагавшийся в коридоре клозет, вор пробрался в его незапертый номер и похитил гигантскую сумму, предназначавшуюся на полугодовое кругосветное путешествие, — все его деньги, 25 тысяч франков, равнявшиеся трехлетнему доходу среднего советского гражданина. Уцелели только билеты. Эльза, метавшаяся с ним в полицию и по разным инстанциям, потом вспоминала, что многие неприкрыто злорадствовали и смеялись над несчастьем Маяковского, даже полномочный представитель СССР во Франции Красин.

Но не возвращаться же в Москву, так и не побывав в Америке. Горе-путешественник и без того почти на неделю отсрочил отъезд из Москвы, потому что накануне вылета продул дорожные деньги то ли в бильярд, то ли в карты. Спас Госиздат. В том году у поэта должно было выйти шеститомное собрание сочинений, и через Лилю был выбит и прислан аванс. Какие-то деньги выплатил «Парижский вестник» за стихи, какие-то дал Андре Триоле, с которым Эльза снова общалась. Остальное занималось у всех попадавшихся русских. Эльза и Маяковский засели в кафе на Монмартре и буквально охотились на каждого потенциального кредитора да еще и делали ставки, гадая, кто сколько даст. Когда сумма, которую одалживал добрый русский, оказывалась ближе к загаданной Эльзой сумме, то деньги доставались ей, когда к загаданной Маяковским, то ему. Если человек отказывал, Владимир Владимирович долго отплевывался, а потом обзывал его собакой. А вот совсем не богатый Илья Эренбург, без всяких вопросов вынуженный из кармана 50 бельгийских франков, так растрогал огра-

бленного поэта, что тот долго еще не мог успокоиться и повторял с восторженным смехом: «Они еще и бельгийские!»

Кстати, это была не единственная пропажа. Потом у Маяковского украли еще и башмаки, которые он выставил за дверь для чистильщика. Сделала это женщина, безответно влюбленная в жившего в той же «Истрии» художника Марселя Дюшана, родоначальника искусства «реди мейд», которого многие знают по писсуару «Фонтан». Так вот, чтобы Дюшан никуда не сбежал от ее преследований, женщина выкинула в помойку его ботинки, а чтобы не подумали на нее, прихватила и обувь Маяковского.

В Париже ему подворачивались провожатые и помимо Эльзы — симпатичные русские девушки-эмигрантки, которых он жалел, покупал им чулки и уговаривал вернуться в Россию. Наконец горемыка сел на корабль «Эспань» и отплыл в Мексику, а оттуда — в США.

Эльза же, ужасно скучавшая по Москве, решила отправиться в Россию — к Лиле, в Сокольники. В советском консульстве ее приняли не очень ласково, но документы оформили. В то лето на родину из Англии, воспользовавшись отсутствием Маяковского, пожаловала и Елена Юльевна. Однако ее старшая дочь снова жила не с одним Осипом. В Сокольниках маячил Краснощеков.

Пока Лилия принимала гостей и озорничала, Маяковский давал громкие выступления, собирая многосотенные залы в Нью-Йорке, Кливленде, Детройте, Чикаго, Филадельфии, Питсбурге. Квартиру в Большом яблоке ему помог найти глава Американской торговой корпорации (Амторг) Исайя Хургин, которого все любили и через которого Маяковский надеялся добыть визу для Лили, просившей устроить ей поездку в Америку: «Очень хочется приехать в Нью-Йорк»<sup>255</sup>. Но в августе случилось несчастье: моторная лодка, в которой Хургин катался по озеру Лонг-Лейк вместе с председателем советского треста «Моссукно» и ближайшим человеком Троцкого Эфраимом Склянским, перевернулась, и оба утонули. Происшествие было странным, и мало кто сомневался, что этот несчастный случай — не что иное, как политическое убийство. Сталин уже начал избавляться от троцкистов. Маяковский очень переживал, на похоронах нес урну с прахом Хургина и даже произнес трогательную речь. Визу для Лили так и не достали.

Вообще к нью-йоркскому периоду она заметно потеплела к Маяковскому, а он, напротив, как будто слегка охладел. Из Парижа он еще пишет Лиле:

«Я ужасно рад что ты в письме к Эльке следишь за мной что б я спал что б вел себя семейно и скорей ехал дальше — это значит что я свой щенок и тогда всё хорошо».

С мексиканского парохода «Эспань» шлет совсем душещипательное:

«Ходил по верхней палубе где уже одни машины и нет народу и вдруг мне навстречу невиданная до сих пор серенькая и очень молоденькая кошка. Я к ней поласкать за тебя а она от меня убежала за лодки. Кисик а ты от меня не будешь так уходить за лодки? Любименькая не надо от меня за лодки! Я тебя ужасно ужасно как люблю»<sup>256</sup>.

Из Нью-Йорка же пошли совсем коротенькие и редкие телеграммы. А Лиля вдруг принялась безостановочно бомбардировать поэта посланиями. Надо сказать, в это время она отдыхала на Волге с Краснощековым, о чем Маяковский узнал от посторонних. В июне он написал ей:

«Как на Волге? Смешно что я узнал об этом случайно от знакомых. (Не от Эльзы ли? Всё еще ревнующая сестра могла сдать «лилёнка». — А. Г.) Ведь это ж мне интересно хотя бы только с той стороны что ты значит здорова!»

Лилия отвечает на это письмо аж через месяц:

«Я на Волге совсем было поправилась, но приехала и заболела детской болезнью: у меня во рту сделались афты — это такие язвочки, кот[орые] бывают у детей от сырого молока. Пролежала неделю с температурой не пимши, не емши и опять облезла. Сейчас совсем, во всех отношениях здорова».

И там же делится планами поездки в Италию на грязи:

«Хорошо бы нам в Италии встретиться. Интересно — попадешь ли ты в Соед[иненные] Штаты! (Она еще не знала, что Маяковский прибудет в Штаты буквально на следующий день, 27 июля. — А. Г.) Пиши подробно, как живешь (с кем — можешь не писать)»<sup>257</sup>.

Но в ответ на ее указание «Телеграфируй подробно» от Маяковского приходит лишь скупое: «Дорогая Киса пока подробностей нет. Только приехал»<sup>258</sup>. (На самом деле он приехал почти неделю назад.)

«Я ужасно удивилась и обрадовалась, что ты в New York'e. Пришли мне пожалуйста визу и денег»<sup>259</sup>, — требует Лиля. От Маяковского ответа нет.

Следом Лилиа пишет, как хочет в Нью-Йорк. Маяковский отвечает, что очень старается достать визу.

Лилиа командует: «Телеграфируй часто». Маяковский молчит.

«Скучаю люблю. Телеграфируй», — просит Лилиа, подписавшись уже не «Киса», а просто «Лили». Маяковский молчит.

«Куда ты пропал?» — волнуется она еще через неделю. В ответ Маяковский пишет, что из-за несчастья с Хургиным дело с визой расстраивается. Его можно понять. На новом континенте на поэта со всех сторон нахлынули мощные впечатления. Наконец-то встретились с «Бурлючком». И самое главное — в это время он крутит роман с двадцатилетней, но уже пережившей много тягостей эмигранткой (из русских немцев-меннонитов), манекенщицей Элли Джонс, знакомой Хургина и женой бухгалтера Джорджа Джонса. Задружился он с ней сначала из практических интересов — нужен был провожатый и переводчик, хотя бы для того, чтобы закупить подарки «жене» (как он называл Лилию); но дело закончилось довольно серьезными чувствами. Встречались осторожно — Маяковскому нельзя было светиться в обнимку с эмигранткой, да еще и замужней. На людях он всегда называл ее Елизаветой Петровной или миссис Джонс, целовал руки и ничего большего не позволял.

...Мы целуем —

беззаконно! —

над Гудзоном

ваших

длинноногих жен...

Три месяца он пробыл в Америке, но к исходу октября деньги совсем закончились, и ему пришлось покинуть Нью-Йорк в плохонькой каюте на самой нижней палубе корабля «Рошамбо». Визу в Японию он так и не достал, и вместо кругосветного путешествия получилось полукругосветным. Впрочем, несмотря на стесненность в средствах, перед самым отъездом он купил Элли шерстяной костюм, дешевое твидовое пальто и внес месячную плату за ее комнату. Когда Элли, заплаканная, вернулась после его проводов домой, то увидела, что вся ее кровать устлана незабудками. Не имея за душой, считай, ни цента, на покупку целого моря цветов он денежку всё-таки раздобыл.

Но куда же девались все деньги? Ведь он выступал, зарабатывал. Деньги девались к Лиле. Только за октябрь, по расчетам Б. Янгфельдта, Маяковский ухнул ей в долларах те же 25 тысяч франков, которые брал с собой на всё путешествие.

«Да! — пишет она ему в конце июля. — Очень плохо, что ты не зашел к Вионне. Если окажутся деньги — пошли им обязательно сколько-нибудь: 50, Av. Montaigne, Madeleine Vionnet. Paris. Mr. Louis Dangel». Мадлен Вионне была владелицей парижского модного дома, где Лиля заказывала себе платья. «Надо денег на квартиру Vionnet», — напоминает она в середине августа. «Госиздат три месяца не платит. Масса долгов. Если можешь, переведи немедленно телеграфно денег»<sup>260</sup>, — просит в сентябре.

«Завтра посылаю телеграфно деньги. Окончив лекции немедленно еду тебе. Прости что плохо позаботился. Не мог предполагать», — отчитывается Маяковский, обзывая себя паршивым щенком.

«Необходимо немедленно перевести весь долг Андрэ. 43 Boulevard Capucines Lloyds bank»<sup>261</sup>, — инструктирует Лиля следующим письмом.

«Лиленок тебе надо ехать полечиться, — волнуется Маяковский. — Если поедешь могу четвертого послать пятьсот долларов»<sup>262</sup>. Деньги он вскоре действительно переводит — через Амторг. Потом таким же способом посылает еще 350 баксов.

Но с итальянского курорта Сальсомаджоре Лиля требует еще:

«Переведи мне телеграфно денег»; «Прошу срочно перевести мне денег. Очень беспокоюсь. Телеграфируй немедленно»<sup>263</sup>.

Маяковский, сам гол как сокол, переводит еще сотню долларов. Но Лиля, собираясь из Сальсомаджоре в Рим, жалуется:

«Телеграфируй, есть ли у тебя деньги. Я совершенно оборванец — всё доносила до дыр. Купить всё нужно в Италии — много дешевле»<sup>264</sup>.

Маяковский сообщает ей, что «денег совсем мало», но всё же, поскребя по сусекам, отправляет еще 250 долларов.

Аппетиты у Лили были пантагрюэлевские. Помимо переведенных телеграфом долларов, она постоянно получала рубли от всех печатавших Маяковского изданий. Гонора-

рами поэта оплачивались все домашние счета. Но денег всё равно не хватало. Неудивительно, что Краснощеков проворовался! Шкловский, конечно, не преминул посудачить с Дувакиным и на этот счет:

*В[иктор] Ш[кловский]:* Она неплохой товарищ. Она не очень жадна.

*В[иктор] Д[увакин]:* Не очень?

*В. Ш.:* Не очень.

*В. Д.:* Но вместе с тем, не заботясь о нем, она всё-таки требовала от него забот, денег и всего...

*В. Ш.:* Конечно. Требовала.

*В. Д.:* Вот эта односторонность в этом при односторонности в сторону Маяковского в главном, очень как-то...

*В. Ш.:* Тут еще одно. Вы подумайте, как трудно зарабатывать деньги систематически несистематическим трудом. Не пишется. А деньги нужны. И нужно денег много. Хотя Брик тратил немного, но тоже надо кормить Брика.

*В. Д.:* Брик тоже кормился Маяковским?

*В. Ш.:* Конечно.

*В. Д.:* А сам почти ничего не зарабатывал?

*В. Ш.:* Да, не зарабатывал. Но он не рвач.

*В. Д.:* Она, вы хотите сказать, не скупа?

*В. Ш.:* Это да, она не скупа.

*В. Д.:* Она вместе с Маяковским даже щедра. Но быть щедрым за чьей-то спиной — это другое...»<sup>265</sup>

Деньги, впрочем, тратились не зря. Лиля с головы до ног упаковалась в роскошные обновки. В Италии после дневных прогулок она возвращалась в номер с синюшными ногами — восхищенные мужчины-итальянцы выражали свой восторг, щипля ее за икры, — такая у них была мода. Поэтому, когда спустя несколько десятилетий кто-то предложит Лиле съездить в Италию, она откажется — дескать, там щиплются, — будто не осознавая, что уже старуха. С Маяковским встретились в Берлине. Он уже подготовил ей комнату в «Курфюрстен-отеле»: разложил вазы и корзины с цветами, гаванские сигары в нарядных ящичках, деревянные игрушки, цветастый ковер, даже поставил цветущую камелию, достал американский складной уют и другие подарки. Лиля, в свою очередь, подарила ему иранского слоника с бронзовой инкрустацией.

На волне долгожданной встречи с возлюбленной Маяковский был бы и рад пристать к любимому берегу — попроситься к ней в номер, но понимал, что от этого Лилия, как раковина, совсем захлопнется, и держал себя под кон-

тролем. Янгфельдт, к примеру, пишет, со слов самой Лили Брик, что после ужина Маяковский подошел к ее номеру, но «на пороге комнаты он остановился и, опершись о дверной косяк, мягко произнес: “Спокойной ночи, детка. Не буду тебя больше мучить”»<sup>266</sup>. Впрочем, интервьюировавшие Лилию в старости американские исследователи Энн и Сэмюэл Чартер подают этот эпизод совсем иначе: дескать, Лилия была очень даже не прочь, но Маяковский уже и вправду не относился к ней, как мужчина к женщине, — скорее как к якорю и родственной душе: «В этот же вечер, 14 ноября, в берлинской гостинице поэт зашел в ее номер, дверь которого была предусмотрительно не заперта, и, к ее удивлению, заявил: “Спокойной ночи. Больше я никогда не буду к тебе приставать”»<sup>267</sup>.

Про роман с Элли Джонс он, конечно же, всё ей рассказал. Как в любой семье со свободными отношениями, амуры вне дома здесь не утаивались. А Лилия была и рада — пусть тешится, главное, чтобы не отрывался от своей Кисы и продолжал обожать, холить, обеспечивать и посвящать ей стихи. Ну а спит пусть с другими — спать с Маяковским она сама не очень любила. Там же, в Берлине, поэт зачем-то сдал анализ на сифилис (вероятно, Лилия и отправила — мало ли что за американка эта Элли Джонс, могла ведь и заразить). А потом они вдвоем по железной дороге пустились в Москву. К встречавшим их Эльзе и Осе Лилия выходила из поезда в эффектной беличьей шубе, следом — преданный Волосит. Ради шубки для любимой стоило и поэкономить, и понадрываться. А дома, в Сокольниках, Маяковского встречал их новый пес — бульдожка Булька.

## ЕВРЕИ, ДЕТИ, ЖЕНЩИНЫ И НОВОСЕЛЬЕ

Эльза, постигавшая азы писательского мастерства, в тот год осталась в Москве. Ночевали то в городе, то в Сокольниках, где зимой почти не топили, а спать приходилось чуть ли не с ружьями на изготовку (один из гостей по неосторожности даже прострелил себе палец). В доме плохо запирались входные двери, поэтому к ручкам привязывались стулья, чтобы они в случае чего громыхали и пугали взломщиков. Дорога к трамваю, шедшая через лес, тоже внушала страх. Тем не менее на этой даче на Оленьем Валу постоянно крутились Лилины ухажеры и разная литературная публика:

Асеев, Пастернак, Кирсанов, Шкловский, Кручёных, Родченко, Бескин (у которого Лиля даже мимолетно жила в начале 1926-го), некий Яша Эфрон. О последнем Бенгт Янгфельдт рассказывал в одном интервью: «Я ее спрашиваю в письме, кто такой был Яша Эфрон, — это мне было нужно для комментариев. Василий Абгарович (Катанян-старший. — А. Г.) отвечает, что это была — цитирую — “ничем не примечательная личность, о которой и сказать нечего”. А Лиля в конце письма делает приписку: “Яша Эфрон был очень симпатичный и очень красивый человек”»<sup>268</sup>.

Заглядывал и Жан Фонтенуа, рубаха-парень, корреспондент французского информационного агентства «Гавас». Правда, так вышло, что он дважды подложил Брикам свинью. В первый раз — когда привел в их гостеприимный дом Поля Морана, очернившего их в своей книжке (Моран, в частности, зачем-то выдумал, что Лиля куртизанничала даже с балетным танцовщиком Асафом Мессерером и целовалась с ним под дохой в пролетке; сплетня эта жива до сих пор). Во второй раз — когда привел журналиста Берро, который, вернувшись во Францию, начеркал репортаж о Советской России в отвратительных тонах (ну а чего они ждали?). После этого Маяковский пригрозил набить Фонтенуа морду, если тот еще раз приведет к ним француза. (Дальнейшая карьера Фонтенуа сложится эпично: он поработает корреспондентом в Китае, где, по слухам, заведет пашни с женой генералиссимуса и будущего президента Китайской Республики Чан Кайши, потом вернется на родину, свяжется с нацистско-антисемитской Французской народной партией и закончит свою жизнь в Берлине, в боевых рядах Легиона французских добровольцев против большевизма.)

Но таскаться в Сокольники вскоре стало незачем. Маяковский после долгих хлопот наконец получил ордер на отдельную квартиру в Гендриковом переулке (сейчас переулок Маяковского) в районе Таганки: три спальни по десять квадратных метров и четырнадцатиметровую гостиную. Маяковского полагалось уплотнять, и он уплотнил себя Бриками. Но переехать сразу не получалось — квартира была в ужасном состоянии и вся в клопах. Требовался капитальный ремонт.

Жилые площади тогда, стоило зазеваться, запросто оккупировались чужаками, поэтому Брик, Маяковский, художник Алексей Левин и Николай Асеев въехали в комнаты с пустыми чемоданами и, сменяя друг друга, дежурили



там круглые сутки, пока не нашлись рабочие для ремонта. В январе 1926 года Маяковский отправился в южное турне (Украина, Ростов-на-Дону, Азербайджан), чтобы заработать на отделку квартиры, а все полученные деньги отправлял Лиле. В феврале он пишет ей из Баку:

«Дорогой солник очень тебя жалею что тебе одной возиться с квартирой. И завидую потому что с этим повозиться интересно»<sup>269</sup>.

Лиля же обустроивала, руководила перепланировкой, выбирала интерьер. Умудрилась даже выкроить место для ванной (теперь можно было вечерами, после теплой ванны, вместе лежать в постели независимо от того, чем и с кем занимались днем, — так, как она мечтала).

Мебель изготавливалась на заказ, а от старой, включая свадебный подарок родителей Осипа — концертный рояль «Стейнвей», избавлялись. Зато в квартире появились шведские столики с откидными крышками, не поместившиеся в комнатах книжные шкафы заперли всяческими замками и вынесли на лестницу. А на входную дверь заказали медную табличку «БРИК. МАЯКОВСКИЙ». Стены в квартире были голые, без излишеств, только над топчанами «звериков» — индейские накидки-плащи серапе из Мексики, а над тахтой Лили — вышитый шерстью и бисером коврик, подаренный Маяковским в 1916 году для смеха как символ мещанства. Лиля поселилась в «каюте» слева от входа, около ванной, Осип — прямо напротив входа, а Маяковский — справа, в комнатке, смежной со столовой.

Луэлла Краснощекова, почему-то всё еще обретавшаяся у Лили, несмотря на освобождение отца (видимо, в то время он восстанавливал здоровье в Крыму), вспоминала о жизни трех новоселов:

«В ванной комнате висел Володин плакат “В грязи живет зараза, незаметная для глаза”. В ванную Володя должен был пройти через столовую, и там ему мешали стулья, поэтому в столовой стоял грохот, пока Володя их переставлял. <...> Утром ставили самовар, и после чая все расходилось по делам. Если Володя работал дома, он много ходил по столовой и своей комнате, всё время переставляя стулья и бормоча, а иногда он закрывался у себя в комнате.

Вечером Володя часто читал новые стихи Лиле и Осе, и я часто вместе с ними слушала первые чтения стихов Маяковского. После обеда Ося и Володя отдыхали у себя в

комнатах — причем Ося шел отдыхать в любых случаях, кто бы в гостях за обедом ни был. Мы с Лилей сидели у нее в комнате или в столовой. Лилия всегда посылала меня спросить, не хотят ли Ося или Володя чаю. Осю я спрашивала без страха, а Володю почему-то стеснялась и всегда — перед тем как открыть щелочку в дверях и спросить: “Володя, вы хотите чаю?” — я немножко постою и только потом спрошу. Если было нужно, я относила чай с чем-нибудь вкусным по комнатам и Осе, и Володе в стаканах с подстаканником, на ручке которого было место для пальца.

Вечером почти всегда бывали гости. Играли в маджонг (китайская азартная игра с использованием костяшек, схожих с домино. — *А. Г.*), в карты, Ося играл в шахматы. Много разговаривали. Володя иногда одновременно играл на двух столах, отчего бывал ужасный шум!»<sup>270</sup>

(В том же году Краснощеков получит новую должность — возглавит Главное управление новых лубяных культур Наркомзема СССР и Институт нового лубяного сырья. Ему выделят квартиру, и Луэлла переедет туда.)

В семье между тем поменялось еще кое-что, кроме адреса проживания. Осип Максимович, котик, человек-броня, человек-робот, генератор идей, почти лишенный чувств, всех удивил. Как сказал литератор Ардов, «Брик отличался... гипертрофией логики в ущерб эмоциональной стороне нормальной человеческой личности»<sup>271</sup>. Но в 1925 году он неожиданно влюбился — и влюбился по-настоящему. Объектом его чувства стала Евгения Соколова-Жемчужная, работница детской библиотеки и жена сценариста и кинорежиссера Виталия Жемчужного. Она была молода, крепка, светловолоса и походила на красивую физкультурницу, только что вернувшуюся с парада. Они прожили вместе до самой Осиной смерти, но Лилия, разумеется, не отпускала свою единственную любовь насовсем. С Женей Осип Максимович проводил дни, а ночевал всегда у Лили и в заграничные путешествия катался только с ней. Женя оставалась как бы женой «внутреннего пользования».

Вначале Лилия очень ревновала и фыркала — ведь ее, такую сногшибательную, такую пышущую сексом, Осик толком никогда не хотел и быстро ею наелся, а эту сдобную блондиночку, на девять лет ее моложе, хотел. Обескураженная Брик всё спрашивала, пожимая плечами: «Да о чем с ней вообще можно говорить?» — но в конце концов проглотила обиду и сдружилась с гостевой женой любимого мужа — по крайней мере, создала видимость дружбы, пусть

товарка и недотягивала до нее ни остроумием, ни элегантностью.

Утомленная длинным ремонтом, Лиля уехала на Черное море, в Сочи. В поезде ей попала симпатичная попутчица, и всё мужское население вагона их обихаживало, о чем она не преминула сообщить Володику и Осику — Лиля всегда спешила поделиться с ними своим успехом у мужчин, наверное, чтобы не забывали, как им повезло. Из Сочи она пишет «мальчикам», что каждый день ест шашлыки и клубнику, что комнатка ее выбегает прямо на море, а море ежеминутно меняет цвет.

А возвратившись в Москву, Лиля окунается в водоворот светских радостей. Она шутиливо сообщает гастролирующему по Крыму Маяковскому:

«Мы живем роскошно, весело и разнообразно: по понедельникам у нас собираются сливки литературной, художественной, политической и финансовой Москвы... В остальные дни Ося бывает у женщин (Оксана, Женя), а я езжу в Серебряный Бор к одним из представителей живущих там “верхов” — Тайе (кто это, выяснить не удалось. — А. Г.) и Альтеру. Только не завидуй, Волосит!»<sup>272</sup>

Но в вихре развлечений нашлось немного времени и для работы (судя по всему, неоплачиваемой). Лиля неожиданно втянулась в деятельность ОЗЕТ — Общества землеустройства еврейских трудящихся. В районе Евпатории государство тогда пыталось создать еврейские земледельческие колонии — затея довольно странная, учитывая, что место для колоний было выделено сухое и степное, а свезенные для земледелия евреи все были горожанами, не приученными к полеводству. Тем не менее по заказу ОЗЕТ планировались съемки документального фильма о быте и работе переселенцев. Режиссером был Абрам Роом, автором сценария — Шкловский, субтитры писал Маяковский, а Лиля стала ассистентом режиссера — в титрах она значилась как организатор съемок.

Вскоре она выехала в Евпаторию, и они с Маяковским переписывались с двух берегов Крыма. Параллельно Роом и Шкловский снимали игровой фильм «Ухабы», и неразбериха на площадке стояла страшная. Как-то Виктор Борисович с оператором куда-то пропали на целых два дня, и отчаявшаяся Лиля послала Маяковскому телеграмму, умоляя их разыскать. Новоявленный ассистент режиссера обращалась к поэту также с просьбой срочно раздобыть ки-

но пленку, два ящика — у них закончилась. После Лилиных съемок они встретились в гаспринском пансионате «Чаир» (с крымско-татарского — «Горный луг»), где провели две недели отдыха.

...На молоко  
сменил  
чай  
в сияньи  
лунных чар.  
И днем  
и ночью  
на Чаир  
вода  
бежит, рыча...

Впрочем, это версия Янгфельдта. Маяковский и Лилия действительно запечатлены на фотографии, под которой значится, что это «Чаир» — Лилия в белом платье, сидит на лавочке, к ней прислонилась чья-то мужская трость (Краснощекова?). Маяковский — загорелый, бритый, в черной майке — сидит напротив. Фоном служат фруктовая лавка и несколько позирующих торговцев в светлых одеждах. Но именно в «Чаире» Маяковский приударял за юной Наташей, дочкой украинского профессора-фтизиатра Бориса Хмельницкого, которую будет навещать в Харькове еще пару лет. Лили в санатории Хмельницкая не припоминает.

Как бы то ни было, на этом переломы 1926 года не закончились. Владимир Маяковский стал отцом. В середине июня его нью-йоркская пассия Элли Джонс родила дочь Хелен Патрицию. Маяковский догадывался о беременности Элли, но прямых сообщений в письмах она избегала — боялась советской цензуры. Беременность протекала очень тяжело, и Элли еле осталась жива. Она просила Маяковского перевести ей 600 долларов на госпиталь, но тот не смог по неким «объективным причинам» — то ли денег совсем не было (но на Лилию же находились), то ли боялся, что в России прознают. Связь с эмигранткой и живущая за границей дочь — несмываемое пятно для советского поэта. Об отцовстве следовало молчать. И всё же Маяковского переполняют эмоции — на пустой странице своего ежедневника напротив нью-йоркского адреса Элли Джонс он пишет: «Дочь». Спустя много десятилетий Хелен Патриция увидит этот ежедневник в музейной витрине в Москве и расплачется.

Они увиделись лишь однажды, в Ницце, в 1928 году. Маяковский тогда должен был отлучиться по делам в Париж, а потом вернуться к Элли и Хелен. Но, по слухам, эта встреча так испугала Лилию, что Эльзе было дано задание: любым способом не пустить Волосика в Ниццу. Тогда Эльза и познакомила поэта с Татьяной Яковлевой, от вида которой тот мгновенно потерял голову и в Ниццу не вернулся, а дочку больше не видел.

Неизвестно, когда именно Лилия узнала про рождение девочки — возможно, тогда же, летом 1926-го, в Крыму. Сама Хелен Патриция Томпсон, или Елена Владимировна Маяковская, в разных интервью утверждала, что отец скрывал эту новость от Лили — якобы из боязни, что она сдаст его ОГПУ. Очень слабо в такое верится. Во-первых, зачем Лиле Юрьевне было сдавать человека, который ее кормил и, главное, восславлял? Во-вторых, связи Лили с ОГПУ были не столь однозначными.

Вот как сама Брик рассказывала об этой истории Олегу Смоле:

«*Л[илия] Ю[рьевна]*: Действительно, у Маяковского есть дочь от Элли Джонс (Елизаветы Алексеевны). Фамилия по отцу ее неизвестна (Зиберт. — *А. Г.*). <...> Я знала, что у Володи есть дочь, он не скрывал от меня этого. Как-то она писала ему (я читала, не до конца, правда, я вообще не люблю читать чужие письма): “Скажите своей любимой, чтобы она, если Вам будет плохо или с Вами что-то случится, сообщила мне об этом”. Я не раз пыталась наладить связь с Элли, но не могла найти ее — и через Уманского, нашего посла в США, и через Генриха Боровика (известного журналиста-международника. — *А. Г.*), которому я передала для Элли записку, в случае, если он найдет ее, просила отозваться и сообщить свой адрес. Но безрезультатно. Несколько лет назад, примерно в конце 60-х годов, одна работница Иностранной комиссии Союза писателей СССР, фамилии ее сейчас не помню, поехала в Ленинград для организации встречи советских и финских писателей. Остановилась она в гостинице “Астория”. И вот как-то сидит она в ресторане, ужинает. К ее столу подходит пожилая женщина, спрашивает по-русски, но с акцентом, не может ли она сказать, как называется блюдо, которое она ест. “Вы меня извините, — добавила она, — я плохо разбираюсь в русских блюдах и хотела бы заказать то же, что и у вас”.

— Котлеты по-киевски.

— Если вы позволите, я сяду за ваш стол.

Села за стол, заказала котлеты по-киевски, потом спрашивает: “Скажите, пожалуйста, у вас Маяковского читают?”

— Читают, очень читают, — с удивлением ответила ей наша женщина.

— Я спрашиваю вас об этом потому, что я близкий Маяковскому человек и у меня есть его письма ко мне, хотела бы их оставить кому-нибудь из родственников Маяковского.

— А вы передайте их музею Маяковского в Москве.

— А что, у вас есть музей Маяковского? — удивилась иностранка. А потом добавила: — Нет, музею я их передать не могу, это интимные письма.

Прощаясь, иностранка сказала, что она из Америки.

Когда мне сообщила об этой встрече женщина из Иностранной комиссии, мы тут же позвонили в “Асторию”, попросили посмотреть, останавливалась ли у них американка Элли Джонс (мы поняли, что это она). Нам ответили, что нет. Тогда мы позвонили в музей Маяковского на Гендриков переулочек, справились, не приходила ли к ним в последнее время американка, — ответили, что не приходила. Мы сделали предположение, что, возможно, Элли Джонс вторично вышла замуж и теперь у нее другая фамилия. Словом, мы ничего не узнали.

*В[асилий] А[бгарович Катанян]:* У нас есть ее рисунки, сделанные в один день Маяковским и Бурлюком. Когда Маяковский приехал в США (1925), Бурлюк познакомил его с Елизаветой Алексеевной, и они нарисовали ее.

В. А. пошел в свой кабинет и через минуту принес два рисунка карандашом. Один — Маяковского (женщины 28 лет с виду, женщины некрасивой, как мне показалось), другой — Бурлюка (женщины, чем-то привлекательной и, мне показалось, внешне похожей на Веронику Полонскую).

*Л. Ю.:* Владимир Владимирович видел свою дочь в 1928 году в Ницце, куда Элли приезжала с дочерью. Как он мне потом сказал, ему было там скучно, и он, не пробыв там и двух дней, уехал.

Вообще же Элли его очень любила, — заключила Л. Ю.<sup>273</sup>.

Действительно, Лиля принялась разыскивать Элли Джонс сразу после смерти Маяковского — у него в записных книжках сохранились адреса. Обращалась к Бурлюку, Якобсону, Эльзе, бывавшим в США, чтобы те прошли по всем адресам, но безрезультатно. Элли-Елизавета и вправду вторично вышла замуж, сменила фамилию на Петерс и переехала. Она преподавала языки и дожила аж до 1985 года.

Дочь же, Хелен Патрицию, я прекрасно помню. Я увидела ее за четыре года до ее смерти в Нью-Йорке, на приеме в честь Нью-Йоркского книжного салона «Бук Экспо». Это была очень высокая женщина с прямой спиной и низким, седым хвостом волос, скрепленным огромным эксцентричным бантом-заколкой. К тому моменту она, конечно, уже не раз приезжала в Москву и даже похоронила часть праха матери рядом с могилой Маяковского. В Нью-Йорке же нас с друзьями немного смешило, что дочь написала огромную книгу, чуть ли не мемуарную, «Мой отец Маяковский», хотя видела его один раз в жизни, да и то в возрасте двух лет! Правда, потом оказалось, что книга состоит по большей части из рассказов ее матери, записанных на магнитофонную ленту.

О Лиле Елена Владимировна отзывалась через губу. Приведу фрагмент ее ответов на вопросы журналистов «Комсомолки»:

«— Почему Маяковский не остался в Америке?

— За ним следил НКВД. Изъяви он желание остаться за границей, его бы ликвидировали. (Версия хотя и отдающая конспирологией, но не лишенная оснований, ведь Маяковский весьма двояко относился ко всему, что творилось на его родине после революции, патриотизм и гордость перехлестывались тоской, ужасом и разочарованием, а тут еще и странная смерть Хургина; так что он и вправду мог поделиться с Элли подобными мыслями. — А. Г.)

— Возможно, одной из главных причин, по которым он всегда стремился домой, в Россию, была его муза Лиля Брик?

— У меня сложное отношение к Лиле. Она была очень опытной женщиной и манипулировала моим отцом. Ее муж Осип — тот, да, был ментором Маяковского, в хорошем смысле этого слова, то есть наставником — помогал ему, направлял его.

— Вы пытались установить контакты с Лилей, ее пасынком — исследователем творчества Маяковского Василием Катаняном?

— Как-то не сложилось. Лиля ведь долгое время была основной наследницей и душеприказчицей Маяковского. Я не получила ни копейки и всего добилась в этой жизни сама. Говорят, что Лиля пыталась найти нас, но отчим дал мне свою фамилию, и искать меня было делом бессмысленным»<sup>274</sup>.

Как бы то ни было, сразу после получения известия о дочери Маяковский напишет пропагандистский киносце-

нарий «Дети», в котором будет фигурировать семья несчастного американского шахтера Джонса, где жену будут звать Элли, а дочку Ирма. И эту Ирму выберут из всех школьников для поездки на родину Ленина — посмотреть на жизнь русских пионеров. В общем, эдакая предшественница Саманты Смит.

Все эти пертурбации, однако же, никак не раскололи нашу троицу; напротив, жизнь закипела еще роскошнее, веселее и разнообразнее. Во всяком случае, для Лили.

## ЛЕВ НА МОТОЦИКЛЕ И ТОВАРИЩ ДЕВУШКА

Киев, Ростов-на-Дону, Краснодар, Воронеж, Таганрог, Новочеркасск... Маяковский снова заездил. Во-первых, нужны были деньги и ласкала слава, а во-вторых, в Москве становилось морально невыносимо — Лилины похождения кололи глаза, ревность ела поедом. Он, как мог, заталкивал себя в прокрустово ложе свободной любви и наступал на горло собственной песне — но не получалось. Хотелось нормальной семьи, где женщина только его и больше ничего. Правда, вырвать из сердца ту, что мучила, не выходило. Ему было лучше под ее каблуком, чем совсем без нее.

Конвейерные чтения — настоящая соковыжималка. Выступал по несколько часов в больших залах, иногда бесплатно. Терпел дорожные тяготы. В Ростове, к примеру, поэту пришлось и пить, и мыться нарзаном, потому что канализационная и водопроводная трубы прорвались и соединились в одну. А всё заработанное он посылал любимой Кисе прямо «в кровать».

Но и Кисе не сиделось на месте. В январе 1927 года она отправилась поездом в Вену и остановилась в «Бристол». Маяковский в это время совершал турне по городам Поволжья — Самаре, Саратову... Денежные переводы Кисе не прекращались. «Получила десять фунтов двести пять долларов. Жду остального», — телеграфирует она Маяковскому 4 февраля. Через два дня, не сдержавшись, шлет «зверикам» молнию: «Почему молчите как убитые. Сто девяносто пять». «Зверики» корреспондируют: «Усиленно хлопочем. Деньги на днях получишь. Любим целуем. Счен Кис»<sup>275</sup>.

«Дорогая Киса перевел двадцать. Четверг буду Киев Континенталь», — сообщает Маяковский из Харькова уже в



Москву. «Если можешь переведи еще денег. Целую»<sup>276</sup>, — отзывается Киса. И так бесконечно.

В Вене она пробыла буквально несколько дней, зато успела заехать в Чехословакию, на курорт Франценсбад (ныне Франтишкови-Лазне в Чехии), где Эльза лечилась от ревматизма. Впрочем, и в Москве, в Гендриковом, жизнь клочкотала. Устраивались легендарные лефовские вторники, куда сходилась весь их бомондный кружок, от Жемчужного и Эйзенштейна до Пастернака, Мейерхольда и Асеева.

Журнал «ЛЕФ» уже умер, но еще годом ранее лефовцы сходили на прием к Троцкому с просьбой поддержать литературную революцию. В результате Госиздат снизошел, и на смену толстому «ЛЕФу» был запущен тонкий ежемесячник «Новый ЛЕФ». Все лефовцы очень увлекались кино, Маяковский кропал сценарии (даже пытался реанимировать «Закованную фильмой» ремейком «Сердце экрана»), а Осип много об этом теоретизировал. Впрочем, он и сам был не прочь сочинять для экрана — им были написаны сценарии «Приключения эльвиста», «Клеопатра», «Премьера» и «Потомок Чингисхана»; по последнему Всеволод Пудовкин снял фильм, вошедший в золотую коллекцию мирового кинематографа.

В одном из сценариев Маяковского, «Как поживаете?» — о двадцати четырех часах жизни обыкновенного человека, — как обычно, фигурируют актуальные для него мотивы. Мелькает табличка на двери «Брик. Маяковский», главный герой носит имя автора и ведет титаническую, изматывающую борьбу с издательской машиной, с бюрократией, с непониманием и с равнодушием к его стихам. У героя как будто нет другого выхода, кроме самоубийства (о суициде Маяковский думал всегда, но после того, как в «Англетере» повесился Сергей Есенин, мысль превратилась в навязчивую). Правда, в этом сценарии, удивительном по экспериментаторским находкам, включению в игровое кино документальной хроники, визуальным решениям, стреляется не герой, а его девушка — мотив, кстати, тоже автобиографический.

В жизни поэта когда-то, еще до знакомства с Эльзой, была мирискусница, бубнововалетчица поэтесса Антонина Гумилина, любившая его до безумия, посвятившая ему поэму «Двое в одном сердце» и постоянно изображавшая его на своих картинах. Роман Якобсон рассказывал: «Хорошо помню одну картину: комнату под утро, она в рубашке сидит в постели, поправляет, кажется, волосы. А Маяковский

стоит у окна, в брюках и рубашке, босиком, с дьявольскими копытцами, точно как в “Облаке” — “Плавлю лбом стекло окошечное...”. Эльза мне говорила, что Гумилина была героиней последней части “Облака в штанах”»<sup>277</sup>.

Художник Роскин, учившийся с Антониной в студии бубновалетчика Ильи Машкова, так описывал акварель «Свадьба Маяковского»: «В центре свадебного стола сидел Маяковский в цилиндре, во фраке, красивый и очень похоже нарисованный; по правую сторону она изобразила себя в подвенечном белом платье, а слева от Владимира Владимировича сидел толстый Давид Бурлюк с неизменным лорнетом в руке, и эту центральную группу окружали знакомые — молодые художники нашей мастерской, в их числе я легко нашел и себя»<sup>278</sup>.

Талантливая Гумилина и вправду заиклилась на поэте и даже изобразила его в своей «Тайной вечере» в роли Христа. Потом вышла замуж за художника Эдуарда Шимана, но всё равно продолжала сохнуть по Маяковскому, а в итоге выбросилась из окна и разбилась насмерть. Шимана Маяковский с Лилей презирали. Поэт всё время обыгрывал Шимана в карты, и когда тот совсем продулся и обнищал, то начал вместо денег ставить на кон шарфы. Выигранный у несчастного художника огромный лиловый шарф, отороченный бурой лисой, Маяковский принес Лиле, как трофей в пещеру, — дескать, вот тебе его скальп. Лилия потом передала шарф Эльзе.

Сценарий фильма «Как поживаете?», испугавшись смелости формы, сначала отвергла государственная кинокомпания «Совкино», а потом и «Межрабпом-Русь», хотя переговоры шли всюду и даже были назначены режиссер (Лев Кулешов) и актриса на роль девушки (его жена Александра Хохлова). Знал ли Маяковский, что вместо фильма дело закончится головокружительным романом Лили и Кулешова? Вот тебе и жизнетворчество.

Лев Кулешов в свои 28 лет (он был на восемь лет моложе Лили) уже сделал многое, чтобы остаться в истории искусства. Поучившись на художника, начал с документальных съемок на фронтах Гражданской войны, а к моменту знакомства с Лилей снял фильмы «Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков» и «По закону» по рассказу Джека Лондона. В обоих снималась Хохлова, оба признаны шедеврами мирового кинематографа.

Возможно, многим знакома фамилия Льва Владимировича благодаря известному термину «эффект Кулешова».

Он первый продемонстрировал, что смысл одного и того же кадра меняется в зависимости от того, какой кадр идет следующим. Если за крупным планом лица человека на экране появляется тарелка супа, зритель решает, что человек голоден и хочет поесть супа. Если же вместо супа кадр с хорошенькой девушкой, то человеку припишут не чувство голода, а вожделение. Известен также географический эксперимент Кулешова, демонстрирующий некоторые хитрости монтажа, — в нем тоже участвовала Хохлова.

Кстати, маленькую рыжую Хохлову можно увидеть на полотне Филиппа Малявина «Лисичка» (1902). Она была внучкой Павла Третьякова — того самого, мецената и коллекционера живописи; ее отец Сергей Боткин был коллекционер и врач из знаменитой семьи медиков, его брата Евгения расстреляли в 1918 году в Екатеринбурге вместе с царской семьей. Боткин вначале был помолвлен с дочерью художника Ивана Крамского, но после его встречи с Александрой Третьяковой помолвка была расторгнута. Крамская, кажется, так и не вышла замуж, но со своей разлучницей, как ни странно, дружила.

Вот и от Хохловой требовалось элементарно не устраивать сцен и вести себя как ни в чем не бывало, пока Лиля открыто любовничает с ее мужем. Кулешов объяснился Лиле в любви еще летом 1926-го, на даче в Пушкине. Красавец, модник, спортсмен, охотник, звезда, он посвящал ей мадригалы на папирусе и подарил золотую брошку-льва по своему эскизу. Хохлова страшно страдала и даже пыталась покончить с собой. Узнав об этом, Лиля только пожалала плечами: «Ну что за бабушкины нравы?» Правильная жена должна была с ней чаевничать и приятельствовать. Как в идеальной коммуне.

Летом все вместе жили на даче в Пушкине: Лилия, Ося, Кулешов, Хохлова с сыном Сережей. «Хохлова ходила с пустыми глазами. В те годы с ней я была очень близка и чувствовала, насколько ей тяжело “выкорчевывать” из себя корни “буржуазных” пережитков и пойти в ногу с новым бриковским бытом»<sup>279</sup>, — писала художница Елизавета Лавинская.

Вот и Галина Катанян, тем летом впервые попавшая на дачу к Брикам со своим мужем, тифлисским лефовцем Василием Абгаровичем Катаняном, поразилась царившим в Пушкине нравам: «Приехал Кулешов с Хохловой. Лилия и Кулешов тотчас же поднялись наверх и пробыли там довольно долго. То же самое произошло, когда приехал Жемчужный с

Женей. Ося с розовой от смущения и радости Женей немедленно удалились наверх. Хохлова невозмутимо беседовала с дамами на террасе, но Жемчужный, очевидно, менее вышколенный, тоскливо бродил по саду в полном одиночестве. Я была несколько озадачена всем виденным и на обратном пути домой спросила Васю — что же это такое? Вася, поразмыслив, объяснил мне, что современные люди должны быть выше ревности, что ревновать — это мешанство»<sup>280</sup>.

Еще с апреля Лиля стала клянчить у Маяковского автомобильчик. Поэт тогда выступал в Париже, припадки веселья, как водится, сменялись у него меланхолией и хмуростью, — на одной фотографии он даже повернулся спиной к объективу. В Париже поэт крутил легчайший романчик с девушкой Асей, прелестной, неприкаянной, вышвырнутой революцией за границу. Он мечтал вернуть Асю в Россию. Лиля в это время рассекала по Москве в коляске шикарного кулешовского мотоцикла. Иногда брали с собой и собаку Бульку. Весь город знал, что режиссер Кулешов катает на мотоцикле музу Маяковского. И Лиля не стеснялась просить поэта о покупке необходимых для кулешовской мотоциклетки деталей.

Мало того, она пишет ему изумительное по нахальности письмо:

«Очень хочется автомобильчик. Привези пожалуйста! Мы много думали о том — какой. И решили — лучше всех Фордик. 1) Он для наших дорог лучше всего, 2) для него легче всего доставать запасные части, 3) он не шикарный, а рабочий, 4) им легче всего управлять, а я хочу управлять обязательно сама. Только купить надо непременно Форд последнего выпуска, на усиленных покрышках-баллонах; с полным комплектом всех инструментов и возможно большим количеством запасных частей».

Заботливая Лиля Юрьевна не забывает и о жене любовника:

«Если есть в природе какой-нибудь кино-грим для зубов — чтоб были белые, то привези Шуре»<sup>281</sup>.

Маяковский, оглохший от собственных выступлений и отмахавший руку на автограф-сессиях, Кисину письмо, по собственным заверениям, дико обрадовался и принял его как руководство к действию — «думал о машине»<sup>282</sup>. И действительно, «форд» для Кулешова был вскоре куплен

и доставлен в Москву. В Пушкино Лев Владимирович теперь приезжал на этом чуде заграничной техники, заставляя прохожих сворачивать шеи. Досуг проводили, как обычно, в походах за грибами и бесконечных играх (иногда по 17 часов) в карты, маджонг, бильярд, городки. Кулешов заразил всех пинг-понгом. Лиля остригла волосы и щеголяла модной прической «гарсон», хотя Осип Максимович и не одобрял, когда женщины стриглись под мальчика, — тогда они почему-то напоминали ему проститутку. Впрочем, «бл\*дский папаша» уж точно разбирался в вопросе.

Маяковский тем временем совсем устал, изнервничался и чувствовал себя плохо. Дело было, конечно, не только в сумасшедшей физической усталости от гастролей, но еще и в творившемся у него под носом промискуитете. Покупка «фордов» для любовника своей любимой женщины всякому далась бы непросто — что уж говорить о таком романтике и максималисте, как Владимир Владимирович.

Булька, тоже не терявшая времени даром, в августе ошенилась, а Лиля взялась писать с Кулешовым сценарий по рассказу Некрасова — «Межрабпом-Русь» обещала ей шесть тысяч рублей. У проекта, однако, возникли препятствия. Сонка Шамардина (та самая, которой пришлось делать от Маяковского аборт на очень позднем сроке) вспоминает, как поэт психовал, пробивая в высоких инстанциях Лилин сценарий:

«Помню — очень взволнованный, нервный пришел ко мне в ЦК рабис (РАБИС — профсоюз работников искусств. — А. Г.) (была я в то время членом президиума съезда). Возмущенно рассказал, что не дают Лиле работать в кино и что он не может это так оставить. Лиля — человек, имеющий все данные, чтоб работать в этой области (кажется, в сорежиссерстве с кем-то — как будто с Кулешовым). Он вынужден обратиться в ЦК рабис — “с кем тут говорить?”».

Повела его к Лебедеву\*. Своим тоненьким, иезуитским таким голоском начал что-то крутить и наконец задал вопрос: “А вам-то что, Владимир Владимирович, до этого?”

Маяковский вспылил. Резко оборвал. Скулы заходили. Сидит такой большой, в широком пальто, с тростью — перед крошечным Лебедевым. “Лиля Юрьевна моя жена”»<sup>283</sup>.

---

\* Николай Алексеевич Лебедев (1897—1978) — киновед, организатор и редактор журнала «Пролеткино» и газеты «Кино», первый секретарь Ассоциации революционной кинематографии.

В общем, с кино у Лили на этот раз не получилось.

Отпуск она провела с Кулешовым в Тифлисе, Сочи, Батуми, Гагре, и Маяковский постоянно отправлял им деньги.

8 июля: «Деньги получила. Гостиница Ориант».

17 июля: «Волосик переведи деньги Батум Госбанк».

18 июля: «Щеник оставь обязательно лишние двадцать червонцев. Задолжала Кулешову».

19 июля: «Переведи не меньше тридцати»<sup>284</sup>.

Любопытно, что хотя Кулешов девушку и танцует, но кошелек держит закрытым.

По дороге в Москву парочка проезжала на поезде Харьков, где как раз выступал Маяковский (у него было большое турне по городам Украины, Кавказа, Крыма). Встретились на платформе, и Маяковский предложил Лиле остаться на ночь — послушать его новые стихи. Она согласилась, еле успели вытащить чемодан через окно. «Помню в гостинице традиционный графин воды и стакан на столике, за который мы сели, и он тут же, ночью, прочел мне только что законченные 13-ю и 14-ю главы поэмы “Хорошо!”», — вспоминала Лилия. — Он был счастлив, когда я говорила, что ничего в искусстве не может быть лучше, что это гениально, бессмертно и что такого поэта мир не знал»<sup>285</sup>.

Маяковский читал:

Если  
я  
чего написал,  
если  
чего  
сказал —  
тому виной  
глаза-небеса,  
любимой  
моей  
глаза.

Лилия в первое мгновение перепуталась. Что это за глаза-небеса? Голубые? О ком это он? Но, услышав следом про «круглые да карие», успокоилась — о ней. Очень уж ей было важно остаться единственной музой.

Но когда Кисит уехал, Маяковскому стало так тяжело, так невыносимо одиноко, что он вызвал к себе телеграммой из Москвы Наташу Брюханенко. Наташа была бедной красивой студенткой с детдомовским прошлым. Вечером она училась в Первом МГУ на литературном отделении,

днем работала в Госиздате. И, конечно, как все ребята, чуть ли не с детства фанатела от Маяковского. Его стихами тогда зачитывались со школьной скамьи, цитировали взахлеб. Он был суперзнаменитостью для всех поколений, почище нынешних рэперов.

В Госиздат Маяковский заходил часто — там мучительно, с проволочками, издавался его шеститомник, именно там ему заказали роман, который он так и не вымучил (не усидчивый был человек, не чутуннозадый — какое уж тут корпение над романом, если романов он даже недочитывал, а страницы разделов прозы в толстых журналах даже не разрезал). В Госиздате постоянно натывался на холодную стену, на бюрократические издевательства. Лиля вспоминала: «...когда он пришел из Госиздата, где долго ждал кого-то, стоял в очереди в кассу, доказывал что-то, не требующее доказательств. Придя домой, он бросился на тахту во всю свою длину, вниз лицом, и буквально завывал: я больше — не могу... Тут я расплакалась от жалости и страха за него, и он забыл о себе и бросился меня успокаивать»<sup>286</sup>.

С Наташей Маяковский столкнулся на госиздатовской лестнице еще в 1926-м, сразу повел гулять и в кафе на Петровке продемонстрировал ее Осипу Брику: «Вот такая красивая и большая мне очень нужна»<sup>287</sup>. Затем завел ее к себе на Лубянский, угощал конфетами и шампанским, внезапно распустил ей волосы (тот же финт он проделал когда-то в вечер знакомства с Сонкой Шамардиной — прямо в кафе, на глазах у Чуковского) и стал спрашивать, станет ли она любить его. Крылось в этом, конечно, что-то болезненное, и Наташа от Маяковского сбежала, но через год они столкнулись снова — опять в Госиздате — и с тех пор стали практически неразлучны. Обедали в «Савое», «Гранд-отеле» или у него, ходили в кино и по литературным редакциям. Работая у себя над стихами, он просил, чтобы «товарищ девушка» всё время находилась рядом — одиночество его душило, и нужно было чье-нибудь присутствие. Привыкшая к комсомольскому небрежному братанию, Наташа стеснялась его буржуазных выходок — трости, пролетов, целования рук, такси.

Летом, пока Лиля нежилась на Кавказе с Кулешовым, Маяковский привозил Наташу в Пушкино, где Жемчужный учил ее играть в маджонг. Бывали там и вдвоем. Галина Катыня как-то застала их на даче одних и сразу же восхитилась девушкой:

«От нее исходит какое-то сияние, сияют ямочки на щеках, белозубая, румяная улыбка, серые глаза. На ней белая полотняная блуза с матросским воротником, русые волосы повязаны красной косынкой. Этакая Юнона в комсомольском обличье.

— Красивая? — спрашивает Вл. Вл., заметив мой взгляд. Я молча киваю.

Девушка вспыхивает и делается еще красивее»<sup>288</sup>.

Получив телеграмму Маяковского, Наташа сразу же выехала к нему в Крым. Там, в окружении разговоров о высоких материях, она в своем бедном полотняном платьице чувствовала себя плебейкой. Маяковский по своему обыкновению стремился скупить для девушки всё содержимое окрестных цветочных киосков, но она отнекивалась. Кое-как уговорил ее принять хотя бы шелковую материю, из которой в Ялте сшили ей платье. До обеда, пока Маяковский работал (главным образом над поэмой к десятилетию Октябрьской революции), «большая и красивая» курортничала на пляже, а после обеда поэт ни на шаг ее не отпускал. И Наташа покорно торчала в накуренной бильярдной, где после вечерних выступлений Маяковский часами размахивал кием.

Выступления его выматывали, буквально, как он выражался, выдаивали. Разъезжать приходилось чуть ли не по всему полуострову. Но с Наташей он чувствовал себя хорошо — вместе они провели целый месяц. В Москве на вокзале их встречала Лиля вместе с Ритой Райт — обеим, видно, было интересно, что это за Наташа. «Лилию я увидела тогда впервые, — вспоминала потом Брюханенко. — Когда я бывала летом в Пушкино и на их квартире на Таганке, Лилия была в отъезде, и я видела только ее комнаты. Помню, как меня удивили тогда очень маленькие туфельки и множество всякой косметики на столах»<sup>289</sup>. Бедная комсомолка из простых, конечно, никогда до того не сталкивалась с таким изобилием импортных прибабасов.

Она не знала, что ее союз с Маяковским обсуждают в Лилином кругу на всю катушку. Все видели серьезность Маяковского и почему-то были уверены, что Маяковский и Брюханенко поженятся. Елизавета Лавинская, участвовавшая в этих разговорчиках, потом записала:

«Лефовские “жены” говорили:

— Володя хочет жениться на Наташе Брюханенко, это ужасно для Лилечки.



И на самом деле, Лиля ходила расстроенная, злая. Ко мне в то время она заходила довольно часто, и тема для разговора была одна: Маяковский—Брюханенко...

Она говорила, что он, по существу, ей не нужен, он всегда невероятно скучен, исключая время, когда читает стихи.

— Но я не могу допустить, чтоб Володя ушел в какой-то другой дом, да ему самому это не нужно...

Безусловно, уход Маяковского был неприятен не только для Лили Юрьевны, но в такой же мере для Осипа Максимовича. Из дома ушла бы слава и всё то, что за ней следует».

Злая Лавинская продолжает:

«Откуда-то голос Лили Юрьевны сверху:

— Лилечка (Лавинскую сокращенно звали почему-то не Лизой, а тоже Лилей. — А. Г.), идите сюда.

Я поднялась. Лили Юрьевна принимала на крыше солнечные ванны и одновременно гостей. Был Кулешов (этот не гость), мадам Кушнер, еще чьи-то жены и я. Не знаю почему, но я почувствовала тогда себя невыносимо скверно. Слезы Лили Юрьевны, ее злое лицо, дергающиеся губы, когда она говорит о возможном уходе Володи “из дома”, из которого она не желает его отпускать. От этого нового, бриковского быта несло патологией»<sup>290</sup>.

Как я уже упоминала, во время работы над мемуарами Лавинская тяжело болела и зуб точила на левовцев. И, видно, делилась своей горечью не только письменно, но и устно. 25 июля 1948 года писатель Михаил Пришвин записал в своем дневнике: «Приходила Лавинская (туберкулез) и еще, и еще рассказывала о героях ЛЕФа (как углубление и умножение “Бесов”). Блудница Лили Брик голая загорает, возле Кулешов в трусиках, женщины “подпильки”, Хохлова с пустыми глазами (вот еще женщина!), невинный Маяковский (ограбленное дитя), вечно умствующий Шкловский»<sup>291</sup>.

Однако Лавинская, несмотря на болезнь и связанную с ней ипохондрию, была не так уж далека от истины. Не успела Наташа примчаться к Маяковскому в Ялту, как Лили тут же накатала ему длинное письмо, казалось бы, о разных бытовых мелочах, но заканчивавшееся предложением:

«Ужасно тебя люблю. Пожалуйста не женись всерьез, а то меня все уверяют, что ты страшно влюблен и обязательно женишься! Мы все трое женаты друг на друге, и нам жениться больше нельзя — грех»<sup>292</sup>.

Маяковский ответил на эгоистичный Лилин запрет просто и емко:

«Целую мою единственную кисячью осячью семью»<sup>293</sup>.

Он подчинился.

Впрочем, с Наташей поэт пока еще общался и даже отправил ей из очередного турне 500 рублей на покупку зимнего пальто. Желая отблагодарить поэта и не зная его адреса, Брюханенко набрала телефонный номер своей могучей соперницы, и та без лишних вопросов продиктовала ей адрес.

Позже Лиля обворожила Наташу, как делала со всеми женщинами своих кавалеров: нейтрализовывала их добротой, заботой и кристальным простодушием в вопросах любви. Лилия Юрьевна Брик вела себя так, как будто дружба возлюбленного с другой женщиной была в порядке вещей. Ну а как иначе? Не драть же друг другу волосы! Чай, не мешане.

Следующей весной Маяковский грипповал в своей каюте в Гендриковом и из-за болезни не смог поехать в Берлин вместе с Лилей. Больной и мрачный, он вызвал к себе Брюханенко. Она пересказала случившийся в тот день диалог:

«— Вы ничего не знаете, — сказал Маяковский, — вы даже не знаете, что у вас длинные и красивые ноги.

Слово “длинные” меня почему-то обидело. И вообще от скуки, от тишины комнаты больного я придралась и спросила:

— Вот вы считаете, что я хорошая, красивая, нужная вам. Говорите даже, что ноги у меня красивые. Так почему же вы мне не говорите, что вы меня любите?

— Я люблю Лилю. Ко всем остальным я могу относиться только хорошо или **ОЧЕНЬ** хорошо, но любить я уж могу только на втором месте. Хотите — буду вас любить на втором месте?

— Нет! Не любите лучше меня совсем, — сказала я. — Лучше относитесь ко мне **ОЧЕНЬ** хорошо.

— Вы правильный товарищ, — сказал Маяковский. — “Друг друга можно не любить, но аккуратным быть обязаны...” — вспомнил он сказанное мне в начале нашего знакомства, и этой шуткой разговор был окончен»<sup>294</sup>.

Женщины, согласной на второе, запасное место в сердце Маяковского, так и не нашлось.

## МАЛЕНЬКИЕ НОЖКИ

Лилию Брик легко представить в нашем времени. Она бы обязательно вела блог в Инстаграме, имела бы несколько миллионов подписчиков, а ее звучное имя не сходило бы с липких страниц желтой прессы. За ней охотились бы папарацци, о ней снимались бы скандальные телепередачи. Ее портреты улыбались бы с обложек глянцевого изданий, а сводки о ее новых романах и краснокровных выходах мгновенно выпархивали бы на верхние строчки рейтингов новостей. А серфя по Интернету, мы бы досадливо натывались на всплывающие окна с вирусной рекламой: «Лилия Брик раскрыла секреты стройной фигуры: каждый день натошак она ест...»

Будь у нее желание, она могла бы вести платные мастер-классы по соблазнению. Как заставить всех (ладно бы всех — а то самых умных и самых талантливых) подчиняться тебе и боготворить тебя? Как-то раз она поделилась с пасынком Василием Катаняном-младшим рецептом: «Надо внушить мужчине, что он замечательный или даже гениальный, но что другие этого не понимают. И разрешать ему то, что не разрешают ему дома. Например, курить или ездить куда вздумается. Ну а остальное сделают хорошая обувь и шелковое белье»<sup>295</sup>. В старости Лилия то же самое говорила актрисе Алле Демидовой: «Если вы хотите завоевать мужчину, надо обязательно играть на его слабостях. Предположим, ему одинаково нравятся две женщины. Ему запрещено курить. Одна не позволяет ему курить, а другая к его приходу готовит коробку “Казбека”. Как вы думаете, к которой он станет ходить?»<sup>296</sup> Тут ненароком вспомнишь горящие глаза Маяковского, внимающего Лилиным похвалам. Несмотря на гремющую славу и хвастливость, он был очень мнителен и не уверен в себе. А эта женщина с неприметной внешностью его зажигала, вдохновляла и подстегивала.

Восхищались Лилей не только мужчины, но и женщины. Причем какие женщины! Те, что должны были ненавидеть ее как соперницу. Многие из них, сойдясь с ней ближе, говорили, какая она замечательная. «Когда же я увижу тебя, рыжую, покрашенную, тебя, которая выдумалась какому-то небесному Гофману, которую любит Маяковский?» — писала Сонка Шамардина. Кто знает, если бы не клевета Чуковского и не убитый в утробе ребенок, могла бы она составить поэту счастье? «Наконец-то или в конце 1927 года, или в начале 1928, — продолжает она, — я ее уви-

дела в Гендриковом переулке, уже давно приготовленная Маяковским к любви к ней. Красивая. Глаза какие! И рот у нее какой!»<sup>297</sup> (Это уже тогда, когда она сидела на вечерах у Лилички и ловила из ее рук пирожки; а вначале ведь ревновала. Ей, к примеру, почему-то нравились гнилые зубы Маяковского, и, когда она увидела его обелозубленного, ей стало жалко поэта. Винула Лилю.)

О том, как сам Маяковский относился к Лиле, можно судить по многим свидетельствам. Она была для него настолько непререкаемым авторитетом, что циничные люди не сдерживались и фыркали: «И что, если Лилия Юрьевна скажет, что шкафы стоят не на полу, а на потолке, вы тоже согласитесь?» (по другим версиям: «Если Лилия скажет ночью пойти босиком по снегу до Большого театра — пойдете?»). И Маяковский серьезно отвечал: «Соглашусь», «Пойду». Та же Сонка вспоминает: «Помню вечера у Бриков и Маяковского, когда читал что-нибудь новое. Помню чтение “Бани”. Всегда постоянный узкий круг друзей его. Помню — сказал о какой-то своей вещи: “Этого читать не буду. Это я еще не прочел Лиличке!”»<sup>298</sup>. Или вот такое: «Очень дружески относится к Адамовичу. Но окончательно укрепило его отношение к Иосифу, когда Адамович помог как-то Маяковскому с валютой для Лили, связав ее с кем-то из наших товарищей за границей с просьбой помочь там Лиле, что нужно. В эти дни Маяковский подарил Иосифу пятый том с надписью: “Замечательному Иосифу Александровичу”. И хоть не только из-за Лили он стал особенно хорош к Адамовичу, но всё-таки и тут отразилась его большая любовь к ней»<sup>299</sup>.

(Иосиф Адамович, муж Сонки, был успешным партийным деятелем — председателем Совнаркома Белорусской ССР, затем членом Президиума Высшего совета народного хозяйства СССР — до тех пор, пока его не заподозрили в сочувствии «Союзу освобождения Белоруссии» и не сослали на Дальний Восток, руководить сахарным заводом в Никольске-Уссурийском, а затем — на захолустную Камчатку, которая при нем оживилась и отстроилась. Но в 1937-м Адамовича стали громить как покровителя «врага народа», и в ожидании ареста он застрелился. Сонка же пошла по лагерям, а вернувшись на волю, прожила незаметную жизнь и тихо умерла в больнице для старых большевиков в Перedelкине в 1980 году.)

Кстати, про Сонку, красавицу-блондинку с аквамариновыми глазами, тоже ходили фантастические слухи: де-

скать, она, фам фаталь, крутила не только с Маяковским, но и Северянином, и с футуристом Вадимом Баяном, а к одному любовнику в годы Первой мировой войны приезжала вместе с ручным волком на цепи. Как-то плохо вяжется с образом невинной, соблазненной бестужевки, который выстраивал Чуковский.

Наташу же Брюханенко ввести в состояние трепета было довольно легко. Студенточка явно комплексовала, что недотягивает до Маяковского знаниями, статусом, дарованием, и в своих мемуарах то и дело повторяет, что она «никто». «Я нахально пишу о себе “красивая”, потому что так сказала обо мне Лиля. И, наверное, это правда, так же как правда и то, что только благодаря моей внешности Маяковский и обратил на меня внимание»<sup>300</sup> — в этом заявлении капля бахвальства и бочка самоуничижения.

Она прижилась в Лилином окружении еще с тех пор, как Маяковский приводил ее в Гендриков играть в шарады, — Лиле она была не опасна. Но, видно, боготворить ЛЮБ она стала не сразу и поначалу немножко копила яд:

«Однажды вместе с Маяковским я выходила из квартиры в Гендриковом переулке. Лили сидела в столовой. Маяковский был уже в пальто, зашел поцеловать ее на прощанье, нагнул к ней.

— Володя! Дай мне денег на варенье, — сказала Лили.

— Сколько?

— Двести рублей.

— Пожалуйста, — сказал он, вынул из кармана деньги и положил перед ней.

Двести рублей на варенье! Эта сумма, равная нескольким месячным студенческим стипендиям, выданная только на варенье так просто и спокойно, поразила меня».

Впрочем, пересказывая этот эпизод гораздо позже, Брюханенко Лилю оправдывает: «Я не сообразила, что это ведь на целый год, и сколько народу бывало у них в гостях, и как сам Маяковский любил есть варенье!»<sup>301</sup>

Только, скорее всего, «варенье» было просто обобщением, метафорой вроде «булавок». Неметафорическое варенье для Бриков варила Аннушка — наверняка заготовок хватало надолго и докупать ничего не требовалось.

А вот Наталья Рябова познакомилась с Маяковским во время его гастролей в Киеве в 1924 году. Она была совсем юной, и Маяковский относился к ней отчасти как к ребенку. А ребенок, конечно, влюбился. Еще бы: знаменитый поэт — и вдруг обратил внимание да еще и угостил первой в

ее жизни папирасой. Отец и тетки страшно переживали, не пускали ее на чтения Маяковского без сопровождающих, но их роман-дружба тем не менее расцветал. Они виделись в каждый приезд Маяковского в Киев. Но кое-какие его признания заставляли ее рыдать ночами в подушку:

«Разговор с кота перешел на животных вообще, и, рассказывая про свою собаку, Владимир Владимирович несколько раз сказал: “Наша Булька”. Тут я решилась и спросила возможно более естественным голосом:

— Чья “наша”?

Не знаю почему, но мне показалось, что Владимир Владимирович ждал от меня этого вопроса. Быстро перейдя через комнату, он подошел ко мне, глядел на меня очень серьезно и внимательно.

— Наша. Мы — это значит: Лиля Юрьевна Брик, Осип Максимович Брик, Маяковский Владимир Владимирович. Мы живем вместе.

— Как жаль, значит, вам нельзя будет взять с собой Бульку в Киев, чтобы показать мне, — произнесла я обычным тоном.

Маяковский пытливо посмотрел на меня. Я собрала все свои силы и со спокойной вежливой улыбкой глядела на Маяковского.

— Вам это всё равно, Натинька, или не нравится вам это? — спросил Маяковский.

— Почему не нравится? Это очень трогательно.

Так как Маяковский продолжал глядеть на меня слишком внимательно, я, побоявшись, что смогу потерять свое безразличие и спокойствие, принялась делать цветы из серебряных бумажек от конфет и украшать ими чахлые вазончики, стоявшие на окнах. По дороге домой мы зашли в кондитерскую и купили несколько коробок чудесного киевского шоколада.

— Шоколад свежий-свежий. Вы прекрасно довезете его в Москву, я уверена, что он понравится Лиле Юрьевне, — старалась я болтать как можно веселее.

Маяковский уехал на другой день, и записку “Привет Натиньке”, которую он обычно присылал мне перед отъездом, я разорвала и выбросила<sup>302</sup>.

Оттого, что скромная, домашняя Натинька действительно крепко влюбилась в Маяковского, а тот лишь добродушно развлекался, ссор у них выходило много. Она иногда обижала его, но чаще, конечно, он обижал ее, выливал на нее всю свою хмурость, всю тягость, всю недолюб-

ленность Лилей. Особенно жестоко — уже в Москве, куда Рябова приехала учиться. После какой-то ссоры (это был уже 1928 год) она слегла с воспалением легких и решила больше его не видеть.

«Поправившись, я твердо выдерживала свое решение и Маяковскому не звонила. Уже в начале сентября, проходя по Столешникову переулку, я встретила Владимира Владимировича. С ним шла маленькая, очень элегантная женщина с темно-золотыми волосами в синем вязаном костюме. Маяковский смотрел в другую сторону, и я могла свободно разглядывать их.

“Так вот она какая, Л. Ю. Б.”, — грустно думала я. Никогда не видев раньше Лили Юрьевны, я почему-то не сомневалась, что это именно она»<sup>303</sup>.

Однако же связь возобновилась, тем более что скромная девочка поменяла имидж: отстригла косу и приделалась, как советовал Маяковский, в «вязатые вещи». Встретив Натиньку на читке «Клопа», он предложил ей пойти знакомиться с Лилей Юрьевной, но она резко отказалась. Потом Маяковский очень настойчиво уговаривал киевскую подружку прийти встречать Новый год в Гендриков, но Натинька не пошла — не нужна ей эта Лиля Юрьевна.

И всё же они виделись часто до самой его кончины — при Натиньке он работал, писал стихи, давал ей какие-то поручения, касавшиеся юбилейной выставки. «Маяковскому много звонили, — вспоминала она. — Звонили по делам, звонили женщины. Иногда звонила Лиля Юрьевна. По первым же словам Маяковского я узнавала, что он говорит с ней, еще раньше, чем он в разговоре называл ее по имени. С ней Владимир Владимирович говорил особым каким-то голосом». Лиля была притчей во языцех. Когда Натинька как-то раз пришла к Маяковскому в черном суконном платье, очень ей шедшем, он поставил ее у двери, отошел к окну и всё время поддразнивал: «Придется вас всё же Лиле Юрьевне показать, хорошеете, так сказать, не по дням, а по часам!»<sup>304</sup>

Ни полсловечка, ни полшажочка без Лили Юрьевны.

Когда уже в 1960-е годы выходило тринадцатитомное собрание сочинений Маяковского, Рябова готовила к нему указатель имен и названий. Брик неоднократно делала попытки с ней встретиться, но Натинька неизменно отказывалась. А когда встреча всё-таки состоялась, Рябова, столько лет таившая неприязнь, вдруг оттаяла — и тоже стала Лиле подругой.

И ладно бы только девочка, у которой с поэтом толком ни до чего не дошло. Были и такие (вроде Хохловой), у которых Лиля брала мужей в аренду: поиграет и вернет обратно — и, главное, ничуть не таясь и не считая себя виноватой. Ведь после революции, в новом обществе, тем более с новым декретом о браке, всё это было так естественно и, главное, так совпадало с ее врожденной сексуальной вольностью.

Лефовка Галина Катанян из-за Лили потеряла мужа — и не на пару месяцев: Василий Абгарович ушел к Лиле навсегда, что называется, «пока смерть не разлучит их». Уму непостижимо, как брошенная жена смогла в конце концов сломать в себе ненависть. О первом упоминании Лили она рассказывает так:

«Мы отправляемся по проспекту Руставели покупать ковры.

— Для моей новой квартиры (в Гендриковом переулке. — *А. Г.*), — говорит Владимир Владимирович. — Ее уже отремонтировали, и на днях моя семья переезжает в новую квартиру.

— А кто ваша семья? — спрашиваю я не без дурного любопытства, так как в те времена ходило много разговоров о личной жизни Маяковского.

Он смотрит на меня очень строго и строго же говорит:

— Моя семья — это Лилия Юрьевна и Осип Максимович Брик»<sup>305</sup>.

Встретившись с семьей Маяковского, Галина после секундной трезвости опьянела от Лилиной улыбки и сразу же попала в «подлилки»:

«Мне было двадцать три года, когда я увидела ее впервые. Ей — тридцать девять. В этот день у нее был такой тик, что она держала во рту костяную ложечку, чтобы не стучали зубы. Первое впечатление — очень эксцентрична и в то же время очень “дама”, холеная, изысканная и — боже мой! — да она ведь некрасива! Слишком большая голова, сутулая спина и этот ужасный тик...

Но уже через секунду я не помнила об этом. Она улыбнулась мне, и всё лицо как бы вспыхнуло этой улыбкой, осветилось изнутри. Я увидела прелестный рот с крупными миндалевидными зубами, сияющие, теплые, ореховые глаза. Изящной формы руки, маленькие ножки. Вся какая-то золотистая и бело-розовая.

В ней была “прелесть, привязывающая с первого раза”, как писал Лев Толстой о ком-то в одном из своих писем.



Если она хотела пленить кого-нибудь, она достигала этого очень легко. А нравиться она хотела всем — молодым, старым, женщинам, детям... Это было у нее в крови.

И нравилась»<sup>306</sup>.

В крови — это значит, никакими мастер-классами не передать. Просто такой надо родиться.

## ДОЛЖНА РАЗЛИВАТЬ ЧАЙ

Близилась 1930-е, нэп сворачивался, деревня наступала на кулака, под левыми и правыми оппозиционерами проваливалась земля. Не склонный к анализу, наивный гений-агитатор Маяковский превращался не только в рупор рекламы и пропаганды, но и в эхо террора. Он откликнется и на первый громкий политический процесс — по сфабрикованному Шахтинскому делу о несуществующей контрреволюционной организации, ставший прелюдией к грандиозной кампании о вредительстве во всех сферах промышленности и хозяйства (надо же было на кого-то спихнуть застой и бедность):

Прислушайтесь,  
на заводы придите,  
в ушах —  
навязнет  
страшное слово —  
«вредитель»...

Люди были расстреляны или посажены при полном отсутствии доказательств вины, среди получивших условные сроки оказались и иностранцы (расстрелять их, как видно, не решились). Мир ошетинился, дипломатические отношения Советов с капстранами трещали по швам. В Лондоне британские власти даже провели обыск в торговой организации АРКОС, где работала Лилина мать. Сотрудников АРКОСа подозревали в похищении секретной бумаги из Королевского министерства воздушных сообщений. Елена Юльевна оказалась в списке на высылку, но на допросе ей удалось убедить британских спецслужбистов, что никакая она не опасная коммунистка, а очень даже буржуйка, что бежала от революции и вообще никого не трогает, играет себе на рояле, — и ей позволили остаться.

Было беспокойно и в литературной жизни, и даже в Лилиной гостиной. ЛЕФ на волнах баталий с вапповцами-

рапповцами, с одной стороны, и с воронскими-полонскими — с другой, потихоньку раскалывался. Из группы ушел Пастернак, с трудом вписывавшийся в утилитарный трафарет художника для масс. Ушел Сергей Эйзенштейн, видно, обидевшись, что его «Октябрь» был сочтен Маяковским слишком эстетским («Маяковскому картина не понравилась, — заметила Наташа Брюханенко, ходившая с поэтом на сеанс, — он сказал, что это “Октябрь и вазы”, потому что половину картины занимают люстры и вазы и прочие красоты Зимнего дворца»<sup>307</sup>).

Но главный скандал произошел с участием Лили. «ЛЕФ распался из-за Шкловского, — записал Чуковский в дневнике. — На одном редакционном собрании Лиля критиковала то, что говорил Шкл[овский]. Шкл[овский] тогда сказал: “Я не могу говорить, если хозяйка дома вмешивается в наши редакционные беседы”. Лиле показалось, что он сказал “домашняя хозяйка”. Обиделась. С этого и началось»<sup>308</sup>.

Неужели из-за такой ничтожной мелочи, из-за неправильно услышанного слова могла развалиться сплоченная группа? Недобрая Елизавета Лавинская вспоминает о случившемся:

«В этот период, как я помню, Лиля Юрьевна почему-то очень нервничала. То ей хотелось ставить картину, и она требовала, чтобы ей такую картину немедленно дали, то она с азартом принималась за свои мемуары и зачитывала нам их. В конце концов она заявила, что, поскольку ей на лефовских собраниях делать нечего, она хочет “председательствовать”. Это самоназначение было воспринято некоторыми лефовцами со стыдливими улыбками, некоторыми явно неприязненно — докатилась! Но вообще все молчали: “неудобно пойти против желания — хозяйка всё же!”».

Итак, ЛЕФ перешел к новому этапу. Председательствовала Лиля Юрьевна Брик. Осип Максимович бросал по этому поводу, как всегда, несколько иронические, но в то же время игриво-поощрительные замечания — одним словом, всем было понятно: чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало! Маяковский молчал, и по его виду трудно было определить его отношение к этому новшеству. Возможно, всё обошлось бы без всяких инцидентов, вплоть до самоликвидации ЛЕФа, если бы не скандал с Пастернаком и Шкловским. Как будто всё дело состояло в том, что Пастернак отдал в другой журнал свое стихотворение, которое должно было быть, по предусмотренному плану редакции, напечатано в “ЛЕФе”. Начал его отчитывать Брик. Пастер-

нак имел жалкий вид, страшно волнуясь, оправдывался совершенно по-детски, неубедительно и, казалось, вот-вот расплачется. Маяковский мягко, с теплотой, которую должны помнить его товарищи и которую не представляют себе люди, видевшие его только на боевых выступлениях, просил Пастернака не нервничать, успокоиться: “Ну, нехорошо получилось, ну, не подумал, у каждого ошибки бывают...” И т. д. и т. д. И вдруг раздался резкий голос Лили Юрьевны. Перебив Маяковского, она начала просто орать на Пастернака. Все растерянно молчали, только Шкловский не выдержал и крикнул ей то, что, по всей вероятности, думали многие:

— Замолчи! Знай свое место. Помни, что здесь ты только домашняя хозяйка!

Немедленно последовал вопль Лили:

— Володя! Выведи Шкловского!

Что сделалось с Маяковским! Он стоял, опустив голову, беспомощно висели руки, вся фигура выражала стыд, унижение. Он молчал. Шкловский встал и уже тихим голосом произнес:

— Ты, Володечка, не беспокойся, я сам уйду и больше никогда сюда не приду.

Шкловский ушел, а Маяковский всё так же молчал. Лилия Юрьевна продолжала ругаться. Брик ее успокаивал. Мы все стали расходиться. Было чувство боли, обиды за Маяковского и стыд за то, что ЛЕФ, которым жили, в который безумно и слепо верили, из-за которого сломали жизни, бросая искусство, ЛЕФ выродился в светский “салончик”»<sup>309</sup>.

«Так и было?» — спросил об этом скандальчике Дувакин у Шкловского. «Так и было, — подтвердил Виктор Борисович. — Причем меня провожали Маяковский и Брик, сказали: “Мы уладим”. Но ничего уже уладить было нельзя».

То, что Шкловский всецело согласен с версией Лавинской, довольно странно, ведь Пастернак ушел из ЛЕФа еще за год до всех этих визгов и на роковом заседании не присутствовал (а некоторые утверждают, что не было там и Маяковского). Но в детали ссоры Шкловский особенно не углубляется, а лишь подтверждает, что яблоком раздора стало сделанное громко и публично принижение Лилиного статуса: дескать, баба, знай свое место:

«В[иктор] Ш[кловский]: Она что-то сказала, и я, не хотя ее обидеть, сказал: “Ты пользуешься правами хозяйки дома”. Она это довольно правильно поняла: “домохозяй-

ки”. То есть она выступила как верховный жрец, понимаете? А я сказал, что она хозяйка дома. Это очень обидно. Тут произошло...

*В[иктор] Д[увакин]:* Хозяйка дома? Что же тут?.. Простите, что-то не улавливаю...

*В. Ш.:* Домохозяйка.

*В. Д.:* А-а-а!

*В. Ш.:* Домохозяйка, понимаете?

*В. Д.:* А, то есть ниже намного.

*В. Ш.:* Да. Я не хотел этого сказать, но мы поссорились, и я на этом расстался, я ушел»<sup>310</sup>.

Еще в 1928 году, прямо по горячим следам всего этого крика, Шкловский написал формалисту и толстоведу Борису Эйхенбауму: «ЛЕФ распался, не выдержав ссоры моей с Лилей Брик, разделился на поэзию и прозу. Спешно ищем идеологических обоснований»<sup>311</sup>. Но думать над обоснованиями Шкловскому особенно не пришлось — вслед за Маяковским из ЛЕФа вышли Асеев, Осип Брик и Кирсанов. Лиля наверняка считала, что это было проявлением рыцарской солидарности, что своим выходом они как бы доказывали всем присутствовавшим при склоке, что Лиля не просто хозяйка дома (и уж тем более не просто домохозяйка), а такой же творец истории искусства, как и все они. Всяких зарвавшихся Шкловских следовало поставить на место.

Однако же, по-видимому, артисты-футуристы просто-напросто воспользовались бытовой ссорой, чтобы прыгнуть с тонущей лодки. На ЛЕФ всё сильнее ополчались наверху, так что стоило скорее от него отмежеваться. Шкловский же, оставшийся не у дел, тут же связался с Тыняновым и Якобсоном, пытаясь реанимировать исчезнувший ОПОЯЗ. В письмах формалистов то и дело мелькает: «Брик разложился», «Маяковский остановился и движется вдоль темы»<sup>312</sup>. Но из затей, конечно, ничего не вышло. Кто бы им позволил?

Вообще эту историю все перетолмачивают немножко по-разному. В памяти самой Лили Юрьевны ссора с Виктором Борисовичем преломилась, конечно, иначе. Об этом рассказывает в своих записках Бенедикт Сарнов:

«Шкловский читал какой-то свой новый сценарий. Прочитал. Все стали высказываться. Какое-то замечание высказала и она.

— И тут, — рассказывала Лиля Юрьевна, — Витя вдруг ужасно покраснел и выкрикнул: “Хозяйка должна разливать чай!”»

— И что же вы? — спросил я.

— Я заплакала, — сказала она. — И тогда Володя выгнал Витю из дома. И из ЛЕФа»<sup>313</sup>.

Маяковский, уставший от агиток, переживал в то время кризис, в чем-то совпадающий с обидами Лили. Ценят ли его как следует? Понимают ли, любят ли? Не исписался ли он? Не истаскал ли свою лирическую музу на потребу массам в полный хлам? Разъярившись от вида Кисиных слёзок и ни с кем, кроме Брика, не посоветовавшись, он пошел в нападение — на своем вечере под названием «Левее ЛЕФа» объявил, что выходит из группы. Соратники онемели и, что называется, заморозились. Большинство сочло это предательство ЛЕФа мстью за Лилю, у которой поэт был на поводке — иногда на длинном, а порой и на коротком. Да и Лилия считала так же: «...Ни одна женщина не может отказаться, когда ей говорят: расшибусь, но отомщу за тебя...»<sup>314</sup>

Впрочем, Маяковский действительно всё острее ощущал, что литература факта, конвейер злобы дня его расшатывают и вычерпывают по глотку. Наверняка его корбило, что его имя ассоциируется не с высокой поэзией, а с рекламой и частушками. «Ося, усмехаясь, заявлял: “Нигде кроме, как в Моссельпроме” — это лучшее, что сделал Володя»<sup>315</sup>, — писала Лавинская. Но если даже предположить, что она перевирала (человек из омута депрессии видит настоящее и прошлое искаженно), такое мнение действительно имело место. Другое дело, что настоящий левовец согласился бы с Осиным отзывом и «моссельпромил» бы еще активнее, а мысли о высоком, оторванном от советского хозяйства и производства, давил бы на корню.

Но Маяковский не хотел ничего давить. И о чем бы он там ни гремел на трибунах, его тянуло к настоящей поэзии. Но, увы, отчужденная другими мужчинами Лилия, видно, уже не служила достаточным топливом для Маяковского-лирика. Так что в отсутствие темы он еще ближе тянулся к социальным заказам. После выхода из ЛЕФа им сразу же был сколочен РЕФ — Революционный фронт искусства. Искусство провозглашалось орудием классовой борьбы; литературный текст признавался хорошим только в том случае, если вел к конкретным целям и, шире, помогал социалистическому строительству.

Ну а Лилия на несколько десятилетий восстала на Шкловского за глупую, но в общем-то невинную выходку — и продолжала кукситься даже тогда, когда оба пре-

вратились в старичков. Отношение к Виктору Борисовичу, обозвавшему королеву домохозяйкой, проскальзывает и в Лилиных дневниках, где она не упускает случай вставить шпильку:

«Перцов (лефовец, работник «Совкино», а в будущем — официальный советский маяковед, участвовавший, в частности, в известном разгроме Пастернака. Он тогда брякнул, что поэзия Пастернака — это восемьдесят тысяч верст во-круг собственного пупа. — А. Г.) был у Шкловского и говорит, что ушел с отвращением» (1929 год).

«Я знаю, почему Шкловский так плохо пишет, — ему лень... Чувствую себя Шкловским — противное чувство!»<sup>316</sup> (1932 год).

Когда уже в 1945 году Эльза напишет ей: «Почему вы с Витей всё еще в ссоре? Война, смерть, а вы не помирились, неужели он тебя чем-нибудь обидел? Помирись!» — непреклонная Лиля ответит: «С Витей я даже и не в ссоре. Просто он злой и активный враг Осин, и Володин, и Васин (В. А. Катаняна. — А. Г.), и мой»<sup>317</sup>.

Шкловский и вправду за всеми перипетиями своей авантюрной жизни не успел подучить орфографию и писал так, как говорил (или говорил, как писал). Но выходило у него блистательно. Лилины претензии к всемирно известному теоретику и беллетристу довольно смешны, учитывая, что саму ее трудно счесть таким уж исключительным стилистом. Вся ссора и вправду родилась из жесткого, даже обидного обсуждения сценария, к которому приложил руку Шкловский. Жемчужный с Осей довольно резко его критиковали, Шкловский стал огрызаться, Лиля предложила вместо сценария Шкловского обсудить любой другой плохой сценарий. Тут-то уязвленный автор и вскричал про хозяйку. Воспоминания же Лавинской присутствовавший при ссоре Василий Абгарович Катанян позже назвал «психопатическими», утверждая, что там «кромѣ инсинуаций есть и просто бестолковщина и путаница»: «Пастернак, например, к совершенно неправдоподобно изложенному ею инциденту Лиля—Шкловский никакого отношения не имел. Его там просто не могло быть. Инцидент этот произошел на одном из последних лефовских “вторников” ранней весной 1928 года. Пастернак же с середины 1927 года считал себя в ссоре с лефовцами»<sup>318</sup>.

И всё-таки, повторюсь, Лиля так всполошилась, потому что ироничный Виктор Борисович, кажется, угадал. Она

видела себя верховной жрицей, но ее царскому тщеславию нанесли публичный удар — примерно того же порядка, как тот, что она получила от Николая Пунина, который вождеством ее, но болтать с ней об искусстве отказывался. Казалось бы, ну что тут такого, ну попала Шкловскому вожжа под хвост, ну перегнул от обиды, с кем не бывает. Тем более что, говорят, на следующий день Виктор Борисович принес обиженной стороне извинения в письменном виде. Но Лилия была уязвлена до костей. Она-то считала себя равноправной левовкой, а ей то и дело указывали место у самовара. Выходит, что ее драгоценное мнение кто-то считает неважным, неинтересным? Да как они смеют! Нельзя отрицать, что для Маяковского и многих других нетривиальных людей Лилино мнение и вправду служило мерилom и ориентиром.

Виктор Ардов, когда их с Дувакиным разговор свернул на ЛЕФ, подтвердил, что дело было в Лилиных претензиях на высокий статус внутри ЛЕФа: «Шкловского они скоро оттуда оттеснили, потому что Шкловский не уважал и не признавал авторитета Лили Юрьевны, а вот этого они не могли претерпеть. <...> Я спросил Шкловского: “За что вы ушли, почему?” Он говорит: “Потому что Лилия на заседаниях говорит глупости, а я не хотел этого терпеть, вот они меня и высадили”»<sup>319</sup>.

Лиле нравилось нравиться. Казалось, окруженная «подлильками», воздыхателями и хахалями, дирижируя сливками общества первого сорта, она была уважаема и ценима. Но, видно, и впрямь был прав Кулешов, который, по заверению Б. Янгфельдта, как-то в пылу размолвки крикнул ей: «Тебя никто не любит, твои друзья-левовцы терпеть тебя не могут!» Янгфельдт цитирует дневник оскорбленной Лили:

«Разве я не правила все Володиные корректуры? Разве я не работала в Росте («Окнах РОСТА». — А. Г.) дни и ночи? Разве не бегала по всем его делам во время его частых разъездов? Я работала в Госиздате, в детском отделе, переплывала книги для взрослых в книги для детей. Я делала это очень хорошо, но должна была подписывать “под редакцией О. Брика” или “Н. Асеева”, хотя они это делать не умели и не хотели, и моей работой Гиз (то есть издательство. — А. Г.) был очень доволен. Но мое имя не внушает доверия.

Когда мы с Жемчужным написали сценарий “Стекланный глаз” и нам поручили его поставить, меня каждый день снимали с работы. Посреди репетиции посылали приказы немедленно передать всю работу Жемчужному, т. к. я ра-

ботаю по протекции, без квалификации. Сценарий пишет за меня Брик, ставит Жемчужный, а монтирует Кулешов. Ужасно трудно было кончить картину. <...> Во время монтажа “Стеклянного глаза” Жемчужному дали следующую картину, и монтировала я “Стеклянный глаз” абсолютно самостоятельно...»<sup>320</sup>

Она жалуется, что разочаровалась в самых близких людях, что почувствовала в первый раз, что решительно никому не нужна, что даже Ося плохо понял ее в этот раз.

Так ли уж пусты Лилины сетования? На первый взгляд да: всеми балованная и обожаемая, привыкшая к беспрекословным подаркам судьбы даже в самые страшные годы, Лиля готова была лезть в петлю от первого же криво сказанного кем-то слова. Имела ли она право претендовать на равную роль за столом? Она была музой, вдохновительницей и любовницей. Она могла играть в литагента и немного в литсекретаря — распоряжаться гранками, искать и находить издателей, бегать в редакции за свежими корректурами, переписываться с заказчиками и получать гонорары (чужие гонорары, которые шли в ее карман). Типичный пример рабочего поручения Маяковского Лиле:

«Получи в Молодой Гвардии сорок червонцев (надо получить не позднее пятнадцатого, иначе их вышлют мне в Крым) и эти червонцы возьми себе. (Доверенность прилагаю)»<sup>321</sup>.

Да, она умела создавать уют, распахивая двери своих квартир и домов лучшим писателям, художникам, архитекторам, режиссерам. Но была ли сама Лиля писателем, художником, архитектором, режиссером? Можно ли считать ее опыты в разнообразных сферах искусства подлинным культурным наследием — или это была блажь холерной дамы (переходя на шершавую современную лексику, хобби рублевской жены)? Кстати, повадки Лили и вправду были барские. Ее названная невестка Инна Генс, жена Катаняна-младшего, как-то вспоминала: гуляем с уже очень пожилой Лилей Юрьевной по Кутузовскому проспекту. Видим, огурцы продают — хорошие, крупные. Встали в очередь, недолгую, всего минут двадцать, купили огурцы, возвращаемся домой, и тут Лиля Юрьевна говорит: «А ведь я в первый раз в жизни стояла в очереди». И это в советское время!



Однако же вполне вероятно, что мы ее недооцениваем и «сужаем». Ведь сколько было таких недопонятых, недопринятых женщин. Пописывает? Пачкает холст? Возится с пленкой? Ну и славненько, надо же ей чем-то развлекаться, раз все бытовые хлопоты лежат на помощниках. Всерьез мы ее, конечно, не примем. Ведь наверняка за дамочку лепит муж, снимает любовник, марают бумагу поклонник. (Достаточно вспомнить, сколько злословили про Авдотью Паневу: дескать, книжки за нее сочиняет Некрасов.) Словом, не тайлся ли в отношении к Лиле обыкновенный махровый сексизм? Наверное, тайлся, но ясно и другое: если Лиля Юрьевна Брик и деятель искусства, то это искусство называется «любовь к талантам».

## НЕУЖЕЛИ НЕ БУДЕТ АВТОМОБИЛЬЧИКА?

Если вынести за скобки лэфовские дразги, 1928 год проходил для Лили с шиком. Она моталась по любимым заграницам, перехватывала от Маяковского финансовые переводы (тот снова кувырчался по стране с выступлениями) и снимала кино! Да, вместе с мужем Осинной пассии Жени ею был затеян фильм «Стекланный глаз» — пародия на коммерческие забугорные игровые фильмы. В апреле Лиля поехала в Берлин, намереваясь раздобыть кусочки зарубежной кинохроники — они были нужны для картины. Маяковский в это время валялся с тяжелым гриппом и присоединиться к ней не смог, хотя и очень хотел. Впрочем, Лиля еще надеялась, что Володик оклемается и приедет, и на этот случай заказала ему привезти в Берлин зернистую икру, две-три квадратные металлические коробки монпансье, два фунта подсолнуховых семечек и четыре коробки по 25 сигарет «Моссельпром». Осике же полагалось думать о Лилиных киноделах и выбивать деньги на съемки. Брик тогда заведовал литературным отделом «Межрабпомфильма» (впоследствии его реорганизуют в Киностудию имени Горького).

Шкловский рассказывал об этом Дувакину: «Лиля хотела снимать картину, хотела снимать картину в месте, которое было ей подчинено — “Межрабпом-Русь”. <...> Ося работал в сценарном отделе. А у Оси были там свои люди, были... был там, значит, Олег Леонидов (сценарист, прозаик, критик. — А. Г.), потом там Яхнина работала секретаршей этого... владельца предприятия (Моисея Алейникова. — А. Г.). Вот, значит, она (Лиля. — А. Г.) захотела

снимать. Так как снимать она не могла, то к ней был представлен человек — Жемчужный. Они снимали картину, представляющую из себя пародию на картины “Межрабпома”»<sup>322</sup>. В той беседе Шкловский отметил, что в «Межрабпоме» работал и художник Борис Малкин, с которым Лиля тоже крутила роман. То есть кинокомпания эта была ей почти родным домом.

Лилия, впрочем, не оставалась у мужа-патрона в долгу и наводила в Берлине мосты с немецкими режиссерами, пытаясь пристроить Осино либретто «Клеопатра». «Ослиту» был куплен в Берлине шейный платок, а Кулешову — автомобильные перчатки, Маяковский же всё не ехал — температурил, ел курицу (очень любил куриные ножки) и слал Лиле с Эльзой деньги. Эльза тогда была у них на содержании — она сильно нуждалась, перебиваясь изготовлением и продажей бус из всего, что подвернется под руку, даже из чечевицы.

Отчаявшись дожидаться болевшего Маяковского, Лилия отправилась в Париж, где продолжала баловать себя покупками: темно-синим вязаным костюмом — не тем ли, что Натинька Рябова увидела на ней в Столешниковом? — туфлями, часиками, носовыми платками, шестью сменами белья, сумочкой. Лето, как обычно, провела на даче. Правда, дачу ограбили; страшно перепуганный Маяковский писал ей из Евпатории (он гастролировал как бешеный), что, если украден револьвер, надо срочно заявить в ГПУ и опубликовать в газете объявление и что он готов бежать защищать родного Киса. Револьвер был на месте, и Кис просил только «прислать денежков».

«Стеклянный глаз» снимался в августе — там блистали юная Вероника Полонская и Николай Прозоров, который почему-то записан в титрах как Н. Прозоровский. Картина открывается документальными кадрами: коронации Николая II и Георга V, пожар Малого театра и сборка кинокамеры специалистом «Межрабпома», индустриальные стройки и сварочные фейерверки, уличные трамваи и захваченные с сумасшедших крутящихся перспектив башни, пляски африканских племен и арктические собачьи упряжки, пируэты фигуристов на льду и голые ноги ныряльщиц под водой, лодки и водопады, медики в операционной и кровь под микроскопом, небоскребы больших городов и волшебные витрины магазинов, разгон заграничных демонстраций и парады трудящихся — это был гимн стеклянному глазу человечества и, как правильно заметил Лилин враг Шкловский, подражание шедевр Дзиги Вертова

«Киноглаз». И глупым контрастом с этой документальной правдой жизни выступало кривляние актеров (разумеется, буржуйских) под рупор буржуйского же режиссеришки.

Осенью Лиля была занята монтажом (сидела на кинофабрике с четырех до одиннадцати вечера), а Маяковский отправился в Европу. Но в привычном длинном списке заказанных поэту покупок значилась и одна весьма необычная. Лили снова мечтала об автомобильчике, лучше закрытом — на этот раз для себя самой. Видно, спортивный «форд» Кулешова совсем ее раздражил — захотелось чего-нибудь персонального.

Машина нужна была не абы какая, а с «предохранителями» (видимо, бамперами) спереди и сзади, добавочным прожектором сбоку, электрическим очистителем переднего стекла, фонариком сзади с надписью «stop», электрическими стрелками, показывающими, куда поворачивает машина, теплой попонкой, чтобы не замерзала вода, чемоданом и двумя запасными колесами сзади и часами с надежным заводом.

«Цвет и форму (закрытую... открытую...) на твой и Эличкин вкус. Только чтобы не была похожа на такси (с 1925 года в Москве появились такси «рено». — А. Г.). Лучше всего Buick или Renault. Только не Amilcar! (Уж не знаю, чем Лиле Юрьевне не угодили «амилькары» — они были красивые, на них обожали кататься контрабандисты и гангстеры. — А. Г.) Завтра утром начинаю учиться управлять»<sup>323</sup>.

Но автомобиль — это вам не шейный платок, деньги требовались немалые. Маяковский пытался продать немецкому режиссеру Эрвину Пискатору своего «Клопа», но дело прогорело, а за парижские лекции платили недостаточно. Надежда оставалась лишь на левое германское издательство «Малик», которое уже издавало «150.000.000», а теперь готово было подписать договор на «Клопа» — правда, пьесу Маяковский тогда еще не закончил. «В виду сего на машины пока только облизываюсь — смотрел специально автосалон», — объясняет Лиле поэт в послании от 20 октября. Занятно, что в этом же письме присутствует сетование:

«...художники и поэты отвратительнее скользких устриц. Протухших. Занятие это совсем выродилось. Раньше фабриканты делали авто чтоб покупать картины теперь художники пишут картины только чтоб купить авто. Авто для них что уютно только не способ передвижения».

Не намек ли это на самого себя и на Лилину барскую ненасытность?

Лилиа неистовствует:

«Щеник! У-УУ-УУУ-УУУУ!...!.. Волосит! Ууууууу-у-у!!! Неужели не будет автомобильчика! А я так замечательно научилась ездить!!! Пожалуйста! Пусть Malik'у понравится пьеса!»

И далее информирует:

«Хожу во всём новом. <...> Приехали заграничные куски для Стеклянного глаза. На днях кончу картину. Прежде чем покупать машину посоветуйся со мной телеграфно, если это будет не Renault и не Buick. У-ууу-у-у.....! Где ты живешь? Почему мало телеграфируешь? Пишешь: еду в Ниццу, а телеграмм из Ниццы нет (в Ницце Маяковский провел четыре дня со своей американской дочкой и ее матерью. — А. Г.). Мы здоровы. Оська возится с Катаньяном (Василий Абгарович с женой Галиной к тому времени уже переехал из Тифлиса в Москву. — А. Г.) и проявляет. Я монтирую и учусь управлять».

Лилиа дрожит от нетерпения. Не успев отправить плаксивое письмо, тут же, молнией, велит телеграфировать автомобильные дела. Маяковский усиленно скребет по сусекам — ведет переговоры с режиссером Рене Клером, видимо, по поводу своего сценария «Идеал и одеяло». А Лилиа волнуется:

«Что с Рене Клером? Если не хватит денег, то пошли хоть (через Амторг) 450 долларов на Фордик без запасных частей. Запасные части, в крайнем случае, можно достать для Форда и здесь. У-уу-ууу!!!? — !!!?»<sup>324</sup>

В эти дни Лилиа Юрьевна закончила свою картину. В письме она скромно хвастается, что дирекция «Межрабпомфильма» осталась после просмотра в восторге и вообще «Стекло́нный глаз» всем люб:

«Оське картина тоже очень нравится. Он говорит, что она очень “элегантно” сделана и замечательно “смонтирована”, а Кулешов говорит, что он бы не смонтировал лучше. (Монтировала только я — без Виталия.) Словом, успех — полный. Я страшно рада, хотя (честное слово!) считаю это глубоко несправедливым!»<sup>325</sup>

Наконец, к середине ноября Маяковский наскреб достаточную сумму, и сделка совершилась. Он отчитывается Лиле:

«Покупаю рено. Красавец серой масти 6 сил 4 цилиндра кондуит интерьер. Двенадцатого декабря поедет [в] Москву».

А в следующем письме даже рисует кошечку верхом на капоте автомобиля:

«Машин симпатичный ты сама должно быть знаешь какой... Я просил сделать серенький сказали если успеют а то темносиний. Пробуду в Париже немного чтоб самому принять машинку с завода упаковать и послать а то заканчителится на месяцы»<sup>326</sup>.

«Симпатичный машин» обошелся поэту в 20 тысяч франков.

Но бьющейся в реношном ажиотаже Лиле этого недостаточно:

«Свинство! Не написать даже подробно детально какая Реношка! (Я ее люблю...) Купите чехлы на запасные колеса. Волосит! Не рисуй мне, пожалуйста, какой формы радиатор! Это я и так знаю!! А напишите мне какой она длины, ширины, цвет, украшения — часы, фонари, полоска и т. д. А то я умираю от нетерпения и неизвестности!»<sup>327</sup>

Зная, что за «реношку» трудящиеся массы настучат ему по голове, Маяковский даже напечатал в газете «За рулем» стихотворение-оправдание «Ответ на будущие сплетни»: дескать, заработал на роскошь собственным потом:

...С меня  
эти сплетни,  
как с гуся вода;  
надел  
хладнокровия панцырь.  
— Купил — говорите?  
Конешно,  
да.  
Купил,  
и бросьте трепаться.  
.....  
Я рифм

накосил  
чуть-чуть не стог,  
аж в пору  
бухгалтеру сбиться.  
Две тыщи шестьсот  
бессоннейших строк  
в руле,  
в рессорах  
и в спицах.

.....  
Не избежать мне  
сплетни дрянной.  
Ну что ж,  
простите, пожалуйста,  
что я  
из Парижа  
привез Рено,  
а не духи  
и не галстук.

Прибытие долгожданной «реношки» к хозяйке произошло в январе 1929-го — почти одновременно с премьерой «Стеклянного глаза». Это была модель «рено-НН2» с четырехдверным кузовом, снизу светло-серым, а сверху черным. Из новинок — батарейное зажигание и тормоза на всех колесах. Лиля ликовала. Она сшила специальный костюм для езды, выписала из Парижа перчатки и шапочку; вся Москва обсуждала появление в городе эффектной автомобилистки — тогда они были наперечет. Летом Лиля даже вздумала поехать на «реношке» в Ленинград. Александр Родченко, давно мечтавший снять ее вместе с автомобилем, тоже отправился с ней в поездку. Для такого случая Лиля взяла в дорогу запасное платье: сначала позировала в одном, потом в другом.

Они запечатлели на фотопленку заправку бензина на Земляном Валу, заливку воды в радиатор, езду наперегонки с лошастью на пустом Ленинградском шоссе. Таким макаром доехали аж до Твери; но тут «реношка» стала чихать; пораздумав, автомобилистка решила вернуться. Родченко успел зафиксировать своей немецкой фотокамерой «лейка» и сам момент раздумья: Лиля сидит на подножке автомобиля в полосатом платье, из-под косынки выбиваются пряди. Фотограф нащелкал, как модель пьет воду из кружки и как опирается на капот. Они потом называли всю фотосессию «Несостоявшееся путешествие». Маяковскому снимки очень понравились.

Впрочем, Лиля не только сама управляла автомобилем. У них завелись два шофера — Гамазин и Афанасьев. Из заграничных поездок Маяковский исправно привозил детали для машины. Лиля командовала:

«Лампочки в особенности — большие, присылай с каждым едущим, а то мы ездим уже с одним фонарем. Когда последняя лампочка перегорит — перестанем ездить. Их здесь совершенно невозможно получить — для нашего типа Рено»<sup>328</sup>.

Самого Маяковского в машине тоже, конечно, катали.

Не обошлось и без происшествий. В 1929 году Лиля на своей «реношке» сшибла девочку, переходившую дорогу в неположенном месте. Дело было передано в народный суд, который водительницу оправдал, тем более что девочка отделалась легким испугом. Один из членов суда даже позвонил Лиле с лирическими признаниями — она и там всех обаяла. Девочку же Лиля приглашала к себе в гости и даже подумывала подарить ей пуловер. Наверное, подарила. Лиля была щедра не только к себе любимой, но и ко всем знакомым, да и в пуловерах знала толк.

## ДЛИННОНОГАЯ ШЛЯПНИЦА

Весной 1929 года Маяковский снова метнулся во Францию, а Лиля, несмотря на «реношку», переживала страшнейший кризис. Она влюбилась, и — о ужас! — влюбилась безответно. Ею, привыкшей к мгновенной капитуляции любого мужского объекта, неудачи переживались как трагедия. В юности, брошенная Осей, она довела себя до нервного срыва и собиралась травиться цианистым калием. Отворот от Пунина был не столь болезненным — тот, во всяком случае, желал ее как женщину и готов был с радостью баловать на ложе. Но теперешняя влюбленность оглушала безответностью.

Режиссер Всеволод Пудовкин, ученик ее предыдущего любовника Кулешова, оказался совершенно глух к Лилиным чарам. Бывший химик создавал шедевр за шедевром. Сначала на экраны вышла «Мать», потом «Конец Санкт-Петербурга», а следом «Потомок Чингисхана» (по Осиному сценарию). Каждый фильм — достояние мирового масштаба. Пудовкин был высокий, эффектный и, хотя и вышел из крестьян, прекрасно владел французским, играл в теннис.

С женой, актрисой Анной Ли, он уже не жил. В общем, тут бы им с Лилей и закрутить горячий роман... Но Пудовкин ее избегал и на соблазнения не поддавался. В отчаянии Лиля совершила вторую попытку покончить с собой — выпила лошадиную дозу веронала, но ее успели откачать. От отравления она отходила несколько месяцев.

Свою сердечную драму Лиля поверила Маяковскому, но тот, не дослушав, вышел из комнаты. Поэт всегда очень болезненно реагировал на любое упоминание самоубийства, потому что сам о нем постоянно думал. К примеру, Якобсон вспоминал, что как-то раз, сразу после революции, ужинал с семьей-троицей, и тут Осип Максимович стал рассказывать, как вдовец Антонины Гумиловой пытался впарить ему ее рисунки с Маяковским (видно, те самые, где Маяковский с копытами). «А Лиля, которая не знала подробностей, говорит: “А что такое?” — “Она покончила с собой”. И Маяковский, с таким напускным цинизмом: “С таким мужем нельзя не покончить с собой”. С таким каким-то крутым цинизмом, и сразу разговор перешел на другую тему»<sup>329</sup>.

В общем, говорить о больной мозоли поэт не любил, к тому же выслушивать про то, что твоя возлюбленная чуть не отправилась на тот свет от тоски по другому мужчине, согласитесь, не очень приятно.

Пудовкин Пудовкиным, но у Лилиной депрессии была и другая причина — Татьяна Яковлева. Правда, началось, как ни странно, с Элли Джонс. Будучи в Париже, Маяковский столкнулся с одной нью-йоркской знакомой, которая сообщила, что его Елизавета Петровна тоже находится во Франции — в Ницце. Маяковский тут же собрался на юг и провел с двумя Элли (Хелен Патрицию тоже сокращенно звали Элли, как и ее маму) четыре дня. Это был единственный раз, когда он видел дочку. Причем интимной близости между Маяковским и Джонс не было — обжегшись один раз, она очень боялась забеременеть снова, тем более что их отношения были обречены.

Но встреча с отцом ребенка совсем разбредила душу молодой матери. Три года назад, расставшись с поэтом на пристани в Нью-Йорке, она с горя отрезала свои тяжелые каштановые волосы (дочь до конца дней хранила ее косу). Теперь, после новой встречи, Маяковский снова снился ей. Она всё надеялась, что, уладив дела в Париже, Владимир Владимирович вернется к ним в Ниццу. Но он не возвращался, мало того, замолчал совершенно. Элли изнервни-



чалась, вздрагивала от каждого звука шагов в коридоре — а вдруг он? Да и дочка то и дело выбегала на балкон в ожидании «Володиного» автомобиля. Без толку — Маяковского и след простыл.

А случилось вот что. В день возвращения поэта в Париж, чуть ли не с вокзала, Эльза, жалуясь на зубы, потащила его к доктору Сержу Симону в качестве сопровождающего. Пока они ждали приема в докторской гостиной, туда же с жалобой на затянувшийся бронхит зашла сногшибательная красавица-эмигрантка Татьяна Яковлева. Маяковского она сразу же узнала, да и тот был наслышан о девушке. Между ними пробежало электричество. Они влюбились.

Дочь дворянина-авиатора, получившая прекрасное образование, недавно эмигрировала из Пензы, бежав от нищеты и голода. Родители ее развелись, отец перебрался в США, где скатился до чернорабочего, а новый муж матери, состоятельный антрепренер, в революцию разорился, заболел туберкулезом и скончался. Помог Татьяне живший в Париже родной дядя, художник Александр Яковлев. Андре Ситроен, владелец одноименной фирмы, пособил с оформлением документов на выезд Татьяны во Францию для лечения — она страдала болезнью легких, видно, подцепив ее от покойного отчима.

Поздоровев на юге Франции, Татьяна приехала в Париж, где сразу же произвела фурор своими длинными ногами, блестящим образованием и остроумием. У нее были чудесная память на стихи, натуральные белокурые волосы и потрясающая аристократическая стать. В Париже сбегавшая из СССР дворянка стала работать манекенщицей Дома Коко Шанель, немного снималась для немого кино и рекламировала чулки — по всему городу висели плакаты с ее изображением.

Встреча со знаменитым Маяковским не была для пензенской беглянки чем-то из ряда вон выходящим — она и без того вращалась в светских кругах: каталась на пролетке вместе с Коко Шанель и ее любовником великим князем Дмитрием Павловичем, играла на фортепиано в четыре руки с композитором Сергеем Прокофьевым, дружила с писателем Жаном Кокто... Когда через несколько лет гомофобная полиция нравов арестует в тулонском гостиничном номере Кокто и его любовника, начинающего актера Жана Маре, Татьяна с подругой полетит к ним на выручку и будет врать блюстителям нравственности, что мужчины,

запершиеся вдвоем в будуаре, просто ждали ее с подругой. Ложь сработает — в тюрьму никого не посадят.

Вокруг Татьяны, конечно, вились поклонники: лощадник и богатей Леон Манташев, молодой дипломат виконт Бертран дю Плесси, певец Федор Шаляпин, шансонье Александр Вертинский, какой-то из принцев Бурбон-Пармских — в общем, целая стайка молодых и старых интеллектуалов и прожигателей жизни. «И за мной стали ухаживать все, кто не был педерастом, — рассказывала потом Яковлева своему другу-эмигранту Геннадию Шмакову. — Я сразу имела большой светский успех, меня много приглашали»<sup>330</sup>. Но девушка не спешила бросаться в омут страстей — изучала искусство, зарабатывала в качестве манекенщицы и, поучившись у шляпницы, начала изготавливать и продавать шляпы.

Встречу с Маяковским, конечно, подстроила Эльза. Она периодически подкидывала поэту девушек в качестве гидов и переводчиц. В одиночку с не знающим языков поэтом, нередко насупленным и хмурым, да еще и с бесконечным списком поручений от Лили, она не справлялась.

Я в Париже живу как денди.  
Женщин имею до ста.  
Мой х\*й, как сюжет в легенде,  
Переходит из уст в уста.

А тут подвернулась Татьяна — русская, эффектная, да и в поэзии разбирается. Увидев ее впервые, Эльза воскликнула: «Да вы под рост Маяковскому!» — и, по собственным словам, из-за этого «под рост» для смеха их и свела.

Она и подумать не могла, что Маяковский влюбится не как обычно, мимоходом, а всерьез, и позже писала с плохо скрываемой неприязнью: «Татьяна была в полном цвету, ей было всего двадцать с лишним лет, высокая, длинноногая, с яркими желтыми волосами, довольно накрашенная, “в меха и бусы оправленная”... В ней была молодая удаль, бьющая через край жизнеутвержденность; разговаривала она, захлебываясь, плавала, играла в теннис, вела счет поклонникам... Не знаю, какова была бы Татьяна, если б она осталась в России, но годы, проведенные в эмиграции, слиняли на нее снобизмом, тягой к хорошему обществу, комфортабельному браку. Она пользовалась успехом, французы падки на рассказы эмигрантов о пережитом, для них каждая красивая русская женщина-эмигрантка в некотором роде Мария-Антуанетта...»<sup>331</sup>

Впрочем, в те осенние дни 1928-го Эльзе было не до Татьяны и Маяковского. Ей было 33 года, с Андре у нее окончательно разладилось, как писателя ее знали лишь в СССР, да и то стараниями сестры и друзей. Жизнь тянулась бедная, неприкаянная и одинокая. Эльза даже подумывала вернуться в Россию, но буквально через пару недель после судьбоносного для Маяковского визита к врачу она и сама столкнулась со своей судьбой — поэтом-сюрреалистом Луи Арагоном, с которым провела оставшуюся жизнь.

У своднической Эльзиной прыти было еще одно объяснение. Они с Лилей невероятно боялись, что поездки Маяковского в Ниццу обернутся для них фатально. Там его ждала американская возлюбленная и, главное, дочь. Дочка была опасным козырем. Как бы их поэт не остался с двумя Элли! Чтобы не утек Маяковский, а вместе с ним слава и деньги, срочно требовалась отвлекающая приманка. Жена доктора Симона участвовала в спасательной операции — телефонировала Эльзе тотчас, как только Татьяна записалась на прием. А Эльза притащила Маяковского. Стыковка произошла.

Дождавшись Татьяну в гостиной доктора Симона, Маяковский (хотя и был бациллофоб) не побоялся душившего красавицу кашля и вызвался проводить ее — до самого дома, к белоэмигрантской бабушке, в такси кутал ей ноги своим пальто, а у дома рухнул на колени прямо на мостовую и признался в любви.

Они стали встречаться ежедневно — оба высокие, красивые. Когда они входили в кафе, посетители начинали невольно улыбаться, прохожие на улицах восхищенно оборачивались. Однако свои отношения пара особо не афишировала — бабушка Татьяны и слушать не хотела о красном поэте, да и Маяковскому роман с беглянкой из России мог аукнуться. Но ему было всё равно. Он хотел вернуть Татьяну в Россию. У него была такая мания — агитировать молодых эмигранток вернуться.

Чтобы не светиться, влюбленные ходили в маленькие кафешки, чаще всего в «Куполь», говорили в основном о литературе. Роман был бурным и очень нежным. Имя Брик, конечно, возникло тут же. Поэт объяснял Татьяне, что с Лилей Юрьевной чрезвычайно дружит, что она замечательная и что у них давно ничего нет (примечательно, что на этот раз он не назвал Лилю женой). Именно Татьяна помогала Маяковскому выбирать обивку для сидений «ре-

ношки» и приобретать прочие многочисленные подарочки для Лили. Яковлева потом говорила: «В его первый приезд мы пошли куда-то покупать Лиличке костюм. Он никогда ничего не скрывал от нее, хотя у них ничего общего не было в последние пять лет. У них всё было кончено, но он обожал ее как друга. “Лиличке, Лиличке...” Я должна была выбирать цвет машины, “чтобы машина понравилась бы Лиличке”»<sup>332</sup>. Неизбежная участь любой приблизившейся к поэту!

Через две недели поэт уже предложил необыкновенной и длинноногой руку и сердце.

...Ты одна мне  
                                ростом вровень,  
стань же рядом  
                                с бровью брови.

Но, несмотря на нахлынувшие чувства, девушка колебалась. Как? Вернуться в разоренную Россию? А что скажут дядя и бабушка, которые ненавидели коммунистов и с трудом вытаскивали родственницу из красной клоаки? Татьяна написала своей матери, всё еще жившей в Пензе, что Маяковский всколыхнул ее тоску по родине. Но категоричное «да» не говорила. В итоге Маяковский пишет друг за другом два пронзительнейших лирических стихотворения, оба — впервые с 1915 года! — посвящены не Лиле: «Письмо Татьяне Яковлевой» и «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви». Он записал их в зеленой тетрадке и преподнес Татьяне в ресторане «Пти Шомьер»:

Не тебе,  
                                в снега  
  и в тиф  
шедшей  
                                этими  
  ногами,  
здесь  
                                на ласки  
  выдать их  
в ужины  
                                с нефтяниками.  
Ты не думай,  
                                шурясь просто  
из-под выпрямленных дуг  
Иди сюда,  
                                иди на перекресток

моих больших  
и неуклюжих рук.  
Не хочешь?  
Оставайся и зимуй,  
и это  
оскорбление  
на общий счет нанижем.  
Я всё равно  
тебя  
когда-нибудь возьму —  
одну  
или вдвоем с Парижем.

Перед отъездом в Москву максималист Маяковский все свои деньги оставил в цветочной оранжерее — каждую неделю Татьяне приносили оттуда дюжину роз. Впрочем, по другой версии, дарились не розы, а хризантемы в горшках — Яковлева не любила срезанные цветы. К букетам прилагалась визитка Маяковского со стихами и рисунком — они продолжали приходить к адресату до самого возвращения поэта весной. Вознесенский очень вдохновился этой историей:

...Был отказ ее, как удар.  
Он уехал в рассветном дыме,  
Но парижский свой гонорар  
Он оставил парижской фирме.  
И теперь — то ли первый снег,  
То ли дождь на стекле полосками —  
В дверь стучится к ней человек,  
Он с цветами от Маяковского...

Не успел поэт разлучиться с новой любовью, как уже звонил, телеграфировал и тосковал. Вернувшись в Москву, сразу же отправился к ее младшей сестре Людмиле — проведать и помочь с получением заграничного паспорта. Обегал всех московских знакомых возлюбленной (без всякой просьбы с ее стороны) и всем передал от нее приветы.

Лиле рассказал о Татьяне сразу, разбирая чемоданы. Захлебывался восторгом. Дескать, встретил чистую, талантливую, независимую, и она предпочла его всем нефтяникам, отдалась ему первому, ждет и любит. Лиля, наверное, не придавала бы новому Щениному увлечению особенного внимания, но стихи... Стихи, посвященные другой, отправили ее в нокаут. Сорвавшийся с поводка Волосит как будто бросал ей вызов.

...Нам  
                                 любовь  
   не рай да кущи,  
 нам  
                                 любовь  
   гудит про то,  
 что опять  
                                 в работу пущен  
 сердца  
                                 выставший мотор.  
 .....  
 Ураган,  
                                 огонь,  
   вода  
 подступают в ропоте.  
 Кто  
                                 сумеет совладать?  
 Можете?  
                                 Попробуйте...

А что это за «сердца выставший мотор»? Выходит, он всему миру разгласил, что Лиля его уже не заводит! Что Лилия больше не муза! Это было предательство. «Я никогда Лиличке не изменял. Так и запомни, никогда!»<sup>333</sup> — когда-то гневно заявлял Маяковский Эльзе. А теперь, получается, изменил.

Так она ему и заявила. Маяковский, по ее словам, оправдывался, успокаивал: «...на мое огорчение огорчился еще больше меня, уверял, что это пустяки, “копеек на тридцать лирической мелочи”, и что он пишет сейчас стихи мне в виде письма, что это будет второе лирическое вступление в поэму о пятилетке (первое — “Во весь голос”), что обижаться я на него не вправе, что “мы с тобой в лучшем случае в расчете, что не нужно перечислять взаимные боли и обиды”. Что мне это невыгодно, что я еще останусь перед ним в большом долгу»<sup>334</sup>. Но Брик ходила по потолку от бешенства. Через несколько дней она в панике допрашивает сестру:

«Элик! Напиши мне, пожалуйста, что это за женщина, по которой Володя сходит с ума, которую он собирается выписать в Москву, которой он пишет стихи (!!) и которая, прожив столько лет в Париже, падает в обморок от слова *merde* (мерзость, дерьмо. — А. Г.)! Что-то не верю я в невинность русской шляпницы в Париже! Никому не говори, что я тебя об этом спрашиваю, и напиши обо всём подробно. Моих писем никто не читает»<sup>335</sup>.

Лиле, которой советская молва приписывала афоризм «Знакомиться лучше в постели», и вправду с трудом верилось, что молодая, высокая (метр семьдесят восемь) шляпница, одетая в платье от Шанель и окруженная восхищенной парижской толпой, могла оставаться девственницей до двадцати двух с половиной лет.

Впрочем, история здесь не очень ясная. Сама Яковлева в поздние годы не раз повторяла, что отношения их с Маяковским были чисто платонические (Зоя Богуславская, бравшая у нее интервью, даже озаглавила его броским заголовком «Девушкой можно быть раз в жизни»). Да и дочь Татьяны, Франсин, утверждала потом, что взгляды у ее мамы были пуританские, что она решила хранить невинность до свадьбы и что Маяковскому с этим пришлось смириться. Зная максималистский нрав Маяковского, учитывая его бешеную влюбленность тех дней, в такое верится слабо. Да и не мог он врать своей Лиличке: если хвастал ей, что девушка отдалась, — значит, отдалась. И, похоже, верил, что отдалась ему первому. Яковлева в те дни писала своей матери, что Маяковский — первый мужчина, сумевший оставить след в ее душе. Правда, рядом она сообщала, что у нее масса драм, что если бы она захотела быть с Маяковским, то что же стало бы с «Илей» (внуком и полным тезкой нобелевского лауреата по физиологии Ильи Мечникова) и еще с двумя? «Заколдованный круг», — сокрушалась (искренне?) Татьяна, перечисляя своих воздыхателей.

Да, были и такие, кто сомневался в первопродстве поэта. Эльза, чувствовавшая себя виноватой во всей этой истории, тут же поделилась с Лилей дурно пахнувшей сплетней, услышанной от Пьера Симона, брата врача: мол, Яковлева и до, и во время отношений с Маяковским жила с одним из своих ухажеров — виконтом дю Плесси, с которым даже снимала дом в Фонтенбло. Но, учитывая порядочность и благонравность Татьяниной семьи, когда каждый шаг был под надзором у бабушки и для каждого свидания нужно было что-то придумывать и отпрашиваться, дом в Фонтенбло кажется фантастической нелепицей.

Существовала еще одна версия. Татьяна сама признавалась в зрелые годы, что уступила Маяковскому — но только во второй его приезд, весной 1929-го. Дескать, он был азартным охотником, любил побеждать, завоевывать и, переспив они сразу, возможно, и не вернулся бы.

Как бы то ни было, трон Лили вдруг зашатался. «Письмо Татьяне Яковлевой» появилось в печати лишь через

28 лет, но «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви» со словами про «выстывший мотор» было опубликовано сразу же, в журнале «Молодая гвардия», возглавляемом этим самым товарищем Костровым. РАПП, конечно, взбеленилась — поэт-коммунист не имеет права окунаться в разлагающую лирику!

Но Лиля просто бушевала. Недаром потом в писательских кругах пойдет столько слухов про ее попытки замолчать имя новой парижской знакомой Маяковского — Брик должна была оставаться его единственной музой. Шептались даже, что когда в Москву впервые со времени эмиграции приехал Роман Якобсон, Лили примчалась в аэропорт и, прорываясь к трапу чуть ли не через ограду, кричала ему: «Ромик, только молчи!» — якобы боясь, что «Ромик» тут же, у трапа, начнет болтать о неизвестных стихах Маяковского, посвященных не ей. (Кстати, именно Якобсону Яковлева передала стихи «Письмо Татьяне Яковлевой» и адресованные ей письма поэта. Он опубликовал и то и другое в русском эмигрантском сборнике в США.) Так это было или нет, но отношение к собственной краугольности в поэтическом здании под названием «Маяковский» у Лили было ревностным.

«В этом и в других разговорах мы несколько раз возвращались к обсуждению лирики Маяковского, — рассказывал муж племянницы Катаняна В. Г. Степанов, знавший Лилу в старости. — “А что из нее вам больше нравится? ‘Про это’”? — спросила она. Чувствовалось, что Брик хотела именно этого подтверждения. Я ее понимал. Поэтому и сказал: “Про это”. Но больше всего “Облако в штанах”. Зачем я ее огорчал?! Может быть, действовала российская исповедальность, навеянная нашей классической литературой? Или нежелательность противоречий: ведь я уже сказал, что меня потрясла именно эта поэма. Однако Лилиа Юрьевна не огорчилась, а легко произнесла: “Ее он мне посвятил”. Не удержавшись, я воскликнул: “А разве не Марии?!” (В 1914 году платоническое чувство к художнице-харьковчанке Марии Денисовой вдохновило Маяковского на «Облако в штанах». — А. Г.) Брик сказала: “И Марии тоже. Володя мне все свои крупные произведения посвящал”»<sup>336</sup>. Лилиа постоянно это подчеркивала. Это было важно.

Но теперь Маяковский нес над толпами имя Татьяны, «как праздничный флаг» — так он писал ей накануне Нового, 1929 года. Он снова очень много работал, параллельно у Мейерхольда шли репетиции «Клопа». От стресса и на-



пряжения у поэта опухли и покраснели глаза, доктор даже выписал ему очки. «Работать можно и в очках, а глаза мне всё равно до тебя не нужны, потому что кроме как на тебя мне смотреть не на кого, — признаётся он (знала бы тогда Лиля!). — Если мы от всех этих делов повалимся (на несчастный случай), ты приедешь ко мне. Да? Да? Ты не парижачка. Ты настоящая рабочая девочка. У нас тебя должны все любить и все тебе обязаны радоваться»<sup>337</sup>.

Еще через пять дней Маяковский снова склоняет «Танника» к фатальному шагу — переезду в Россию:

«Твои строки — это добрая половина моей жизни вообще и вся моя личная. <...> Милый! Мне без тебя совсем не нравится. Обдумай и пособирай мысли (а потом и вещи) и примерься сердцем своим к моей надежде взять тебя на лапы и привезть к нам (во множественном числе — уж не к Лилечке ли с Осипом хотел ее подселить? — А. Г.), к себе в Москву. Давай об этом думать, а потом и говорить. Сделаем нашу разлуку — проверкой. Если любим, то хорошо ли тратить сердце и время на изнурительное шаганье по телеграфным столбам? <...> 31-го в 12 ночи (и с коррективом на разницу времен) я совсем промок тоской. Ласковый товарищ чокался за тебя и даже Лиля Юрьевна на меня слегка накричала — “если, говорит, ты настолько грустишь, чего же не бросаешься к ней сейчас же?” Ну что ж... и брошусь!»<sup>338</sup>

Видимо, обстановка в Гендриковом была наэлектризована до предела.

«Он мне писал всё время про Лилю, — рассказывала потом Татьяна. — Между ним и мною Лилия была открытым вопросом. Я же не могла ревновать к Лиле — между ними уже ничего не было. А для Лили я была настоящая. Она не представляла, как будет жить без него, а он будет женат»<sup>339</sup>.

Наташа Брюханенко, забегавшая к Маяковскому на Лубянский проезд в январе, застала его в тот момент, когда ему принесли письмо от Татьяны. Он голодно набросился, прочитал письмо, а потом доверительно рассказал своему «товарищу девушке», что если не увидит эту женщину, то застрелится. Наташа встревожилась и, выйдя на улицу, тут же позвонила Лиле из телефона-автомата и всё доложила. Лилия в эти дни была похожа на командующего обороной — со всех сторон к ней в штаб стекались донесения, на столе рисовались планы контратаки.

Но Маяковскому пока не пришлось стреляться. Он увидел Татьяну весной, после премьеры «Клопа». Ехал в

Париж через Прагу, надеясь с помощью Якобсона продать «Клопа» в тамошний Театр на Виноградах, — сорвалось. Зато в Берлине подписал-таки договор с издательством «Малик», на который так надеялся еще осенью, покупая «реношку». Деньги были нужны вероятно. На нем висело две семьи — «кисячья-осячья» и мама с сестрами. А еще хотелось отправить что-то дочери в Америку; впрочем, он понимал, что это почти невозможно.

С Татьяной, по ее собственным словам, он вел себя совершенно удивительно, как будто никуда не уезжал, выглядел еще пуще влюбленным, о Лиле говорил гораздо меньше. Они провели вместе два весенних месяца, на выходные отправлялись на атлантическое побережье, где поэт пытался сорвать куш в казино. Но ему не везло, он только проигрывал. Пришлось даже просить Лилу и Осю переслать госиздатовские гонорары; правда, в переводе валюты им было отказано. Лиле в разгар своих брудершафтов с Татьяной Маяковский пишет довольно редко, но при этом нежничает, называя ее дорогим, родным, любимым Личиком. Она же невероятно сдержанна — никаких Шенов и Волоситов. Мало того, вообще никаких обращений, только однажды — сдержанное «Милый Володик».

Тогда же он немножко попереписывался с Элли Джонс, находившейся вместе с дочкой в Милане. Она попросила Маяковского занести ее новый нью-йоркский адрес к себе в записную книжку — чтобы в случае его смерти их тоже известили. Черный юмор отставленной американки оказался пророческим.

Маяковский же продолжал требовать от Татьяны полной капитуляции:

...Идемте, башня!  
К нам!..

Но та продолжала колебаться. Эльза, жившая теперь с Арагоном в монпарнасской мансарде, наблюдала за этим романом с ироничным прищуром — уж сколько раз Маяковский точно так же набрасывался на женщин, требуя от них всего и сразу, оглушая их громом стихов, засыпая подарками и признаниями. Она была уверена, что Маяковскому нужна была совсем не Татьяна. Ему просто хотелось кого-то любить целиком, взаимно и до хруста.

Позже она признавалась: «Меня сильно раздражало то, что она Володину любовь и переоценивала, и недооце-

нивала. Приходилось делать скидку на молодость и на то, что Татьяна знала Маяковского без году неделю (если не считать разжигающей разлуки, то всего каких-нибудь три-четыре месяца) и ей, естественно, казалось, что так любить ее, как ее любит Маяковский, можно только раз в жизни. Неистовство Маяковского, его “мертвая хватка”, его бешеное желание взять ее “одну или вдвоем с Парижем”, — откуда ей было знать, что такое у него не в первый раз и не в последний раз? Откуда ей было знать, что он всегда ставил на карту всё, вплоть до жизни? Откуда ей было знать, что она в жизни Маяковского только эпизодическое лицо? Она переоценивала его любовь оттого, что этого хотелось ее самолюбию, уверенности в своей неотразимости, красоте, необычайности... Но она не хотела ехать в Москву не только оттого, что она со всех точек зрения предпочитала Париж: в глубине души Татьяна знала, что Москва — это Лиля. Может быть, она и не знала, что единственная женщина, которая пожизненно владела Маяковским, была Лиля, что, что бы там ни было и как бы там ни было, Лиля и Маяковский неразрывно связаны всей прожитой жизнью, любовью, общностью интересов, вместе пережитым голодом и холодом, литературной борьбой, преданностью друг другу не на жизнь, а на смерть, что они неразрывно связаны, скручены вместе стихами и что годы не только не ослабили уз, но стягивали их всё туже... Где было Володе найти другого человека, более похожего на него, чем Лиля?»<sup>340</sup>

Ясно было одно: Маяковскому требовалось всё сразу и одновременно: любовь народная и любовь женская, преданная и верная жена и советская родина, Лиля и Ося. Частями он не хотел, но целиком никак не получалось. А Татьяна от его напора только пряталась, как моллюск в раковину. «Я его любила, он это знал, но я сама не знала, что моя любовь была недостаточно сильна, чтобы с ним уехать, — объясняла она полувеком позже. — И я совершенно не уверена, что я не уехала — БЫ, — если б он приехал в третий раз. Я очень по нему тосковала. Я, может быть, и уехала бы... фифти-фифти. Да. В первый раз я ему сказала, что должна подождать, что это слишком быстро, я не могла сказать бабушке и дяде, который приложил невероятные усилия, чтобы меня вывезти: “Бац! Я возвращаюсь”. Во второй раз мы с ним всё обсудили. Он должен был снова приехать в октябре. Но вот в третий-то раз его и не выпустили»<sup>341</sup>.

Но прежде чем настал — вернее, не настал — третий раз, Маяковский переживал мощнейшие Лилины атаки. Она

внушала ему, что эта шляпница — вовсе не такая наивная овечка, как ему кажется, что у нее, помимо советского поэта, наверняка еще целый караван любовников и что в Россию вслед за ним эта классово чуждая вертихвостка никогда не приедет. Но, удивительное дело, поэт не поддавался. Он жил походами на почтамт и ретиво заботился о сестре и матери Татьяны: устраивал их на отдых в Крым (правда, мама не поехала), помогал оформлять на таможене посылки из Парижа.

Лиля, конечно, не стала сидеть сложа руки и разрабатывала схемы, как переключить внимание Маяковского. Для этого была выбрана Норочка — молодая актриса Вероника Полонская, снимавшаяся у нее в «Стеклянном глазе». План, кажется, удался — Маяковский всё больше вовлекался в новый роман. Но о парижской своей зазнобе не забывал, умолял ее в письмах любить его (тоже маниакальная его просьба ко всем женщинам — чтобы они его любили; без этой безоговорочной любви он чах). Судя по сохранившимся письмам, поэт с нетерпением ждал третьей, решающей поездки. Татьяна же писала всё реже и реже — она дулась, ведь Эльза то и дело мимоходом сообщала ей, что Маяковский в Москве прекрасно проводит время с молодой и красивой актрисой.

Маяковский — видно, в ответ на упреки и полунамеки парижской возлюбленной на его измену — пеняет ей:

«Что ты болтаешь о каком-то “выпрошенном” (так, что ли?) письме? Тебе, детеныш, не стыдно? Ты же единственная моя письмовладелица. Брось меня обижать, пожалуйста. Таник, я по тебе совсем, совсем затосковал. Ты замечаешь, что ты мне совсем, совсем не пишешь? Надоело? Детка, напиши, пожалуйста, и пообещай меня навестить, если до последнего надо. Дальше сентября (назначенного нами) мне совсем без тебя не представляется. С сентября начну себе приделывать крылышки для налета на тебя»<sup>342</sup>.

Но сестры проворачивали спецоперацию. Они находились в постоянном контакте и то и дело обменивались новостями. Лиля сообщала о настроении Маяковского и его развлечениях с Норой, Эльза же поставляла информацию из Парижа: что говорят о Татьяне, куда она ездит, с кем общается. Да и ОГПУ не сидело без дела. Советские агенты, разумеется, с самого начала следили за любовной связью Маяковского с буржуйкой и предательницей родины Яковлевой. Не к лицу советскому поэту так беспринципно як-

шаться с чуждыми элементами. Уж не хочет ли он остаться в Париже? Хлопоты поэта по вывозу из России сестры Татьяны, Людмилы, им тоже, разумеется, не нравились.

В общем, Лиля, конечно, была в курсе бурного успеха Яковлевой в Париже. Шляпница-сердцеедка каталась на дорогих автомобилях и меняла поклонников как перчатки. Всё это было доказательством ее вероломства. Она не любила Володю, ей просто льстило его внимание. Атмосфера накалилась до того, что Брики усадили Маяковского для серьезного разговора. 28 августа Лилия записала в дневнике: «Дома был с Володей разговор о том, что его в Париже подменили»<sup>343</sup>. «Нет никакого смысла ехать в Париж, — твердили они. — Оставайся лучше с Норой, вон как девочка тебя любит!» Нора, конечно, была для Лили с Осипом удобнее — хотя бы потому, что, несмотря на юность, была замужем и ничем не грозила существованию «щеняче-кисяче-осячье» семьи.

Но Маяковский на этот раз заупрямился и был настроен решительно. Правда, режущие по сердцу слова Бриков о Татьяне как будто оправдывались. Она совсем ушла на дно, а последняя телеграмма Маяковского вернулась с ответом о ненахождении адресата. Маяковский не сдаётся и пишет Татьяне 5 октября:

«Неужели ты не пишешь только потому, что я “скуплюсь” словами?! Это же нелепо. Нельзя пересказать и переписать всех грустностей, делающих меня еще молчаливее.

Или, скорей всего, французские поэты (или даже люди более часто встречающихся профессий) тебе теперь симпатичнее? Но если и так, то ведь никто, ничто и никогда не убедит меня, что ты стала от этого менее родная и можно не писать и пытаться другими способами.

Таник, если тебе кажется, что я что-либо забыл, выкинь всё это немедленно в Сену или в еще более мутные и глубокие места. <...> Детка, пиши, пиши и пиши. Я ведь всё равно не поверю, что ты на меня наплюнула. Напиши сегодня же!»<sup>344</sup>

Но детка не написала — возможно, потому, что их письма перехватывались, или потому, что и в нем, и в ней одновременно росли сомнения. «Французские поэты и люди более часто встречающихся профессий» упоминаются Маяковским неспроста — Лилия с охотой пересказывала ему все Эльзины сплетни о развлечениях Татьяны. А Эльза Татьяна — все Лилины о развлечениях Маяковского. К тому

же утонченной красавице, дорвавшейся до сладкой жизни, до высшего общества после ужасов военного коммунизма, мерзлой картошки, бараков, после выступлений в больницах перед ранеными красноармейцами, вряд ли хотелось назад — в пургу, в индустриальные ямы великой социалистической стройки. Маяковский завлекал ее весьма сомнительными приманками:

«У нас сейчас лучше, чем когда-нибудь и чем где-нибудь. Такого размаха общей работищи не знала никакая человеческая история.

Радуюсь, как огромному подарку, тому, что и я впряжен в это напряжение. Таник! Ты способнейшая девушка! Стань инженером. Ты, право, можешь. Не траться целиком на шляпья.

Прости за несвойственную мне педагогику. Но так бы это хотелось!

Танька-инженерица где-нибудь на Алтае. Давай, а?..»<sup>345</sup>

Право, нашел чем завлекать любимицу парижских кутюрье — работой инженером на Алтае! В общем, возвращение эмигрантки к корням казалось затеей всё более фантастической. Недаром 8 сентября Лиля записывает в дневнике:

«Володя меня тронул: не хочет в этом году за границу. Хочет 3 месяца ездить по Союзу. Это влияние нашего с ним жестокого разговора. Уж очень он хороший, простой, примитивный. Пришли из “Печати и Революции” и Катанян. Заседали шумно. Володя опоздал — должно быть, девочка».

Впрочем, там же 19 сентября записано:

«Вечером Володя у Яншиных. Он уже не говорит о 3-х месяцах по Союзу, а собирается весной в Бразилию (т. е. в Париж)»<sup>346</sup>.

История с отменой поездки в Париж осенью 1929 года довольно мутная. Маяковский обмолвился любимой, что нельзя пересказать и переписать всех грустностей, делающих его молчаливее. Вот и Нора пишет: «...настроение у Маяковского сильно испортилось. Он был чем-то очень озабочен, много молчал. На мои вопросы о причинах такого настроения отшучивался»<sup>347</sup>. Но что это были за грустности?

Принято считать, что Маяковскому было отказано в выездной визе и что отказ подстроила Лиля. Сама она всегда яростно отрицала это: дескать, у Маяковского был такой

статус, что его пускали всюду, а на этот раз он якобы сам не захотел лететь и просто не подал заявление на загранпаспорт. Лилины заверения подтвердились документально — литературоведы раскопали, что заявления и вправду не было. Вот и пасынок Лили, Василий Катанян-младший, с надрывом прогоняет черные сплетни: «Повторяю: не подавал. Лиля всегда говорила это, но ей не верили»<sup>348</sup>.

Однако же Б. Янгфельдт считает, что Маяковскому, скорее всего, отказали-таки, но в устной форме, вызвав на Лубянку: мол, подавать документы бессмысленно.

Отзывы современников этот устный отказ подтверждают.

Роман Яacobсон: «В конце сентября Маяковскому отказали в выездных документах».

Павел Лавут (концертный администратор, устроитель лекционных туров Маяковского по Союзу): «Окончательный отказ в выезде, вероятнее всего, он получил 28 сентября».

Галина Катанян: «Отказ в заграничной визе был сделан издевательски. Его заставили походить. И отказали так же, как остальным гражданам Советского Союза, — без объяснения причин»<sup>349</sup>.

Очевидно, Маяковский не мог распространяться о своем разговоре на Лубянке. Татьяна оставалась в неведении, почему он не едет, и решила, что их роману пришел конец. Только потом Эльза расскажет ей, что Маяковскому не оформили выезд — значит, и вправду, он рвался к ней, что бы там ни твердила Лиля. Но пока она лишь почувствовала, что ее руки развязаны: «Писем больше не было. Я волновалась тогда, что у него неприятности, что “уже началось” (имея в виду гонения на поэта. — А. Г.), никто не был на его выставке двадцатилетия его работы (выставка была позже. — А. Г.)... Осенью 29-го дю Плесси оказался в Париже и стал за мной ухаживать. Я была совершенно свободна, ибо Маяковский не приехал. Я думала, что он не хочет брать на себя ответственность, сажать себе на шею девушку, даже если ты влюблен. Если бы я согласилась ехать, он должен был бы жениться, у него не было бы выбора. Я думала, может быть, он просто испугался...»<sup>350</sup>

В общем, поняв, что Маяковский не приедет, Татьяна приняла предложение виконта. Спецоперация Эльзы и Лили удалась. Оставался финальный аккорд — преподнести новость Маяковскому. В итоге Лиля разыграла целый спектакль:

«11 октября 29 года вечером — нас было несколько человек, и мы мирно сидели в столовой Гендрикова переулка. Володя ждал машину, он ехал в Ленинград на множество выступлений. На полу стоял упакованный запертый чемодан.

В это время принесли письмо от Эльзы. Я разорвала конверт и стала, как всегда, читать письмо вслух. Вслед за разными новостями Эльза писала, что Т. Яковлева, с которой Володя познакомился в Париже и в которую был еще по инерции влюблен, выходит замуж за какого-то, кажется, виконта, что венчается с ним в церкви, в белом платье, с флердоранжем, что она вне себя от беспокойства, как бы Володя не узнал об этом и не учинил скандала, который может ей повредить и даже расстроить брак. В конце письма Эльза просит посему-поэтому ничего не говорить Володе. Но письмо уже прочитано. Володя помрачнел. Встал и сказал: что ж, я пойду. Куда ты? Рано, машина еще не пришла. Но он взял чемодан, поцеловал меня и ушел. Когда вернулся шофер, он рассказал, что встретил Владимира Владимировича на Воронцовской, что он с грохотом бросил чемодан в машину и изругал шофера последним словом, чего с ним раньше никогда не бывало. Потом всю дорогу молчал. А когда доехали до вокзала, сказал: “Простите, не сердитесь на меня, товарищ Гамазин, пожалуйста, у меня сердце болит”.

Я очень беспокоилась тогда за Володю и утром позвонила ему в Ленинград, в “Европейскую” гостиницу, где он остановился. Я сказала ему, что места себе не нахожу, что в страшной тревоге за него. Он ответил фразой из старого анекдота: “Эта лошадь кончилась” — и сказал, что я беспокоюсь зря<sup>351</sup>.

Однако, согласно Лилиным дневниковым записям, звонок в Ленинград случится не наутро, а только через шесть дней, — значит, траур по Татьяне длился не одну ночь, а по меньшей мере шесть:

«Беспокоюсь о Володе. Утром позвонила ему в Ленинград. Рад, что хочу приехать. Спросила, не пустит ли он себе пулю в лоб из-за Татьяны — в Париже тревожатся. Говорит — “передай этим дуракам, что эта лошадь кончилась, пересел на другую”. Вечером выехала в Питер»<sup>352</sup>.

В своих воспоминаниях она продолжает: «Володя был невыразимо рад мне, не отпускал ни на шаг. <...> Видно, боль отошла уже, но его продолжало мучить самолюбие,



осталась обида — он чувствовал себя дураком перед собой, передо мной, что так ошибся. Он столько раз говорил мне: «Она своя, ни за что не останется за границей...»<sup>353</sup>.

Забавно, что, передаваемая из уст в уста, эта история извратилась и до самой Яковлевой дошла уже в таком виде (переданном Зоей Богуславской): «А Маяковский как об этом узнал? Он был у Лили Брик. А Эльза Триоле, которая познакомила Маяковского с Татьяной Яковлевой, совершенно не была в восторге от того, чтобы оно продолжалось, как продолжается. И так подстроили, что, когда Маяковский был у Лили Брик, позвонила Эльза, Маяковский был у Лили. Он взял другую трубку — он всегда слушал, как сестры разговаривают, он как член семьи уже был. И Эльза сказала: «Скажи Володе, что Татьяна вышла замуж». И он упал без сознания у трубки»<sup>354</sup>.

Словом, Лили в очередной раз доказала Маяковскому, что ее лучше слушаться.

Письмо это, про флердоранж, вызывает много вопросов. В переписке сестер оно не сохранилось (впрочем, многие письма тех месяцев, касающиеся Яковлевой, пропали — видно, были уничтожены). Письмо тем более странное, что свадьба Яковлевой с виконтом дю Плесси, французским атташе в Варшаве, состоялась лишь 23 декабря, через два с половиной месяца после чтения письма — какой уж тут флердоранж. Неужели подробности о наряде невесты разглашались заранее?

Вероятно, письмо было подстроено и намеренно прочитано вслух при Маяковском. А может, и вовсе сфальсифицировано самой Лилей? В ее дневнике запись про чтение письма почему-то всплывает дважды. 1 декабря она делится: «Эля пишет — Татьяна венчается в белом муаровом платье с fleur d'orangez!..» — как будто забыв, что про письмо и венчание уже упоминала!

А что же Татьяна? Через многие годы она рассказывала другу:

«Мы с дю Плесси ходили в театры, я ему сказала, что чуть не вышла замуж за русского. Он бывал у нас в доме открыто — мне нечего было его скрывать, он был француз, алиботер (вероятно, публикатор неверно расшифровал слово — скорее всего, было написано «селибатер», то есть холостяк. — А. Г.), это не Маяковский. Я вышла за него замуж, он удивительно ко мне относился.

— Ты его любила?

(Долгая пауза.)

— Нет, я его не любила. В каком-то смысле это было бегство от Маяковского. Ясно, что граница для него была закрыта, а я хотела строить нормальную жизнь, хотела иметь детей, понимаешь?»<sup>355</sup>

Зое же Богуславской, бравшей у нее интервью для своей книги об американках, она сказала: «...никогда бы в жизни я не вышла замуж за Маяковского. Всё, что у вас написали, написали против Лили, чтобы сказать, что она его убила, не дала жениться на Татьяне Яковлевой»<sup>356</sup>.

С дю Плесси Татьяна прожила чуть больше десяти лет. В Варшаве, где ее муж работал в посольстве, ей не нравилось, и она добилась возвращения в Париж. По слухам, ви-конт был так зол на жену из-за своей разрушенной карьеры, что начал вести себя непотребно. Через несколько лет Татьяна, говорят, застала его в постели с дочерью советского полпреда Леонида Красина — того самого, который опекал Бриков и Маяковского за границей и который, узнав, что у Маяковского перед отплытием в Америку вытащили из гостиничного номера все деньги, язвительно воскликнул: «На всякого мудреца довольно простоты!» С мужем Татьяна не развелась — из-за ребенка.

С другой дочерью Красина, Любой, она столкнулась на юге Франции, когда восстанавливала силы после ужасной автокатастрофы. Говорят, красавицу так искорежило, что вначале ее приняли за мертвую и отправили в морг. Яковлева прошла чуть ли не через три десятка пластических операций и стала совсем как новенькая, остались только шрамы на кисти руки, и голос из-за задетой гортани превратился в низкий-низкий, но ее это только красило. Так вот, вместе с Любой Красиной на море отдыхал ее жених, молодой эмигрант, художник и скульптор Александр (Алекс) Либерман. Бумеранг вернулся в семью полпреда — Алекс остался с Татьяной. С мужем она, правда, не разводилась. Свадьба с Алексом состоялась только после гибели дю Плесси, самолет которого был сбит в 1941 году германскими зенитчиками над Ла-Маншем.

Вместе со вторым мужем и дочкой Яковлева переехала в США, где Алекс вскоре стал сначала главным редактором глянцевого журнала «Вог», а потом и вовсе хозяином издательской империи «Конде Наст». Они жили в шикарном особняке, украшенном произведениями искусства. Татьяна открыла шляпное ателье, куда приходили известнейшие женщины — Эдит Пиаф, Эсти Лаудер, Марлен Дитрих, жены самых крутых продюсеров и банкиров. Их

привлекали не столько шляпки, сколько обаяние и беспрекословность хозяйки; каждая уходила от нее, ощущая себя красавицей. С Марлен Дитрих Татьяна и вовсе близко подружилась; когда кто-нибудь делал комплимент ногам актрисы, она отвечала: «А у Татьяны лучше».

Общество в особняке Татьяны и Алекса собиралось изысканное: писатели Артур Миллер и Франсуаза Саган, политик Генри Киссинджер, художник Сальвадор Дали, танцовщик Михаил Барышников... Именно ее влиянию приписывают восхождение звезды кутюрье Ива Сен-Лорана и нобелевский триумф Иосифа Бродского. Это умение собирать вокруг себя блестящих людей, помогать подающим надежды, разглядеть в полузнакомом человеке проблески гениальности сближало Яковлеву с Лилей. Гости, бывавшие в обоих домах — и Лилином, и Татьянинном, — разносили якобы сказанные Татьяной слова, что, живи она в Москве, непременно с Лилей дружила бы. Однажды она даже якобы передала через одного из общих знакомых подарок для Брик — белый кружевной носовой платок как знак примирения.

В 85 лет Татьяна умерла от кишечного кровотечения. Либерман, к всеобщему удивлению, женился на ухаживавшей за ней медсестре-филиппинке, и после смерти его прах был развеян над одним из Филиппинских островов. А дочка Татьяны, Франсин дю Плесси Грей, стала писательницей. С матерью она не была близка — обижалась, что та целый год скрывала от нее гибель отца, что мало уделяла ей внимания, кружа по светским раутам. Если бы Лиля имела детей, у них тоже вряд ли было бы счастливое детство.

## ТОВАРИЩ МАУЗЕР

Заявив Лиле, что одна лошадь кончилась и пора пересаживаться на другую, Маяковский удивительно точно попал в метафору: его знакомство с Вероникой Полонской произошло на ипподроме. Подложить Нору под Маяковского, конечно, придумала Лиля, а Ося эту операцию осуществил — в мае 1929 года неожиданно пригласил молодую актрису на скачки, притащил туда же поэта и там всячески обоих, как выразилась бы Лиля, «наверчивал».

Поэт на приманку клюнул. Он вызвался забрать Полонскую после репетиции в Художественном театре и отвезти домой к Валентину Катаеву, где вечером собралась вся ип-

подромная компания, в том числе писатели Юрий Олеша, Борис Пильняк и артист Михаил Яншин, за которого Нора вышла замуж чуть ли не в 17 лет (шафером на венчании выступал Михаил Булгаков). Но у театра Нору никто не встретил — Маяковский заигрался в бильярд в гостинице «Селект», и к Катаеву она добиралась сама. Там-то, на вечере у Катаева, они друг другу понравились по-настоящему. «Почему вы так меняетесь? — спросил Полонскую Маяковский. — Утром, на бегах, были уродом, а сейчас — такая красивая...»<sup>357</sup> И, как говорилось в одном из рассказов Аркадия Аверченко, «всё заверте...».

Со следующего же дня начались свидания. Маяковский, уже не шумный и резкий, каким бывал в обществе литераторов, а мягкий и деликатный, расспрашивал о театре и рассказывал о загранице (избегая низкопоклонства перед Западом). Через несколько дней он привел Нору к себе на Лубянский проезд, долго декламировал стихи и совершенно покориł ее талантом и обаянием — или тем, что Татьяна Яковлева называла животным магнетизмом. Полонская вспоминала:

«Владимир Владимирович, очевидно, понял по моему виду — словами выразить своего восторга я не умела, — как я взволнована. И ему, как мне показалось, это было очень приятно. Довольный, он прошелся по комнате, посмотрелся в зеркало и спросил:

— Нравятся мои стихи, Вероника Витольдовна?

И, получив утвердительный ответ, вдруг очень неожиданно и настойчиво стал меня обнимать.

Когда я запротестовала, он страшно удивился, по-детски обиделся, надулся, замрачнел и сказал:

— Ну ладно, дайте копыто, больше не буду. Вот недо-трога»<sup>358</sup>.

Однако вскоре сопротивление было сломлено, и они стали любовниками.

Встречались главным образом в его комнате на Лубянском, о существовании которой не догадывался Яншин. Полонская была тогда очень влюблена и ревновала Маяковского к разным его знакомым женского пола, а он только смеялся. Летом поэт выступал в Сочи, а Полонская с приятельницами из Художественного театра отдыхала неподалеку, в курортном поселке Хоста. Она послала поэту телеграмму, что находится рядышком, и тот немедленно примчался. Парочка чудесно провела время, плавая в море и гуляя по самшитовой роще. Маяковский звал Нору с со-

бой в Ялту, но она боялась, что слух об их романе дойдет до мужа — и без того кругом чесали языками.

Встречались тайком в Сочи, потом разбегались по своим маршрутам, а в Москве поэт уже ждал ее на вокзале с двумя красными розами (примета с четным числом цветов, похоже, еще не вступила в силу). Ее муж, обожающий стихи Маяковского, периодически болтался рядом. «На улице встретили Полонскую с Володей и Яншиным по бокам под ручку — тусклое зрелище»<sup>359</sup>, — записала Лилия в дневнике. Всю эту «ипподромную» компанию она теперь видела частенько, хотя одного из ее участников, Катаева, почему-то не переносила. Мужчины, как обычно, часами сражались в азартные игры. Вот только несколько Лилиных записей на эту тему:

«Обедали Яншины, Кирсановы, Лева. Пришли Эрдманы (драматург и сценарист Николай Эрдман, видимо, с женой. — А. Г.), Гехт (очеркист и прозаик Семен Гехт. — А. Г.), Катанян, Кулешов. Играли в покер и Маh (маджонг, привезенный из Лондона матерью Лили в ее первый постреволлюционный приезд. — А. Г.) — до 6-и утра».

«Играли в покер. Когда пошли ужинать, Володя бросился подавать Норе стул».

«Весь день народ. Сердилась, что Коля Асеев до 3-х ч. ночи играл в Маh и в карты».

«Заехала за Володей на Лубянский. Он просил подождать, пока они с Колей доиграют полторы партии в тыщу — я рассердилась, увезла их домой»<sup>360</sup>.

Периодически в этот период у нее проскальзывает «девчачье» настроение:

«Утром плакала — 25 мороза, шубы нет, машина сломана, денег нет...»; «Купила Катаньянам сервис с супрематическим рисунком»<sup>361</sup>.

(Тогда она еще покупает Катаньянам посуду, а потом разобьет их семью.)

А Маяковский в период романа с Полонской испытывал предельные перепады настроения: то начинал веселиться, петь, шутить и вытанцовывать мазурку посреди Лубянской площади, то вдруг густо мрачнел и на целые часы замыкался в молчании.

Причин была масса. Во-первых, висевшая над ним неотступно неясность с Татьяной, а в связи с Татьяной и не-

лады с Лилей и с Осипом; во-вторых — всё больший отход страны от святых для него революционных идеалов, всё большая враждебность властей и холодность критиков. Премьера «Бани» прошла провально, а из друзей никто не явился. Да и мелких неприятностей хватало: в журналах перевертали его стихи, в театрах — пьесы. Маяковский то и дело болел, кашлял, температурил и боялся потерять свое главное поэтическое оружие — голос. И, конечно, терзали мысли о дочке, которую он, скорее всего, больше не увидит. «Я никогда не думал, что может быть такое сильное чувство к ребенку, — секретничал Маяковский с Сонкой Шамардиной. — Я всё думаю о ней. Ей уже три года. Очень тревожит здоровье ее — рахит у нее. Волнует, что вот через лет пять отдадут ее в какую-то католическую школу. Моего ребенка калечить будут. И я бессилен, ничем не могу помочь»<sup>362</sup>.

Вместо ЛЕФа случился РЕФ — Революционный фронт искусства. В придумывании названия участвовала и Лилия. Сидели в Гендриковом, перебирали аббревиатуры — и порешили. Ставка делалась на искусство как агитпроп социалистического строительства.

Через пару дней после возвращения Лили и Маяковского из Ленинграда (где поэт вымещал злость на женихе Яковлевой, кляня виконтов и баронов) РЕФ постановил провести юбилейную выставку Маяковского «20 лет работы». Это был своеобразный ответ поэта на недоверие властей и, наверное, способ добиться разрешения на заграничную поездку (впрочем, какой теперь смысл, раз Татьяна не дождалась). Подготовка выставки продвигалась медленно, ее всё время переносили. А пока Лилия придумала устроить Маяковскому юбилейную домашнюю вечеринку. В столовую было куплено два тюфяка, потому что стульев на всех гостей не хватало. Лилия панически восклицает в дневнике:

«Покупала стаканы и фрукты на завтра. Куда я вмести 42 человека?! Володя с утра до вечера в бегах. Полночи клеит с Зиной Свешниковой (художницей по костюмам и приятельницей семьи. — А. Г.) выставочные альбомы. Кручёных ужасно не хочет покупать Абрау — говорит: боюсь напиться и сказать лишнее»<sup>363</sup>.

Кстати, Полонская ревновала и к упомянутой в записи Свешниковой; Маяковский специально просил художницу отвечать на все телефонные звонки — забавлялся над Норой.

Вечеринку устроили 30 декабря. Лилина квартира знала тьмищу всяческих арт-сборищ. Об одном из них вскользь

писала Луэлла Краснощекова, которая спустя несколько дней вышла замуж за инженера и будущего писателя-фантаста Илью Варшавского: «Был какой-то праздник или день рождения Оси или Лили, не помню точно, но гостей было много. От танцев и тесноты стало очень жарко, в Лилиной комнате женщины переодевались в ее летние сарафаны, мужчины сняли пиджаки. Танцевали в этот вечер очень много»<sup>364</sup>.

В тот раз тоже не обошлось без танцев. Вечеринка, состоявшаяся в канун Нового года, была почти сиквелом футуристической елки 1916-го. В квартире развесили поздравительные плакаты, сочинили к случаю стихи, отрепетировали шуточные номера. Мейерхольд явился с Зинаидой Райх и двумя корзинами костюмов и париков. Все переоделись, нарядились. Кстати, с Райх дружили сестры Маяковского и даже, говорят, подумывали выдать ее за Володю — они вообще мечтали его нормально женить. С Лилей они тогда еще общались, но после смерти поэта осторожная холодность между двумя семьями перерастет во вражду.

А пока шло веселье. В маленькую квартирку набились четыре десятка человек — литераторы, театралы, чекисты, а также бывшие и нынешние любовники и любовницы всех трех хозяев квартиры. Нора пришла в умопомрачительном красном платье. Маяковского усадили на стул посреди комнаты и хором грянули кантату. А потом певица Галина Катанян затянула частушки под аккомпанемент баяна — наигрывал поэт Василий Каменский, самый первый жених Эльзы.

Кантаты нашей строен крик,  
Кантаты нашей строен крик.  
Наш запевала Ося Брик,  
Наш запевала Ося Брик!

*Рефрен:*

Владимир Маяковский,  
Тебя воспеть пора,  
От всех друзей московских  
Ура! Ура! Ура!

И Лиля Юрьевна у нас,  
И Лиля Юрьевна у нас  
Одновременно алыт и бас,  
Одновременно алыт и бас!

*Рефрен...*

«Почти все принесли Абрау. Жемчужный ушел на бровях. Было весело, но я не умею так веселиться. Ося говорит, что коллектив всегда строится по самому слабому.

Привезли большую корзину всякой бутафории: переделали брюнеток в блондинок и наоборот. До трамваев играли в карты, а я вежливо ждала, пока уйдут»<sup>365</sup>.

Лиля немного лукавила: в отличие от виновника торжества, который был страшно мрачен и как-то отчужден до самых петухов («Невесел и Яншин»<sup>366</sup>, — отмечала Галина Катанян), она провела это время отнюдь не плохо. Фиаско с Пудовкиным было пережито, и рыжую соблазнительницу, как обычно, окружали поклонники, в том числе весьма экзотические — турецкий поэт Назым Хикмет и некая партийная шишка из Средней Азии. «Она сидит на банкеточке рядом с человеком, который всем чужой в этой толпе друзей, — отметила наблюдательная Галина Катанян. — Это Юсуп — казах с красивым, но неприятным лицом, какой-то крупный партийный работник из Казахстана. Он курит маленькую трубочку, и Лилия, изредка вынимая трубочку у него изо рта, обтерев черенок платочком, делает несколько затяжек. Юсуп принес в подарок Володе деревянную игрушку — овцу, на шее которой висит записочка с просьбой писать об овцах, на которых зиждется благополучие его республики (типичная азиатская велеречивость. — А. Г.). Маяковский берет ее не глядя и кладет отдельно от кучи подарков, которыми завален маленький стол в углу комнаты»<sup>367</sup>.

(Фамилия Юсупа была Абдрахманов, и приехал он на самом деле не из Казахстана, а из Киргизии. Когда у него начинался роман с Лилей, ему было 28 лет, он уже был председателем киргизского Совнаркома и вел смелую переписку со Сталиным о предоставлении республике союзного статуса. Смелость проявлял и дальше, за что сначала был снят с должности, а потом и расстрелян.)

Все (или почти все) веселились. Пары плясали во всех комнатах и даже на лестничной площадке.

Маяковский хмурился, конечно, не по поводу Абдрахманова, хотя и отшвырнул его овечку в сторону. В ту пору Лилия поэту скорее друг, естественная и неотъемлемая часть его самого. К тому же, по некоторым данным, он и сам дарил Юсупу подарки — мраморный письменный набор и американские бритвы «Жилетт» — в Союзе такие было не достать. Да и спал ли партдеятель с Лилей? Если спал, то зачем же она обтирала черенок трубки? Игра на публику исключена — ее мнение в вопросах любви Лилию никогда не



заботило. Впрочем, летом 1929 года Лиля провела с высокопоставленным киргизом несколько дней в Ленинграде.

Вообще в точности неизвестно, сколько у Лили было мужчин. Существует байка, что как-то после бессонной ночи на чей-то вопрос, кого она пересчитывает, чтобы быстрее заснуть, Лили с озорством ответила: «Любовников. Насчитала тридцать два». Тридцать два — для Брик не так уж и много. По мнению сексологов и психологов, если число любовников у женщины превышает количество пальцев на одной руке, то мужчины повально презирают ее как падшую, сами же с гордостью хвастают: «У меня было сто, двести!» В общем, женщины количество своих постельных визави обычно преуменьшают, мужчины преувеличивают, а вот совершенно свободной в этом вопросе Лиле скрывать было нечего.

Предновогодний вечер не обошелся без ссоры. В Гендриков переулочек внезапно пожаловали Пастернак со Шкловским — поздравить Маяковского и заодно помириться. Это была попытка залатать дыры, оставленные распадом ЛЕФа. Но Маяковский грубо повернулся к пришельцам спиной и в ответ на извинения Пастернака пробурчал, чтобы тот немедленно ушел, что человек не пуговица, его не пришьешь обратно. Пастернак бросился прочь, забыв шапку. Домашний юбилей заканчивался всеобщей неловкостью, хмелем, тоской и зевотой.

Той зимой Маяковский взял за обычай называть Полонскую «невесточкой». Он возил ее по местам своей юности, рассказывал о своем детстве, собирался познакомить с мамой (Полонская увидит ее на выставке к двадцатилетию, но охваченный суетой «жених» забудет представить их друг другу). Как-то во время отлучки Бриков в Ленинград он привел Нору в Гендриков. Она вспоминала:

«— А если завтра утром приедет Лилия Юрьевна? — спросила я. — Что она скажет, если увидит меня?

Владимир Владимирович ответил:

— Она скажет: “Живешь с Норочкой?.. Ну что ж, одобряю”»<sup>368</sup>.

Спустя много лет, уже в 1993 году, престарелая, но всё еще очень эффектная Полонская обмолвилась тележурналистам, что Лилия относилась к ней хорошо, потому что она-де была Лиле удобна: мягка и непритязательна. В случае брака Маяковского с Норой его с Лилей финансовые отношения не изменились бы, поэт продолжал бы обеспечивать свою Кису.

«Относился Маяковский к Лиле Юрьевне необычайно нежно, заботливо. К ее приезду всегда были цветы, — пишет Полонская в мемуарах. — Он любил дарить ей всякие мелочи.

Помню, где-то он достал резиновых надувающихся слонов. Один из слонов был громадный, и Маяковский очень радовался, говоря:

— Норочка, нравятся вам Лиличкины слонятины? Ну я и вам подарю таких же.

Он привез из-за границы машину и отдал ее в полное пользование Лили Юрьевны.

Если ему самому нужна была машина, он всегда спрашивал у Лили Юрьевны разрешения взять ее.

Лилиа Юрьевна относилась к Маяковскому очень хорошо, дружески, но требовательно и деспотично.

Часто она придиралась к мелочам, нервничала, упрекала его в невнимательности.

Это было даже немного болезненно, потому что такой исчерпывающей предупредительности я нигде и никогда не встречала — ни тогда, ни потом.

Маяковский рассказывал мне, что очень любил Лиллю Юрьевну. Два раза хотел стреляться из-за нее, один раз он выстрелил себе в сердце, но была осечка»<sup>369</sup>.

Пока Маяковский гулял с Норой, мотался на выступления и готовил собственную выставку (сам орудовал молотком и гвоздями — помощи было мало, повсюду — и сверху, и сбоку — сплошная обструкция и препоны), Лилиа Юрьевна с Осипом Максимовичем добивались английской визы для очередного своего заграничного вояжа. В первый раз, еще осенью, им отказали (имя Лили тогда попало в Британии в черный список — из-за отношений с Маяковским, а еще из-за матери, в связи с упомянутой выше историей с якобы похищенными сотрудниками АРКОСа документами). Пробовали и так, и эдак, и через норвежцев, и через Германию. Хлопотал в основном Маяковский. Устроил командировку от РЕФа через Наркомпрос. Но в январе «Комсомольская правда» опубликовала пасквиль на чуждых элементов Бриков: почему нельзя командировать кого-нибудь одного из них, а не обоих сразу? Лучше бы послать вместо Лили Юрьевны кого-нибудь из молодых и перспективных. И вообще, что это за супружеские поездочки за государственный счет? После того как осенью первый советник парижского полпредства СССР Григорий Беседовский попросил во Франции политического убежища, отношение

советских властей к гражданам, выезжающим за рубеж, стало резко ужесточаться.

Узнав о нападках на «кисей», Маяковский спешно примчался в Москву из Ленинграда, куда ездил по делам, и влет написал письмо в редакцию: Брики отправляются в поездку на свои собственные средства, у них мощные литературные связи с коммунистическими и левыми издательствами, и казенная валюта им не понадобится. Дескать, Осип — ветеран левого революционного искусства, а Лиля — сорежиссер «Стеклянного глаза», плакатчица «Окон РОСТА», переводчица Гросса и Виттфогеля и постоянная участница рефовских выступлений.

Правда, вопрос с паспортами всё равно никак не решался, и Маяковский собрал целый ворох писем в поддержку Бриков от разных организаций, начиная с Главискусства и заканчивая отделом агитации и пропаганды ЦК ВКП(б). 27 января Лиля записала в дневнике:

«Володя был сегодня у Кагановича по поводу нашей поездки. Завтра вероятно решится»<sup>370</sup>.

Лазарь Каганович был тогда секретарем ЦК и кандидатом в члены политбюро. На встрече с сановником Маяковский упирал на свободное владение Бриков несколькими европейскими языками, на наличие родственницы, работающей в АРКОСе, на благородную цель поездки — сбор материалов для антологии классиков мировой революционной литературы. Наконец драгоценные документы были получены кружным путем — через Всесоюзное общество культурных связей с заграницей и Наркомат иностранных дел. И через две с лишним недели после разговора поэта с Кагановичем счастливые Ося и Лиля покупали билеты на берлинский поезд.

Атмосфера в стране тем временем леденела. Шкловский, еще недавно мечтавший о возрождении ОПОЯЗа, публично каялся в научной ошибке и присягал марксистскому методу. На «попутчиков» спустили собак — была запущена кампания против Евгения Замятина и Бориса Пильняка, причем наивный и неразборчивый Маяковский оказался среди тех, кто кричал «ату!». Его тоже теснили и терзали, но в то же время ему перепали и лавры. На концерте в Большом театре в шестую годовщину смерти Ленина Маяковскому долго аплодировали. На следующий день Лиля записала:

«Регина говорит, что Надежде Сергеевне (Аллилуевой, жене Сталина. — А. Г.) и Сталину страшно понравился Володя. Что он замечательно держался и совершенно не смотрел и не раскланивался в их ложу (со слов Н[адежды] Серг[еевны])»<sup>371</sup>.

Регина Глаз, двоюродная сестра Лили и Эльзы, служила нянькой детей Сталина и как-то раз, когда маленький Василий Сталин вел себя особенно хорошо, поощрила его поездкой с Лилей Брик на ее «реношке». Незабываемое событие для мальчика!

Несмотря на успех в Большом театре, Маяковский часто раздражался по разным поводам. Лиля признавалась:

«Меня тошнило (фактически подступило к горлу) от разговора по телефону заведующего лит. отделом “Правды” с Володей. Он, очевидно, узнал о Володином успехе в Б[ольшом] театре и просит стихи в “Правду”, Володя сказал, что вообще надо поговорить о совместной работе. Но об этом не может быть и речи — печатать, как Демьяна Бедного! (за такой же гонорар. — А. Г.). Володя сказал, что тогда он и стихов не даст. Володя в страданиях из-за Норы, за обедом пил горькую — вечер... поле... огоньки... У него, по-моему, бешенство — настораживается при любом молодом женском имени и чудовищно неразборчив»<sup>372</sup>.

Сентенция о Володиной неразборчивости периодически повторяется:

«Володя обиделся на меня как маленький, за то, что я сказала, что он слишком доверчив и не разбирается в людях. Вскочил, чуть не заплакал, сказал: ты пользуешься тем, что я не могу на тебя рассердиться. Вообще Володя стал невыносимо капризен»<sup>373</sup>.

Причины для капризов наслаивались одна на другую. После провала «Бани» последовал провал выставки. 20 лет работы Маяковского полетели в тартарары — он ощущал себя ненужным, выкинутым на обочину. Век-волкодав обдавал его смрадным дыханием. Лиля жалуется в дневнике, что комиссия по выставке (Асеев, Жемчужный и Родченко) не собралась ни разу, что выставка получилась интересной только благодаря материалу.

«Я-то уж с самой моей истории с Шкловским знаю цену этим людям, а Володя понял только сегодня — интересно, надолго ли понял»<sup>374</sup>.

На открытие выставки ломилась уйма молодежи, но не пожаловал почти никто из коллег-писателей. Официальные лица тоже проигнорировали приглашение. По одной из версий, причина крылась в субординационном страхе — совсанышники знали, что лично Сталину приглашение от Маяковского не приходило — только в секретариат, как бы без конкретного адресата. Да и причины переноса выставки с декабря на февраль тоже были связаны с Иосифом Виссарионовичем — в декабре справлялось его пятидесятилетие. И настойчивое желание Маяковского перебить юбилей вождя юбилеем собственного творчества могли счесть за вызов. К тому же поэт явно симпатизировал опальному Троцкому, был знаком с ним и выводил в стихах, а вот присягать Сталину не спешил.

В общем, на выставке Маяковский выглядел утомленным, смурным и выступал вполсилы. На всех обижался, с товарищами (Кирсановым, Родченко) не здоровался. Чувствовал себя преданным. В довершение всех бед буквально сразу после открытия выставки пошли слухи, что в Ленинграде «Баню» снимают с репертуара — зритель не идет, а газеты ругают.

Тогда-то Маяковский и заставил всех ахнуть, стремительно вступив в РАПП — организацию, которая годами душила левовцев. Правда, теперь она официально, устами газеты «Правда», объявлялась орудием партии в области литературы, честным союзником пролетариата. Поэтому, дабы не оказаться в «попутчиках», следовало вовремя запрыгнуть в правильный поезд. Александр Фадеев, один из идеологов и организаторов РАППа, принял Маяковского благосклонно и заверил, что рапповцы охотно помогут поэту отказаться от ошибочного багажа. Из-за резкой перемены позиции Маяковского на него окончательно обиделись бывшие соратники. Кассиль, Асеев, Кирсанов принципиально с ним не разговаривали, Лиля делала отчаянные попытки всех примирить.

«Коля (Асеев. — А. Г.) заявил, что довольно Володе всё спускать с рук и надо решительно заявить, что Володя ушел из Рефа и ничего общего с нами не имеет. Заезжала к Семке (Кирсанову. — А. Г.). Уговаривала его и Кассиля не быть такими принцами Уэльскими и просить у Володи прощенья, оттого что они виноваты. Но — самолюбие! И бояться, что Володя нагрубит»<sup>375</sup>.

Но пока Маяковский запрыгивал в метафорический вагон и готовился ради новых единомышленников отказаться

от такого же метафорического старого багажа, Лиля с Осиком уже сидели в вагоне настоящем. Они ехали к любимым музеям, шмоткам, букинистам, синематекам и, главное, к парочке молодоженов — Эльзе и Арагону. В городе Столбцы, который на тот момент относился к Польше, Лилю поразили кланяющиеся лакеи и носильщики. В Берлине оказалось, что их любимый «Кюрфюрстен-отель» переехал, а в новой гостинице, расположившейся на его месте, в номерах за 20 марок в день были розовые занавески, а из мебели — по выражению Лили, сплошная кровать. Не стерпели — разыскали новый адрес «Курфюрстен-отеля» и переехали. Осе сразу купили пальто и шляпу, ходили в кино на фильмы с Лени Рифеншталь и картины Рихарда Освальда (в первом ряду зрительного зала узнали Альберта Эйнштейна), заглянули в издательство «Малик», издававшее Маяковского. Снимались в фотоавтомате — восемь минут, шесть поз. Несколько раз сходили в зоопарк, где Лили сфотографировалась с живым львенком на руках. Один из получившихся снимков отправила по почте Маяковскому, мечтая, как было бы здорово иметь такого же «львятика». Романтично отметили годовщину свадьбы — Ося подарил розы. В эту поездку они очень много смотрели разное кино, в том числе советское. Ося выступил в клубе при советском посольстве, и Лили, как обычно, осталась в восхищении. В Берлине же познакомились с мужем Эльзы (Арагоны встретились с Бриками в Германии, не будучи уверены, что у последних не сорвется английская виза). В Лондон добирались уже вчетвером, через Голландию.

В британской столице поселились у мамы. Лилиа развлекалась: Виндзорский замок, оперетты, мюзик-холлы, звучащая кинохроника (звуковые фильмы только-только входили в моду), шопинг в универмаге «Сельфриджс» и на Пиккадилли, ужины в ресторанах (правда, в «Савой» их не пустили — у Оси не было смокинга). А еще — баранки и граммофоны на базаре в лондонском районе Уайтчепел, пропагандисты в Гайд-парке, китайский квартал со странными угощениями... В Лилину туристическую программу вошел даже завтрак в парламенте (палата лордов показалась ей похожей на пульмановский вагон), а Ося постоянно мотался по книжным развалам и скупал дефицитные книги русских классиков.

В советском постпредстве они посмотрели агитфильм Эйзенштейна «Генеральная линия», обнажавший нищету и отсталость деревни (в том же году он будет снят с про-

ката как идеологически ошибочный). Лиля с интересом наблюдала умирающего от хохота Бернарда Шоу — тот, по ее словам, воспринял фильм как эксцентрику.

В общем, две лондонские недели пролетели в сплошном кураже. Правда, Лилино настроение тоже поскакивало. Она то жалуется в дневнике, что ей всё скучно и она не будет больше рваться за границу, то вдруг хныкает, что ее львенка продали в Мюнхенский зоосад, и признаётся, что пустила слезу, то приходит в восторг от анекдота, балансирующего на грани дурного вкуса:

«Дама-патронесса в родильном приюте милостиво спросила женщину с очень красивыми рыжими волосами: “У вашего ребенка такие же чудесные волосы?” — “Нет, черные”. — “Ваш муж брюнет?” — “Не знаю, он был в шляпе”»<sup>376</sup>.

Лиле, наверное, анекдот понравился из-за сходства шаловливой рыжей роженицы с ней самой.

У Маяковского от Лили оставалась куча поручений: мыть Бульку и договариваться с хозяйкой ее «жениха» о случке, бегать в профсоюз и улаживать ситуацию с неверно указанным Лилиным стажем, хлопотать о новой, более просторной квартире в жилищно-строительном кооперативе имени Красина. 4 апреля он внес туда пай за себя и за Осипа. Впрочем, Киса посылала не только директивы и капризно-ленивые телеграммки («Придумайте пожалуйста новый текст для телеграмм. Этот нам надоел»<sup>377</sup>), но и подарочки — в частности, фланелевые штаны.

Но настроение Маяковского становилось всё хуже: вслед за ленинградской провалилась и московская постановка «Бани». Публика вываливалась из зрительного зала со скучающими физиономиями, а критика, причем и рапповская, была язвительна: Владимир Ермилов нашел у Маяковского фальшивую левую ноту — отсюда до левой оппозиции и Троцкого рукой подать. Выставку же бойкотировали не только писатели и чиновники, но и пресса. Только журнал «Печать и революция» поместил портрет Маяковского и поздравление с двадцатилетним юбилеем творческой работы, но по приказу директора Госиздата страница с поздравлением была изъята из уже готового тиража — вырывали аж из пяти тысяч экземпляров!

А тут еще Нора. Поэт ожесточался и постоянно терроризировал ее ревностью — требовал немедленно уйти от мужа, а колебания воспринимал со свирепым отчаяни-

ем — все, все хотели бросить его! Но Полонская проявляла нерешительность именно оттого, что Маяковский был с ней страшно нетерпим, чуть ли не патриархален. Ему не нравилось ее актерство, он не интересовался ее сценическими работами, он хотел резко обрубить ее брак с Яншиным. А Нора была юная, робкая, жила с родителями мужа и горела актерской карьерой — еще бы, ведь ее опекал сам Владимир Немирович-Данченко. Связь с Маяковским как будто удавалось скрывать от мужа. Яншин обожал Маяковского и любил проводить с ним время, но уже начал что-то подозревать и Нору одну отпускал неохотно. Ей приходилось маневрировать между театром и двумя мужчинами, встречи с Маяковским становились кратковременнее, а Маяковский мрачнел, зверел и не желал ни под кого подстраиваться.

Дело усугубилось тем, что Нора забеременела. Аборт оказался очень тяжелым. Ей было плохо и физически, и морально, ведь в больницу приходил Яншин — пусть и формальный, отлюбленный, но муж. Совесть ее глодала. А главное — после аборта она испытывала отвращение к сексу и не подпускала к себе Маяковского. «Тогда я была слишком молода, чтобы разобраться в этом и убедить Владимира Владимировича, что это у меня временная депрессия, что если он на время оставит меня и не будет так нетерпимо и нервно воспринимать мое физическое равнодушие, то постепенно это пройдет и мы вернемся к прежним отношениям. А Владимира Владимировича такое мое равнодушие приводило в неистовство. Он часто бывал настойчив, даже жесток. Стал нервно, подозрительно относиться буквально ко всему, раздражался и придирался по малейшим пустякам»<sup>378</sup>.

И вправду, Маяковский устраивал Норе некрасивые сцены в присутствии мужа, знакомых и коллег, не считаясь с ее чувствами и репутацией. Хлопал дверями, вытаскивал ее для объяснений в другие комнаты. Нора должна была постоянно уверять его в своей любви и преданности; тогда время от времени маниакальные припадки отчаявшегося человека снова сменялись милостью.

Не очень понятна и ситуация с жильем. Одновременно с поиском новой квартиры, куда он мог бы переселиться с Бриками, Маяковский договаривается с Норой и записывается в очередь на квартиру в дом Федерации советских писателей напротив Художественного театра, причем пытается выбить заселение еще до возвращения Бриков.



Судя по всему, тройственное гнездышко становилось ему нестерпимо тесно. При этом он понимал, что Лиля его так просто не отпустит, поэтому пытался обтять дельце с отдельной квартирой тайно, пока никто не мешает.

Примирение с Кирсановым и Асеевым вроде бы произошло, но со скрипом, с нервами, со спрятанными в карманах кукишами. Да еще навалился грипп — тяжелый, неотступный.

Бурные ссоры с Норой происходили чуть ли не каждый день. Поймав ее как-то на мелкой лжи (ходила в кино с мужем, хотя сказала, что была на репетиции), он совсем перестал ей верить. После очередного срыва, 12 апреля, Маяковский написал предсмертную записку. Он стал очень грубым с людьми, болезненно огрызался, срывался, хамил и в то же время постоянно нуждался в чьем-нибудь присутствии — ему было страшно оставаться одному. Из жизни испарялись смыслы, и за Нору он и вправду хватался, как утопающий за соломинку. Трагедия была не в ней. Трагедия была в том, что делалось с ним, со страной, с поэзией.

С Норой они как будто примирились, и Маяковский на время оставил страшные мысли. Молодая женщина уговорила его не видеться два дня, взять паузу, дать отдохнуть нервам. Но Маяковский обещания не сдержал и вечером 13-го числа, так и не найдя себе спасительной компании, явился к Катаеву, где собиралась вся шатия-братия и куда Нора тоже была приглашена. Правда, она заверяла Маяковского, что идти к Катаеву не собирается, но всё-таки пришла. Поэтому, завидев ее, Маяковский в очередной раз потерял и без того шаткое равновесие. Нора впервые видела его выпившим. Вообще он не употреблял крепких напитков, любил вино, которое пил легко, как виноградный сок, никогда не пьянея (сказалось грузинское детство).

Но в тот несносный вечер ситуация сложилась взрывоопасная. Все присутствовавшие — Катаев, Олеша, Яншин с коллегой-актером Борисом Ливановым, художник Владимир Роскин, журналист Василий Регинин — видели, что назревает скандал. Маяковский и Нора бешено переписывались на картонке из-под торта. В какой-то момент вышли в другую комнату, где совсем обезумевший Маяковский выхватил револьвер, направлял на себя, на Нору, оскорблял ее. Она же вдруг перестала обижаться и увидела перед собой совсем больного, несчастного человека. Одесситы Катаев и Олеша, кажется, находили в происходящем некоторое пикантное удовольствие и подначивали Маяков-

ского издевательскими колкостями и шуточками. Катаев даже с хохотом заметил: «Маяковский не застрелится. Эти современные любовники не стреляются». А поэт настолько потерял интерес к жизни, что даже ни разу не отбрил их, хоть и был мастак словесных пикировок. От Катаева гости уходили ночью все вместе; по дороге Маяковский то и дело шантажировал бедную Полонскую, что всё расскажет Яншину — прямо там же.

То, что произошло на следующий день, 14 апреля, всем известно. Нора была у Маяковского утром, но на 11 часов у нее была назначена важная репетиция, которую нельзя было пропустить. Маяковский же требовал, чтобы она не шла на репетицию, отказалась от театра, от мужа, запирал ее в комнате — в общем, вел себя, как какой-нибудь патриархальный бей. Нора же отвечала, что уйти от Яншина не объяснившись — непорядочно, что она поговорит с ним и вечером переедет к Маяковскому с вещами, но что театр, конечно, не бросит.

Как-то раз я разговаривала об этой трагедии с режиссером-документалистом Виталием Манским. Манский сказал, что в молодости снимал Полонскую для одного проекта и что она призналась ему не на камеру, что вся их последняя ссора с поэтом крутилась главным образом вокруг интимной близости. Поэт настаивал, чтобы возлюбленная отдалась ему на месте, а та не хотела, выворачивалась из рук, не могла переломить себя.

Как бы то ни было, кончилось тем, что Маяковский занервничал, достал что-то из письменного стола — «я услышала шелест бумаги, но ничего не видела, так как он загораживал собой письменный стол»<sup>379</sup> — потом неожиданно поцеловал Нору, совершенно спокойно попрощался с ней и дал денег на такси. Пройдя несколько шагов, она услышала выстрел. Бросившись назад, увидела на полу мертвого Маяковского, рядом — маузер. Началась паника, сбежались соседи, Нора выскочила встречать бесполезную уже «скорую помощь», мгновенно сооткались из воздуха гэпэушники, начался допрос свидетелей... Эту хрестоматийную историю мы знаем со школы.

В этот день Лиля с Осипом приплыли из Лондона в Амстердам. До парохода ехали в вагоне-ресторане, где ели яйца с ветчиной, овсянку и варенье. Плыли же хотя и в дешевой кабинке, но с комфортом, и совсем не качало. Столица Нидерландов встретила их цветочными коврами, узкими улочками, новыми стеклянными кварталами. Во-

яжеры пытались даже попасть на бриллиантовую фабрику, но та была закрыта на Пасху. В Амстердаме Брики купили Маяковскому трость и коробку сигар и, прежде чем сесть на берлинский поезд, послали ему открытку с изображением гиацинтов:

«Волосик! До чего здорово тут цветы растут! Настоящие коврики — тюльпаны, гиацинты и нарциссы. Целуем ваши (Маяковского и Бульки. — А. Г.) мордочки. Лиля Ося (две кошечки). За что ни возьмешься, всё голландское — ужасно неприлично!»<sup>380</sup>

Но Волосит кошечкам не ответил. Он был мертв.

## ВЕРОНИКИ И БРЕХОБРИКИ

Вокруг смерти Маяковского с первой же секунды загрозились слухи, догадки, интерпретации. Прошло лишь несколько минут после того, как, лежа на ковре, он в последний раз глядел на ошарашенную Нору и силился поднять голову, а в его комнате-лодочке уже суетились высшие гэнэушные чины. Тайнственно было всё: и то, что их никто не вызывал — они материализовались сами собой; и то, что тело, обращенное головой к столу, внезапно оказалось перевернутым головой к двери; и то, что был подменен пистолет; и то, что тело вскрывали дважды и оба раза не по правилам, в отсутствие судебного эксперта. Кстати, второе вскрытие потребовалось из-за слуха о сифилисе, вновь вспыхнувшего из-за газетной некроложной фразы: «Самому убийству предшествовала длительная болезнь...» Имелся в виду, конечно, грипп, но народная молва, как водится, раздула версию венерического заболевания.

Но сначала тело вынесли во двор, где уже собралась любопытствующая толпа, и отнесли на квартиру в Гендриковом переулке, где рыдали друзья — и обруганные, и примирившиеся, где младшая сестра поэта Ольга, потерявшаяся от боли, устроила целый концерт плакальщицы, где в комнате Маяковского в присутствии его бывших коллег из его черепа извлекали мозг, а с лица дважды снимали посмертную маску.

Лиля узнала о смерти поэта лишь на следующий день, в Берлине, приехав в любимый «Кюрфюрстен-отель». В отеле их ждала телеграмма: «Сегодня утром Володя покончил собой». Лиля разозлилась:

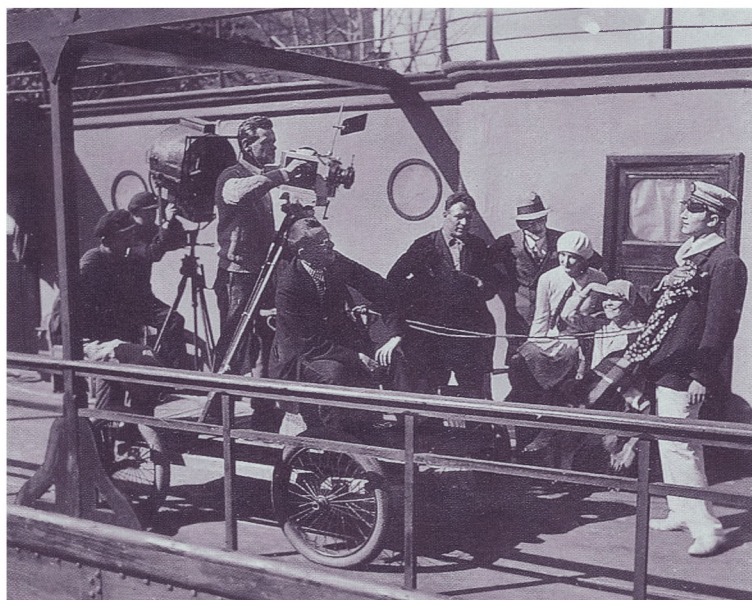


«Глаза круглые да карие, горячие до гари». 1924 г.





Ради любимой Маяковский написал сценарий кинокартины  
«Закованная фильмой», где они оба снялись в главных ролях. 1918 г.



Лиля продолжила работу в кино уже в качестве соавтора сценария и сорежиссера на съемочной площадке и за монтажным столом. 1928 г.







Лиля никогда не стеснялась своего тела. Она кокетливо оголяла плечико, позируя в шелковом платье с супрематическим рисунком от Варвары Степановой... *А. Родченко. 1924 г.*

...демонстрировала все свои прелести на тахте в Гендриковом переулке... *О. Брик (?). 1920-е гг.*





...и щеголяла в «голом» платье, привезенном Маяковским из Парижа.  
*А. Родченко. 1920-е гг.*





Всерьез испугавшись романа Маяковского с парижской манекенщицей Татьяной Яковлевой, Лиля свела его с Вероникой Полонской, ранее сыгравшей у нее в «Стеклянном глазе»



Счастливая  
обладательница  
«реношки», купленной  
Маяковским  
за границей.  
*А. Родченко. 1929 г.*



Лиля — первая  
москвичка,  
получившая  
водительские права.  
1929 г.



ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ  
(без права профессии).

Без права передану

МОСКОВСКОЕ

Коммунальное Хозяйство  
ТРАНСПОРТНЫЙ ОТДЕЛ

СВИДЕТЕЛЬСТВО № 10307.

Выдано Экзаменационной комиссией по  
испытанию шоферов. *Брик*  
Председатель сего

Предъявителю сего  
Лилмз Юрьевна

разрешается управлен. автo  
мoтo машинами  
категории А

М.Т.Р.А. Пред. Комиссии. *Мурза*

МОДЕЛЬ  
Дата и рег.  
... Комиссии:

Секретарь.  
22.1.7.





Дома в Гендриковом переулке с любимым самоваром.

*О. Брик. Конец 1920-х гг.*

Среди гостей на дачном крыльце в Пушкине Александр Родченко, Луэлла Краснощекова, чекист Яков Агранов, Семен Кирсанов, Маяковский с собакой Булькой, Василий Катанян, Осип, Женья Жемчужная, Ольга Маяковская, Виталий Жемчужный. *Середина 1920-х гг.*





На фото с похорон Маяковского Лиля кажется не столько горюющей, сколько раздраженной. 17 апреля 1930 г.

Семен Кирсанов и Николай Асеев на фоне портретов Маяковского.  
А. Родченко. 1931 г.







Два Лилиных мужа — Осип Брик и комкор Виталий Примаков.  
*Середина 1930-х гг.*

Пока Лиля  
с мужьями гоняла  
чай из самовара,  
Эльза с Луи  
Арагоном корпела  
над рукописями  
и в 1944 году  
получила  
Гонкуровскую  
премию. 1946 г.



Эльза и Лилия  
в Париже. 1959 г.



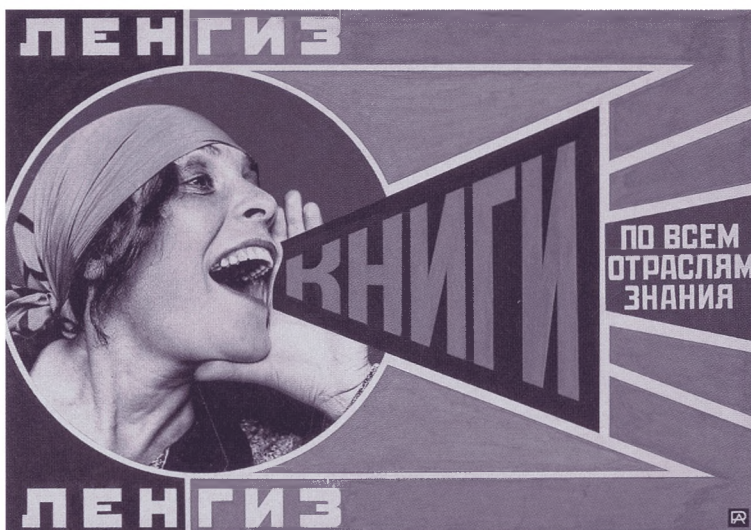




Такой видел Лилу Давид Штеренберг... 1910-е гг.



...а такой — Владимир Маяковский (1916), Александр Тышлер (1946),  
Александр Родченко (1924)

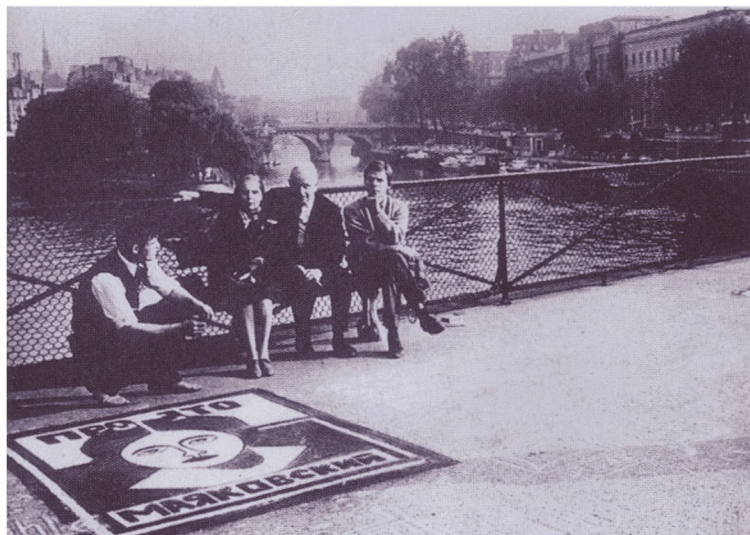


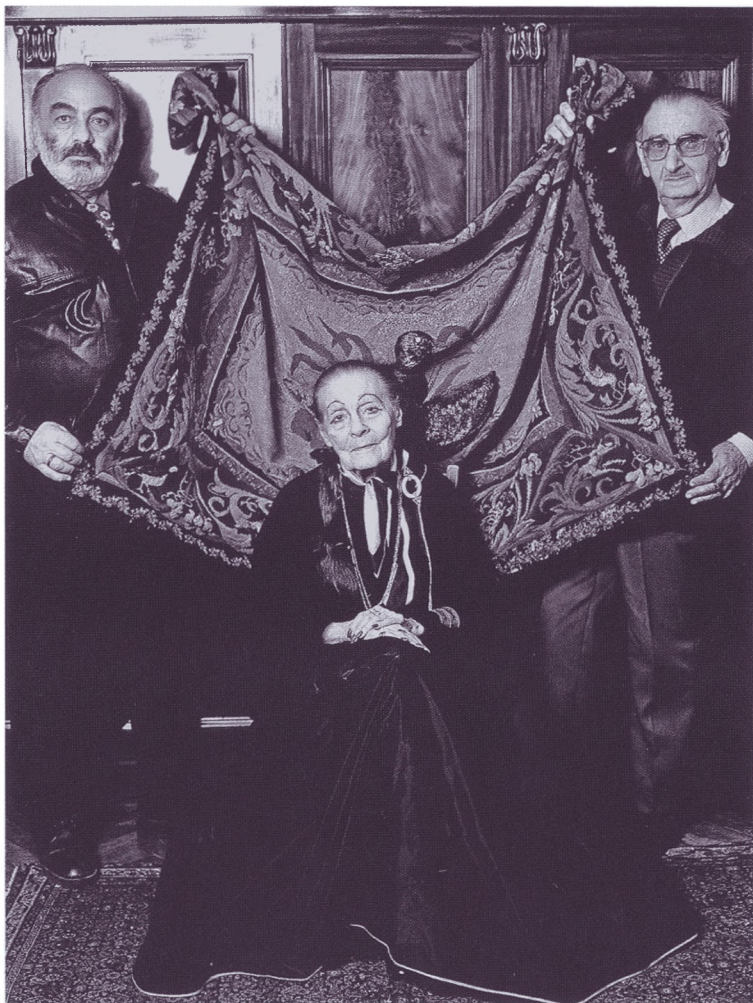




Лиля мгновенно подмечала в людях таланты и горячо их опекала.  
С поэтом Андреем Вознесенским. 1960-е гг.

«Лиля Брик на мосту лежит, / Разутюженная машинами...»  
(А. Вознесенский). Эльза Триоле и Луи Арагон с молодыми  
художниками, нарисовавшими на асфальте реплики портретов Лили  
и Маяковского. 1960-е гг.





Лиля в платье от кутюрье Ива Сен-Лорана с режиссером Сергеем Параджановым, благодаря ее хлопотам вышедшим из тюрьмы, и мужем Василием Катаняном позирует фотографу Валерию Плотникову на фоне коврика, подаренного Маяковским.  
*3 марта 1978 г.*





Валун, установленный на лесной опушке,  
где был развеян прах Лили Брик

«Володик доказал мне какой чудовищный эгоизм — застрелиться. Для себя-то это конечно проще всего. Но ведь я бы всё на свете сделала для Оси, и Володя должен был не стреляться — для меня и Оси»<sup>381</sup>.

В полпредстве уже всё, разумеется, знали, и Брикам помогли спешно выехать в Москву. Похороны отсрочили до их возвращения. На границе пару встречал Катанян, который пересказал им предсмертное письмо Маяковского — то самое, написанное еще за два дня до смерти. В письме были слова:

«В том что умираю не вините никого и пожалуйста не сплетничайте. Покойник этого ужасно не любил.

Мама, сестры и товарищи простите — это не способ (другим не советую) но у меня выходов нет.

Лиля — любви меня.

Товарищ правительство моя семья это Лия Брик, мама, сёстры и Вероника Витольдовна Полонская.

Если ты устроишь им сносную жизнь — спасибо.

Начатые стихи отдайте Брикам — они разберутся.

Как говорят:

“инцидент исперчен”

Любовная лодка

разбилась о быт.

Я с жизнью в расчете

и не к чему перечень

взаимных болей

бед

и обид...»

В литературных кругах все были уверены, что к смерти Маяковского привели причины общественные: «распалась связь времен», «время вывихнуло сустав». Привели литературные провалы, неумение поэта вписаться в ритм гигантской государственной гильотины. Газеты же спешно и хором упирали на личные, романтические мотивы ухода, о том же судачил народ — дескать, стрелялся из-за бабы. Секретный отдел ОГПУ беспрерывно шерстил обстановку: что говорят о смерти поэта? каковы настроения? Все бумаги и переписка, конечно, были изъяты. Особое внимание привлекли письма и фотографии белоэмигрантки Татьяны Яковлевой.

Сама Татьяна узнала о самоубийстве в Варшаве, находясь на четвертом месяце беременности, и была потрясена. Мать Татьяны, живущая в Пензе, волновалась еще пуще,

подозревая, что виной всему ее дочь. Но пронизательная Яковлева доходчиво объяснила маме, что дело в совокупности многих причин, усугубленной болезнью (гриппуя, Маяковский становился страшно мнительным).

Лиля и Осип наконец приехали из Берлина. «Поезд подошел, — вспоминала Луэлла, к тому времени вышедшая замуж и взявшая фамилию Варшавская, — мы все искали глазами Лилю, она уже стояла на подножке вагона, когда подошел поезд, и быстро сошла на перрон... Мы ее не узнали! Так она изменилась за эти несколько дней. Она сама бросилась к нам»<sup>382</sup>.

Сразу с вокзала отправились в Дом писателей, где стоял гроб с телом Маяковского. Младшая сестра поэта Ольга, заведя Лилю, рухнула посреди зала на колени и зычным, похожим на братний, голосом начала декламировать: «Сегодня к новым ногам лягте! / Тебя пою, / накрашенную, / рыжую...» К гробу шли и шли люди, десятки тысяч. Лиля стояла в почетном карауле вместе с друзьями, коллегами, военными, гэпэушниками. «Лиличка часто целовала Володю, — рассказывала Луэлла, — и говорила мне: “Лушенька, подойди поцелуй Володю”»<sup>383</sup>. Выступали Луначарский, рапповцы, бывшие левовцы. Играл струнный грузинский оркестр. Гроб выносили десять человек, среди них и те, кто громил Маяковского при жизни. Нес гроб и Осип Максимович.

А Москва гудела. Улицы, деревья, подоконники, крыши были черны от народа, конная милиция еле сдерживала натиск любопытствующих. Всем хотелось посмотреть, как хоронят знаменитого глашатая революции. Гроб повезли на грузовике, оформленном Владимиром Татлиным под броневик; за ним следовали «реношка» и кавалькада автомобилей с высокими чинами и близкими покойника. Впрочем, старшая сестра Маяковского Людмила почему-то протискивалась пешком через толпу вместе с Луэллой. Кое-как им удалось добраться до крематория, недавно открывшегося в здании недостроенной церкви на Новом Донском кладбище. Крематорий в Советской России был кафедрой безбожия, синонимом абсолютного уравнивания классов и символом новой пролетарской культуры. Потом кремация поэта стала еще одним основанием для толков и пересудов — дескать, тело испепелили, чтобы скрыть какие-то улики.

Лиля с Осей, судя по всему, тоже шли пешком, потому что, если верить Луэлле, все они сели на скамейке в посада-

емом зеваками дворики (милиция даже стреляла в воздух). «И тут Лиличка сказала, что у нее нет сил дальше пробираться, что мы будем сидеть здесь, пока всё не кончится. Вдруг конный милиционер кричит: “Брик! Где Брик? Требуют Брик!” — оказывается, Александра Алексеевна не хотела проститься с сыном и допустить кремацию без Лили Юрьевны. Ося и Лиля прошли в крематорий, а мы остались ждать во дворе»<sup>384</sup>.

Гроб с телом Маяковского отправился в печь под звуки «Интернационала». В подвале, где располагались печи, можно было в специальное отверстие наблюдать за сгорающим трупом. Лиля спустилась посмотреть. От жара, от движения теплого воздуха тело Маяковского стало приподниматься в огне. Лиля в ужасе закричала: «Он живой! Живой!..»

Мать Маяковского сказала Лиле у гроба, что, будь они с Осей в Москве, Володя остался бы жив. О том же самом Лиля писала Эльзе спустя неделю:

«Если б мы были в Москве, этого бы не случилось. Володя был чудовищно переутомлен и, один, не сумел с собой справиться».

И снова, еще через пару недель:

«Если б я или Ося были в Москве, Володя был бы жив»<sup>385</sup>.

Аркадию Ваксбергу она говорила: «Мне кажется, в ту последнюю ночь перед выстрелом достаточно мне было положить ладонь на его лоб, и она сыграла бы роль громового отвода. Он успокоился бы, и кризис бы миновал»<sup>386</sup>. В том же ключе думали и все окружающие. Но было непонятно, зачем же они в таком случае уехали. Неужели заграничные покупки оказались важнее близкого человека?

Лефовка Елизавета Лавинская потом разочарованно вспоминала Лилю в день похорон поэта:

«Уже одно то, что она его бросила одного, увезя с собой Брика, в такой тяжелый момент, когда он остался один, окруженный насмешливой фразой “Маяковский исписался”, когда он поссорился со всеми лефовцами, а РАПП во главе с Авербахом его, поэта революции, называли “попутчиком”, — всё это, вместе взятое, должно было заставить ее страдать больше всех. <...> В столовой, разливая чай, как обычно, сидела Лиля. Был Лев Гринкрут, кто-то еще.

Лиля предложила нам чай. На столе, как всегда, закуски. Всё тихо, спокойно, уютно. Брик продолжал прерванный нашим приходом рассказ о загранице — как всегда, интонация голоса слегка ироническая, не знаешь, шутит или всерьез, или выбирает нужный тон в зависимости от реакции слушателей. Я сидела истуканом. Всё, что угодно, но такого спокойствия я не ожидала. Как не похож их дом на асеевский, на наш! Как не похожи их лица на лица Асеева, Шкловского, Родченко, Лавинского, Пастернака, Ромма и многих, многих, и товарищей, и посторонних людей. Нет, это невозможно! Это игра, маскировка, прятанье боли, и стоит только произнести слово “Володя” — и эта боль прорвется наружу.

Никто не решался произнести первым имя Маяковского. Лиля Юрьевна, обращаясь ко мне, заговорила сама, сказав, что, поскольку мы еще не виделись, то мне, наверное, интересно услышать, как она узнала о смерти Володи.

— Это было совершенно неожиданно. Незадолго было письмо, он ни о чем не писал. Мы преспокойно жили, и вдруг застрелился! Он не понимал абсолютно, что он делал, не представлял, что смерть — это гроб, похороны. Если бы реально себе представил, ему стало бы противно, и он бы ни за что не застрелился.

Далее Лиля Юрьевна перевела разговор на семейные дела Давида Штеренберга»<sup>387</sup>.

Но на самом деле Лиля в те дни много плакала: на границе, когда их встречал Катанян, в Гендриковом. Провожая Лавинскую, Лиля попросила ее помочь разобраться с бумагами Маяковского на Лубянском проезде. Ей не хотелось оставаться там одной. Лавинская отказалась, зато согласилась Галина Катанян. В те траурные дни именно Галина получила письмо от Корнея Чуковского, переживавшего множество собственных горестей: запрет всех своих детских книг, фатальную болезнь любимой дочери Муры:

«Все эти дни я реву, как дурак. <...> Мне совестно писать сейчас Лиле Юрьевне, ей теперь не до писем, не до наших жалких утешений, но пусть она помнит, что она и сейчас нужна Маяковскому, пусть она напишет о нем ту книгу, которую она давно затеяла написать. Это даст ей силу вынести тоску.

Я помню первый день их встречи. Помню, когда он приехал в Куоккалу и сказал мне, что теперь для него начинается новая жизнь, — так как он встретил единственную женщину — навеки — до смерти. Сказал это так торже-

ственно, что я тогда же поверил ему, хотя ему было 23 года, хотя, на поверхностный взгляд, он казался переменчивым и беспутным...»<sup>388</sup>

У себя в дневнике Чуковский записал:

«Один в квартире, хожу и плачу и говорю “Милый Владимир Владимирович”, и мне вспоминается... как он влюбился в Лили, и приехал, привез мое пальто, и лечил зубы у доктора Доброго, и говорил Лили Брик “целую ваше боди и всё в этом роде”»<sup>389</sup>.

Маяковский, умирая, просил Лилию любить его, но в числе членов своей семьи, помимо Лили, матери и сестер, назвал и Веронику Полонскую. 12 апреля, в день написания предсмертного письма, Маяковский сказал ей: «Да, Нора, я упомянул вас в письме к правительству, так как считаю вас своей семьей. Вы не будете протестовать против этого?» Она тогда ничего не поняла и ответила: «Упоминайте, где хотите!...»<sup>390</sup>

Поняла, когда было поздно. Зачем Маяковский упомянул ее в письме, не очень понятно. Таким образом он громогласно обнародовал их связь, и имя Полонской напечатали все газеты. Репутация молодой замужней женщины была разорвана в клочья. Яншин после этого с ней развелся, а начинавшая брезжить актерская карьера почти сошла на нет: редкие постановки, пара малозаметных киноролей, одиночество и долгие десятки лет постоянного прокручивания в памяти одного злосчастного солнечного апрельского дня.

Наверняка, упоминая Полонскую, Маяковский стремился позаботиться о ней материально. Он как бы объявлял всех перечисленных своими наследниками. Но Лилия оказалась гораздо оборотистее и хитрее. В день похорон она позвонила Полонской и безапелляционно заявила, чтобы та на похороны не казалась носа. Нора с самого начала была пешкой в ее шахматной партии — Лилия когда-то сама ввела ее в игру, но теперь, увидев, что пешка метит в ферзи, поспешила от нее избавиться. Она убедительно разъяснила юной Норе, что на нее обращен нездоровый обывательский интерес и что не стоит провоцировать толпу на инциденты. «Кроме того, — вспоминала Вероника Витольдовна, — она сказала тогда такую фразу: “Нора, не отравляйте своим присутствием последние минуты прощания с Володей его родным”»<sup>391</sup>. Лилия намекала, что мать и сестры Маяковского



виновницей трагедии считают Полонскую. И простодушная, испуганная Нора повиновалась.

После кремации Лиля вызвала актрису к себе. Полонская пишет:

«У нас был очень откровенный разговор. Я рассказала ей всё о наших отношениях с Владимиром Владимировичем, о 14 апреля. Во время моего рассказа она часто повторяла:

— Да, как это похоже на Володю.

Рассказала мне о своих с ним отношениях, о разрыве, о том, как он стрелялся из-за нее. Потом она сказала:

— Я не обвиняю вас, так как сама поступала так же, но на будущее этот ужасный факт с Володи́ей должен показать вам, как чутко и бережно нужно относиться к людям»<sup>392</sup>.

Однако обвинявших Полонскую всё равно хватало. Даже в современных исследованиях периодически озвучивается версия, что Маяковского убили и сделала это именно молодая актриса — в состоянии аффекта, вырываясь из его рук. Один из аргументов в пользу этой версии — несоответствие показаний, данных Полонской следователю, и того, что она впоследствии писала в воспоминаниях. Под протокол она говорила, будто заявила Маяковскому, что его не любит, жить с ним не будет, от мужа не уйдет и что интимной связи у них с поэтом не было; всё это говорилось, чтобы пощадить чувства Яншина и спасти свое доброе имя. Отмечают и то, что, согласно показаниям разных свидетелей-соседей, в момент выстрела Нора находилась в комнате, а не в коридоре, и что слишком уж долго она металась по двору, ожидая «скорую», — наверняка успела сбежать на Лубянку и вызвать гэпэушников (а кто же еще их вызвал?). А может, и вовсе никакой любви не было, а было только задание выуживать у поэта информацию; недаром же она просила Маяковского не видаться с ней два дня — видно, ждала указаний от начальства... В общем, ерунды сочинялось и сочиняется тьмища.

Одно можно сказать точно: наследства Полонская не получила. В июне ее вызвали в Кремль, и она тут же позвала Лиле, чтобы посоветоваться:

«Лиля Юрьевна сказала, что советует мне отказаться от своих прав. “Вы подумайте, Нора, — сказала она мне, — как это было бы тяжело для матери и сестер. Ведь они же считают вас единственной причиной смерти Володи и не могут слышать равнодушно даже вашего имени”. Потом она сказала мне, что знает мнение, которое существует у правительства. Это мнение, по ее словам, таково: конечно,

правительство, уважая волю покойного, не стало бы протестовать против желания Маяковского включить меня в число его наследников, но неофициально ее, Лилию Юрьевну, просили посоветовать мне отказаться от моих прав»<sup>393</sup>.

Впечатлительная Нора поверила многоопытной женщине, хотя и зачеркивала тем самым всё, что было ей дорого. Если ее так ненавидят, не может же она навязываться. В Кремль она, однако, пошла, потому что не могла предать последнюю волю поэта. Ей предложили вместо наследства какую-нибудь путевку. Раздавленная Нора ретировалась. Лиля, как всегда, победила: ВЦИК и Совнарком присудили ей половину гонораров от произведений Маяковского, другая половина доставалась матери и сестрам. Почему апельсин поделили не поровну на всех четверых (ну а Норе — кожура!), неизвестно, но наверняка и за этим стояла хваткая Лиля.

О Норе Брик всегда высказывалась немножко пренебрежительно. Муж племянницы Катаняна потом рассказывал: «Помню, она как-то неожиданно резко, глубоко презрительно, с кривой улыбкой сказала про Полонскую: “Она была уверена, что Володя застрелился из-за нее!”»<sup>394</sup>.

А вот отрывок из позднего интервью Лили македонскому журналисту, записанного Ваксбергом: «Нора Полонская — это вообще несерьезно. Сколько было у него таких увлечений? Десятки! И они проходили, как только девочка во всём ему уступала, подчинялась его воле. С Норой произошла осечка. Она была замужем и прекрасно понимала, что никакой жизни с Володей у нее не будет. Нет, дело не в Норе. Володя страшно устал, он выдохся в непрерывной борьбе без отдыха, а тут еще грипп, который совершенно его измотал. Я уехала — ему казалось, что некому за ним ухаживать, что он, больной, несчастный и никому не нужный. Но разве я могла предвидеть эту болезнь, такую его усталость, такую ранимость?»<sup>395</sup>

Лиля считала, что выстрел был следствием преследовавшей Маяковского навязчивой боязни старости, а еще — игрой в русскую рулетку. Эльзе она писала:

«Стрелялся Володя, как игрок, из совершенно нового, ни разу не стрелянного револьвера; обойму вынул, оставил одну только пулю в дуле — а это на 50 процентов осечка. Такая осечка была уже 13 лет тому назад, в Питере. Он во второй раз испытывал судьбу. Застрелился он при Норе, но ее можно винить, как апельсиновую корку, об которую поскользнулся, упал и разбился насмерть»<sup>396</sup>.

В том же письме она опять спешила напомнить о своей роли музы:

«Стихи из предсмертного письма были написаны давно, мне, и совсем не собирались оказаться предсмертными:

Уже второй: должно быть ты легла, а может быть и у тебя такое.

Я не спешу и молниями телеграмм мне незачем тебя будить и беспокоить.

Как говорят, “инцидент исперчен”.

Любовная лодка разбилась о быт.

С тобой мы в расчете и не к чему перечень взаимных болей, бед и обид.

“С тобой мы в расчете”, а не “Я с жизнью в расчете”, как в письме»<sup>397</sup>.

На самом деле это неоконченное стихотворение Маяковского — из его записной книжки 1927—1928 годов. Оно писалось в период разлуки с Татьяной Яковлевой и скорее всего посвящалось именно ей, а не Лиле. Впрочем, наивная Полонская полагала, что стихи и вовсе про нее. Она недоумевала: «Вряд ли Владимир Владимирович мог гадать, легла ли Лиля Юрьевна, так как он жил с ней в одной квартире. И потом “молнии телеграмм” тоже были крупным эпизодом в наших отношениях»<sup>398</sup>.

Впрочем, кое-что, наверное, вдохновлено и Норой. Он читал ей:

Любит? не любит? Я руки ломаю  
и пальцы  
разбрасываю разломавши...

«Прочитавши это, сказал:

— Это написано о Норкище»<sup>399</sup>.

Однако же «Норкища» осталась на бобах. Вероятно, отнеся ее от наследства, Лиля пеклась не столько о деньгах, сколько о собственной единственности. Характерно, что в одном разговоре уже после ухода Маяковского она сказала Полонской: «Я никогда не прошу Володе двух вещей. Он приехал из-за границы и стал в обществе читать новые стихи, посвященные не мне, даже не предупредив меня. И второе — это как он при всех и при мне смотрел на вас, старался сидеть подле вас, прикоснуться к вам»<sup>400</sup>.

В мае, перед тем как Полонскую вызвали в Кремль, Катанян и Асеев пришли к наркомму просвещения Андрею

Бубнову и по его предложению написали обращение, в котором просили правительство закрепить за семьей Маяковского права на наследство (половину его «жене» Лиле Брик и по шестой части матери и сестрам). В качестве семьи перечислялись все упомянутые в предсмертной записке — кроме Норы.

Уже через месяц «Известия» напечатали постановление Совета народных комиссаров об увековечении памяти Маяковского, обязавшее Госиздат выпустить полное академическое собрание сочинений поэта — под наблюдением Лили Юрьевны Брик. Каждой из четырех наследниц назначалась персональная пенсия в 300 рублей (равная средней зарплате ученого в 1930-е годы). Поднимался также вопрос о сохранении комнаты поэта. Срок очередного разрешения на проживание в ней заканчивался у Маяковского 15 апреля 1930 года, так что, выходит, освободил он ее ровно в срок. Теперь комната официально закреплялась за Лилей.

Кстати, шуршание бумажек перед прощанием с Маяковским Полонской послышалось неспроста. В мусорном ведре у письменного стола поэта обнаружили два листочка из отрывного календаря — от 13 и 14 апреля — и разорванная пополам фотография, самый первый снимок Лили и Маяковского, сделанный в 1915 году и хранившийся у него в отцовском портсигаре. Судебное следствие велось так неаккуратно, что бумажки даже не изъяли, и фотографию забрала себе уборщица (через много лет она отдаст ее в музей поэта).

За разбор бумаг взялась Лиля, взяв в подручные Галину Катанян. Все письма Татьяны Яковлевой она уничтожила — муза может быть только одна. Последнюю, купленную в Париже рубашку, в которой Маяковский стрелялся, забрала пока себе, как и все ценные книги и вещи поэта (следователи вернули всё изъятое ей в руки). Многие видели в этом корысть. К примеру, дочь Маяковского Патриция Томпсон довольно едко рассказывала журналистам, как уже после смерти Лили побывала в гостях у ее пасынка, как изучала у них в квартире рисунки, рукописи и вещи своего отца, из которых ей ничего не досталось, как хозяева дома предложили ей кусочек одежды Маяковского и она подумала: «Предложить родной дочери кусочек одежды? Тогда как им досталось всё? Ну что это за люди!» Впрочем, если бы не Лиля, бережно сохранившая всё, что было связано с ее Щеном, кто знает, дошло бы до нас вообще что-нибудь? Недаром в ноябре 1930 года Лиля запишет:

«Никто кроме нас Володей не интересуется. Без нас всё было бы в печке»<sup>401</sup>.

Как бы то ни было, но очень скоро Лиля с Осей пере-  
едут в дом кооператива имени Красина, о чем для них поза-  
ботился Маяковский. Он и с того света продолжал кормить  
их. Правда, ненависть к Брикам в окололитературных кру-  
гах тоже крепла. Бытовала точка зрения, что именно Лилия  
довела поэта до пули. Сплетня даже превратилась в стихи  
Ярослава Смелякова. Они были напечатаны в 1973 году, в  
десятом номере альманаха «Поэзия»:

...Ты б гудел, как трехтрубный крейсер,  
в нашем общем многоголосье,  
но они тебя доконали,  
эти лили и эти оси.

Не задрипанный фининспектор,  
не враги из чужого стана,  
а жужжавшие в самом ухе  
проститутки с осиным станом.

Эти душечки-хохотушки,  
эти кошечки полусвета,  
словно вермут ночной, сосали  
золотистую кровь поэта.

Ты в боях бы ее истратил,  
а не пролил бы по дешевке,  
чтоб записками торговали  
эти траурные торговки.

Для того ль ты ходил, как туча,  
медногорлый и солнцеликий,  
чтобы шли за саженым гробом  
вероники и брехобрики?!

## В ОБА, ЧЕКИСТ, СМОТРИ

Уже в 1959 году Анна Ахматова, по обыкновению об-  
суждая Лилию Брик с Лидией Чуковской, язвительно ус-  
мехнулась: «Они пытались создать литературный салон.  
Но не в шитье была там сила. А ведь был Маяковского, то  
есть Бриков, противопоставлялся в те времена искусству.  
Искусство отменено — оставлен салон Бриков. Карты,  
бильярд, чекисты»<sup>402</sup>.

С этим трудно не согласиться. После большевистского переворота любая живая мысль, любые группы или салоны, где попахивало интеллектом или талантами, безжалостно выкорчевывались. К примеру, будущего академика Дмитрия Лихачева арестовали в те годы только за то, что он участвовал в шуточном кружке «Космическая академия наук».

При этом в квартире у Бриков кипела литературная жизнь. Отчего им это позволялось? Не оттого ли, что среди гостей-завсегдатаев в осячье-кисячем доме были чекисты? Мало того, Ося и сам несколько лет проработал уполномоченным 7-го отделения секретного отдела Московской ЧК. Недаром судачили, что, когда в 1921 году по делу Петроградской боевой организации Таганцева арестовали любовника Лили Николая Пунина, его жена кинулась Лиле в ноги и умоляла о спасении.

Следствие по делу группы Таганцева возглавлял высокопоставленный чекист Яков Агранов. Он тогда утверждал, что 70 процентов петроградской интеллигенции находились одной ногой в стане врага; нужно было эту ногу ожечь. В результате ногу ожгли так, что сотня человек была расстреляна, среди них — поэт Николай Гумилев. Пунина ждала та же участь, но помогли хлопоты Осипа. (Впрочем, это был только первый арест. После второго Пунина спасет адресованное Сталину прошение Ахматовой и Пастернака. После третьего ареста, уже в конце сороковых, Пунин не вернется.)

Яков Агранов через несколько лет станет другом семьи Бриков и Маяковского, и он же будет проводить расследование гибели поэта. Лили ласково называла его Яней. После самого последнего расставания — отъезда Бриков за границу в феврале 1930-го — Маяковский писал Лиле:

«Валя (жена Агранова. — А. Г.) и Яня примчались на вокзал уже когда поезд пополз. Яня очень жалел что не успел ни попрощаться ни передать разные дела и просьбы. Он обязательно пришлет письмо в Берлин»<sup>403</sup>.

Яня стал к тому времени начальником секретного отдела ОГПУ и курировал творческую интеллигенцию. Именно он в начале двадцатых годов составлял для Ленина список ученых и писателей для высылки из страны. Поднявшись на «философском пароходе» и деле Таганцева, Агранов развернулся на всю катушку — в 1934 году стал первым заместителем наркома внутренних дел Ягоды, руководил следствием по убийству первого секретаря Ленинградского

обкома ВПК(б) Сергея Кирова, участвовал в организации процесса над старыми большевиками Григорием Зиновьевым и Львом Каменевым, да, по сути, и всех мало-мальских громких процессов того жуткого времени, выписал ордер на первый арест Осипа Мандельштама. В 1937-м, когда чистки коснутся самих чекистов, Валю и Яню арестуют, а через год расстреляют. Валю, правда, реабилитировали в 1957 году, а вот в реабилитации самого Агранова отказывали три раза (принятое в 2013 году решение о реабилитации было через несколько месяцев аннулировано Верховным судом РСФСР).

Этот кровавый Яня был одним из ближайших друзей Лили и постоянно ошивался у них в Гендриковом и на даче в Пушкине. К примеру, когда Полонская пришла к Лиле на разговор, Агранов с женой сидел в столовой. А телеграмма о смерти Маяковского, прочитанная Бриками в Берлине, была подписана именами: «Лева и Яня», то есть Гринкругом и Аграновым. (Вениамин Смехов в разговоре со мной утверждал, что подпись Агранова нужна была лишь для того, чтобы ускорить телеграмму; так ему в свое время объяснял сам Гринкруг.)

Но Яней дело не ограничивалось. Одним из друзей семьи был Валерий Горожанин, с которым Маяковский познакомился в Харькове в середине 1920-х годов, в 1927-м они даже вместе проводили отпуск в Ялте и писали сценарий фильма «Инженер д'Арсии». Горожанин был старый большевик, приговоренный к расстрелу Деникиным, работал в украинском ГПУ, потом перевелся в Москву и стал начальником особого бюро Наркомата внутренних дел, занимавшегося внешней разведкой. Расстреляли его в том же 1937-м. Маяковский посвятил ему стихи «Солдаты Дзержинского»:

...Есть твердолобые  
вокруг  
и внутри —  
зорче  
и в оба,  
чекист,  
смотри!..

Чем же Ося занимался в ЧК? В его обязанности входила слежка за бывшими буржуями — но, видимо, не только. Лилиа описала эпизод из его практики: «Ося вспомнил, как одна баба написала в Чеку донос на мужа, что он “приставал к ней под светлый праздник 1-го мая”». Догадались, что в

этот год 1-ое мая совпадало с первым днем пасхи!»<sup>404</sup> Осина работа на Лубянке ни от кого из друзей не скрывалась. Чекисты в то время считались героями, знакомством с ними гордились. Лиля запросто говорила при гостях: «Подождите, скоро будем ужинать, только Ося вернется из ЧК». Один раз кто-то даже повесил на их входной двери эпиграмму:

Вы думаете, здесь живет Брик, исследователь языка?  
Здесь живет шпик и следователь Чека.

В авторстве подозревали Есенина, который и сам был горазд водиться со всякими блюмкиными.

Неизвестно, какими именно подвигами отметился Ося на чекистском фронте, но знакомым он помогал. Наверняка и Елену Юльевну Каган устроили в лондонский АРКОС не без его участия. В АРКОСе в ту пору, когда с Британией не было дипотношений, явно занимались не только закупкой товаров. Недаром британские спецслужбы нагрянули туда с обыском. Именно по Осиной протекции родители и сестра Пастернака в 1921 году смогли выехать за границу. А вот довольно занимательный эпизод из воспоминаний переводчицы и свояченицы Валерия Брюсова Брониславы Погореловой, писавшей: «О Маяковском поговаривали, что у него — очень крепкая, романтическая связь с молодой художницей, женой крупного чекиста»<sup>405</sup>.

Она встретила его зимой на улице в роскошной шубе и с новыми зубами и решила, что такой человек уж точно сможет оказать протекцию старому другу ее семьи, случайно оказавшемуся в тюрьме без всякой вины. Дело было в ведении Московской ЧК; именно там работал Ося — как называет его Погорелова, «следователь, у которого проживал Маяковский». Она вспоминает:

«Стоял конец зимы. Кругом слякоть, понурые, убого одетые люди. Мерзли мы в ту пору и на улице, а еще больше — в нетопленных квартирах. Голодали, жались в страхе, и мало кто спал по ночам. Создавалась всюду невыносимая, удручающая атмосфера.

Когда же передо мной открылась дверь в квартиру следователя Б[ри]ка, я очутилась в совершенно ином мире. Передо мной стояла молодая дама, сверкающая той особой, острой красотой, которую наблюдаем у блондинок-евреек. Огромные, ласковые карие глаза. Стройный, гибкий стан. Очень просто, но изысканно-дорого одета. По огромной, солидно обставленной передней носился аромат тонких духов.



— Володя, это к тебе, — благозвучно позвала блондинка, узнав о цели моего прихода.

Вышел Маяковский. В уютной, мягкой толстовке, в ночных туфлях.

Поздоровался довольно величественно, но попросил в гостиную. Там, указав мне на кресло и закулив, благосклонно выслушал меня. Причем смотрел не на меня, а на дорогой перстень, украшавший его мизинец.

Появилась очаровательная блондинка.

— Дорогая, — обратился к ней Маяковский, — тут такое дело... Только Ося может помочь...

— Сейчас позову его...

Во всём ее существе была сплошная радостная готовность услужить, легкая, веселая благожелательность.

Очень скоро она вернулась в сопровождении мужа. Небольшого роста, тщедушный, болезненного вида человек с красноватыми веками. Лицо утомленное, но освещенное умом пронизательных и давящих глаз. Пришлось снова рассказать свою печальную историю и повторить просьбу.

С большим достоинством, без малейшего унижения или заискивания Маяковский прибавил от себя:

— Очень прошу, Ося, сделай, что возможно.

А дама, ласково обратившись ко мне, ободряюще сказала:

— Не беспокойтесь. Муж даст распоряжение, чтобы вашего знакомого освободили.

Б[ри]к, не поднимаясь с кресла, снял телефонную трубку...

С этого острова счастья, тепла и благополучия я унесла впечатление гармонически налаженного *ménage en trois* (семьи втроем. — А. Г.). Каждый член этого оригинального союза казался вполне счастливым и удовлетворенным. Особенно выиграл, казалось, в этом союзе Маяковский. Средь неслыханной бури, грозно разметавшей всё российское благополучие и все семейные устои, он неожиданно обрел уютный очаг, отогревший его измученную, ущемленную душу бродяги»<sup>406</sup>.

Золотисто-рыжие волосы Лили показались просительнице белокурыми, а их квартира — целым дворцом. Видно, так действовала магическая для советского уха аббревиатура ЧК, которая даже в первые, романтические пореволюционные годы уже звучала жутковато. К примеру, в личной беседе с Бенгтом Янгфельдтом Роман Якобсон вспоминал, как его шокировали рассказы Оси о своей работе: «В кон-

це двадцать второго года я встретил Бриков в Берлине. Ося мне говорит: “Вот учреждение, где человек теряет сентиментальность”, и начал рассказывать несколько довольно кровавых эпизодов. И тут-то в первый раз он на меня произвел такое, как вам сказать, отталкивающее впечатление. Работа в Чека его очень испортила”»<sup>407</sup>.

Именно заветные корочки позволяли Осе и Лиле свободно мотаться за границу. Множественное число здесь не случайно — удостоверения сотрудников ГПУ были у обоих Бриков: у Оси под номером 24541, у Лили — под номером 15073. В годы советской перестройки их обнаружил и обнародовал журналист Валентин Скорятин<sup>408</sup>. Б. Янгфельдт тоже уверял в одном из радиоэфиров, что держал удостоверение Лили в руках.

Правда, исследователи, и Янгфельдт в том числе, считают, что наличие страшного документа Лилию вовсе не компрометирует — дескать, вероятно, «корочки» были чистой формальностью и состряпаны лишь для того, чтобы Брик поскорее получила бумаги для выезда в Англию. Но можно ли было запросто выписать липовое удостоверение столь серьезной организации? Вряд ли. К тому же номер ее удостоверения меньше, чем номер Осиного, а значит, она получила «корочки» раньше мужа. Лилия, скорее всего, являлась агентом всамделишным. Не стали бы энкавэдэшники упускать столь полезный кадр — она постоянно вращалась в творческих кругах, всех знала, со всеми дружила, говорила на иностранных языках, якшалась с невозвращенцами. Источник — черпать не перечерпать. А вдобавок еще и шарм, соблазнительность — словом, медовая ловушка с неиссякаемым потенциалом.

Дочь Маяковского Хелен Патриция Томпсон касалась этого вопроса в интервью «Комсомольской правде»:

«— Но вот ваш отец — он же оставил вашу маму...

— О, это другая история, — отвечала Елена Владимировна. — Маяковский понимал, что со мной и мамой может что-то случиться, если в Москве про нас узнают.

— Вы о том, что Лилия Брик — долгая любовь поэта — была агентом НКВД?

— Это всем известно. Я сейчас пишу книгу об этих взаимоотношениях. — Елена Владимировна стукнула по клавишам своего компьютера, и он проснулся, на экране загорелся текст.

“Мама всё время боялась, что Лилия Брик или ее агенты смогут найти нас. Когда мои родители встретились в Ницце,

Маяковский признался Элли, что он становится очень подозрительным и испытывает тревогу и даже страх из-за Брик и ее идеологических друзей”, — прочитал я (неподписавшийся корреспондент «Комсомольской правды». — А. Г.) последние строки на экране и спросил:

— А с чего вы взяли, что вам грозила опасность? От НКВД вас отделял целый океан...

— Когда Маяковский перестал быть в фаворе у власти, с его знакомыми стали случаться странные вещи.

— В смысле?

— Даже были смертельные случаи. И в США тоже.

— Например?

— Во время своей трехмесячной командировки в Америку мой отец подружился с одним русским эмигрантом — он работал в крупнейшей железнодорожной корпорации США “Амтрак”. Так вот — он неожиданно утонул в воде глубиной в три фута...»<sup>409</sup>

Речь шла, конечно, о Хургине и «Амторге». Впрочем, никаких доказательств реальной агентурной работы Лили пока нет. Мы можем узнать об этом, только когда откроют все архивы Лубянки. Да и трудности с выездом Бриков в 1930 году не вяжутся с их работой на ОГПУ.

Однако же кое-какие любопытные деталистораживают. В 1921 году по дороге в Ригу Лили познакомилась с молодым служащим Наркомата иностранных дел, чекистом Львом Эльбертом. Не знаю, было ли между ними что-нибудь амурное и кто кого больше использовал, но с тех пор Эльберт был у рыжей бестии чуть ли не на побегушках. В марте 1930-го, в отсутствие Бриков, он зачем-то даже поселился с Маяковским в Гендриковом, и Лили через поэта слала ему поцелуи. В письмах Лили Эльберт назван Снобом. «Обязательно скажи Снобу, что адрес я свой оставила, но никто ко мне не пришел, и это очень плохо»<sup>410</sup>, — пишет она Маяковскому из Берлина 2 марта 1930 года.

Кто должен был прийти к Лиле? Как это было связано с энкавэдэшником Снобом? Сейчас мы этого не узнаем, но если Лили и вправду служила информатором, то друзья с Лубянки определенно в долгу не оставались и тоже кое-что ей рассказывали. 9 января 1930 года Лили записала в дневнике:

«Сноб показывал письмо про Татьяну: “Т. вышла замуж за виконта с какой-то виллой на каком-то озере. Распинается, что ее брат расстрелян большевиками — очевидно,

хващается перед знатной родней — больше нечем. Явилась ко мне и хвасталась, что муж ее коммерческий атташе при франц[узском] посольстве в Польше. Я сказал, что должность самая низкая — просто мелкий шпик. Она ушла и в справедливом негодовании забыла отдать мне 300 франков долгу. Что ж, придется утешиться тем, что в числе моих кредиторов виконт такой-то»...»<sup>411</sup>

Значит, она прекрасно знала, что за Татьяной и Маяковским ведется наблюдение.

Этот самый Сноб появляется даже в Лилиных снах. В июне 1930 года она записала:

«Приснилось, что пришел разнощик с лотком фруктов и овощей, а Сноб смотрит и говорит: удивительно, до чего у нас ничего не умеют делать — почему, например, все фрукты разных размеров?»<sup>412</sup>

Сноб Эльберт был и вправду человек гипнотический. Говорил неспешно, цедил слова, зато переплыл Средиземное море в паровой трубе, мог исчезнуть на год-два в какой-то секретной экспедиции и появиться снова как ни в чем не бывало. Его арестовывали в Стамбуле, он работал в подполье и под прикрытием в Латвии, Греции, Швеции, Норвегии, Палестине, Польше... Кличек и личин у него было множество: корреспондент ТАСС Юрашевский, Геллер, Орлов... А умер в 1946-м в Восточной Германии — неизвестно, своей ли смертью.

Но важно отметить, что Осипа уволили из ГПУ в начале 1924 года. Официальной причиной было названо дезертирство — он то и дело избегал участия в операциях, ссылаясь на болезни, прикрывался медицинскими справками. Этот факт был также раскопан Скорятиным в начале девяностых годов. Возможно, причина такого поведения Осипа Максимовича — бунтовавшая совесть, но скорее дело было в природной бриковской осторожности. Ося просто не лез на рожон.

Лилию, однако же, из органов как будто не увольняли, а связи семьи-тройки с чекистами крепили с каждым годом. В 1920-е военные постоянно отдыхали на даче в Пушкине вперемешку с писателями и художниками. Оттачивали мастерство, стреляя по пням, и Лилия тренировалась вместе с ними. Даже сохранилась фотография, где она целится из «браунинга». В 1928 году Маяковский описывал развлечение гостей в стихотворении «Дачный случай»:

...Поляна —  
и ливень путь на нее,  
огонь  
отзвенел и замер,  
лишь  
вздрагивало  
газеты рваньё,  
как белое  
рваное знамя...

Даже на групповом снимке, сделанном на дачной веранде в Пушкине, не обошлось без чекистов: Агранов сидит в нижнем ряду с Родченко, Луэллой, Кирсановым, Маяковским, Катаняном, Осипом, Женей и Виталием Жемчужными, Ольгой Маяковской...

Говорили, что Агранов тоже спал с Лилей; это в точности неизвестно, но очень может быть. Ее привлекали люди власти, а люди темной власти — наверняка еще больше. Ахматова говорила Чуковской: «Мне о Лиле Юрьевне рассказывал Пунин: он ее любил и думал, что и она любила его. А у меня теперь, когда гляжу назад, возникла такая теория: Лилия всегда любила “самого главного”: Пунина, пока он был “самым главным”, Краснощекова, Агранова, Примакова... Такова была ее система»<sup>413</sup>.

Присутствие людей в форме, конечно, напрягало некоторых людей искусства. Пастернак, к примеру, с некоторой оторопью отмечал, что квартира Бриков была, в сущности, отделением московской милиции. А Елизавета Лавинская вспоминала: «На лефовских “вторниках” стали появляться всё новые люди — Агранов с женой, Волович (речь о нем пойдет ниже. — А. Г.), еще несколько элегантных юношей непонятных профессий. На собраниях они молчали, но понимающе слушали, умели подходить к ручкам дам и вести с ними светскую беседу. Понятно было одно: выкопала их Лилия Юрьевна. Мне, по наивности, они казались “лишними людьми” нэповского типа. Агранов и его жена стали постоянными посетителями бриковского дома...»<sup>414</sup> По ее словам, Маяковский ласково называл Агранова «Агранычем».

Товарка Лавинской, художница-лефовка Елена Семенова подхватила:

«На одном из заседаний ЛЕФа Маяковский объявил, что на заседании будет присутствовать один товарищ — Агранов, который в органах госбезопасности занимается вопросами литературы. “Довожу это до вашего сведения”, — сказал Маяковский. Никого не удивило это. В то

время советские люди и, конечно, лефовцы с полным доверием и уважением относились к органам безопасности.

С тех пор на каждом заседании аккуратно появлялся человек средних лет в принятой тогда гимнастерке, иногда в штатском. У него были мелкие, не запоминающиеся черты лица. В споры и обсуждения он никогда не вмешивался. С ним всегда приезжала его жена, очень молоденькая, много моложе его. Она была то, что называется смазлива. Как говорили, она была женой одного из подследственных... Бывали в ЛЕФе и другие работники этого учреждения, но я их не видела...»<sup>415</sup>

(Жена Агранова и вправду раньше была замужем за красным командиром Кухаревым, расстрелянным за шпионаж в пользу Польши. Дело вел Агранов и допрашивал ее как жену шпиона. В результате Валя забеременела прямо в допросном кабинете, и дело кончилось свадьбой.)

А вот что много лет спустя Олегу Смоле рассказывала «подлилька» Рита Райт-Ковалева:

«...*Р[ита] Я[ковлева]*: Когда я приехала из Ленинграда и пришла к Лиле, впервые увидела Агранова и еще кого-то с ним. Он сразу произвел на меня отталкивающее впечатление. Лиля почувствовала мой настрой, вывела меня в соседнюю комнату и говорит: "Молчи, ничего не говори!" Поздно вечером выходили все вместе, и Лиля попросила Агранова подвезти меня. Нехотя садилась в машину. Было около двенадцати ночи, когда мы подъехали к Лубянке. Агранов попросил остановить машину. Жена говорит ему: "Ты опять хочешь остаться? Не надо, поехали домой". "Нет, — отвечает Агранов, — контрикам не надо спать ночью".

*Я* (Олег Смола. — *А. Г.*): Лавут считает, что в смерти Маяковского виновна Л. Ю. и что она через Агранова воспрепятствовала выезду Маяковского во Францию к Татьяне Яковлевой.

*Р. Я.*: Это вранье. В. В. не поехал, потому что узнал, что Яковлева вышла замуж... Она, видимо, его не любила, он ей нравился, нравилось, что он высокого роста. Она так и говорила: "Володя единственный из мужчин ростом выше меня"».

Снова речь зашла об Агранове.

«*Р. Я.*: Что могло быть общего между Маяковским и Аграновым? Ничего! В. В. был молчалив, немногословен, сосредоточен. Никогда не хохотал — он только улыбался. <...> Уже тогда я чувствовала, понимала, что происхо-

дит что-то не то, сажали невинных. Мы только думали, что там, наверху, ничего не знают.

*Я:* А как вы думаете, знал ли, понимал Маяковский, что происходит?

*Р. Я.:* С его гениальной интуицией он этого не мог не чувствовать. Он единственный из поэтов не писал тогда культовых стихов.

*Я:* А поэма “Владимир Ильич Ленин”?

*Р. Я.:* Это Брик — от него...

*Я:* Значит, трагедия Маяковского не личная, не любовная, а социальная, творческая?

*Р. Я.:* Думаю, что да.

*Я:* Он видел, как накатывается нечто, не совсем то, чего он ждал и чему пропел хвалу, и вот, возможно, даже самому себе не решаясь признаться в своих чувствах, он кончает с собой...

Пока я рассуждал так, Р. Я. смотрела на меня, кивала головой, а когда я закончил, она, слегка притронувшись к моему плечу, воскликнула: “Именно!”

*Я:* А вы об этом когда-нибудь говорили с Маяковским, высказывал ли он какие-нибудь сомнения относительно происходящего?

*Р. Я.:* Что вы, никогда! Об этом нельзя было говорить даже с Лилей Юрьевной. Однажды мы ехали на автомобиле и остановились в чистом поле. Я говорю ей, что же происходит, сажают невинных людей (как раз тогда посадили мою родную сестру)? А Лиля мне резко отвечает: “Если ты хочешь, чтобы мы оставались друзьями, никогда не говори со мной на эту тему”. Вообще Лиля всегда — и до сих пор! — относилась ко мне, как к девочке, которая должна ее обожать. Когда я сказала ей, что меня приглашают к себе шесть университетов, она крайне удивилась этому»<sup>416</sup>.

В том же разговоре Райт решительно отвергла предположение, что у Лили с Аграновым была близость.

Кстати, американцам Энн и Сэмюэлу Чартер, готовившим книгу про Лилю и Маяковского, Рита Райт наговорила, что Лиля ее вербовала в органы и что она даже была согласна, но во время первого интервью так волновалась, что ее признали профнепригодной. Катанян за это страшно обозлился на Райт и называл ее лгуньей, они даже перестали разговаривать. Лиля же сказала Олегу Смоле, что Рита прекрасный человек, только очень некрасивая.

Ну а слухи, что за смертью Маяковского стояла Брик, действительно «тут и там ходили по домам». Вот и Анна

Ахматова говорила Чуковской: «Знаменитый салон должен был бы называться иначе... И половина посетителей — следователи. Всемогущий Агранов был Лилиным очередным любовником. Он, по Лилиной просьбе, не пустил Маяковского в Париж, к Яковлевой, и Маяковский застрелился»<sup>417</sup>.

Так же думал и Павел Лавут. В 1978 году он заявил Олегу Смоле, что не разговаривает с Лилей Юрьевной уже десять лет (ох уж эти стариковские счеты!):

«П[авел] И[льич]: Брик была пустой и легкомысленной особой, любившей славу, блестящее окружение, деньги, легкую жизнь. Если Маяковский получал, скажем, 1000 рублей, то 100 он брал себе, а 900 отдавал им. Автомобилем она пользовалась, как своим. Маяковскому ведь ничего не надо было, у него ничего не было, не было сберкнижки — это сейчас каждый имеет сберкнижку.

Я: Маяковский любил ведь эту женщину. Можно ли перечеркнуть роль Л. Ю., чувством к которой рождены прекрасные, может быть, самые лучшие произведения поэта? Говоря старым языком, она была его музой — можно ли не принимать этого в расчет?

П. И. (пылко): Было вначале что-то, а потом между ними уже ничего не было! Шкловский — вы знаете его! — произнес по этому поводу классическую фразу: «Она никогда никого не любила!» Потом она только боялась его потерять, его деньги, славу, в лучах которой она грелась. И вот, чтобы предотвратить его женитьбу на Татьяне Яковлевой, она, во-первых, перехватывала все письма Яковлевой к Маяковскому, не показывала их ему (потом сожгла их, сняв, конечно, с них копии); в этих письмах велись переговоры о встречах в Париже, об их женитьбе и т. д. И, во-вторых — и самое главное! — будучи в близких отношениях с Аграновым, ответственным работником ГПУ, она подговорила его сделать так, чтобы Маяковскому был дан отказ в выезде за границу. И вот в октябре 1929 года Маяковский просит визу во Францию, но получает отказ. Этот отказ был дан по прямому распоряжению Агранова.

Я: Откуда это известно? Может быть, отказали по какой-то другой причине, без тайного вмешательства Брик?

П. И.: Это всё известно стало из достоверных источников лет 10 назад. Дело в том, что работник учреждения, выдававшего визы, Бродский, симпатичный, скромный, очень хороший человек, находился в комнате со своим коллегой по службе, которому как раз в это время позвонил Агранов и дал распоряжение не выдавать визы Маяковскому.



Что это был Агранов, а не кто другой, Бродский понял по тому, как называл его по имени-отчеству коллега Бродского — Яков Саулович, имя редкое, перепутать невозможно. Бродский рассказал об этом Горожанину, тоже работнику ГПУ, позже репрессированному... А мне об этом под большим секретом — просила об этом никому не говорить — лет десять назад рассказала жена Горожанина, с которой я был дружен всегда. Так вот, Маяковский, узнав об отказе в визе, был глубоко расстроен, убит, и с этого момента, в течение полугода, вынашивал мысль о самоубийстве. Конечно, Брик не полагала, что ее подлость станет причиной смерти Маяковского, но факт есть факт, она пошла на всё, чтобы только воспрепятствовать женитьбе Маяковского на Яковлевой. А Вероника Полонская — она только соломинка, за которую хватался Маяковский...

**Я:** Значит, причиной смерти поэта была личная трагедия, но никак не творческая?

**П. И.:** Да, только личная. Он ведь не знал, что это подстроила ему Брик, он думал, что это исходит сверху»<sup>418</sup>.

Лиля Юрьевна от нападок Лавута только отмахивалась: дескать, она его даже не пускала на порог, не того уровня персонажик. Зато на порог с удовольствием пускались люди с погонами. Среди них был и упомянутый Лавинской Захар Волович (Зоря), который под именем Владимир Янович числился секретарем советского генконсула в Париже, а на самом деле был начальником парижского отдела ОГПУ. Они с женой Фаиной, специалистом по шифровке и начальницей фотоотдела, бывая в Москве, тоже заходили на огонек в квартиру в Гендриковом. Благодаря этим связям Лиля могла переписываться с Эльзой через дипломатическую почту, которая не подвергалась очевидной перлюстрации. (Зорю, разумеется, тоже расстреляют в 1937-м, по делу бывшего наркома внутренних дел Генриха Ягоды.)

Захаживал к Брикам и Маяковскому и московский начальник Воловича, Михаил Горб (настоящее имя — Моисей Санелевич Розман). Одно время он под фамилией Червяков работал по линии разведки в Германии. «Вот парадокс. Ему приходится расстреливать людей, а ведь это самый сентиментальный человек, каких я знал»<sup>419</sup>, — говорил об этом Лилином госте Исаак Бабель. (Сам Горб-Розман был арестован и расстрелян в 1937 году, реабилитирован в 2012-м. Занимательно, что его дочь вышла замуж за советского диссидента и правозащитника Юрия Айхенвальда, дед которого, модернистский критик Юлий Айхенвальд,

был выслан из Советской России в 1922-м, на «философском пароходе» — стараниями Агранова, а вся семья, включая его самого, репрессирована в разные годы. Вот такое перекрестие судеб.)

Кстати, гостиницу «Селект», в которой Маяковский зависал за бильярдным столом, москвичи считали гэпэушной.

Всё это, однако, как будто ничего не подтверждает, но и не отменяет. В очереди на опровержение стоит еще одна неприятная сплетня: якобы роман со следующим мужем, Виталием Примаковым, у Лили случился не по прихоти Купидона, а по приказу шефов из ГПУ, и длительная слежка за ним закончилась блистательным разоблачением целой сети военных-заговорщиков. Сплетня идиотская и гадкая, но даже при отсутствии на сегодняшний день бесспорных доказательств в глубине сознания всё равно сидит сосущее подозрение — а вдруг так оно и было?

## ЖЕНА КОМКОРА

Первое время после смерти Маяковского Лиля постоянно плакала, видела поэта во сне и жалела себя. Многие ее записи полны жалоб и почти суицидального настроения:

«Никто так любить не будет, как любил Володик».

«Очень одиноко. Застрелилась бы сегодня, если б не Ося».

«Асеевы уехали в Теберду. Никому ничего от меня не нужно. Застрелиться? Подожду еще немножко».

«Абсолютно устала. Весь день гладила самоё себя по шерстке».

«Чем дальше, тем всё тяжелее. На кой черт я живу, совершенно неизвестно. Нельзя Оську бросить. Думаю, только это меня удержало»<sup>420</sup>.

В конце июня Ося уехал с Женей на Волгу. Лили боялась, что там будет голодно, и отправила его со своими чаем-сахаром, сухариками и запасом папирос «Герцеговина Флор», тех самых, которые курил сам Иосиф Виссарионович. Эльза писала ей из Парижа о страстях вокруг смерти Маяковского. Критик-эмигрант Андрей Левинсон, оказывается, напечатал в «Нувель литтерер» паскудную, по ее мнению, статью, где утверждалось, что поэта отправило в штопор уничтожение советским режимом всякой свободы мысли и слова. В ответ на эту очевидную правду

чуть ли не сотня левых писателей и художников взорвались праведным гневом и прислали в газету протест; среди подписавшихся были и Пикассо, и Эренбург, и Гончарова с Ларионовым. Но Эльзин муж Луи Арагон пошел еще дальше: ворвался к Левинсону в квартиру, побил там посуду и расквасил лицо хозяину. Обе сестры встретили хулиганский афронт француза-коминтерновца бурей восхищения. Правда, баталия на страницах «Нувель литтерер» продолжилась. На левый протест пришел ответ от белой эмиграции — Бунина, Набокова, Куприна, Гиппиус, Мережковского...

Слезы и нервные сны о покойнике у Лили перемежались хлопотами об академическом издании Маяковского, составлением школьной и детской книжек поэта, умилением Осиком, вернувшимся с Волги загоревшим и помолодевшим. Новой бриковской забавой стала обработка фотоснимков. К тому же Ося заделался либреттистом и теперь постоянно кропал оперы. У них дома, как всегда, толклись люди:

«Обедали Кирсановы, Петя, Сноб, Катаян. Сема прочел поэму. Про Володю очень хорошо и вообще местами хорошо»<sup>421</sup>.

Но Лиля частенько приходила в комнату Маяковского в Лубянском проезде и проводила там время в одиночестве. Пила чай с оставшимися поэзовыми конфетами, читала, лежала, морила моль. Потихоньку готовились к переселению в новую, выбитую Маяковским квартиру; безотказный Катаян помогал вымерять площадь для расстановки мебели. Не забывали и старые поклонники. Лили хвасталась дневнику:

«Кулешов подарил мне гипсового серебрёного льва, на нем лежит голая женщина, под ним подпись: верь закрученной молве — зверь приручен, ты на льве».

В другом месте:

«Кулешов говорит, что я до того соблазнительна, что это просто неприлично»<sup>422</sup>.

Летом «Совкино» подумало было заказать Лиле сценарий звукового фильма «Кармен». Написать полагалось в три месяца.

«Лева (Кулешов. — А. Г.) видел цифры — Стекл[янный] глаз самая доходная (относительно) лента из всей продукции с 28-ого по 30-й год! Боюсь братья за звуковую. За немую плюс звуковая мультипликация я могла бы отвечать»<sup>423</sup>.

В итоге Лиля так и не стала ничего на себя взваливать.

Периодически она записывала в дневник понравившиеся вульгарности: «Выдь, Анисья, на крыльцо, дам те маточно кольцо»; «Прибежали в избу дети, захотели дети ети. Дили дом, дили дом, дядя Клим привез гондон»<sup>424</sup> — и услышанные анекдоты про знакомых. «Жена говорила любовнице: это он с вами про Бальзака, а меня матом и дома в одних подштанниках разгуливает» — это о литературоведе и будущем директоре Института мировой литературы имени Горького Иване Анисимове. «Семка шел как-то с Катаняном и схулиганил, спросил у разнощика презервативов. А разнощик посмотрел на него укоризненно и ответил: “Как вам не стыдно, молодой человек, а ведь я вас знаю — ваш отец портной на Гаванной улице в Одессе”. Вот какой Семка знаменитый писатель!»<sup>425</sup> — а это о Кирсанове. Забавно, что презервативы покупались тогда у разносчиков, как сахарная вата.

Не забыто было и Пушкино — там так же собиралась веселая компания. Скакала Булька, острили лефовцы, маячили чекисты. На групповой фотографии Лилия смеется во всю глотку и выглядывает, обнажая свои прекрасные зубы, из-за крапленного ромбиками плеча Агранова.

На 25-летие знакомства с Осей пили шоколад с кренделем. Было много цветов.

«Спросила Осю, отчего он когда-то на мне женился, — я ведь совсем не его тип. Говорит — потому и женился, а то что бы он стал делать, если б этот тип ему разонравился?»<sup>426</sup>

В октябре в Москву с кучей вкусностей приехали Арагоны, остановились в Гендриковом, и в доме тут же собралась толпа. Еще бы — приехал известный француз-коммунист и поэт. Они с Эльзой носились по Москве, смотрели достопримечательности, и везде их принимали с помпой. Младшая сестра расправляла крылья.

Лилия же, оставшаяся без преданности Щена, страдала. Договор с Госиздатом канителится, обступали долги. Привыкшая к удобствам, жаловалась:

«В комнатах холодно. Нет ванны. Машина чинится. Денег нигде не платят. Булька пристаёт. Трудно без Володика».

Еще через неделю:

- «1) Договор еще не подписан,
  - 2) я не получила денег,
  - 3) машина еще не вышла из ремонта,
  - 4) дров еще нет.
- Всё это должно было быть через 2-3 дня.  
Это невыносимо, что Володя застрелился!»<sup>427</sup>

Кажется, в этих жалобах больше эгоизма и жалости к себе, чем тоски по близкому человеку. Впрочем, иногда прорываются у Лили и спазмы нежности:

«Волосит, маленький мой, Щенит. Сегодня поплакала у тебя в комнате на Лубянке — представила себе, как всё это случилось. Ужасно маленькая комнатенка»<sup>428</sup>.

На 39-летие Лили собралось человек сорок, причем справляли день рождения по старому календарю (по новому отмечали вдвоем с Осей). Денег нет, поэтому накрывают стол всем дареным — «Абрау», кренделями, конфетами. «Арагончики» тем временем купались в советском гостеприимстве — их пригласили в Харьков на Всемирный конгресс революционных писателей. Там они познакомились с Фадеевым, который подарил Эльзе свой роман «Последний из Удэге» с интересным автографом: «Эльзе Юрьевне с любовью и робостью». Биограф Эльзы, французская писательница Доменик Десанти (урожденная Перская, дочь русского эмигранта), потом утверждала, что между Лилиной сестренкой и Фадеевым якобы вспыхнул роман. Интересно, каким образом? На глазах у Арагона? Как бы то ни было, связь, если она даже и возникла, со временем превратится в сугубо профессиональную — всеильный Фадеев будет дирижировать поездками французской парочки по Союзу, а они, с его подачи, начнут пропагандировать во Франции не только Маяковского, но и всю советскую культуру — к примеру (вот неожиданность!) труды агронома и биолога Лысенко. Отныне визиты в СССР сбежавшей когда-то Эльзы будут организовываться на правительственном уровне.

Когда Арагоны вернутся из Харькова, Лилиа запишет:

«Заходили с Элей к Фадеевым (!) в дом Герцена и расстроились — гадость!»<sup>429</sup>

Домом Герцена назывался исторический особняк на Тверском бульваре, дом 25, где позже открылся Литера-

турный институт. Тогда в его флигеле располагалось общежитие литераторов, и Фадеев предоставил Арагонам свою комнату. «В комнате имелась походная кровать, стол, стул и туманная возможность умыться»<sup>430</sup>, — вспоминала Эльза гораздо позже, уже после самоубийства писателя. Может быть, Лилю расстроила именно эта туманность возможности умыться — или неожиданная дружба сестренки с чуждым рапповцем. Вообще, вытянутый Эльзой счастливый билетик на фоне ее собственных горестей начинал нервировать. Брик записала в конце ноября:

«У Арагонов слишком много самолюбия. Раздражаюсь, когда говорю с Эльзой, — ходит около самих дверей, а попасть в двери не может. Всё кругом да около, совсем рядом».

Когда Арагоны, наконец, уехали, она отметила, наверняка не без толики ревности: «Кулешов в грустях по Эльзе»<sup>431</sup>.

Впрочем, ей уже незачем было киснуть. Ведь Лиля снова была при мужике, да при каком! Она всегда выбирала крупнокалиберных. Это был военачальник, комкор Виталий Маркович Примаков. Имя его тогда гремело. Он был герой Гражданской войны, трижды кавалер ордена Красного Знамени. Его называли «батька атаман», поскольку в Гражданскую он командовал Червонной казачьей дивизией. В 1924—1925 годах он был начальником Высшей кавалерийской школы, где обучались будущие маршалы Г. К. Жуков и К. К. Рокоссовский.

Примаков только что вернулся из Японии, где служил военным атташе. По легенде, присутствуя во время вручения императором верительной грамоты, отказался снять оружие; после долгих препирательств саблю ему оставили, только клинок припаяли к ножнам. До Японии воевал в Афганистане, под именем Рагиб-бей, брал города и спасал падишаха Аманулли-хана от восставших пуштунов. Интересно, что Примаков сам переодевался дервишем и, изображая глухонемого, проникал в стан врага с целью сбора разведанных. Главной целью операции была ликвидация среднеазиатского басмаческого движения, угрожавшего большевикам, — в пикку Англии, поддерживавшей пуштунов. Падишах вынужден был отречься от престола и бежать в Индию, но планы Советов это не нарушило, потому что к власти пришел его дядя, басмачи успокоились, а Примакова наградили.

Еще раньше, в 1925—1926 годах, Примаков разрабатывал армейские уставы и создавал офицерскую школу в

Китае, был советником маршала Фэн Юйсяня и даже участвовал в захвате белого генерала Анненкова, наводившего ужас даже на самих колчаковцев. В Пекине Примаков наверняка пересекался с поэтом-лефовцем Сергем Третьяковым, преподававшим в тамошнем университете. Видно, тот и свел его с Лилей.

Впрочем, согласно легенде, всё случилось, как в плохой мелодраме. Якобы Лиля возвращалась из театра в проливной дождь. Все дамы сняли туфельки, а Лиля смело пошлепала по лужам прямо в обуви (довольно странная смелость; я бы не удивилась, если бы она поступила наоборот). Оказавшийся поблизости 33-летний Примаков восхитился удивительной дамой и предложил ей познакомиться, на что Лиля якобы ответила сакраментальное: «Знакомиться лучше в постели».

По другой версии, с Примаковым она общалась уже давно, и представлял их друг другу чуть ли не Маяковский, но надежных свидетельств этому тоже не имеется. «Примаков был красив — ясные серые глаза, белозубая улыбка, — вспоминала пожилая Лиля Юрьевна. — Сильный, спортивный, великолепный кавалерист, отличный конькобежец. Он хорошо владел английским, был блестящим оратором, добр и отзывчив. Как-то в поезде за окном я увидела крытые соломой хаты и сказала: “Не хотела бы я так жить”. Он же ответил: “А я не хочу, чтобы они так жили”»<sup>432</sup>.

Примаков был моложе ее на шесть лет, но опыт имел недюжинный. Подростком, еще при царском режиме, успел пережить арест за расклейку антивоенных листовок и хранение оружия, был сослан в Сибирь на пожизненное поселение, после Февральской революции вернулся на Украину, а потом избрался депутатом Учредительного собрания. Был среди организаторов штурма Зимнего дворца, где заседало Временное правительство; на Втором съезде Советов избран членом ВЦИКа, потом командирован на Украину для создания советских украинских войск — той самой Червонной дивизии, с которой выиграл десятки боев с махновцами, петлюровцами, деникинцами.

Новый Лилин знакомец был дважды женат: первый раз — на дочери украинского писателя-классика Михаила Коцюбинского и сестре украинского политдеятеля Юрия Коцюбинского Оксане. Оксана умерла при родах, не выжил и ребенок. Второй женой стала Мария, одноклассница Оксаны, тоже участница подпольных черниговских социал-демократических кружков. В Гражданскую она коман-

довала санитарным эшелоном на Южном фронте. Она родила Примакову сына.

А осенью 1930-го грозный красный командир уже находится в сладкой власти музыки Маяковского. Жена, связанная к часто болевшему сыну, не могла везде ездить с мужем, а Лиля была слишком притягательна. Юсуп Абдрахманов записал в своем дневнике:

«Вечером был с М. у Лили. Там же встретил В[италия] П[римакова]. Странное впечатление произвел на меня В. В нем не чувствуется облика партийца, бойца, каковым я его знал два года назад. Родненькая считает, что Л. и В. замечательная пара, а я боюсь, что их связь может привести к тому, что Вит застрянет в болоте обывательского благополучия и будет потерян для партии и Революции...»<sup>433</sup>

«М.» и «родненькая» — это, судя по всему, Муся Натансон, футуристка, сосланная во Фрунзе за яркую поддержку Троцкого и закрутившая там пылкий роман с Абдрахмановым. Она знала Бриков и, наверное, была тем мостиком, что годом ранее свел Юсупа и Лилю. Кстати, у Примакова с Мусей тоже был романчик незадолго до Лили. Он ведь тоже поддерживал Троцкого, но в 1928 году публично отрекся от прежних оппозиционных симпатий.

Судя по следующей записи Юсупа, Примаков всё еще адаптировался к богатому прошлому Лили и явно знал об их прошлогодней ленинградской поездке:

«Поехал к Брикам. Лилия рассказала мне, что Виталий очень ревнив и особенно ко мне. Чудак. Ревность к прошлому глупо, а в настоящем между мной и Л. нет ничего, кроме светской дружбы. Л. — неплохой человек и достаточно умна, но Комкор, водящий собачонку Л. во двор, производит гнетущее впечатление. Незавидная роль. Не останется ли навсегда в этой роли? Жаль бойца и неплохого»<sup>434</sup>.

Есть у Юсупа в дневнике и другая ноябрьская запись:

«В 10 час. вечера поехал к Брикам. Повидал Аграновых, познакомился с Златой (кто это, выяснить не удалось. — А. Г.). У нее много общего с Лилей. Вит, как и вчера, ухаживает за собачкой Л. — отвратительно. Лилия убеждена, что Вит ее очень глубоко любит и она тоже его любит, но не очень, не так, как Вит. Более того, она считает возможным без боли для себя разрыв с Витом, если он не перестанет ревновать ее к прошлому и не поймет ее отношение к



Оське. В общем, отзывается о Вите сдержанно лестно, но не совсем похвально. Л. почему-то не хочет, чтоб я об этих вещах рассказал родненькой. Она, видимо, не знает, что у меня нет и не будет никакого секрета от М.»<sup>435</sup>.

Вероятно, Примаков в конце концов усмирил свою ревность, и они поселились втроем: Ося, Лиля и Виталий Маркович. Примаков занял комнату Маяковского, когда (используем шекспировский образ) еще не стоптались Лилины башмаки, в которых она шла за гробом поэта... Сын Примакова спустя много лет рассуждал: «Я лишь один раз видел Л. Ю. Брик и не мог не заметить ее ума, ее быстрой реакции на события и ее цинизма. Она не сделала в жизни ни одного ошибочного хода, и думаю, что это привлекало к ней мужчин. Она, конечно, ярко выделялась на советском фоне (именно умом, а не красотой), и близость с ней Маяковского и моего отца говорит о ее незаурядности»<sup>436</sup>.

Новый муж был не чужд литературе, сам писал довольно яркую публицистику: опубликовал книги «Записки волонтера» — о Китае (под псевдонимом «Лейтенант Аллен»), «Афганистан в огне», «По Японии», мемуары «Рейды конницы», повесть «Митька Кудряш»... Горький хвалил его опыты и принимал у себя на Капри. Говорят, именно Примаков сочинил слова к популярной в то время песне:

На степях на широких,  
На курганах высоких,  
У бескрайнего синего моря  
Много крови пролито.  
Много смелых убито,  
Не стерпевших народного горя...

Теперь Лилия была командирской спутницей и следовала за ним, куда бы его ни назначили. Даже диву даешься — все любовники куда-то испарились. В декабре она уехала с Примаковым, назначенным командиром 13-го стрелкового корпуса, в Свердловск. Поселились в элитной новостройке — Первом доме горсовета на улице Ленина. Но пока шел ремонт и Примакова еще не прикрепили к хорошему распределителю, Лиле всё было не по нраву. Она писала своему Оситу в Москву:

«Ты не представляешь себе, как они закакали стены! Одна комната голубая, вся в узорах и орнаментах, вторая — розовая. Когда я увидела, меня сразу затошнило, по-

настоящему. Остальные две комнаты удалось спасти, и их просто выбелили.

Во-вторых, клопы живут дружными семьями. Придется сделать дезинфекцию серой, а после этого четыре дня нельзя въезжать — вонь страшная... вещи наши все в чемоданах, ванны нет. Грею воду на примусе и моюсь в резиновом тазу. Сам понимаешь, что не об этом я мечтала.

Никакой книжки (о Маяковском. — А. Г.), конечно, не пишу — опять жру. От непрерывного хождения людей в форме кажется, что сижу в милиции.

Обедаем в Доме чекиста. Замечательный дом (архитектурно), и за гроши идеально кормят. Вообще городок чудесный, весь в новых огромных домищах, с громадными окнами»<sup>437</sup>.

Но и после переезда было на что подуться:

«...нет прислуги, не топят, и я не знаю, когда же я начну писать книжку! Ужасно мне надоело такое житье!»<sup>438</sup>

В Свердловск тогда как раз доехала та самая злосчастная выставка, посвященная двадцатилетию работы Маяковского. Лиля пишет о ней:

«...убого, отвратительно, ничего не показано, а что показано — не объяснено»<sup>439</sup>.

Народ на выставку почти не шел. Новый год встречали с Осипом порознь, дважды — учитывая разницу во времени. Лиля понемножку знакомилась с военными: с Иеронимом Уборевичем, с дамским угодником Михаилом Тухачевским (и как они удержались от романа?).

Но в Свердловске ей не сиделось, и она периодически вырывалась в Москву. Там ждали дела, в первую очередь — подготовка собрания сочинений Маяковского. В январе она уже сидела в столовой квартиры в Гендриковом переулке и раздавала команды Родченко, Катаняну, Осе. Тут же, с места в карьер, написала письмо Сталину, тоже в почти начальственной манере:

«Уважаемый тов. Сталин, год тому назад, в день памяти Ленина, в Большом театре В. В. Маяковский читал последнюю часть своей поэмы “Ленин”, и Вы при этом присутствовали. <...> Поэтому обращаемся к Вам с просьбой написать несколько слов о Вашем впечатлении. Том должен быть сдан в печать 1 февраля, поэтому очень просим не задерживать ответом»<sup>440</sup>.

Это была первая, бесплодная Лилина попытка достучаться до вождя по поводу Маяковского. В апреле Лиля снова прибыла в Москву на «Володины дни» и радостно писала Эльзе, что уже ходят разговоры о присвоении Триумфальной площади и аудитории в Политехническом музее имени Маяковского. Ося в это время работал в издательстве «Молодая гвардия» редактором-консультантом по детскому сектору, а Женя оформилась к нему секретарем. Примакова в письмах сестре Лиля называла Иншаллой — мусульманская присказка прилепилась к нему после афганских сражений. Означает она по-арабски «если на то будет воля Аллаха» — практически толстовское «ебж» — «если буду жив». Лиля переняла это словечко и с тех пор то и дело ввинчивала его в письмах.

Сидя в провинции, Лиля надеется, что ее Виталия всё-таки переведут в центр, да и сам он в своих кругах сокрушался, что Ворошилов, вечный простоватый враг передового Тухачевского, то и дело задвигает подальше самых лучших. Лилина тоска по Ослиту растет:

«Я поссорилась с телефонной барышней — просила ее дать мне другой провод, а она мне нагрубила, а я пожаловалась Виталию, а он пожаловался на нее на станцию, но от этого было слышно ничуть не лучше, и я тогда просто заплакала и плакала минут 15! Морда у меня распухла, я намазала ее густо мазелином (так. — А. Г.) и пишу тебе письмо»<sup>441</sup>.

Она учит Примакова немецкому и по обычаю подробно отчитывается Осипу о походах в зоопарк и обо всех увиденных животных.

Кстати, с квартирой, которую им пробивал Маяковский, вышла небольшая осечка: заселиться в Камергерский переулок им (в отличие от счастливиц Светлова, Асеева и прочих) так и не удалось — зато им дали квартиру в Спасопесковском, на Арбате. Лиля сообщила Осипу:

«Чудеса в виде свободных квартир бывают в тех случаях, когда владельцев этих квартир арестовывают, и я слышала, что Тарасов-Родионов (деятель РАПП. — А. Г.) по захвату таких квартир большой спец»<sup>442</sup>.

Пока Лиля ездила на Уралмаш, лечила нервы, каталась с Примаковым на пароходе по Каме, ездила в Казань на маневры и смотрела там учения и газовую тревогу, Осип

перевез все вещи в новую квартиру. В июле там появляется и Лиля. Заказали для двери две таблички: «Брик» и «Примаков». Наконец что-то сдвинулось в издательских делах: были сданы в набор и первый том собрания сочинений Маяковского, и альбом его рисунков и плакатов. Но когда все снова разъехались — Лиля в Свердловск, Осип с Женей — на Иссык-Куль к Абдрахманову, в их отсутствие вдруг началась квартирная схватка.

Их новая квартира располагалась на втором этаже, а на пятом поселился нарком иностранных дел Георгий Чичерин. Дом был новый, без лифта, и Чичерин затеял рокировку: Бриков с Примаковым ссылали наверх, а его спускали на их место. Лиля в тревоге раззвонилась во все колокола, Примаков слал молнии Чичерину, Тухачевскому, военному прокурору, жилтовариществу — всё бесполезно. Чичерин упирал на то, что ему гарантировали квартиру на втором этаже, а на пятом он жить не собирается. Дело так и не уладилось добром, поэтому решали через Нарсуд. В итоге девять рабочих в присутствии прокурора, судебного исполнителя, понятых и ответчиков Катаняна и Гринкрута перетасили все их вещи на несколько этажей выше, да так аккуратно, что не придерешься. «Виталий ужасно возмущен переселением и состоит в оживленной переписке с московским военным прокурором»<sup>443</sup>, — делилась Лиля с Осипом. Так же, дистанционно, Лиля продолжает дирижировать ремонтом московской квартиры: приказывает выбелить двери, окна и ванную масляной краской. Хотя, казалось бы, к чему такая спешка, ведь еще оставалась надежда отвоевать жилплощадь на втором этаже.

В общем, жизнь идет своим чередом: Володины костюмы перешиваются на Осю, Булька щенится, деньги более или менее капают — пенсия за Маяковского, издательские переводы да еще и зарплата мужа-командира. Лиля то и дело ездит отдыхать в санатории, принимает от Виталия шкурки на шубу и периодически пеняет Осипу, что он недостаточно часто ей пишет, что он совсем ее разлюбил и что Женя своему Жемчужному пишет чаще. Ося теперь заделался штатным либреттистом Ленинградского Малого оперного театра. У него то и дело премьеры на сцене и на экране. На показе фильма по Осипову сценарию «Кем быть?» присутствовал сам Киров. Лиля же стреляет из нагана, катается на лошадях (однажды даже получила пинок подковой, ходила с синячищем), отправляет Осипу с Женей продукты и товары из распределителя. Ужасно хочет в

Москву, но Виталия не бросает. Периодически к ней наезжают друзья, с Осипом и Женей они вместе отдыхают на уральском озере Чебаркуль. Туда же, на Урал, наведываются и Арагоны. Это официальная поездка: французских писателей-коммунистов знакомят с советским индустриальным размахом. Впечатленный Арагон даже напишет книжку «Ура, Урал!».

В 1932 году Примакова переводят в Ростов — заместителем командующего Северо-Кавказским военным округом. Продолжаются и кисловодские курорты. Лиля пишет Осипу:

«В будущем году обязательно надо устроить Женю сначала в Ессентуки на грязи, а потом нам всем встретиться в Кисловодске: и тебе, и Жене, и Виталию — покупаться в нарзане (мне нельзя из-за фибромы)».

Когда приезжают в Москву, их встречают на высшем номенклатурном уровне. Лия инструктирует:

«Кисик, еще раз говорю, когда приедешь на вокзал нас встречать и точно выяснишь, когда придет поезд, — позвони с вокзала в Кремль, в Автотранспортный отдел ВЦИКа (№, кажется, записан в длинной книжке), скажи, что ты — член ВЦИКа Примаков, № билета 280, что ты приехал, ждешь на Курском вокзале и просишь немедленно выслать тебе машину»<sup>444</sup>.

Карандашом дописано: «Кремль, 0-26-00, до 0-40-00, доб. 272».

Приезд в Москву был приурочен к волнующему событию — Примакова на полгода посылали в Берлин стажироваться в Военной академии при Генеральном штабе германской армии. Требовалось поднатаскаться в военнотехническом деле — подглядеть секреты милитаристского искусства у стремительно коричневеющего союзника. Брать с собой жен в такие почетные командировки разрешали не всегда, но Лилю (официально — жену Осипа Брика) взять почему-то разрешили.

Правда, тут же огорошила другая новость, на сей раз неприятная: вышел первый том Маяковского, и выяснилось, что оттуда забыли вымарать, во-первых, Троцкого, а во-вторых, старую, еще левовскую передовицу 1924 года с призывом не штамповать изображения Ленина и не печатать их на купюрах (за эту передовицу власти наезжали

на Маяковского уже тогда, а теперь могло достаться еще жестче). Спасла плохая полиграфия — настолько небрежная, что Госиздат сам же и предложил отправить том в топку. Ответственные редакторы (Лиля и Катанян) были спасены.

Из Берлина Лили не писала ни о нацистских факельных шествиях, ни о самоубийстве дочери Троцкого, ни о других более или менее любопытных деталях эпохи. Вся ее корреспонденция — кружево бытовых мелочей: издательские дела, покупки чулок, походы в зоопарк, цирк или кино, мелкие сплетни о знакомых. Ося разве что упоминает паспортизацию городского населения. Мама Лили Елена Юльевна теперь снова жила в России, Арагон переводил Маркса и воспевал в стихах ГПУ. Жить становилось лучше и веселее.

Вернувшись из Берлина, Примаков поучаствовал в Седьмом съезде ВКП(б) — «съезде победителей», парадном, очковтирательском, с уже очень сильно пробивающимся культом Сталина. Впрочем, Сталин после съезда всё равно остался мрачен, полон мести и вражды — даже после всех чисток и просеиваний многие партийцы голосовали против него. К тому же до него дошел слухок о сходке на квартире Орджоникидзе, где велись разговоры о том, что неплохо было бы заменить Сталина Кировым, — причем дошел чуть ли не от самого же Кирова.

Вернувшись в Ростов, Лили ездит с Примаковым по всему региону в персональном салон-вагоне со всеми удобствами. У Примакова важная миссия — довести до местных парторганизаций результаты московского съезда. В это время выходит его книжка по итогам германской стажировки «Тактические задачи и военные игры». Одновременно бывшие лефовцы выпускают сборник «Альманах с Маяковским» с воспоминаниями Лили и новеллами Примакова. Эльза была от новелл в восторге: «Таким языком сейчас просто никто не пишет, один Горький»<sup>445</sup>.

В литературных кругах альманах был воспринят почему-то как лефовский скандал. Лидия Гинзбург записала тогда свой разговор с писателем Николаем Олейниковым, одним из сгинувших потом в 1937-м. «Но ведь это неумно», — говорил Олейников. «Но это не от глупости, — отвечала она. — Это от страстного желания доказать, что они живы. Что Маяковский умер, а они живы». За год до этого Шкловский спросил, почему она не ходит к Брикам. Гинзбург призналась: «Потому что... мне всё кажется, что

в этом доме лежит покойник», — на что Шкловский тут же состроумничал: «Нет. В этом доме торгуют трупом»<sup>446</sup>.

Пока шла торговля трупом, в 1934-м Примакова, к великому счастью Лили, перевели в Москву — заместителем инспектора высших учебных заведений Красной армии. Его «военная» книжка давала плоды. Почти одновременно Агранова (друга семьи) назначают первым замом наркома внутренних дел Ягоды. Лиля Брик становится влиятельной дамой. Недаром ей пишут ученики Казимира Малевича — сообщают, что у мастера рак предстательной железы, но от него это скрывают, что в России закрыты оба радиевых института и художника нужно срочно отправить лечиться в Париж. Требовалась тысяча рублей золотом — для этого ученики просили пробить у государства разрешение на вывоз и продажу картин больного Малевича за границей. Что ответила Лиля, неизвестно; кажется, ничего. Малевича так и не выпустили, и через несколько месяцев он скончался.

В Колонном зале Дома союзов уже литаврил Первый съезд советских писателей под председательством вернувшегося из Италии Горького. Ося с Катаньяном получили на съезд гостевые билеты. В своих речах бросались именем Маяковского Кассиль, Асеев, Шкловский, Безыменский, Бухарин (тогда уже выведенный из Политбюро); правда, последний всё равно отдал предпочтение Пастернаку, чем вызвал бурное недовольство в зале. Выступил и Арагон — ратовал за гордую поступь соцреализма на всём земном шаре. На последних заседаниях Ося уже не сидел — Женя заболела ангиной. Письмом на дачу в Краскове Лиля советует греть горло паром от вареной картошки и делится новостями о съезде (Примаков достал пропуск и ей):

«...в 10 ч. вечера банкет в Доме Союзов для делегатов с реш[ающими] и совещ[ательными] голосами и для некоторых приглашенных. Сема говорит, что жен писателей решили не приглашать, “оттого, что они все неинтересные”, а вместо них приглашают разных актрис! Иностранные писатели приглашаются с женами!»<sup>447</sup>

Лиля в это время взялась писать с Кулешовым новый сценарий «Лейла и Сергей», но из этого проекта ничего не вышло.

Осенью все встречаются в Кисловодске — Ося отдыхает там по путевке, туда же на какое-то время приезжают Эльза и

Арагон (подлечить Арагону почки), потом прибывают Лиля с Виталием и Агранов с Вaley. «Каждый вечер бываем у Яни. Виталий спустил уже 4 кило, а я только 2!» — пишет Лиля вернувшемуся в Москву Осипу. В новом письме сообщает:

«Вчера же, вечером, были в санатории НКВД, ели простоквашу, слушали джаз, даже потанцевали с Виталием, потом кинооператор Цейтлин (кот[орый] привез Леве радио), он живет там, показывал нам замечательные фокусы»<sup>448</sup>.

Бильярд, походы на природу, сосновые ванны, концерты, кормежка медведей — жизнь Лили была сплошной феерией впечатлений.

Впрочем, 1934 год прошел не так уж и гладко. Примаков был арестован — правда, всего на неделю или две. Подержали, потюпили, но потом признали, что ошиблись, и выпустили. Лиля считала это кошмарной случайностью.

На декабрь намечалось празднование пятнадцатилетия Червоного казачества, и в ноябрьской «Правде» поместили статью Примакова с фотографией. А 1 декабря выстрелом в затылок был убит Киров. Сталин поручил разбирательство Агранову. Непосредственных участников убийства приговорили к расстрелу, но уже разматывались бесконечные клубки надвигающегося Большого террора. Кто на самом деле заказал Кирова (не Сталин ли?), неясно до сих пор, но под предлогом мести за это убийство еще полягут тысячи невинных. Несмотря на траур, «Правда» всё же напечатала еще одну статью Примакова к юбилею Червоной казачьей дивизии. Дивизию даже наградили орденом Ленина, и от Лилиного сердца как будто отлегло.

## СТРЕЛЬБА В ПОДВАЛЕ

В конце января в «Правде» напечатали постановление Совнаркома СССР о введении Виталия Примакова и еще пяти командиров в состав Военного совета при народном комиссаре обороны. И пока Лиля продолжала заниматься желтым двенадцатитомником Маяковского, а Осип чах на оперных премьерах, Примаков появлялся на страницах главной газеты страны: там печатались то его новая статья, то групповая фотография, где он рядом с Ворошиловым, Тухачевским, Буденным...

Именно с газетой «Правда» в руках Лиля позирует Давиду Штеренбергу, с которым они когда-то вместе квар-



тировали в Полуэктовом переулке. А незадолго до этого ее пишет Николай Денисовский, присутствовавший при выемке мозга Маяковского.

В разговоре Лили со Штеренбергом выяснилось, что у него в записной книжке сохранилось ненапечатанное стихотворение Маяковского, Лиля обрадовалась и велела включить его в уже стоявший под парами второй том собрания сочинений поэта. Обсудили и больного Малевича, который уже лежал обездвиженный и молил Штеренберга о помощи; пришли к выводу, что ситуация безнадежна и остается только утешать его. Рак не вылечишь, а Наркомпрос не дожмешь. Был написан и портрет Примакова в азиатском халате, картой и браунингом на столе, но он не сохранился. Лиля пишет с красковской дачи Осипу в Таджикистан, куда тот отправился с Женей и Кулешовым выбирать натуру для фильма:

«Давид кончает мой портрет — не похоже, но очаровательно — это главное, а для сходства я снимусь в фотографии Кулишева. Утром позирую Давиду (он хочет летом написать твой портрет), вечером играем в “31”».

Примаков меж тем пошел на повышение. Его назначили заместителем командующего войсками Ленинградского военного округа. Парочке были предоставлены дача в Тарховке и квартира на улице Рылеева (в пяти минутах ходьбы от Лилиной старой петроградской квартиры на улице Жуковского). Жили теперь на два дома и на два города. На ленинградской даче и в ленинградской квартире всегда держалась отдельная комната для Оси и Жени. В их дома продолжали забредать самые разные люди — военные, художники, охотники, театралы. Впрочем, Варламу Шаламову, заскочившему на Спасопесковский завизировать свои воспоминания о Маяковском, там сделалось не по себе: «Лили Юрьевна и Осип Максимович жили в квартире Примакова. Мне это не понравилось. Почему-то было больно, неприятно. Я больше в этой квартире не бывал»<sup>449</sup>.

А Лидия Чуковская долго не могла прийти в себя от вида Лили: «...разговор набрел на Маяковского и Бриков — я рассказала о нашем детиздатском однодумнике и о поездке моей и Мирона Левина в Москву к Брикам. Общаться с ними было мне трудно: весь стиль дома — не по душе. Мне показалось к тому же, что Лили Юрьевна безо всякого ин-

тереса относится к стихам Маяковского (что-что, а уж это точно был навет или заблуждение. — А. Г.). Не понравились мне и рябчики на столе, и анекдоты за столом, и то, что Лили Юрьевна выбежала из ванной в столовую в рубашке, штанишках и с большими лиловыми бантами на чулках — без халата, а за столом сидели, кроме меня и Мирона [Левина] (поэт, поклонник творчества Маяковского. — А. Г.), приехавших по делу, Примаков, Осип Максимович и “наша Женичка”. Более всех невзлюбила я Осипа Максимовича: оттопыренная нижняя губа, торчащие уши и главное — тон не то литературного мэтра, не то пижона. Понравился мне за этим семейным столом один Примаков — молчаливый и какой-то чужой им»<sup>450</sup>.

Агранов в это время тоже справлял новоселье — аж в Кремле. А Примаков с энтузиазмом затевал революцию в отдельно взятом военном округе. Пока ворошиловско-буденновская конница увлекала армию в трясины прошлого, он проводил первые в стране воздушно-десантные учения. Борьба между преданным Сталину, но ретроградным Ворошиловым и блестящим прогрессистом Тухачевским и его приближенными, война между жеребцом и бронемоторами набирала обороты.

В декабре 1935 года Лиля написала второе письмо Сталину, ставшее решающим и в ее собственной судьбе, и в посмертной судьбе Маяковского и оказавшее влияние на политику партии в области литературы. Лили всё переживала, что Маяковского издавали мало, крошечными тиражами (а в тиражах она была кровно заинтересована как один из обладателей авторских прав), что постановление правительства об увековечивании памяти поэта не выполнялось. По ее позднейшим словам, именно Примаков посоветовал изложить в письме все накопившиеся обиды. Там были, к примеру, строки:

«Прошло почти шесть лет со дня смерти Маяковского, и он еще никем не заменен и как был, так и остался крупнейшим поэтом нашей революции.

Но далеко не все это понимают.

Скоро шесть лет со дня его смерти, а “Полное собрание сочинений” вышло только наполовину, и то — в количестве 10 000 экземпляров!

Уже больше года ведутся разговоры об однотомнике. Матерьял давно сдан, а книга даже еще не набрана.

Детские книги не переиздаются совсем. Книг Маяковского в магазинах нет. Купить их невозможно»<sup>451</sup>.

Она жаловалась, что мемориального кабинета Маяковского до сих пор нет, материалы разбросаны, вопрос о перedelке дома в Гендриковом в музей и в именную районную библиотеку откладывается. Что Надеждинская улица в Ленинграде и Триумфальная площадь в Москве до сих пор не переименованы. Что из учебника по современной литературе (были тогда и такие) выкинуты поэмы «Ленин» и «Хорошо!». Письмо было датировано 24 ноября 1935 года. Примаков через своего сослуживца и тогдашнего коменданта Кремля Петра Ткалуна позаботился, чтобы оно попало лично в руки Сталину.

Анатолий Валуженич, раскопавший многие факты о Маяковском и его окружении, приводит воспоминания художника Валентина Курдова, в то время работавшего в Детгизе:

«Нас позвали к чаю. В столовой на столе кипел никелированный самовар. Кроме хозяина, было еще два гостя: хорошо известные мне по фамилии критики по журналу «ЛЕФ» Осип Брик и В. А. Катанян.

За столом я оказался свидетелем чрезвычайно возбужденного и нервного разговора. Ничуть не смущаясь меня, в сущности постороннего человека в доме, шумно обсуждалась литературная судьба Маяковского. Дело заключалось в том, что в ту пору положение с изданием стихов Маяковского было кризисным, набранное Собрание сочинений поэта было рассыпано, и в школьных программах имя Маяковского исключалось.

Осип Брик требовал от Лили Юрьевны написания письма к правительству. В этой обстановке я чувствовал себя совершенно лишним, и хотя мне было интересно, однако я понимал свое глупое положение постороннего, попавшего на семейный скандал. От неловкости я стал смотреть на висевший на стене коврик с изображением стилизованной кошки. Заметив это, Лилия Юрьевна пояснила, что этот коврик Володя Маяковский привез ей в подарок из Мексики.

К этому времени окончился спор о письме, его решили направить работнику ЦК ВКП(б), от которого исходили вышеупомянутые запрещающие распоряжения. Но тут молчавший долгое время Примаков веско заключил шумную беседу следующим. Он сказал, что надо писать только И. В. Сталину и что только он один может изменить создавшееся положение с Маяковским, а передаст письмо он сам лично в руки Сталину.

Хоть я и не из трусливого десятка, однако поспешил распрощаться с гостеприимным домом. Выйдя на улицу, я долго не мог привести свои чувства в порядок от всего виденного и слышанного в тот памятный для меня вечер»<sup>452</sup>.

Валуженич же приводит и совсем другую версию написания письма, в которой Лиле почти не достается лавров. Автор версии — вдова чекиста Горожанина, дружившего с Маяковским, Берта Яковлевна:

«Это письмо Сталину написано в квартире Агранова в Кремле (бывшая квартира Енукидзе). В этот день в этой квартире собрались Я. С. Агранов с женой Валей, были Мейерхольд с З. Райх, В. М. Горожанин с Бертой Яковлевной (почему-то о себе в третьем лице. — А. Г.) и Примаков В. М. с Лилей Брик. Собрались по случаю, обсудить вопрос, как увековечить память Маяковского. <...> Валерий Михайлович Горожанин предложил написать письмо Сталину. Это письмо было написано тут же. При написании письма присутствовали названные товарищи. Все они принимали участие в обсуждении этого письма. Валерий Михайлович предложил передать письмо Сталину Л. Ю. Брик. Для этого она была пропущена на прием к Сталину через Кремлевскую комендатуру, но Сталин ее не принял и переправил ее с письмом к Ежову Николаю Ивановичу, который в то время не работал в органах ОГПУ, а возглавлял работу советского контроля. (Это было в декабре 1935 года.) <...> До меня дошли слухи, что Брик считает себя инициатором этого письма. Я бы хотела, чтобы при жизни была восстановлена правда, что переживал эту трагедию Горожанин и письмо было написано по его инициативе. Он искренне любил Маяковского и все огорчения очень переживал. Горожанин помогал ему жить...

Агранов не мог написать этого письма, стилистически не был подкован. Мейерхольд не писал письма. <...> Л. Ю. фигурировала тогда как женщина, она считала себя интересной, она 100 % женщина, она не была очень эрудирован[н]а...»<sup>453</sup>

Эрудированную или не очень, но Лилю через несколько дней вызвали из Ленинграда в Москву, к секретарю ЦК партии Ежову, пока еще не ставшему «кровавым карликом». Просидели за беседой полчаса. Из уст Ежова Лиля и услышала высочайшую резолюцию:

«Товарищ Ежов! Очень прошу Вас обратить внимание на письмо Брик. Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи. Безраз-

личие к его памяти и его произведениям — преступление. Жалобы Брик, по-моему, правильны. Свяжитесь с ней (с Брик) или вызовите ее в Москву. Привлекайте к делу Таль (Борис Таль — заведующий отделом печати и издательств ЦК ВКП(б). — А. Г.) и Мехлиса (Лев Мехлис — главный редактор «Правды». — А. Г.) и сделайте, пожалуйста, всё, что упущено нами. Если моя помощь понадобится, я готов. Привет!

И. Сталин»<sup>454</sup>.

От Ежова Лиля сразу же помчалась в редакцию «Правды». 5 декабря на четвертой странице газеты вышла неподписанная статья о провалах в увековечивании памяти поэта. Статья заканчивалась словами:

«Когда до товарища Сталина дошли все эти сведения, он так охарактеризовал творчество Маяковского:

— Маяковский был и остается лучшим, талантливым поэтом нашей советской эпохи. Безразличие к его памяти и его произведениям — преступление»<sup>455</sup>.

Надо было напечатать «талантливейшим», но при копировании вышла опечатка. Несчастный Мехлис не спал несколько ночей и думал, как исправить, — ведь ошиблись в цитате из вождя! В итоге впендюрил исправленную цитату о Маяковском в свою передовицу к годовщине смерти Пушкина, вышедшую 17 декабря. Так «лучший и талантливейший» впечатался в подкорку советского гражданина. Галина Катанян торжествующе вспоминала о том волнительном дне:

«В день приезда утром она (Лилия Брик. — А. Г.) позвонила нам и сказала, чтобы мы ехали на Спасопесковский, что есть новости. Мы поняли, что речь шла о письме.

Примчавшись на Спасопесковский, мы застали там Жемчужных, Осю, Наташу, Леву Гринкруга. Лилия была у Ежова.

Ждали мы довольно долго. Волновались ужасно.

Лилия приехала на машине ЦК. Взволнованная, розовая, запыхавшаяся, она влетела в переднюю. Мы окружили ее. Тут же в передней, не раздеваясь, она прочла резолюцию Сталина, которую ей дали списать. <...> Мы были просто потрясены. Такого полного свершения наших надежд и желаний мы не ждали. Мы орали, обнимались, целовали Лилию, бесновались.

По словам Лили, Ежов был сама любезность. Он предложил немедленно разработать план мероприятий, необ-

ходимых для скорейшего проведения в жизнь всего, что она считает нужным. Ей была открыта зеленая улица. Те немногие одиночки, которые в те годы самоотверженно занимались творчеством Маяковского, оказались заваленными работой. Статьи и исследования, которые до того возвращались с кислыми улыбочками, лежавшие без движения годы, теперь печатали нарасхват. Катанян не успевал писать, я — перепечатывать и развозить рукописи по редакциям. Так началось посмертное признание Маяковского»<sup>456</sup>.

Уже 1 января 1936 года Лиля писала Эльзе:

«Случилось всё так: я написала письмо хозяину. Через два дня меня вызвал к себе в Москву из Ленинграда (по телефону) один из его ближайших помощников. Я выехала в тот же вечер, и назавтра утром помощник этот меня принял. Мы замечательно поговорили полчаса. Я рассказала ему про все наши мытарства. Он был абсолютно возмущен, сказал, что очень любит Володю, что часто его читает; спросил, почему я им давно не написала. Показал мне длинную надпись хозяина (совершенно замечательную!!) на моем письме, в которой он просит сделать всё, что упущено, и предлагает свою помощь. Когда мы про всё поговорили, пришел Таль, с которым я просидела ровно час, и мы записали всё, что нужно сделать и издать. Ты, вероятно, знаешь из газет, что Триумфальная площадь — теперь пл[ощадь] Маяковского; Гендриков пер[еулок] — пер. Маяковского; Моссовет утвердил уже смету (340 000 р.) на домик в пер. Маяковского, где будет восстановлена наша квартира и организована районная библиотека им. Маяковского. На книги будут даны отдельные деньги. Во дворе будет разбит цветничок, выстроена летняя терраса-читальня, поставлен мемориальный камень с надписью: “Я всю свою звонкую силу поэта тебе отдаю, атакующий класс”. Печатать будут абсолютно всё Володиного и о Володе»<sup>457</sup>.

В общем, как выразился Пастернак, «Маяковского стали вводить принудительно, как картофель при Екатерине. Это было его второй смертью. В ней он не повинен»<sup>458</sup>. Лиля на него, конечно, обиделась. (В конце пятидесятых, гуляя по Переделкину, она застала Пастернака за окучиванием картошки и ехидно поинтересовалась: «Интересно, Боря, что бы ты сейчас окучивал, если бы Екатерина насильно не ввела картофель?»)

Триумф наступил. Одновременно с признанием Маяковского Примакову было присвоено звание командира

корпуса. Было что праздновать и Осипу — его имя красовалось на афишах новых оперных премьер. Новый, 1936-й встречали с особым размахом — с шампанским и с елкой (Сталин снова разрешил елки). В Колонном зале был с фанфарами устроен вечер памяти Маяковского на полторы тысячи гостей; Лиля, Осип, мать Маяковского, Мейерхольд и несколько друзей сидели на сцене. Работа и деньги врывались лавиной. К трудам по изданию поэта присоединился даже свежееиспеченный комкор — написал предисловие к сборнику Маяковского «Оборонные стихи». Лиля, захлебываясь от счастья, сообщала сестре:

«Квартира наша окончательно превратилась в контору. 6-ого присоединяем к своей квартире соседнюю двухкомнатную. Сама понимаешь, как мы все рады: у Оси будет 2 маленькие комнаты, у Наташи (домработницы. — А. Г.) отдельная комната, Виталий въедет в теперешнюю Осину, я остаюсь в своей и общая столовая. Нельзя рассказать как у нас сейчас тесно! — Ося диктует, Женя стучит на машинке, я правлю корректуру, фотограф фотографирует Володин архив со специальными осветительными приборами, еще один товарищ работает над Володиными письмами. Непрерывно звонят два! телефона...»<sup>459</sup>

В том же письме она заходится эйфорическим хвостовством:

«Завтра всё-таки устраиваем у себя бал-маскарад! Сорок человек! Костюмы для нас еще не придуманы — некогда. Но меню уже составлено. Вот оно:

#### Меню

1. Усиль нажим  
На водку — Джин
2. Республиканские селедки  
Незаменимые к пирогам и водке.
3. Натё!  
Грибы в маринаде.
4. И вот и он —  
Паштет — Арагон.
5. Скажем без трюкачества —  
Салат лучшего качества.
6. Парад-алле!  
Кулебяка Триоле.
7. Покричали пошумели  
И за рыбу под бешамелью.

8. Не курочки не рябочки —  
Окотлетенные рябчики!  
Огорошенные  
И вареньем прихорошенные.
9. Если хочешь быть щастлив  
Налегай на чернослив.
10. Ай-яй-яй!  
Какой яблочный пай!
11. Увлекательный спорт:  
Кто скорее съест торт?
12. Ух ты!  
Глазированные фрукты!
13. Наконец и оно —  
Всяческое вино!»<sup>460</sup>

Маскарад в красках описал Катанян-младший, правда, смешав его в памяти с Новым годом: «Все были одеты неузнаваемо: Тухачевский — бродячим музыкантом со скрипкой, на которой он играл, Якир — королем трэф, ЛЮ была русалкой — в длинной ночной рубашке цвета морской волны, с пришитыми к ней целлулоидными красными рыбками, рыжие волосы были распущены и перевиты жемчугами. Это была веселая ночь»<sup>461</sup>.

С наступлением лета приехали Арагоны, званные зачем-то к умирающему Горькому. Правда, к смертному одру Буревестника революции они уже не успели и попали только на похороны. Погостили в Лилиных апартаментах, подлечились в подмосковном санатории «Барвиха», потом перебрались в «Метрополь». Лиля писала Осипу:

«Они всё такие же — мильон терзаний, подозрений, интриг. Я рада была, что они приехали, но еще больше, что уехали»<sup>462</sup>.

Лиля в придачу ко всей недвижимости получила еще и двухэтажную дачу под Москвой. Когда Ося с Женей снова укатили в Кисловодск (отдых в этой семье становился номенклатурным), Лиля писала своему Киситу, что Виталию отпуск дадут только осенью, и сообщала разные мелкие новости: скоро пойдут к гомеопату по поводу примаковских ушей (он стал глуховат) и Лилиной фибромы, была на собачьей выставке, в Москве видели Валю и Яню:

«...они немножко похудели, но выглядят хорошо. Привезли нам, как я просила, присыпку и лезвия, а мне, кроме того, миленькую материйку»<sup>463</sup>.



Лиля даже ездит со своим Виталием сдавать норматив на звание «Ворошиловский стрелок» (он сдал, она — нет), смотрит акробатические прыжки на мотоциклах и любит солнечным затмением. А буквально через несколько дней затмение произошло и в их, дотоле такой праздничной, жизни.

В ночь на 15 августа к ним на загородную ленинградскую дачу нагрянули «черные воронки». В присутствии Бриков (Женя была в Москве) вещи комкора были описаны и изъяты — в том числе дамский золотой портсигар с надписью «Николаша», подаренный Николаем II балерине Кшесинской, который потом попал к Примакову и был подарен Лиле. Комнаты были опечатаны, а хозяин арестован и увезен в Москву, в Лефортовскую тюрьму — туда же, где саживал Краснощеков. Обвиняли его, как водится, в участии в военной контрреволюционной троцкистской организации и в подготовке теракта против Ворошилова. Через две недели измученный дьявольской игрой следствия червонный командир передает письмо Агранову:

«Очень прошу Вас лично вызвать меня на допрос по делу троцкистской организации. Меня всё больше запутывают, и я некоторых вещей вообще не могу понять сам и разьяснить следователю. Очень прошу вызвать меня, так как я совершенно в этих обвинениях не виновен. У меня ежедневно бывают сердечные приступы»<sup>464</sup>.

Наивный Примаков! Он не знал, что Агранов, постоянно у них гостивший, сам и возглавлял следствие. Еще вчера Яня плясал у Примакова дома на балу-маскараде, а сегодня хладнокровно наблюдал за ходом пыток. Загребали тогда всех, кто хоть как-то был связан с Троцким. Ворошили высшее военное командование. Примаков был только первой ласточкой, первым зубчиком колеса. Связи с опальным Троцким, одним из создателей Красной армии, у бывшего командира Червонной дивизии, конечно, когда-то имелись. До конца двадцатых он ему открыто симпатизировал. Но потом, как полагается, громко порвал с ошибками прошлого.

Еженощно подвергаясь допросам, комкор всё еще надеялся, что, как и в прошлый раз, обойдется. С него уже были спороты петлицы и сорваны очки, его уже выкинули из партии, куда он вступал еще пятнадцатилетним подростком, а он всё строчил отчаянные прошения и упрямо отнекивался от обступавшей чудовищной галиматьи:

«Я не контрреволюционер и не троцкист, я большевик. В 1928 году я признал свои троцкистские ошибки и порвал с троцкистами, причем для того, чтобы троцкистское прошлое не тянуло меня назад, порвал не только принципиально, но перестал встречаться с троцкистами, даже с теми из них, с кем был наиболее близок (Пятаков, Радек) (Пятакова и Радека, конечно, тут же арестовали по делу «Параллельного троцкистского центра». — А. Г.)... Уверен, что моя невиновность будет доказана и следствием НКВД. Прошу о пересмотре по моему делу и восстановлении меня в партии»<sup>465</sup>.

Пока суд да дело, Сталин успел заменить главу НКВД Ягоду на Ежова, а Яню оставил замом наркома — очень уж тот нравился. Пока.

Лиля же ужасно злилась: только она добилась признания Маяковского и золотого статуса вдовы, как вот тебе, бабушка, и Юрьев день. Оттого-то, что она не обивала порогов и не стремилась узнать, что же с Виталием (для этого было достаточно позвонить Яне), и родилась та самая гнусная версия, что Лиля сама подвела сожителя под суд и что жила с ним без особой любви не просто ради комфорта и постельных радостей, но и по тайной службе — в качестве информатора. Художник Курдов вспоминал: «В комнате кроме нас двоих никого не было, и я решился спросить о судьбе В. М. Примакова и поинтересовался, носит ли она ему передачи. Не спуская глаз с портрета мужа (работы Д. Штеренберга. — А. Г.), Лиля Юрьевна спокойно ответила: “Нет, ему мои курицы не нужны, он ведь солдат” — и добавила: “Что бы он ни говорил, ему всё равно не верят”»<sup>466</sup>.

Но всё же Лиля была мало похожа на удачливую чекистку. Каждую ночь она ложилась в постель бледная от страха. Что, если и у нее всё кокнется — Маяковский, проекты, деньги, наряды и даже жизнь? Ведь Примакова тоже сначала возвысили, а потом столкнули. Она злилась на своего Иншаллу. Злилась не только потому, что тот подложил ей свинью, когда на нее уже сыпались блага, как из рога изобилия. Злилась и потому, что верила следствию, — если человека закрыли, значит, он и вправду виноват. Катанян-младший записал признание Лили-старушки: «Ужасно то, что я одно время верила, что заговор действительно был, что была какая-то высокая интрига и Виталий к этому причастен. Ведь я постоянно слышала: “Этот безграмотный Ворошилов” или “Этот дурак Буденный ничего не пони-

мает!” До меня доходили разговоры о Сталине и Кирове, о том, насколько Киров выше, и я подумала, вдруг и вправду что-то затевается, но в разговор не вмешивалась. Я была в обиде на Виталия, что он скрыл это от меня, — ведь никто из моих мужчин ничего от меня никогда не скрывал. И я часто потом плакала, что была несправедлива и могла его в чем-то подозревать»<sup>467</sup>.

Примаков сидел, а Лиля как ни в чем не бывало переписывалась с сестрой о разных литературных делишках. Понятно, что про арестованного Примакова они говорить не могли, — все письма читались цензурой, — и тем не менее некоторые детали просто вводят в ступор. Эльза тогда вела переговоры о постановке в СССР пьесы Андре Жиды и в сентябре писала Лиле по этому поводу:

«Лиличка, если это тебе не слишком некстати, попроси Валу, Женю или Фию (дочь художника Штеренберга Виолетта, по-домашнему — Фиалка. — *А. Г.*) отнести экземпляры пьесы: Вахтангову, Малый, МХАТ 1-ый»<sup>468</sup>.

Валя — это жена Агранова. То есть пока муж истязает подследственного, его жена будет бегать по поручению жены истязаемого. Какое-то босховское сумасшествие!

Лилия, видно, писала Эльзе о подобных же мелочах (письма не сохранились), глухо упоминая, что почти не выходит и никого не принимает. Тем не менее она находила в себе силы передавать сестре вопросы сотрудницы Наркомата пищевой промышленности, жены командарма Уборевича (тот еще на свободе, но вот-вот пойдет по тому же делу, что и Примаков), которая интересовалась, как лучше составить меню ресторана в советском павильоне на Всемирной Парижской выставке 1937 года. Арагон, кстати, участвовал в открытии выставки — он теперь возглавлял газеты, и их с Эльзой светская жизнь была ключом. Они ходили на благотворительные вечера, заказывали себе фраки и вечерние платья. В Москве тем временем открылся музей Маяковского, и Лилия передала туда целую кучу предметов, включая собственные фотографии, трость, мыльницу и шляпы поэта. Даже рулетку и маджонг.

А вокруг Примакова продолжала плестись железная сеть. Ему вменялось в вину, что они с военным атташе в Великобритании Витовтом Путной (его схватили сразу вслед за Виталием) возглавляли военную организацию, имевшую целью свержение Сталина. Агранова же назна-

чили начальником Главного управления государственной безопасности (интересно, поздравила ли друга Лилия?). Но сразу после возвышения и под Аграновым начал шататься пол: Ежов понизил его в должности и выселил из кремлевской квартиры.

Когда Брики справляли 25-летие свадьбы (Женя подавала им открытку с киской и котиком), газеты напечатали выступление Ворошилова на пленуме ЦК ВКП(б). Имя Примакова впервые упоминалось в числе «врагов народа». Над Лилей навис дамоклов меч. Люди стали ее избегать, директор музея Маяковского сменила улыбки на сухость, затормозился выход тех книг Маяковского, в которых значилось ее имя. Лилия стала прикладываться к бутылке каждый вечер.

Начали еще глубже выкашивать армейскую верхушку. Сейчас историки всё чаще говорят, что заговор был настоящий: Тухачевский, Якир, Примаков и другие военачальники и вправду мечтали сместить Сталина, Ворошилова и прочих пастырей, ведущих страну в тупик. Покушения, говорят, обдумывались и в 1934-м, и в 1935 году, а последнее было якобы назначено на 1 мая 1937-го. В тот день на Красной площади сновало в два раза больше, чем обычно, шпиков в штатском, а Ворошилов взял с собой револьвер — на всякий случай.

В апреле Примакова стали зверски избивать. Спать ему давали по два-три часа, да и то в допросном кабинете, при свидетелях. Туда же приносили убогую пищу. Он был обут в лапти, небрит и нестрижен. Обвиняли уже не в мелочи вроде попытки грохнуть Ворошилова — обвиняли в заговоре против Сталина и правительства и в шпионаже в пользу Германии. В общем, обычный для 1930-х годов бред. В конце концов к маю из Примакова и Путны были выбиты показания на Тухачевского, Якира, Фельдмана и др. Задаваясь вопросом, что же в итоге сломало Виталия Марковича, некоторые называют Лилию, причем ссылаются в основном на ее глуповатое удостоверение. Валюженич приводит цитату из одного журналистского расследования:

«Наконец ему устроили очную ставку с Лилей Брик, его очередной женой. После Маяковского, знаменитого, богатого, Лилия со своим вечным Осей лихорадочно искала нового покровителя. Ей повезло — на нее клюнул прославленный герой Гражданской войны. Устроившись под одеялом Примакова, постельная искусница покорила предводителя Червоного казачества. Примаков не знал, что Лилия

и Ося являются давними и надежными агентами Лубянки. На очной ставке он сам в этом убедился. Лиля своими обличениями повергла его в настоящий шок. Эта “парижская штучка” имела острый глаз и чуткий слух.

Долгое одиночное заключение не действовало на Примакова. Его сломили показания Лили Брик. Ей удалось узнать слишком много. Он понял, что упорствовать дальше глупо. Не мальчик же он, который, разбив мячом стекло, испуганно твердит: “Это не я!” Примаков попросил бумагу и принялся писать»<sup>469</sup>.

Версия довольно глупая — не стала бы Лили душить саму себя! Другое дело, что ее действительно могли вызвать к Ежову во время начавшегося процесса (предположительно в мае 1937-го) и в обмен на жизнь и спокойствие выспросить, кто бывал у них дома и что она слышала. Да и Яне жена непутевого комкора тогда слепо верила и могла наболтать ему с три короба. В пятидесятые годы Лили рассказывала писателю Юлиану Семенову: «Я — чем дальше, тем больше — замечала, что по вечерам к Примакову приходили военные, запирались в его кабинете и сидели там допоздна... Может быть, они действительно хотели свалить тирана? Или тот играл с ними, организовав провокацию?»<sup>470</sup>

Измученного Примакова еще до признаний привели в сталинский кабинет. Сталин обозвал его трусом. У лишенного сна Примакова началась истерика, потекли слезы. Он кричал, что ни в чем не виновен, но потом всё подписал — как и все остальные, включая Тухачевского, причем последний — на удивление быстро: «Основание заговора относится к 1932-му году. Участие в нем принимали: Фельдман, Алафузо, Примаков, Путна и др. <...> Первоначально в этой организации троцкистского влияния не было, но в дальнейшем оно было привнесено Путна и Примаковым, которые бывали за границей, где поддерживали связь с Троцким»<sup>471</sup>.

По одной из версий, к Тухачевскому привели любимую дочь и грозили изнасиловать ее при нем. Показания на военных дал и бывший начальник Примакова командарм Борис Шапошников — его тут же повысили до начальника Генштаба РККА. Странно, но Лилин салон, где, собственно, и крутились все эти заговорщики, а Тухачевский выплясывал в костюме бродячего скрипача, в деле никак не фигурирует. Маршал Тухачевский, кстати, и вправду сам изготавливал скрипки, неплохо пиликал и дружил с Дмитрием Шостаковичем, которого незадолго до этой ка-

тастрофы тоже прищучили — за «сумбур вместо музыки». Так вот, мало того что Лилию никак не привлекают к делу — ее теперь с усиленной вежливостью приглашают в музей в Гендриковом, и она заседает на тамошних совещаниях. Значит, кто-то сверху дал Брикам зеленый свет?

На скамье подсудимых тем временем оказались маршал Тухачевский, командармы 1-го ранга Якир и Уборевич, командарм 2-го ранга Корк, комкоры Путна, Эйдеман, Фельдман, Примаков (девятый, первый заместитель наркома обороны Ян Гамарник, предчувствуя арест, застрелился). Были также арестованы четыре сотни высоких военных чинов. Агранова же еще понизили и отправили работать в Саратов. Там Яня в отчаянии принялся фальсифицировать троцкистские заговоры направо и налево, будто желая своим рвением вернуть милость начальства.

Закрытое заседание Специального судебного присутствия Военной коллегии Верховного суда СССР прошло 11 июня 1937 года. Обвиняемые пронзительно каялись, клялись в преданности Сталину, идеям революции и Красной армии, умоляли о снисхождении — все, кроме Примакова. Мало того, Примаков произнес горячую речь, в которой приравнял и себя, и всех товарищей по несчастью чуть ли не к коварнейшим из архизлодеев. Даже судьи были впечатлены. Возможно, что, озвучив навязанный прокурорами текст, он надеялся на обещанное смягчение участи. По другой версии, Примаков намеренно доводил обвинения до абсурда и не валился Сталину в ноги, подчеркивая нелепость и абсурдность происходящего.

Но конец был неотвратим: Примакова и всех остальных осужденных по «делу Тухачевского» приговорили к расстрелу и привели приговор в исполнение той же ночью, в подвале суда. Якир в момент расстрела кричал: «Да здравствует партия! Да здравствует Сталин!» 13 июня «Правда» напечатала заметку о казни. В тот же день Лилию Юрьевну видели в Союзе писателей танцующей с Василием Катаняном.

Сын Примакова Юрий, изучавший дело отца, в 1990-е годы активно переписывался с Анатолием Валуженичем. Он рассуждал о роли Лили в трагедии, обезглавившей армию огромной страны перед вторжением гитлеровской Германии:

«Ее связь с Примаковым была, как сейчас говорят, “престижна”, но не основывалась на глубоких чувствах. Об этом хорошо знал Агранов и потому смог подготовить соответствующую резолюцию Сталина.

Могли Агранов или его помощники использовать Л. Ю. во время допросов Примакова? Думаю, что нет. К тому времени, когда он начал давать признательные показания (конец апреля 1937 г.), он был уже так измучен побоями, сердечными приступами, бессонницей (ему специально не давали спать сутками), что не соблазнился бы и царицей Савской. Однако версия о том, что именно Лилию Юрьевну можно было бы использовать в качестве “подсадной утки”, интересна тем, что это единственная женщина, связанная с процессом военных, в отношении которой было выдвинуто подобное предположение.

Нужно особо подчеркнуть и то обстоятельство, что именно Л. Ю. была единственным человеком из тех, кто хорошо знал Виталия Марковича и кто пальцем не пошевелил, чтобы помочь его реабилитации, восстановлению исторической правды о нем и пр. Для “жены с 1931 по 1937 г.” такая позиция совершенно уникальна в период после XX съезда партии, но для сотрудника органов совершенно естественна.

Не думаю, что она была постоянным агентом, но личный комфорт и безопасность она ставила превыше всего. Она была умная, хорошо образованная женщина, знавшая цену и славе, и почету, но идеи революции и социальной справедливости были ей чужды, и взгляды отца на жизнь тоже»<sup>472</sup>.

Уже в 1950-е годы Лилия передала сыну Виталию Марковича кинжал, привезенный им из Афганистана; кинжал был сдан в Музей Советской армии, откуда его потом украли.

Объяснимо, что «накрашенной, рыжей» хотелось скорее отгородиться от Примакова, уничтожить все воспоминания. Были сожжены ценнейшие дневники, письма, фотографии. А то, что принадлежало Примакову, от греха подальше сдано в НКВД (правда, судя по тому, что кинжал остался, не всё). По одной из версий, золотой портсигар Кшесинской забрали не при аресте, а именно сейчас, из рук самой Лили (кстати, Примакову он был подарен будущим товарищем по несчастью Уборевичем).

Семьи и прочие родственники всех казненных в ту ночь были сосланы из столиц, арестованы или расстреляны. Досталось братьям и матери Примакова. Нина Уборевич, которая советовалась с Эльзой по поводу меню для парижской выставки, сначала отправилась в Астрахань, а потом в лагерь. В 1941-м ее тоже поставили к стенке. Кстати, ког-

да Уборевича забрали и Нина Владимировна осталась одна в раскуроченной квартире, из всех друзей и знакомых к ней рискнула прийти лишь Галина Катанян. А Лиля только горько усмехнулась: «Мы сейчас с Ниной друг друга не украшаем...»<sup>473</sup> Но ладно бы махина репрессий обрушилась только на сослуживцев мужа — она умыкнула каждого второго Лилюного знакомого. Взяли Краснощекова (опять), взяли левовца Сергея Третьякова, взяли Бориса Кушнера, взяли Горожанина, взяли Зорю и Фанни Воловичей, взяли «Малочку» — Бориса Малкина, взяли даже всеильного Яню!

Лилю не трогали, но она жила в неотступном страхе. Решено было схорониться вне Москвы. Ося с Женей сорвались в Крым, в Коктебель, а Лилия с верным Катаняном — в Ялту, в Дом писателей. Она сообщала Осипу:

«Ем исключительно шашлыки и чебуреки; кроме того, пожираю виноград и инжир, за которым утром хожу на базар... Вася абсолютно внимательный — у себя только завтракает утром, а всё остальное время со мной, и роз у меня уйма»<sup>474</sup>.

Сначала она чувствовала некоторое пренебрежение со стороны заведующего санаторием — тот не хотел пускать ее столоваться; потом из Москвы пришла телеграмма, чтобы ее поили и кормили. Вот так чудо!

Галина Катанян, конечно, беспокоилась, что ее супруг пропадает с Брик на югах. Лилия, как обычно, недоумевала:

«...третьего дня на крыльях ревности сюда прилетела (буквально) Галя!! Делается всё для того, чтобы ее успокоить, и завтра или послезавтра она уезжает. <...> Со мной, слава те Господи, никаких разговоров, но у Васьки вид измученный, а у Гали — предприимчивый. Видно, был ба-а-альшой междусобойчик!»<sup>475</sup>

Междусобойчик еще разгорится... Но интересно, отчето же Лилю так щадили. Почему ее бывших приятельниц гнали по этапу, а ее вдруг взялись опекать из Москвы? Уже в 1970-е годы она узнает из книги копавшегося в архивах историка и публициста Роя Медведева, как всё произошло. Ежов принес Сталину список литераторов, которых должны были арестовать. Сталин вычеркнул фамилию Лили Брик и сверху приписал: «Не будем трогать жену Маяковского». То ли кремлевскому горцу не хотелось бросать тень



на свежий пьедестал талантливейшего поэта, то ли такова была благодарность Лиле за помощь следствию. Видно, ее свидетельства о закрытых сходках в кабинете Примакова сыграли важную роль в выбивании ключевого признания.

У Юрия Примакова была другая версия: «На судьбе Бриков, я думаю, более сказалась не ее любовь с Маяковским, а то, что сестра Лили Юрьевны Эльза Триоле была женой Арагона. Ссориться с границей, скандалить с французской компартией из-за еще одной женщины было невыгодно. Поэтому их место в подмосковных рвах заняли другие»<sup>476</sup>.

Так или иначе, охранная грамота «вождя народов» оберегала Лилю все годы террора — и не только ее, а и всё ее окружение. При этом фамилия Брик периодически звучала на лубянских допросах из разбитых губ измученных арестантов, готовых потянуть за собой всех, кто еще остался на свободе. К примеру, друг дома, литератор и журналист Михаил Кольцов, возивший Арагонов к умирающему Горькому и веселившийся на Лилиной даче в Пушкине, после безордерного ареста прямо в редакции «Правды» оказавшийся в ежовых рукавицах следователей, выбалтывал: «Начну с Лили Юрьевны Брик, которая с 1918 года являлась фактической женой Маяковского и руководительницей литературной группы “Леф” (Лилино тщеславие тут должно было бы возликовать — не домохозяйка, а руководительница! — А. Г.). Состоящий при ней формальный муж Осип Брик — лицо политически сомнительное, в прошлом, кажется, буржуазный адвокат, ныне занимается мелкими литературными работами. <...> Дом Бриков являлся ряд лет центром формализма в искусстве (живописи, театра, кино, литературы). <...> Хотя выпуск сочинений [Маяковского] затормозился, но Брики предпочитали не привлекать посторонней помощи, так как это повредило бы их материальным интересам и литературному влиянию. Брики крайне презрительно относились к современной советской литературе и всегда яростно ее критиковали. В отношении Маяковского Брики около двадцати лет (при жизни и после смерти его) являлись паразитами, полностью базируя на нем свое материальное и социальное положение...»<sup>477</sup> (Кольцова потом расстреляли; по одной из версий, истинной причиной ареста были его шашни с женой Ежова, которая настолько тянулась к искусству слова, что изменяла мужу еще и с Шолоховым, и с Бабелем. Впрочем, сам Ежов оказался в одном расстрельном списке с Кольцовым, а жена приняла смер-

тельную дозу снотворного.) Всего Кольцов оговорил около семи десятков своих знакомых, многие из них также были схвачены и казнены, но Лиле всё сходило с рук!

Постепенно «жена Маяковского» отходила от ужаса. Лечила воспалившиеся почки, раздавала интервью как вдова поэта («Вчера был у меня репортер из “Курортных известий”. Мы ему рассказали о библиотеке и изданиях. Репортер — ужасный идиот!») и продолжала шеголять любимой присказкой Примакова: «Иншалла, послезавтра будет еще лучше»<sup>478</sup>.

## ДРУЖБА СТАЛА ТЕСНЕЕ

В октябре 1937 года Лиля вернулась в Москву, в которой продолжали пропадать люди. В ближайшее время сгинет половина ее знакомых — Мейерхольд, Юсуп, Бабель... Расстреляют и родного брата Катаняна. Услышав, что Зинаиду Райх зверски убили неизвестные, Лилия даже упала в обморок. Чтобы отвлечься от гнетущих мыслей, она вспомнила о давних мюнхенских уроках и принялась ваять. Поставила у себя станок, завезла голубую глину и первым делом вылепила голову Маяковского. По словам первого директора музея поэта Агнии Езерской, голова получилась не очень удачно, но тем не менее в музее ее выставили. Следом из-под Лилиных пальцев родились головы Оси, Жени, Катаняна и ее собственная. На скульптурный автопортрет Лилия Юрьевна не покупилась и отлила его в бронзе, в двух экземплярах — разумеется, не сама, а при помощи скульптора и художника-кубиста Натана Альтмана.

Впрочем, Лилия оценивала свои опыты довольно критично. Отдыхая летом 1938 года на переделкинской даче, она пишет Осипу в Сочи:

«...вылепила страшного болвана, совершенно на меня не похожего — с вытарашенными глазами, кривой улыбкой и тонюсенькой шеей. Болвана этого для чего-то отлили, и он стоит в платяном шкафу на мое позорище»<sup>479</sup>.

Одна голова Лили потом находилась у нее дома, вторая — в парижской квартире Эльзы.

Свой пятый десяток лет она встречала тяжело, всё время беспокоилась о весе. В письмах Осипу то и дело мелькают цифры сброшенных и набранных килограммов. Лидия Гинзбург записала в то время:

«Лиля Брик уже почти откровенно стареющая, полнеющая женщина. Сейчас она кажется спокойнее и добрее, чем тогда в Гендриковом. Она сохранила исторические волосы и глаза. Свою жизнь, со всеми ее переменами, она прожила в сознании собственной избранности и избранности своих близких, а это дает уверенность, которая не дается ничем другим. Она значительна не блеском ума или красоты (в общепринятом смысле), но истраченными на нее страстями, поэтическим даром, отчаянием.

По радио передавали концерт Бандровской (Одарка Бандровская — камерная певица и пианистка с Западной Украины. — *А. Г.*), и после каждого номера слышался непонятный, похожий на тарактенье телег, шум аплодисментов, восторга.

— Слышите? Вам хотелось бы иметь такой успех? — вдруг сказала Л. Ю.

Проблема такого успеха настолько не моя, что я даже сразу не догадалась, что не хотела бы... И ответила только:

— Не знаю... Никогда об этом не думала.

Но есть род женщин, которых всегда касается проблема актерского успеха, и потому Л. Ю. сказала:

— А мне бы не хотелось. Мне всё равно.

В сущности, ей может быть всё равно. Бандровская поет свое время и забудется (и вправду забылась. — *А. Г.*), а Лиля Брик незабываема.

Мы сидели за круглым столом, и мои мысли о поэтическом бессмертии этой женщины вовсе не шли вразрез с самоваром или с никелевой кастрюлькой, где в дымящейся воде покачивались сосиски»<sup>480</sup>.

Меж тем, несмотря на откровенное старение и толстение Лили, с Катаняном у них назревало. Дружба, судя по всему, переродилась в роман еще в Ялте, в тяжелые недели переживания политической грозы. В письмах Осе и Жене Лиля в комических красках описывает, как во время учебной воздушной тревоги в санатории не горел свет и как Катанян боялся идти домой в темноте и просился к ней ночевать, а поскольку ей этого очень не хотелось, она отправила его с дворником. Лиля расписывала:

«Всё это было ужасно смешно, что, когда они ушли, я лежала одна в темноте, и у меня за ушами болело от смеха. Купаться Вася тоже немножко боится — дно неровное, и он боится упасть — стоит, качается, и я держу его за ручку».

Осю и его спутницу этот шарж на Катаняна невероятно развеселил:

«Очень ты смешно написала про Васю, и мы с Женей обхохотались. Напиши, пожалуйста, еще»<sup>481</sup>.

Очевидно, в конце концов «Васька противный» (за два дня до ареста Примакова Женя Жемчужная наказывала Осе: «Поцелуй за меня Кису, Вит[алия] Мар[ковича] и “Ваську противного”») был допущен в Лилину комнату<sup>482</sup>. Катанян был Лилиным спасением, ее сердечными каплями. К тому же он берег ее от бутылки. В Москву они возвращались уже любовниками.

«Это было мучительно для матери, для меня, — признавался потом Катанян-младший. — В то время она с отчаянием думала о том, о чем позже Цветаева: “Глаза давно ищут крик...”»

Идеологом эгоизма и нигилизма в личных отношениях, которых придерживалась Лиля Юрьевна, был Осип Максимович Брик, которому она безоговорочно доверяла и советам которого безоглядно следовала. В самый разгар драмы, когда рушилась семья, когда на нас свалилось горе и мать оказалась в тяжелой депрессии, Осип Максимович приехал к нам домой уговаривать ее. Я помню его приезд, но меня выставили. Смысл разговора сводился к тому, что раз так хочется Лиле Юрьевне, то все должны с ней считаться... Даже сам Владимир Владимирович... Пройдет какое-то время... Следует подождать... Все же знают характер Лили Юрьевны, что вас не устраивает? У Лилички с Васей была дружба. Сейчас дружба стала теснее.

Мать не нашлась что ответить и просто выгнала Брика из комнаты. Она не желала следовать их морали — ЛЮ хотела, чтобы отец оставался дома, а фактически жил с ней. И мать выставила отца, хотя видит Бог — чего ей это стоило.

В шестидесятых годах Лиля Юрьевна сказала мне: “Я не собиралась навсегда связывать свою жизнь с Васей. Ну, пожили бы какое-то время, потом разошлись, и он вернулся бы к Гале”.

Но мама его не приняла бы после всего, что было. Для нее это невозможно.

Лиля Юрьевна досадовала, что Галина Дмитриевна порвала с ней, она хотела по-прежнему дружить, “пить чай” и вообще общаться. Подумаешь, мол, делов-то! Но моя

мать дальше корректных по телефону “здравствуйте, Лилия Юрьевна, да, нет” не шла»<sup>483</sup>.

Да, гордая Галина Катанян не последовала примеру Хохловой и прочих жен, покорно дожидавшихся, пока Лилия наиграется с их мужьями. Но всё же поразительно, что сын блудного Катаняна-старшего, Василий Катанян-младший, как и отец, всю жизнь прослужит разлучнице Лиле — посвятит ей множество трудов и не раз ринется защищать ее доброе имя. А обманутая мужем Галина Дмитриевна проглотит комок обиды. Ее отзывы о предательнице исключительно теплы и уважительны. Спустя годы она призналась:

«Когда-то я очень любила ее. Потом ненавидела, как только женщина может ненавидеть женщину.

Время сделало свое дело. Я ничего не забыла и ничего не простила, но боль и ненависть умерли.

Маяковский знал — не мог не знать, — в чем будут винить Лилию после его смерти. И, умирая, защитил ее в своей предсмертной записке. Но недруги поэта не считают ни с его волей, ни с фактами: такого количества злобных сплетен и клеветы я не читала ни про кого из современников поэта.

Случилось так, что я знаю немного больше, чем другие. И не хочу, чтобы это ушло со мною. Маяковский — память которого для меня священна — любил ее бесконечно. И я не хочу, чтобы о ней думали хуже, чем она есть на самом деле. Не обвинять, не оправдывать, а попытаться объяснить то, что произошло, — вот цель...

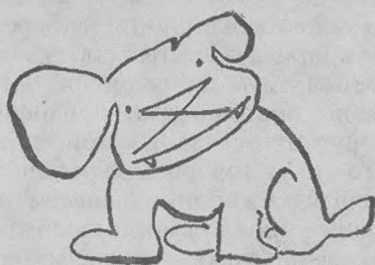
Трагедия двух людей из того “треугольника”, который Маяковский называл своей семьей, заключалась в том, что Лилия любила Осипа Максимовича. Он же не любил ее, а Володя любил Лилию, которая не могла любить никого, кроме Оси. Всю жизнь, с тринадцати лет, она любила человека, равнодушного к ней.

А если так, то не всё ли равно, кто будет на его месте? Отсюда и такое количество поклонников, которым подчас отвечали взаимностью, отсюда и эта бесконечная суета, в которой она прожила свою жизнь. Эта суета — как будто вечный праздник: смена людей, развлечений, обеды, премьеры, вернисажи, портнихи, везде поспеть, всюду быть первой — это средство заполнить ту пустоту, которую мог заполнить только один человек — тот, который не любил»<sup>484</sup>.

Катанян-младший, впрочем, делает попытку разобраться в магии Лили и объяснить самому себе, почему же он так полюбил противницу собственной матери:

Л. Ю. БРИК.

Цук



МОЛОТОВГИЗ

1942.

Брошюра о Маяковском, выпущенная Лилей в эвакуации. 1942 г.

«А я? Что было делать мне? Я стоял всецело на стороне мамы, она очень страдала, и вообще я ее всегда любил больше. Она много занималась мною, приучала к чтению, водила в театр. Была эмоциональнее, веселее, добрее. Отец был строже, холоднее, у нас с ним не было близости даже в детстве. А тут еще — мамины слезы.

Но Лиля Юрьевна, с ее умом, тактом, очарованием, умением быть доброй и безоглядно щедрой, сделала свое дело — я, мальчик, привязался к ней, оставаясь настороженным к отцу. И он это чувствовал. Лиля Юрьевна была мне не мачехой, а, скорее, отцом. Это от нее шла забота. “Ваське нужны новые ботинки” — говорила она. Или: “Я купила тебе путевку на две недели в Дзинтари”. С ее стороны всю жизнь я чувствовал расположение и любовь»<sup>485</sup>.

Выходит, мать и сын промискуитет Лили объясняют Осипом: она, дескать, пыталась заткнуть зияющую сердечную дыру, испытывала идейное влияние единственно любимого мужчины, давление его авторитета. Но не слишком ли сложное это объяснение? По-моему, Лиля просто любила брать всё, что ей нравилось, включая мужчин. Этим она их и покоряла — безапелляционной уверенностью в себе. Такова была ее природа с детства: побеждать и властвовать. Лиля ведь и Осипа взяла почти силой, бесперебойной семилетней атакой, постоянными признаниями в любви. И если ее напору уступил такой сухой теоретик, практически асексуал, то что уж говорить об остальных?

Вообще Лиля была женщиной совсем не Осипового типажа; его дремлющее либидо смогла пробудить лишь Женя, совсем не похожая на Лилю, — тихая, мягкая, уступчивая и сочная. Лиля же была для Оси вечным товарищем. Осколком прежней дореволюционной жизни. Союзником в богемных идеалах. Пробивным снарядом и беспроигрышным спутником жизни, всегда приводившим Осю туда, где кормят, где создают искусство и где, в конце концов, безопасно и обеспеченно.

Катанян тем более растворился в новой возлюбленной. Его сын писал потом: «Они прожили очень дружно с ЛЮ сорок лет, и он всецело подчинялся ей, а с Бриком они находились в прекрасных отношениях. И хотя они иногда спорили с ЛЮ — главным образом оценивая людей, которые встречались на их пути, — не было ни разу случая, чтобы он повысил голос. С ней это было невозможно. “Этого даже Володя не позволял себе”, — сказала она однажды. Это был самый спокойный ее союз до последнего дня»<sup>486</sup>.

Да, для Катаняна союз с возлюбленной и музой Маяковского был своего рода прикосновением к идолам. Сколько лет уткло с тех пор, как он впервые, приехав из Тифлиса, заглянул в Водопьяный переулок, где Маяковский ел манную кашу и где царствовала в кругу поклонников эта маленькая женщина. И вот теперь он сам оказался на месте поэта — ну не удача ли? Всю свою жизнь Василий Абгарович посвятил изучению и сохранению наследия Маяковского и человеческому служению Лиле. Он был на десять с лишком лет моложе Брик и к старости стал ей нянькой, сиделкой и безотказным пажом. А Маяковскому — летописцем (чего стоит одна только хроника жизни и творчества Маяковского). Вот и сын его пишет: «Всю жизнь он собирал всё, что писалось о поэте, все его переводы, беседовал с людьми, знавшими Владимира Владимировича, и заносил всё в картотеку — компьютеров тогда не было. ЛЮ часто обращалась к нему с вопросами, например: “Вася, когда мы встретились с Володиёй в Берлине?”, или “Зачем к нам приходил Синклер (Эптон Синклер — американский левый писатель, лауреат Пулитцеровской премии и, по выражению Ленина, «социалист чувств». — А. Г.) в Гендриков?”, или “Как звали ту женщину в Америке?” Но многое и Лиля Юрьевна рассказывала ему о Маяковском, о Брик, о левовцах, чего он не мог знать, и давала дельные советы»<sup>487</sup>.

Жизнь Лили до конца состояла из бесед за чаем и знакомств с талантливыми людьми, из приемов и домов отдыха, из спектаклей и картин, из азартных игр и поэзии, из доверху забитых впечатлениями поездок за границу. Немножко из тоски и страха. А главное, из всего, что было связано с Маяковским. Издательские и музейные хлопоты, новые постановки, открытие библиотек и памятников — всё требовало ее живого участия (закрепленную за ней комнату в Лубянском проезде она передала музею еще в 1938 году). И Катанян отныне всегда был рядом.

## ПАРАЛИЧ СЕРДЦА

Война застала их врасплох. Ося с Женей в это время лечились в санатории в Мацесте, узнали о нападении Гитлера сразу после ванн и проследовали в столовую подавленные. Подошла официантка спросить, что они выбирают, суп или борщ, и всегда механически сдержанный Осип Макси-



мович вдруг заорал: «Мы ничего не будем есть!»<sup>488</sup> Это был чуть ли не единственный раз, когда он повысил голос.

Во время войны Лиля ежедневно ходила по этажам их дома с дежурной бригадой и проверяла затемнение, а Ося трудился в «Окнах ТАСС» и продолжал генерировать статьи и либретто (к примеру, оперы «Иван Грозный» для Большого театра). Вскоре все четверо эвакуировались в Пермь (тогда — Молотов), успев перед отправкой сдать часть архива в музей. Катанян с Лилей поселились в одной избе, Ося с Женей в другой. Даже в эвакуации Лиля продолжала материально поддерживать мать Брика, мать Катаняна и Елену Юльевну, перебравшуюся в Армавир к родной сестре — той самой тетушке Иде, которая дирижировала Лилиным подростковым абортom. Благо деньги были — спасибо наследству Маяковского и хлопотам Примакова о судьбоносной записке Сталину. Покойные мужа старательно опекали Лилю, но и живые старались не отставать и, помимо прочего, пописывали в местную газету. Лиля же набросала маленький рассказик «Щен» про отношение Маяковского к собакам и начала работать над поэтическим словарем Маяковского, где каждому слову должна была быть дана смысловая характеристика. Но это дело, как и многие другие, начатые Лилей, было оборвано. Когда ушел из жизни ее помощник и вдохновитель Осип, всё потеряло смысл.

Связь между Лилей и Эльзой в первые годы войны оборвалась. Только в 1944-м Лиля оповестила сестру о смерти мамы:

«Элинка, мама умерла от порока сердца в Армавире 12 февраля 1942 года. Она лежала в лучшем санатории, лечили ее лучшие профессора, тетя Ида носила ей любимую еду и ухаживала за ней. Мама умерла у тети на руках. Никогда не думала, что это будет мне так невыносимо больно. Тетю Иду и Кибу убили немцы, которые через полгода после маминой смерти заняли Армавир. Невыразимо беспокоилась о вас. Не знала, где вы, живы ли. С тех пор как французское радио сообщило, что вы оба герои, — опять свет в окошке»<sup>489</sup>.

А дело было так. Сначала Арагон отступал от немцев в танковой дивизии, а после оккупации Франции за Эльзой по пятам ходили нацистские шпики. Потом Арагон вернулся, они с Эльзой чудом разыскали друг друга и принялись работать в антифашистском подполье. Просидели

десять дней в плену у немцев при попытке пересечь демаркационную линию под Ниццей, потом скрывались то в Ницце, то в Лионе, то в каких-то деревнях, нелегально издавали газету и книги по всем отраслям науки и искусства. От них по всем городам отправлялись тайные курьеры и книжно-газетные коммивояжеры. Из первых зачинщиков организации в живых остались только они двое, а всё парижское отделение Сопротивления, их близкие приятели, было схвачено немцами.

Арагон стал очень знаменит, его чтили партизаны-маки. Эльза же писала неистово, теперь уже по-французски, и чудовищно много переводила. Она признавалась Лиле, выйдя, наконец, на связь в 1944 году:

«Я очень пристрастилась к этому делу, оно заменяет мне друзей, молодость и много чего другого, чего не хватает в жизни...— Я постарела, но морщины пока что приличные, а то бывает ведь, что с души воротит. Седых волос не видно оттого, что волосы белокурые, а то их много. Я уже привыкла к себе немолодой и не огорчаюсь, Бог с ней, с молодостью, тоже хорошего мало»<sup>490</sup>.

После освобождения Франции Арагоны подыскивали себе загородный дом — бывшую мельницу в Сен-Арну, где много работали и принимали друзей со всех концов света: Пабло Неруду и Любовь Орлову, Марка Шагала и Пабло Пикассо, Константина Симонова и Майю Плисецкую. Наведываясь потом во Францию, Лилия прожила там немало звонких недель...

Но это будет позже, а пока семья из четырех человек под конец войны вернулась из эвакуации в Москву: топили буржуйку, меняли вещи на продукты, считали карточки. У Сельхозвыставки (нынешняя ВДНХ) писателям выделили клочок земли, и Лилия сажала там петрушку и варила картошку в котелке над костром. Катанян-младший для какого-то школьного проекта описал тогдашнее содержимое Лилиной сумочки: «...рецепт для окраски волос, расписка о получении денег Фондом детей фронтовиков, жетоны на сдачу бутылок, пенсионная книжка, которую ей дали после смерти Маяковского, рецепт, лекарство в коробочке, папиросы, записная книжка, губная помада, неотправленное письмо, гривенник и доверенность на получение денег в “Окнах ТАСС”»<sup>491</sup>. Он вспоминал, что, несмотря на войну, Лилия Юрьевна обожала, когда стол был красиво сервирован сохранившейся посудой, и какой вкус-

ный кофе она варила из собственноручно обжаренных и смолотых зерен с щепоткой соли. На пятидесятилетие Маяковского она сама приготовила манную кашу, и гости ели ее холодной, присыпая корицей. А в хрустальном бочонке она смешала крюшон, как делалось на приснопамятных заседаниях ЛЕФа.

Исполнительница романсов Татьяна Лещенко-Сухомлина записала в военные годы:

«Лиля Юрьевна Брик позвала к себе. Пришла я вечером, у них дома — Европа и уют. Лиля так умеет его создать: кофе у нее изумительно вкусный, стол красиво накрыт, тарелочки, нарядная скатерть, красивые чашки — и у Лили такой вид, будто у нее три домработницы! Сидит элегантная, чудно причесанная. В. А. Катанян и Осип Брик обожают ее и уважают. Она очень умна и очень женщина, и всегда такой будет, хоть и в сто лет. В ней большой шарм... Осип Максимович сидел и, по-моему, пристально в меня всматривался — у него умный, очень серьезный взгляд. Удивительно умеет он с людьми; вот Лиля Юрьевна бывает резкой — со мной никогда, но при мне с иными бывает нетерпимой, а он, мне кажется, мог бы с любым ладить»<sup>492</sup>.

Татьяна Лещенко тоже не избежала влюбленности в Лилю. «У нее такие маленькие беззащитные руки... — восторгалась она в декабре 1944 года. — Очень красивые, маленькие ноги, круглые, теплые темнокарие глаза и рыжие волосы...» И примерно тогда же рассуждала: «Удивительно, сколько гадостей говорят о ней до сих пор, а ведь она уже немолода, пора бы и перестать. Я вполне понимаю, что Маяковский мог так любить ее и как Осип Максимович до сих пор и навсегда ее любит. В ней есть высокого плана трезвость, несмотря на всех ее иногда и “низких” любовников... Лиля Юрьевна умна, проста...»<sup>493</sup>

Новый, 1945 год встречали в приподнятом настроении — чувствовалось, что войне скоро конец. Пришли Наташа Брюханенко, художники Денисовский, Штеренберги, Гринкруг. Татьяна Лещенко пела романсы, подыгрывая себе на гитаре. Пришел актер и чтец-декламатор Владимир Яхонтов, один из первых исполнителей с эстрады поэм Маяковского, с женой, актрисой Еликониной (тоже Лилия) Поповой. Яхонтов, кстати, так страстно любил Маяковского, что ударными концертами (бывало и по 80 за месяц) собрал деньги на танк, который получил имя «Владимир Маяковский» и дошел аж до Берлина. В июне 1945-го Яхонтов вме-

сте с Левитаном вел репортаж с Парада Победы, а через три недели написал резкое письмо правительству и выбросился из окна своей квартиры...

Кто только не гостил у Лили! У нее всегда бывало шумно. Еще накануне войны в Спасопесковский зачастили молодые поэты-студенты Павел Коган, Борис Слуцкий, Николай Глазков, Михаил Кульчицкий. Последнему перед его уходом на фронт она подарила шерстяные носки, кулек сахара и платок (по другим версиям — походную мыльницу) Маяковского. С войны Кульчицкий и Коган не вернулись.

Борис Слуцкий в разговоре с Аркадием Ваксбергом вспоминал:

«Надо было только раз увидеть Лилю Юрьевну, чтобы туда тянуло уже, как магнитом. У нее поразительная способность превращать любой факт в литературу, а любую вещь в искусство. И еще одна поразительная способность: заставить тебя поверить в свои силы. Если она почувствовала, что в тебе есть хоть крохотная, еще никому не заметная, искра Божья, то сразу возьмется ее раздувать и тебя убедит в том, что ты еще даровитей, чем на самом деле. Лили сказала мне: “Боря, вы поэт. Теперь дело за небольшим: вы должны работать, как вол. Писать и писать. И забыть про всё остальное”. И я ей поверил»<sup>494</sup>.

О влиянии Лили Юрьевны на молодую поросль поэтов можно судить и по воспоминаниям, оставленным о Николае Глазкове Юлианом Долгиным. Они с Глазковым образовали литературную группу небывалистов, которая потом раскололась на небывалистов Востока (Глазков) и небывалистов Запада (Долгин). Последний вспоминал:

«Большие лучистые глаза Лили Юрьевны вместе с ее улыбкой — сноп света! Понятно, она уже не молода и не победительна, как прежде, но глаза и улыбка — те же... Вскоре в ее доме появился и Борис Слуцкий. Между прочим он сказал Лиле Юрьевне:

— А вы знаете, есть у нас такой чудак... Личность странная, но стихи талантливые...

— Что ж! Приведите его ко мне. Любопытно познакомиться.

Глазков был представлен Лиле Брик. И — совершенно непредвиденно — сразу вытеснил из поля зрения именитой хозяйки дома всех прочих.

Она выделила его, как выделяют драгоценный перл из полудрагоценных камней и просто мишуры»<sup>495</sup>.

Во время войны Глазков сильно бедствовал, перебиваясь чистой кровелью, продажей папирос, колкой дров. И Лиля, которой неприкаянный поэт-полуребенок отчаянно напоминал Велимира Хлебникова, приютила его у себя и, как говорили друзья, спасла от голодной смерти. «Как-то, выясняя отношения (кто “настоящий” друг и кто “не-настоящий”), — делился Долгин, — Глазков сказал мне: “Леня! Кроме Жени Веденского (друг детства Глазкова, тоже помогший деньгами. — А. Г.) и Лили Брик, у меня друзей не было»<sup>496</sup>.

Лили помогала и опекала, нежилась во флюидах юношеского обожания и разливала чай интересным людям; в общем, всё шло своим чередом, пока перед самым исходом войны жизнь ее не лишилась главного стержня. Она написала Эльзе:

«22-го февраля в 4 часа дня Ося позвонил по телефону, что идет домой обедать, и не дошел. — Он умер мгновенно от паралича сердца на нашей лестнице на площадке 2-го этажа. Совсем недавно Осю смотрел врач (у него была крапивная лихорадка) и не нашел ничего угрожающего. Он был молодой, веселый, жизнерадостный. Для меня это не то что умер человек любимый, близкий, когда бывает тяжело переносимо, а просто — вместе с Осей умерла и я. <...> Я очень постарела после Осиной смерти. Появились те самые морщины, “от которых с души воротит”»<sup>497</sup>.

Всё-таки проигрыш в давешней квартирной войне за проживание на втором этаже оказался фатальным: Осип каждый день пешком поднимался на пятый этаж, и сердце не выдержало.

Она продолжала убиваться и в следующем письме сестре:

«Я очень много плачу — на улице, в метро и почти всегда по утрам. У меня нет ни одного воспоминания — без Оси. До него ничего не было. Оказалось, что с ним у меня связано решительно всё, каждая мелочь. Впрочем, не оказалось, а я и всегда это знала и говорила ему об этом каждый день: стоит жить оттого, что ты есть на свете. — А теперь как же мне быть?»<sup>498</sup>

Она впервые горевала по-настоящему. Интересно, что за три недели до смерти Осип, никогда ничего не посвящавший Лиле, разразился стихами в честь двадцатилетия совместной жизни с Женей:

И если бы я в чудо верил.  
Тот миг я чудом бы назвал,  
Когда в пролет вот этой двери  
Тебя впервые увидал.

В день смерти Осипа пожаловал даже Виктор Шкловский, нарушив многолетнее отчуждение. Поцеловал Лиле руку, зашел в комнату к Осипу — проститься — и ушел. Поступали соболезнования, телеграмма за телеграммой, без умолку звонил телефон, приходили люди, и все много курили. Лилия совсем перестала есть и только пила кофе.

Гражданскую панихиду провели в Литературном институте, а потом в крематории. Урну с прахом вмуровали в монастырскую стену на Новодевичьем кладбище. Туда же Лилия попыталась перенести и прах Маяковского, даже написала об этом Сталину, но генералиссимус не ответил — был занят решающими схватками войны. Вообще идея перенести могилу Маяковского мелькала у Лилии давно. Но она, видно, рассчитывала на план Мейерхольда, затеявшего грандиозный проект своего театра около Триумфальной площади — чудачковатое здание с угловой башней, куда предполагали вмонтировать урну с останками поэта. Над проектом театра уже корпели архитекторы, но тут Мейерхольд попал в немилость и был расстрелян, а урна поэта так и осталась в колумбарии Донского крематория.

Под некрологом Брика в многотиражке «Тассовец» подписался 91 деятель культуры — и это с учетом того, что многих не было в Москве — кто-то эвакуировался, кто-то воевал, кто-то погиб на фронте или умер от военных тягот.

Лилия долго не могла оправиться от потери. Галина Катанян вспоминала: «Эсфири Шуб (режиссер Центральной студии документальных фильмов. — А. Г.), которая к ней пришла после смерти Осипа Максимовича, она сказала: “Когда застрелился Володя, это умер Володя. Когда погиб Примаков — это умер он. Но когда умер Ося — это умерла я!”»<sup>499</sup>.

Примерно то же Лилия писала сестре. О том же спустя три года она сказала Фаине Раневской. Актриса записала:

«Вчера была Лилия Брик, принесла “Избранное” Маяковского и его любительскую фотографию. Она еще благовухает довоенным Парижем. На груди носит цепочку с обручальным кольцом Маяковского, на пальцах бриллианты. Говорила о своей любви к покойному... Брику. И сказала, что отказалась бы от всего, что было в ее жизни, только бы не потерять Осю.

Я спросила: “Отказалась бы и от Маяковского?” Она, не задумываясь, ответила: “Да, отказалась бы и от Маяковского. Мне надо было быть только с Осей”. Бедный, она не очень его любила... мне хотелось плакать от жалости к Маяковскому. И даже физически заболело сердце»<sup>500</sup>.

Но у самой Лили тогда сердце болело только по родному Киситу-Ослиту. Не помогли даже утешения навестивших ее Арагонов. Когда в 1946 году в стране проходила послевоенная замена паспортов, в Свердловском загсе отказались без брачного свидетельства регистрировать ее как Лилию Брик; она задним числом выправила себе свидетельство о браке с Осипом, хотя могла бы записаться как Катанян — и никакой тебе головной боли.

Певица Татьяна Лещенко, которую вскоре погнали в лагеря за выдуманный шпионаж, вспоминала про тогдашние встречи с Лилей: «На ней было всё синее, на маленьких ножках изумительные туфельки из Парижа; умная она, и то, что она не врет себе, я ценю и люблю. Мы поехали с ней на Новодевичье кладбище к Осипу Максимовичу. День золотой, с ветерком, там тенисто и зелено, и трогательные анютины глазки на могилах. И еще цветы и цветы. Могилы на каждом шагу, тесно. В длинной стене с урнами стоит и урна “О. М. Брик”. Я вспомнила его с сожалением, что знала его мало и издали. Мы побыли недолго. Лиля вытерла листья примулы, стенку»<sup>501</sup>.

Что ж, в те годы мгновенная смерть на воле, на пороге дома, где ждет любящая женщина, была подарком судьбы, и Осип Брик этот подарок получил.

## ПРОСТИТУТКА!

Еще в июне 1936 года Лилия писала Осипу:

«В тот день, когда мы уехали в Ленинград, Вася и Людм[ила] Вл[адимировна] (!! ) поехали выступать в Горький. Я его предупредила, чтобы он был сдержаннее с Л. Вл. оттого, что сейчас очень большие алименты. Он обещал. Сегодня позвоню ему»<sup>502</sup>.

Так язвительная Лилия предупреждала тогда еще примерного семьянина Катаняна не поддаваться кокетству старшей сестры Маяковского. Людмила и Ольга Владимировны всегда жили с матерью, замуж никогда не выходили.

Маяковский же, по словам Лили, сестер, особенно старшую, не очень жаловал, и Лиле постоянно приходилось умолять его проявлять вежливость, писать им хоть изредка и звонить.

Часто, когда Людмила приходила в Гендриков, поэт записался в своей комнате и не желал выходить — раздражался от ее присутствия, разговоров. Он считал ее не тонкой, не чуткой к стихам обывательницей. Сонка Шамардина вспоминала: «Как-то застала Людмилу Владимировну. Позвал меня к себе в комнату: “Не разговаривай с ней. Не задерживай, пусть уходит, а ты останешься”»<sup>503</sup>.

При жизни Маяковского и в первые годы после его гибели сестры с грехом пополам терпели Лилу, но в 1937-м наступил абсолютный разрыв. Шесть лет прожить с «врагом народа» Примаковым и якобы ничего не ведать, ни в чем не быть замешанной? Невозможно.

Людмила Владимировна уже давно пыталась вклинить-ся в литературную работу Бриков, всячески рвалась внести свой вклад в подготовку братниных посмертных изданий. Еще в январе 1931 года раздосадованная Лиля записала:

«5,5 часов сидела Людмила Влад. и под конец обиделась, что Ося сказал: “Ну мы гостей оставим, а сами поработаем” — ждали нас Вася (Катанян. — А. Г.) и Петя (футурист Петр Незнамов, погиб во время обороны Москвы. — А. Г.). Пришлось объяснить ей, что Володины книги не семейное дело. После этого всё-таки просидела еще битый час. У меня от раздражения и тоски начался озноб и разболелся живот. А я-то ругала Володика! Как я его теперь понимаю — с ним всегда творилось такое же, как со мной сегодня»<sup>504</sup>.

Но если раньше стороны еще сохраняли видимость дружбы, то теперь, после расстрела нового Лиленного мужа, Людмила пошла в любовую атаку. Началась сокрушающая битва за место рядом с пьедесталом лучшего и талантливейшего. И Лиля довольно скоро ощутила первые удары. Если в 1935 году, сразу после письма Сталину, она, торжествующая, сидела на вечере Маяковского в президиуме Колонного зала, то в 1940-м, на мероприятии к десятилетию со дня смерти поэта в Большом театре, они с Катаняном и Осей ютились в ложах второго яруса, причем порознь, зато мать и сестры поэта восседали на почетных местах.

Еще раньше правительственным постановлением был учрежден состав редакции сочинений Маяковского, куда вошли Николай Асеев, литературовед Виктор Перцов, лит-



критик Марк Серебрянский и Людмила Маяковская. Бриков там не было.

Оставшись без Оси, Лиля совсем посмурнела. Летом 1945-го она жаловалась в письме Эльзе:

«Цену людям я узнала. Было на чем проверить! Надино семейство (Штеренбергов. — А. Г.) я разлюбила. Витя (Шкловский. — А. Г.) законченный негодяй. С Володиной семьей мы не кланяемся»<sup>505</sup>.

К концу сороковых годов стало и того плоше. Разбушевлась — отчасти на почве рождения государства Израиль и излишнего энтузиазма по этому поводу среди советских евреев — антисемитская кампания против безродных космополитов. Урожденная Лиля Уриевна Каган могла бы запросто подпасть под все сумасшедшие обвинения в сионизме и антипатриотизме. А почему бы и нет? Люди стали пропадать только лишь из-за неправильных фамилий. А Лилин знакомый, режиссер Соломон Михоэлс, входивший в то самое Общество землеустройства еврейских трудящихся, которое когда-то привлекло ее к съемкам фильма «Евреи на земле», был убит гэбистами еще за год до начала кампании. Именно Михоэлс возглавлял Еврейский театр после того, как создатель театра и старый Лилин любовник Грановский не стал возвращаться в СССР с очередных зарубежных гастролей. Убийство замаскировали под автомобильную катастрофу — худрук театра был раздавлен грузовиком по прямому указанию Сталина. А потом закрыли театр...

Да и литературные дела не очень радовали. Главным официальным маяковедом стал вовсе не Катанян, выпускавший новые, всё более дополненные издания литературных хроник Маяковского, а идейно правильный Перцов.

В 1950 году и снова в 1951-м вышла первая часть его политически выверенного и зубодробительно скучного труда «Маяковский: Жизнь и творчество» со всеми необходимыми цитатами из Ленина, Сталина и далее согласно партийному иконостасу. Творчество бедного Маяковского теперь было государственным достоянием, и в нем копошились марксистские недоросли. В книге, разумеется, и не пахло никаким футуризмом, ЛЕФом или авангардом, зато было много всего про социалистический реализм и большевистскую революцию. Личная жизнь поэта тоже, разумеется, отсутствовала в книженции напрочь.

Читая ее, Лиля так разнервничалась, что начала черкать карандашом, комментировать, пояснять, опровергать. В итоге вместо глоссария у нее получилась целая статья, которую сама Лиля назвала «Анти-Перцов». Она сообщила Эльзе с дачи в Серебряном Бору:

«“Перцова” скоро кончаю. На машинке — уже 200 страниц, и будет, очевидно, еще столько же. Никогда бы не поверила, что могу написать столько! Это не для печати, а для рассылки: в ЦК, в Институт Горького, в комиссию, которая дала Перцову докторскую степень, в Ленинскую библиотеку, Музей Маяковского и так далее. Получается — не биография, но и не полемика с Перцовым, а как бы суд над Перцовым с обширными свидетельскими показаниями. Это не “популярно”, конечно, но, думаю, что для интересующихся Маяковским историко-литературно — интересно. Словом — хорошо ли, плохо ли — главное, что написано!»<sup>506</sup>

Перцова, однако же, продолжало колбасить, и он издал еще два хронологических тома. В 1973 году за этот симфонический труд он удостоился Государственной премии. Лиля же на почве нервов и героического антиперцовского труда перенесла инфаркт и по настоянию врачей два месяца не выходила из дома. Да и как она выйдет? Пятый этаж да без лифта. Лиля возмущалась в письме сестре:

«В Союзе пис[ателей] Перцовская книга обсуждалась в секции критиков для выдвижения на Сталинскую премию — Вася выступал дважды, один раз в течение часа... Сейчас вопрос этот перенесен вместе с другими книгами в президиум Союза, и Вася каждый день там, чтобы не пропустить обсуждение этой книги и еще раз сказать свое мнение о ней. Сама понимаешь, что лифтом заниматься некогда. Вот, ужо!..»<sup>507</sup>

Кстати, из-за инфаркта Лиля отменила празднование своего юбилея. Однако же нашелся человек, который в этот день огоршил ее неожиданным визитом:

«Когда я сидела на балконе (12° мороза!), закутанная в платки и шубы, внезапно, без звонка (как ты знаешь, он никогда у нас не бывает), пришел Витя!! Вошел в комнату как ни в чем не бывало и сказал: “Ага... у тебя много перемен... чей это рисунок?..” А когда я сообщила ему, что мне сегодня стукнуло 60 лет, он ответил: “Ага... это бывает...” Он пообедал с нами и поблистал, сколько мог. Да, сказал еще: “Ты больна... Но ты на этот раз выскочила... А у меня сердце здоровое...”»<sup>508</sup>.

Шкловский был верен себе.

Ужасы в стране, однако же, не прекращались. Были расстреляны члены Еврейского антифашистского комитета, почти все — поэты, писатели, журналисты, актеры. Но пока одна лапа дракона размахивала хлыстом, другая раздавала пряники: в том же 1952 году Илья Эренбург, «домашний еврей Сталина», как называла его нацистская пропаганда, получил Международную Сталинскую премию «За укрепление мира между народами». Луи Арагон был заместителем председателя комитета этой премии, и по этому поводу они с Эльзой наезжали в Москву. Держа официальные речи на советских трибунах, представитель Французской компартии в унисон со всеми пел осанну величайшему философу всех времен товарищу Сталину. Тем временем вслед за евреями принялись за врачей-убийц. Адская машина набирала обороты, и Лилия от страха снова стала закладывать за воротник.

А. Ваксберг свидетельствует, что Лилия в разгар всех этих яростных кампаний всерьез боялась за свою жизнь, которая держалась лишь на одной ниточке — Арагоне. «Арагон множество раз приходил нам на помощь, — уверяла она уже в 1970-е. — Возможно, в январе пятьдесят третьего он меня просто спас. Но могло, конечно, повернуться по-всякому, и тогда уже не спас бы никто. Он сказал мне: ты вне опасности. Наверно, он выдавал желаемое за действительное. Но он сделал всё, что мог. Его очень тогда ценили, потому что он был нужен. Он понимал это и пользовался этим. Я очень ему благодарна. За всё, за всё...»<sup>509</sup>

Эльза же рассказывала о тогдашнем психическом состоянии Лили гораздо откровеннее: «Лилия была в полном отчаянии, которое граничило с безумием. Она была тяжело больна. Ей казалось, что всё рухнуло. Мы с Арагоном утешали ее, как могли. Она реагировала тогда не вполне адекватно. Это была именно болезнь. Никто и ничто не могло ее излечить, только перемена ситуации. И когда кончился этот кошмар, уже в конце марта или в начале апреля, всё прошло»<sup>510</sup>.

Всё прошло не в начале апреля и не в конце марта, а 5 марта 1953 года, когда кровавый диктатор наконец-то отправился в ад. Можно было вздохнуть свободнее. И заглохшая было жизнь Лили снова завелась. Они с Катаньяном купили автомобиль «победа», стали подумывать о постройке дачи в Красной Пахре. Денег было достаточно, поскольку Сталин еще в 1946-м продлил срок действия авторских прав

на творчество Маяковского на неопределенный срок, — тут Лилина душенька могла быть довольна.

Катанян же сочинил пьесу «Они знали Маяковского», и в 1954 году эта пьеса уже ставилась в Ленинградском театре драмы имени Пушкина. Лилиа сама выбрала художника-сценографа — Александра Тышлера, давнего друга, который нарисовал три ее портрета, в том числе любимый, 1949 года — в профиль, под вуалеткой. Нашла композитора — начинающего Родиона Щедрина. Роль Маяковского исполнял лауреат пяти Сталинских премий Николай Черкасов, и спектакль был даже записан для телевидения. Людмила Владимировна Маяковская, конечно, рвала и метала. Дескать, ставить эту пьесу — безобразие, потому что в ней нет семьи поэта, матери и сестер. У нее это был пунктик.

Кстати, именно Черкасов помог Лиле и Катаняну переехать в новое элитное жилье. После инфаркта хождение на пятый этаж в Спасопесковском уже превращалось в пытку («Что же теперь делать с этой проклятой лестницей?»<sup>511</sup> — волновалась из Парижа Эльза). Черкасов ходатайствовал о предоставлении «жене Маяковского» квартиры в сталинской высотке. И квартиру дали — трехкомнатную, с видом на Москву-реку — правда, не в высотке, а в доме с лифтом на престижном Кутузовском проспекте.

А в 1958 году случился скандал. В 65-м томе «Литературного наследства», изданном Академией наук под названием «Новое о Маяковском», были опубликованы 125 писем и телеграмм Маяковского, адресованных Лиле. С откровенным предисловием последней — дескать, да, жили втроем, решили никогда не расставаться, а вот наши домашние клички, любуйтесь. Кисячье-щенячьи нежности из укромной эпистолярной норки выплеснулись на публику. Народ был взбудоражен, но еще пуще — партийные функционеры и, конечно, сестра Людмила (сразу вспоминается Варвара, злая сестра доктора Айболита Корнея Чуковского).

В московской газете «Литература и жизнь» мгновенно появилась неистовая статья-реакция, подписанная Владимиром Воронцовым и Александром Колосковым, подпавшими Михаилом Суслова, секретаря ЦК КПСС. Жёны Воронцова и его шефа Суслова были родными сестрами. «Двое из ларца» (по аналогии с персонажами мультфильма «Вовка в Тридевятом царстве») возмущались пренебрежением к святости интимной жизни поэта: дескать, вряд ли сам певец революции был бы счастлив, что кто-то напечатал

его сугубо личные письма. «Кроме того, — предупреждали авторы, — публикация этих писем дает не совсем правильное представление о личных взаимоотношениях Маяковского. — Создается впечатление, что издательство Академии наук недостаточно дорожит памятью великого поэта и неразборчиво тискает в печать всё, что попадает под руку»<sup>512</sup>.

А Людмила Владимировна назвала предисловие Лили фальшивым и нескромным — и не где-нибудь, а в письме самому Суслову от 9 января 1959 года:

«Л. Брик, замкнутая в своем кругу, не учла, какой резонанс может получиться у современных читателей, воспитанных на коммунистической морали, от публикации этих писем. Вместо признания и умиления перед ней, как она рассчитывала, — естественное возмущение.

Я получила письма, где говорится: “Невероятно, чтоб она была достойна такой небывалой любви”...

Брат мой, человек совершенно другой среды, другого воспитания, другой жизни, попал в чужую среду, которая кроме боли и несчастья ничего не дала ни ему, ни нашей семье. Загубили хорошего, талантливого человека, а теперь продолжают чернить его честное имя борца за коммунизм»<sup>513</sup>.

Скандальное издание в итоге обсуждали в ЦК партии, в результате редактор «Литературного наследства» Илья Зильберштейн чуть не потерял свое кресло. 66-й том, в котором намечалась публикация воспоминаний о поэте (включая Лилины), в результате так и не вышел. После 65-го сразу следовал 67-й, да и 65-й незаметно исчез с полок, как будто его и не было.

Кстати, в невышедшем томе предлагали поучаствовать и Анне Ахматовой. В феврале 1957 года Лидия Чуковская записала:

«Была на днях у Анны Андреевны. Недолго, в самом конце вечера. Она показала мне письмо Зильберштейна. Илья Самойлович обращается к ней с просьбой: написать для “Литературного наследства” воспоминания о Маяковском. Она бы, думается мне, и не прочь, но увы! Ильей Самойловичем совершена грубая тактическая ошибка. Он приложил к своему письму отрывок из воспоминаний Л. Ю. Брик; та сообщает, что Маяковский всегда любил стихи Ахматовой и часто цитировал их. На этом бы и кончить, но, к сожалению, далее у Брик рассказывается, как он нарочно, для смеха, перевирал их. Вряд ли поэт способен

безмятежно слышать свои стихи искалеченными. Мне кажется, у Анны Андреевны эти перевертывания вызвали физическую боль. Во всяком случае, писать она не станет»<sup>514</sup>.

Что касается писем, то в официальное Полное собрание сочинений поэта письма, адресованные Лиле, тоже вошли далеко не полностью, и заключительный том получился обрубленным.

Но это был только первый акт марлезонского балета. Второй начался спустя пять лет, когда Лилия опубликовала в «Вопросах литературы» свою статью «Предложение исследователям», где говорила о влиянии Достоевского на творчество Маяковского. Воронцов и Колосков, конечно, тут же, как на пружине, выскочили из ларца: «...эти “Предложения” находятся в вопиющем противоречии со всей жизнью и творчеством великого поэта революции»<sup>515</sup>.

На выходку сусловских близнецов откликнулся Константин Симонов, лауреат шести Сталинских премий и секретарь Союза писателей. Он тогда дружил с Лилей, гостил у Арагонов в их французском доме-мельнице и даже сочинил в соавторстве с Эльзой сценарий к пропагандистскому фильму «Нормандия—Неман». «Нравится или не нравится Л. Ю. Брик авторам статьи, — писал Симонов, — но это женщина, которой посвящен целый ряд замечательных произведений Маяковского. Это женщина, с которой связано 15 лет жизни и творчества поэта. Наконец, это женщина, которая была для Маяковского членом его семьи и о которой в своем последнем письме он писал “Товарищу правительству”, прося позаботиться о ней наравне с матерью и сестрами»<sup>516</sup>. Правда, письмо Симонова тогда так и не опубликовали.

Однажды муж племянницы Катаняна Владимир Степанов развлекал Лилию Юрьевну и Василия Абгаровича рассказом о своем давнем участии в конкурсе чтецов стихов Маяковского, проходившем в парке Горького в Москве. По этому рассказу видно, что Лилина статья была и вправду встречена с ожесточением:

«В первом ряду в толпе свиты сидела Людмила Маяковская. Я ее не сумел толком рассмотреть. Просто впечатление серенькой мышки. Когда я вышел на сцену, то слышал, как отбиравший нас артист-режиссер хвалил ей меня: интересное необычное чтение с учетом многообразия литературных жанров. Но не успел я продекламировать первое стихотворение, как услышал металлический, сухой,

безапелляционный голос той, которую я легкомысленно принял за мышку. “Это — не Маяковский! Это — Достоевский!” То был безжалостный приговор председателя военно-полевого трибунала. Наступила всеобщая осуждающая тишина. Больше мне читать не дали. Я был с позором изгнан с первого тура. В том месте рассказа, где упомянут был Достоевский, Василий Абгарович прервал меня и сказал жене: “Это она вас имела в виду”. “Очевидно,” — ответила Лиля Юрьевна<sup>517</sup>.

Воронцов и Колосков, конечно, не успокоились и в 1968 году выпустили две громкие антибриковские статьи в популярнейшем «Огоньке»: «Любовь поэта» и «Трагедия поэта» (эту писал один Колосков). Лили Юрьевна была раздавлена, а друзья, конечно, утешали. К примеру, молодой поэт Виктор Соснора, которого она опекала, писал ей:

«Я прочитал пасквиль в “Огоньке”. Туманные и пошлые намеки, рассчитанные на офицерских невест. Обыкновенный донос. Желтого цвета.

Не расстраивайтесь, пожалуйста! Даже я уверен, что Вы посмеялись над двумя болванами — и только. Полицейская пресса, подленькие статейки так или иначе являются. Когда клоуну больше нечем рассмешить публику, он плюет в небо.

Собака лает — ветер носит. Ветер дует — корабль идет»<sup>518</sup>.

Но Лили всё равно расстраивалась. Еще бы, ведь эти колосковы и воронцовы противопоставляли черному влиянию Лили светлое влияние Татьяны Яковлевой и всячески намекали, что это Лили не пустила поэта в Париж в 1929 году. Буржуйка-белоэмигрантка неожиданно стала для цековских зоилов предпочтительнее собственной советской музыки? Как же так? Кажется, в этом таился душок антисемитизма. Татьяна — «русская душою», а Лили — еврейка. Конечно, русскому поэту лучше было бы с русской девушкой. Вот и Шкловский так полагал. Они с Дувакиным обсуждали:

«...В[иктор] Ш[кловский]: У меня такое впечатление, что вся эта диверсия с Лилей и так далее задумана...

В[иктор] Д[увакин]: “Огонек”?

В. Ш.: Да... по двум линиям. Первое: что вины у “товарища правительства” в смерти Маяковского нет. А виноваты... виновата еврейка и еврейское окружение.

В. Д.: И это тоже есть.

*В. Ш.:* Да. Вот для чего это сделано. Поэтому подчеркнуто, что Яковлева — русская женщина, мол, можно было бы и женить — всё было бы хорошо»<sup>519</sup>.

(Воронцов и Колосков в «Любви поэта» подчеркивали: «Татьяна Алексеевна Яковлева была дочерью русских родителей»<sup>520</sup>.)

Но Симонов — кстати, первый публикатор «Письма Татьяне Яковлевой» в СССР (стихотворение вышло в апрельской книжке «Нового мира» за 1956 год, там же было раскрыто, кому посвящено «Письмо товарищу Кострову») — и тут вмешался. Прочитав антибриковские пасквили, он стремительно написал письмо в «Литературную газету»:

«Говоря о стихах, посвященных Т. Яковлевой, авторы статьи пишут, что они “несут в себе новые настроения, новые интонации. В них нет той тоски, надрыва, проклятий, какие характерны для стихов, обращенных к Л. Брик”. Спрашивается, как можно всю любовь поэта, пронесенную им через целые тома стихов и поэм, пытаться свести к тоске, надрывам и проклятиям? Неужели в этом состоит вся суть лирики Маяковского, написанной до его “Письма Татьяне Яковлевой”? Литературной науки в такой трактовке — ни на грош. Элементарной объективности тоже. Уважения к памяти поэта еще меньше. Но зато много плохо скрытого озлобления по адресу Л. Брик, то есть по адресу человека, которому на протяжении многих лет были посвящены вершины лирики Маяковского и которого в своем предсмертном обращении к советскому правительству Маяковский назвал как члена своей семьи, первой, рядом с матерью и сестрами»<sup>521</sup>.

Главред «Литературной газеты» Александр Чаковский печатать письмо Симонова отказался, Симонов напирал. В итоге Чаковский обратился за советом в ЦК, и оттуда подтвердили, что печатать не стоит. (Суслов тогда был секретарем ЦК, отвечавшим за идеологию, и был вторым по силе после Брежнева.)

После публикации «Любви поэта» Лиля, конечно, имела зуб и на Романа Яковсона — именно он вытащил на свет божий стихи Маяковского, посвященные Татьяне: опубликовав их в 1955 году в Бюллетене Гарвардской библиотеки, в 1956-м в нью-йоркском альманахе «Русский литературный архив» и факсимильно воспроизвел надписи поэта на подаренных Татьяне книгах и стихи на визитках, которые прилагались к каждому букету цветов (а цветы от Маяковского, как мы помним, приходили Татьяне каждую



неделю в течение нескольких месяцев). «Я написала Роме, пусть порадуется на “Любовь поэта”, наш легкомысленный друг»<sup>522</sup>, — фыркнула Лиля в письме Эльзе.

Когда же вышла вторая статья, «Трагедия поэта», Лиля совсем запаниковала и написала сестре:

«Беспокоюсь, беспокоюсь... Огоньковцы хотят нас растоптать. На друзьях лица нет, но сделать никто ничего не может. Была бы я помоложе — подала бы в суд, и поступила бы глупо, оттого что толку всё равно никакого бы не было. Я советовалась. Похоронили Кручёных. Было много цветов. Он — последний. Тяжко.

Сначала я после огоньковских статей была почти спокойна. <...> А сейчас стала плакать и задумываться — как же мне теперь быть. Эта третья статья, говорят, дважды была запрещена цензурой и вышла с купюрами. Представляете себе, что это было! Хорошо, что Володиных 13 томов уже опубликованы. А каково тем, кого не печатают, — тоже Великим...»<sup>523</sup>

Зиновий Паперный застал Лилу как раз в такой период слезливости:

«Я пришел к ней в день, когда появилась вторая часть статьи “Трагедия поэта”. Там уже грубо охаивалась не только Лиля Брик, но и Осип. Например: “О. Брик, хвастаясь своей близостью к Маяковскому, в ряде статей обнаружил, что он никогда — ни при жизни, ни после смерти поэта — не понимал его, не сумел правильно оценить его крупнейшие произведения” (№ 26, стр. 19).

Снова я видел, как больно было Лиле Юрьевне переживать очевидную ложь, клевету, на которую нельзя публично возразить.

Наливая мне чай из термоса, она тяжело вздохнула, всхлипнула и как бы про себя сказала: “Вам нужно некрепкий чай...”

Это очень на нее похоже — когда-то, в одно из первых посещений, я за чаем сказал, что люблю некрепкий. И она никогда этого не забывала. У нее была особая памятьливость по отношению к привычкам и вкусам каждого, кто ее окружал»<sup>524</sup>.

После выхода гнусных статей Лиля как-то обронила при литературоведах Викторе Дувакине и Рудольфе Дуганове: «Меня как будто палками побили на улице». Защитники Лили заштитинились и принялись забрасывать письмами высоких чинуш. Семен Кирсанов и Зиновий Паперный на-

катали по письму председателю правительства Косыгину. Борис Слуцкий обратился к Брежневу, Ираклий Андроников — в редакцию «Известий». Все они протестовали против травли и клеветы в адрес главной музы поэта. ЦК отвечал: успокойтесь, товарищи. Не нравится, что надерзили Воронцов и Колосков? Тогда вот вам статьи Перцова и Смелякова с критикой огоньковских статей. Литературовед Виктор Перцов и поэт Ярослав Смеляков в прессе действительно пожурили Воронцова и Колоскова — за излишнюю сенсационность и однобокость, — но в общем и целом с ними соглашались. Арагон в Париже тоже вступился за свояченицу — в своем еженедельнике «Летр франсез», который по причине левизны продавался во многих киосках крупных советских городов. Однако в 1969-м, после антиогоньковской публикации, ни в СССР, ни в странах соцлагеря у газеты не осталось ни одного подписчика, и через четыре года она издохла от безденежья. Лиля в отчаянии рвала на себе волосы.

Тогда Симонов подключил своего товарища, главреда журнала «Юность» Бориса Полевого. Тот заказал Кирсанову статью в защиту Лили. Но юркий заместитель Полевого вовремя добежал до телефона и предупредил влиятельного Воронцова; в итоге статья до печати не добралась. Дело, видно, и вправду крылось в антисемитской подковерной игре. Историк литературы Вячеслав Огрызко приводит воспоминания сотрудника цековского отдела культуры Геннадия Гусева о помощнике и родиче Суслова: «Воронцов считал себя маяковедом — изучал Маяковского, милел к нему особой лаской. В какой-то момент он включился в тяжелые бои, которые шли за пост директора создаваемого музея Маяковского между еврейской и русской партиями. Воронцов вел эту борьбу отчаянно, буквально до последнего патрона, против попыток перетащить Маяковского в либеральный еврейский лагерь. Это была напряженная борьба, потому что Василий Катанян, тогда еще живая Лилия Брик и так далее тащили своего человека на должность директора, а надо было им противопоставить русского. И тогда мои друзья — [Анатолий] Никонов (редактор журнала «Молодая гвардия». — А. Г.), Иван Стаднюк (на тот момент заместитель главного редактора «Огонька». — А. Г.), [Иван] Шевцов (советский прозаик ультраконсервативного толка. — А. Г.) — настроили Владимира Васильевича на то, что я подхожу на пост директора. Он меня поймал дома по телефону и долго уговаривал, чтобы я дал свое согласие за-

нять этот пост: “Мне ваши друзья говорили о вас. Вы делаете высокую карьеру. Вам всё зачтется. Но нам на год — на два, пока вы подготовите себе замену, надо закрыть этот участок”»<sup>525</sup>.

Что это за музей такой, если музей Маяковского уже давно действовал в Гендриковом переулке? Дело в том, что Людмила Владимировна ни спать, ни есть не могла оттого, что музей ее брата расположен в гнезде разврата, в Гендриковом, где каждая чайная чашка наводила на разговоры о Лиле и Осипе. Она звонила во все инстанции, чтобы музей срочнейшим образом перенесли на Лубянский проезд. Процесс начался еще в 1962 году, когда Лилина ненавистница настрочила Суслову письмо, в котором были строки:

«...библиотека-музей В. В. Маяковского почему-то была устроена в доме по бывшему Гендриковому пер., теперь переулку Маяковского, 13/15. Квартиру в этом доме брат получил в 1926 году, она числилась за ним и им оплачивалась. Фактически же квартира принадлежала О. М. Брику и Л. Ю. Брик. Из четырех комнат Маяковский занимал одну самую маленькую комнату, где он проводил свободные вечера и иногда ночевал. Сейчас в тех комнатах размещен мемориальный музей, сюда перенесены некоторые вещи из комнаты на Лубянском проезде, в том числе и портрет В. И. Ленина, к которому обращено известное стихотворение Маяковского “Разговор с товарищем Лениным”. Это само по себе является нарушением истории.

Кроме того, посетители, проходя по комнатам музея, больше интересуются, что было в той или другой комнате, и экскурсоводу, отходя от прямой задачи — пропаганды творчества Маяковского, — приходится объяснять назначение комнат и взаимоотношений Маяковского с О. М. Бриком и Л. Ю. Брик и т. д.

У молодежи, как я неоднократно наблюдала, это вызывает недоумение, и у многих складывается неправильное представление о Маяковском, тогда как эта сложная, тяжелая для моего брата жизнь создавалась по вкусу Л. Ю. и О. М. Брик»<sup>526</sup>.

В итоге постановлением Секретариата ЦК КПСС музей был перемещен туда, куда хотела Людмила Владимировна. Но в старом здании в Гендриковом собирались оставить мемориальные комнаты и «массовую» (публичную) библиотеку имени Маяковского. Людмилу не устроило и такое решение. Она тут же сочинила Брежневу письмо в довольно доносительском духе:

«Они надеются растворить коммунистическую поэзию Маяковского в бесчисленных анекдотах о “советской Бетриче”, как рекламирует себя Брик, пошлых аморальных разговорах, перечеркивающих светлую память о брате и о народном поэте.

Он расплавляется за свою молодую 22-летнюю доверчивость, незнание ловких, столичных женщин, за свою большую, чистую, рожденную в сознании, на берегах Риона, любовь.

Никакие мотивы не могут примирить честных советских людей с такой постановкой вопроса.

Брики — антисоциальное явление в общественной жизни и быту и могут служить только разлагающим примером, способствовать антисоветской пропаганде в широком плане за рубежом.

Здесь за широкой спиной Маяковского свободно протекала свободная “любовь” Л. Брик. Вот то основное, чем характеризуется этот “мемориал”. <...> Я твердо убеждена, что подобное решение создает ситуацию двух музеев в одном городе, диаметрально противоположных взглядов на Маяковского. Музей “леваков”, а точнее, беспринципных людей, аполитичных, злобствующих на советскую власть и русскую передовую демократическую культуру, и музей старого партийного направления, музей как пропагандистский орган генеральной линии ЦК КПСС на основе наследия В. В. Маяковского.

Брики боялись потерять Маяковского. С ним ушли бы слава и возможность жить на широкую ногу, прикрываться политическим авторитетом Маяковского.

Вот почему они буквально заставляли Маяковского потратиться на меблированные бриковские номера»<sup>527</sup>.

Роберт Рождественский, Борис Слуцкий, Константин Симонов выступали с протестом против новой концепции музея, однако же новый «обезбриченный» музей открылся в январе 1974 года.

Кстати, Людмиле Владимировне удалось перенести не только музей, но и останки поэта, чего так и не добились Лилия. В мае 1952 года при помощи тех же Суслова и Воронцова урна с прахом Маяковского оказалась в могиле на Новодевичьем кладбище. Туда же перезахоронили Ольгу, скончавшуюся в 1949-м, и маму Александру Алексеевну, ушедшую в 1954-м. В 1972 году, к возмущению Лилии, там же упокоилась и сама неистовая Людмила. А потом Патриция Томпсон подсыпала туда еще немного праха Элли Джонс.

Но были у Лилии Юрьевны и свои триумфы. В 1973 году к восьмидесятилетию Маяковского в Москве прошла юби-

лейная выставка, практически полностью повторяющая выставку 1929 года. В ее каталог, помимо воспоминаний матери и сестер, стараниями Симонова были включены и мемуары Лили. Выставка прошла с огромным успехом (кстати, на фотографиях рядом с Лилей можно заметить и бородатого Бенгта Янгфельдта). Писательница Мария Арбатова рассказывала мне, что вместе с подругой волонтерствовала на подготовке этой выставки. Как-то раз к ним ворвалась старая Брик и проорала, что всё не так, как надо. Но в итоге, видимо, стало, как надо. Экспозицию потом даже провезли по нескольким странам.

Правда, Воронцов и тут пытался вставить палки в колеса и науськивал на выставку Владимира Макарова, директора свежееоткрывшегося музея. Обоих возмущало, что первоначальную экспозицию собирались расширить и дополнить новыми материалами, уделявшими внимание Брикам. Макаров писал Суслову:

«Очевидно, нет необходимости доказывать, что “расширение” и “дополнение” знаменитой итоговой выставки, подготовленной самим поэтом, нужно С. Юткевичу и К. Симонову для того, чтобы “связать в целое” несвязуемое — показать, как из обыкновенного “хулигана” и “скупающего художника” “любовь” Л. Брик “сделала” великого поэта Маяковского»<sup>528</sup>.

Сергей Юткевич был автором фильма «Маяковский — актер кино», где Лилия и Катанян выступили консультантами. Фильм не запретили совсем, потому что его уже одобрил кто-то из помощников Брежнева, но сцены с участием Лили всё-таки вырезали.

А вот убить выставку, посвященную лучшему поэту эпохи, было бы гораздо сложнее. Поэтому один из сусловских прихвостней просто попытался прокрасться и вынести с экспозиции хотя бы портрет Лили. «Она сообщила об этом Симонову, — пересказывает муж племянницы Катаняна с Лилиных слов. — Тот пришел на выставку и, ничего не говоря, предложил присутствующим совершить с ним последний перед открытием контрольный обход. Подойдя к месту, где должны были быть документы о Л. Брик, и не обнаружив их, К. Симонов не стал проводить дознание: где они и почему сняты. Он сделал удивленный вид и сказал: “Что-то я не вижу здесь материалов о Лиле Брик! Быстренько принесите и повесьте!” Возражать маститому

поэту и члену ЦК никто не решился. Эта часть экспозиции была восстановлена»<sup>529</sup>.

Зиновий Паперный вспоминал об этой борьбе за экспонаты немного по-другому:

«Заместитель министра культуры лично является в помещение, где группа энтузиастов развешивает и составляет экспонаты — строго по планам, чертежам, фотографиям выставки 1930 года. И тут перед начальственным взором — обложка журнала “ЛЕФ”, на которой помещен фотопортрет работы Александра Родченко: лицо Лили Брик крупным планом, широко раскрытые глаза, как писал Маяковский, “большие блюдца”, смотрят прямо на вас. Где бы вы ни стояли, этот взгляд вас находит и не отпускает.

Замминистра распоряжается: портрет снять. Об этом сообщают Симонову. Тот приходит спокойный, просит фотографию стенда 1930 года, начинает сверять каждый экспонат и говорит:

— Вот здесь портрет Лили Юрьевны, а у вас его нет. Мы не можем нарушать волю поэта.

Фотопортрет водружается на место.

И так несколько раз: визит замминистра — Л. Ю. Брик снимают. Вызванный опять Симонов ее возвращает на то место, которое предоставил ей Маяковский. И в конце концов поэт — со своим доверенным лицом Симоновым — настаивают на своем. Начальство капитулирует. Для того времени — редкий случай»<sup>530</sup>.

Кстати, тот же Паперный вспоминал, как издевался над Лилей новый директор музея Маяковского Владимир Макаров:

«Однажды, придя к Лиле Юрьевне, я сразу почувствовал: она чем-то удручена, подавлена, хотя она и старалась этого не выдать. Я спросил: не случилось ли чего? В ответ она взяла со стола бумагу и прочитала вслух — тихим, напряженным голосом. Это было письмо В. Макарова. Он писал ей, что, живя с Маяковским, она наверняка получала от поэта дорогие подарки. Тон письма был одновременно развязным и требовательным. Лиле Юрьевне предлагалось все подаренные ей драгоценности сдать в музей.

Трудно придумать что-нибудь более оскорбительное: мы, мол, не знаем, что дарил Вам поэт, но что бы он ни дарил Вам лично — не пытайтесь утаить это от государства»<sup>531</sup>.

Забавно, что в период суловской травли Лилия умудрилась снова поцапаться со своим старинным недругом Виктором Шкловским. Шкловский называл это «второй

ссорой» (первая, как мы помним, предшествовала расколу ЛЕФа и вертелась вокруг «домохозяйки»). Так вот, когда вышел 65-й том «Литературного наследства» «Новое о Маяковском» с интимными письмами поэта Лиле, Шкловский явился на дискуссию в редакцию журнала «Октябрь» и как бы примкнул к осуждающим. «Сокрушался, — излагает Бенедикт Сарнов, — что Маяковский представлен в ней (переписке. — А. Г.) мало что говорящими уму и сердцу читателя короткими записочками. Сказал даже, что, напечатанные с комментариями в академическом томе, записочки эти “изменили свой жанр и тем самым стали художественно неправдивыми”. А в заключение посетовал, что в томе не напечатано “большое письмо Маяковского о поэзии. Оно осветило бы записочки”».

Особенно возмутила Лилю Юрьевну именно последняя фраза, поскольку это «большое письмо Маяковского о поэзии» существовало исключительно в воображении Виктора Борисовича.

Вскоре после этого выступления Шкловского на страницах журнала Лиля Юрьевна получила от него послание:

«Факт есть факт. Письма не существует и не было. Мне жалко, что я ошибся и обидел тебя.

Новых друзей не будет. Нового горя, равного для нас тому, что мы видали, — не будет.

Прости меня.

Я стар. Пишу о Толстом и жалею через него на вечную несправедливость всех людей.

Прости меня»<sup>532</sup>.

Письмо было отправлено в июле 1962 года, а в 1966-м, когда вышла статья Лили о Маяковском и Достоевском, а следом и совместный канкан Воронцова и Колоскова в «Известиях», Бенедикт Сарнов пил чай у Шкловских. Тут раздался звонок в дверь — принесли вечернюю почту. Б. Сарнов вспоминал:

«Никаких сенсаций мы не ждали, и я переворачивал газетные листы без особого интереса. На этот раз, однако, интересное нашлось. Это была реплика, изничтожающая опубликованную незадолго до того (в сентябрьском номере “Вопросов литературы”) статью Л. Ю. Брик “Предложение исследователям” (так в журнале озаглавили отрывок из ее воспоминаний, в котором она размышляла о Маяковском и Достоевском). К публикации этой я был слегка причастен (Л. Ю. советовалась со мной и Л. Лазаревым (сотрудник,

впоследствии главный редактор «Вопросов литературы». — А. Г.), какие главы ее воспоминаний лучше подойдут для журнала) и поэтому злобную реплику, подписанную именами всё тех же двух мерзавцев, читал с особым интересом. Бегло проглядев про себя, прочел ее вслух. Ждал, что скажет Виктор Борисович. Хотя что тут, собственно, можно было сказать? Разве только найти какое-нибудь новое крепкое словцо для выражения общего нашего отношения к авторам гнусной статейки. Ведь кто бы там что ни говорил, а во всей мировой литературе не было другой женщины (кроме, может быть, Беатриче), имя которой так прочно, навеки срослось бы с именем великого поэта, ей одной посвятившего “стихов и страстей лавину”.

Но реакция Шкловского оказалась непредсказуемой:

— Ну вот, теперь, значит, она хочет сказать, что жила не только с Маяковским, но и с Достоевским.

Как видите, отношения были, мягко говоря, непростые. В сущности, даже враждебные»<sup>533</sup>.

Вообще, несмотря на всю гнусность партийной кампании, можно понять и сестру Маяковского. Если уж Фаине Раневской было жаль его — не сильно любимого добытчика и карманного поэта божественной супружеской пары, то что уж говорить о ближайших родственниках. Сборник «Маяковский в воспоминаниях родных и друзей», в котором были напечатаны разоблачения художницы Елизаветы Лавинской, вышел как раз под редакцией Людмилы Маяковской и Колоскова в 1968 году. В последние, тяжелые годы художница очень сблизилась с сестрой поэта, а о первой встрече с ней (на даче в Пушкине) вспоминала так:

«Я оказалась рядом с Людмилой Владимировной, с которой, как это ни странно, раньше не встречалась. А странно-го, по существу, тут ничего не было. Лиля Юрьевна создала вокруг Маяковских такую атмосферу, что из лефовцев и тех людей, которые были вокруг ЛЕФа, той семьей никто не интересовался. Лиля Юрьевна с полушутливым вздохом говорила: “Ой, товарищи, завтра, пожалуйста, никто не приходите: будет адская скука — будут Володиные родственники”.

И вот этой невероятной “адской скукой” накрепко обвивались Александра Алексеевна, Людмила Владимировна и Оля. Лиля Юрьевна в тот период их никогда не ругала, а говорила: “Они все очень и очень милые, но такие неинтересные, и разговаривать с ними абсолютно не о чем”.

Брик своим авторитетным молчанием поддерживал эту характеристику, а его ироническая улыбочка, приподнятые



брови как бы говорили: “Что ж делать, хоть и неприятно, но, раз мама и сестры имеются, ради Володи придется отдать дань ‘пережиткам’, принеся себя в жертву скуке”»<sup>534</sup>.

Олегу Смоле, спросившему об этой публикации Лавинской, Лиля ответила сдержанно: «Она художник. Из ближайшего окружения сестры Маяковского. Писала свои воспоминания где-то во второй половине 40-х годов, будучи психически больной, в больнице, писала в угоду сестре Маяковского, поскольку та оказывала какие-то услуги, помогала материально»<sup>535</sup>.

Лилина подруга Рита Райт тоже изобразила Лавинскую законченной городской сумасшедшей:

«В какой-то из годов сразу после войны иду я как-то по улице и вдруг вижу перед собой незнакомую женщину — изможденную, болезненного вида, в какой-то старой дырявой фетровой шляпе. Остановилась и говорит: “Риточка, здравствуй. Не узнаёшь? Лена Лавинская...” И тут только я ее узнала. Поехали с ней чуть ли не через всю Москву. Она мне говорит: “Это я только так одета. Дочь моя одета хорошо...” Она была уже очень больна, лечилась в психбольнице. Дружила с Людмилой Владимировной... зависела от нее, та ее и заставила писать воспоминания. Чепуха какая-то, пишет, что Лилия на крыше принимала солнечные ванны и одновременно гостей. Ну и что? Почему же нельзя, загорая, общаться с друзьями?»<sup>536</sup>

Воспоминания Лавинской, прежде чем выйти в сборнике, 20 лет пролежали в виде рукописи (она и вовсе просила напечатать их не раньше чем через 60 лет, но ее волю нарушили). В какой-то момент рукопись купил музей Маяковского, и она хранилась там. И вот как-то раз директор музея (еще в Гендриковом) Агния Езерская пригласила Лилию прийти и поделиться с сотрудниками воспоминаниями о поэте. По словам присутствовавшего там Зиновия Паперного, Лилия уже знала о покупке рукописи Лавинской и шла на встречу с бомбой в кармане. Паперный пишет:

«...вот Лилия Брик кончила читать вслух свою тетрадь. Все молчат — растроганы услышанным. В глазах у некоторых сотрудниц слезы. Как говорится, тихий ангел пролетел...

Но тут Лилия Юрьевна, как бы случайно вспомнив, обращается к директрисе:

— Агния Семеновна, хочу вас спросить: зачем вы покупаете явно лживые, клеветнические мемуары?

— Я знаю, что вы имеете в виду. Но, уверяю вас, это находится в закрытом хранении, никто не читает.

Лиля Юрьевна заявляет, отчетливо произнося каждое слово:

— Представьте себе на минуту, Агния Семеновна, что я купила воспоминания о вас, где утверждалось бы, что вы — проститутка, но я бы обещала это никому не показывать. Понравилось бы вам?

Вступает Надежда Васильевна (Надежда Реформатская, заместительница Езерской. — *А. Г.*):

— Простите, Лиля Юрьевна, вы не совсем правы.

— Ах, не права? Или вы, Надежда Васильевна, воображаете: в воспоминаниях говорилось бы, что вы...

И Лиля Брик произносит те же слова второй раз. Затем она приветливо прощается со всеми, и мы втроем с ней и Катаньяном, как было условлено, едем к ним домой»<sup>537</sup>.

Сцена весьма эффектная, но, надо отдать должное Лавинской, проституткой она Лилю Юрьевну не называла, а просто, скажем так, была чрезвычайно резка в изложении реальных фактов.

Что же до Людмилы Владимировны, тут, видно, смешалось всё: и толика стародевичьей зависти (почему у Лили миллион мужей, а у нее нет даже заваливающего любовника), и пуд возмущения несправедливой дележкой наследства (ведь к переговорам с Кремлем сразу после смерти поэта ни мать, ни сестер никто не привлекал, всё обтыпали Лилины люди), и, судя по всему, большие редакторские амбиции при недостаточном понимании поэзии и литературы. Сам Маяковский уж точно не подпустил бы сестру к своим стихам и на пушечный выстрел.

Но всё же Людмила Владимировна не была чужда прекрасного. Будучи в молодости, судя по фотографиям, красивой женщиной, самые лучшие годы проишачила на «Трехгорной мануфактуре» (стала, говорят, первой женщиной, занявшей административно-техническую должность на фабрике еще до революции), кормила мать, сестру и брата. Вместе с сестрой Ольгой помогала брату в «Окнах РОСТА». На личную жизнь времени не хватало. Ей, с утра до вечера работавшей на производстве, Лилина богемная жизнь казалась, конечно, и чуждой, и непонятной. Впрочем, Людмила могла бы похвастаться достижениями в искусстве: она была художником по тканям, изобретателем новых методов нанесения рисунков, проповедником аэропечатания, серебряной медалисткой

Всемирной выставки в Париже — словом, не такой уж «серой мышкой».

Отзвуки титанической борьбы двух женщин за Маяковского слышны и теперь. К примеру, по просторам желтых передач бродит внучка и полная тезка Елизаветы Лавинской, которая вдруг заявила, что является внучкой Маяковского. Якобы сына Глеба-Никиту ее бабушка родила не от мужа, а от автора «Облака в штанах». Дети лефовки, конечно, эскападами молодой родственницы возмущаются, дескать, позорит имя бабушки ради пиара. Готовы даже оплатить тест ДНК, чтобы разоблачить самозванку. В общем, страсти, достойные ток-шоу для домохозяек.

Кстати, дочь Елизаветы Лавинской, Лилия, уже пожилая женщина, показала журналистам одного желтого веб-ресурса неопубликованный кусочек мемуаров матери: «Лавинский (ее муж Антон Лавинский, художник, лефовец, апологет свободной любви. — А. Г.) ходил с независимым видом, окруженный девушками. Они приходили к нам, а я уходила из дома. Старалась с ними дружить, потому что ревность, по “бриковской” морали, буржуазный предрассудок. Я истерически выкорчевывала пережитки прошлого. Был пункт, который они считали чудачеством. Что я не могу пойти и по бытовому пути и завести фокстрирующих мальчиков. Не иметь возлюбленного, по выражению Лили Брик, было неприлично. Помню, как мне и Семеновой Лилия предлагала надоевшего Безкина (очевидно, того самого «мелкого Бескина», который в постели лучше, чем Маяковский. — А. Г.): “Девушки, возьмите его, право, в деле он хорош”...»

Желтые источники мы, конечно, не принимаем всерьез (приведенный пассаж — вольная выжимка некоторых абзацев опубликованной статьи). Но вся Лилина жизнь — материал для сплетен. Поэтому ее до сих пор так любят и так ненавидят.

## СТРАСТЬ НА ЗАКАТЕ

Лилю недаром называли женщиной-женщиной. Когда ее спросили, как она относится к появившемуся на площадке Маяковского памятнику поэту, она огорошила собеседника: «Зачем они его изобразили в мятых штанах?» Поэт, дескать, был очень аккуратным человеком. Лили любила всё опрятное, яркое, красивое. У нее и дом был похож на

дизайнерское гнездо: картины, автографы, расписные подносы, самодельная скатерть, лоскутная занавеска. Живя бок о бок с художниками, она накопила целую коллекцию их произведений — Ларионова и Гончаровой, Штеренберга и Параджанова, Леже и Шагала... Именно она вдохновила Шагала на серию графических работ о Маяковском. А еще отправляла ему во Францию посылки с конфетами «Мишка косолапый», которые он очень любил (кстати, Лилия с Катаньяном собрали целую серию конфетных фантиков с плакатами Маяковского, раскопав их где-то в подвалах кондитерской фабрики «Красный Октябрь»).

Она любила художников гонимых, не выставлявшихся, необласканных — таких как Натан Альтман или Александр Тышлер. Катаньян-младший пишет, что картина «Хорошее отношение к лошадям» Тышлера переезжала с Лилей с квартиры на квартиру, и, когда художник сидел у нее в гостях, она постоянно подкладывала ему под руки листы бумаги. Тышлер рисовал, Лилия получившиеся шедевры окантовывала и раздаривала друзьям — она вообще была щедра на подарки. Сам Тышлер говорил литературоведу Дувакину: «Она очень живой человек и... До сих пор, при ее таком уже преклонном возрасте, она бывает на всех выставках, какие только есть, если она хорошо себя чувствует, она читает все книги, которые более-менее интересные, значительные, которые выходят, она читает все газеты, она интересуется абсолютно всей жизнью культурной нашей страны. И я должен сказать, что к ней большая тяга, и в то время, когда еще жил Маяковский, она сама привлекала очень много к себе людей, и все шли туда с большим удовольствием. <...> Лилия Юрьевна — очень талантливый человек, очень умный человек и очень бывает остроумна. Если с ней посидеть (*усмехается*) и записать — так, чтоб она, конечно, не знала, что ее записывают, — вы запишете ряд замечательных остроумных высказываний; очень живой человек. И самое интересное... с моей точки зрения, — это человек, который понимает искусство, особенно она очень понимает изобразительное искусство. Это очень редко. Я встречаюсь с некоторыми нашими интеллигентными людьми, они не художники, они математики, физики, но они... им мешает непонимание такого важного искусства, как изобразительное»<sup>538</sup>.

Висели у Лили и рисунки Маяковского — к примеру, ее карандашный портрет, — и работы Пикассо. Пикассо дружил с Эльзой и даже хотел написать двойной портрет

муз: Лили — музы Маяковского и Эльзы — музы Арагона, но задумка не осуществилась. Зато Лиля перевела с французского статью о Пикассо — тогда, когда о нем в СССР особенно и не знали. Однажды, в 1963 году, они даже увиделись — Лилия в очередной свой приезд во Францию заехала в керамическую мастерскую Пикассо с Эльзой и Надей Леже, экспромтом и не вовремя, когда маэстро работал, поэтому долгой беседы не вышло. Зато перед уходом выбрали себе по подарку из ящика с керамикой, Лилия предпочла барельеф головы быка. Любила Лилия и Мартироса Сарьяна, с которым приятельствовала, и работы Нико Пиросмани — у нее их было три, и она с радостью одалживала их на выставки.

Карты, гости — в ее быту почти ничего не менялось. Играли с теми же Гринкругом, с Жемчужными. На стол ставились серебряные бокалы и розовые стеклянные стопки для водки. Домработницы подавали блюда: ростбиф, заливную осетрину, угри, миноги, пирог с капустой и даже камамбер. Вся палитра «вкусной и здоровой пищи» из магазина «Березка» — спасибо Арагонам — Лилия Юрьевна была необыкновенно хлебосольна, внимательна к гастрономическим вкусам своих гостей. «...помнила, — пишет Катанян-младший, — кто что любит и кто чего не ест. Кулешову (Катанян-младший учился у него во ВГИКе. — А. Г.) она не забывала предлагать водку и селедку с картошкой. Для Симоновых всегда было шампанское и тоник. Якобсон не обходился без гречневой каши. Кому-то посылали в Париж вареную колбасу. Зархи не любил свежую зелень в супе, и ЛЮ каждый раз боялась забыться и бросить ему щепотку укропа. Пабло Неруда и его жена Матильда обожали борщ. Если человек был не специально приглашен, а заходил по делу среди дня, ЛЮ всегда спрашивала: “Вы не голодны?” И если следовала хоть секундная заминка, то тут же делали глазунью и заваривали кофе»<sup>539</sup>.

В начале пятидесятых годов завели магнитофон и записывали на пленку декламацию стихов, обрывки разговоров. Лилия под запись читала поэму «Про это», вспоминала о Маяковском... А Пабло Неруду к Лиле впервые привела Эльза в 1953-м, когда тот получал Международную Сталинскую премию. С тех пор Неруда всегда заходил к Лиле, когда приезжал в Москву (попробуй пригласи иностранца в советскую квартиру! А Лиле — удавалось). «Вчера, — хвасталась Лилия Юрьевна пасынку Васе, — вдруг приносят двенадцать бутылок кьянти, перевязанных зеленой и оран-

жевой лентами и с запиской от Неруды. Очень было приятно. Вскоре он позвонил и сказал, что двенадцать чилийских поэтов написали стихи в мою честь и что он мне их прочтет, как только вырвется с какого-то конгресса, на котором он выступает. Он вечно где-то выступает! Представляешь, двенадцать поэтов. Откуда их столько в Чили?»<sup>540</sup> Катаньян-младший приводит посвященные Лиле стихи Неруды в подстрочном переводе Юлии Добровольской:

...Лиля Брик. Она мой друг, мой старый друг.  
Я не знал костра ее глаз  
и только по ее портретам  
на обложках Маяковского угадывал,  
что именно эти глаза, сегодня погрустневшие,  
зажгли пурпур русского авангарда.  
Лиля! Она еще фосфоресцирует, как горстка угольков.  
Ее рука везде, где рождается жизнь,  
в руке — роза гостеприимства.  
И при каждом взмахе крыла —  
словно рана от запоздалого камня,  
предназначенного Маяковскому.  
Нежная и неистовая Лиля, добрый вечер!  
Дай мне еще раз прозрачный бокал,  
чтоб я выпил его залпом — в твою честь  
за прошлое, что продолжает петь и искриться,  
как огненная птица.

В 1956 году в СССР из США приехали Бурлюки — Давид Давидович с женой Марией Никифоровной. Они с Лилей не виделись почти 40 лет и взахлеб вспоминали молодость. Бурлюк рассказал, как в пору бедной юности Маяковского давал ему рубль в день, чтобы тот не голодал, и как, приехав в Америку, Маяковский вручил Марии Бурлюк серебряный рубль в память о том голяцком времени. Начиная с 1957 года заходил, наезжая в Россию, старый Лилин знакомец и давешний Эльзин жених Роман Якобсон.

Но были и новые знакомые. Один из самых ярких — режиссер, художник, эквилибрист от искусства Сергей Параджанов. Брик посмотрела его «Тени забытых предков» и сразу захотела познакомиться. И Катаньян-младший, который знал Параджанова по ВГИКу, еще с 1950-х годов, привел режиссера на Кутузовский проспект, к обеду.

Это был человек, который создавал красоту из всего, даже из мусора — из крышечек от кефирных бутылок, ношенных туфель, старых шляп, поломанных кукол. Зайдете в его ереванский музей — и захлебнетесь эмоциями, вся экс-

позиция — взрыв сумасшествия. Он был и портным, и рисовальщиком, и киношником, и скульптором, и коллажистом; в общем, человек-оркестр. С Лилей Юрьевной они, конечно, спелись сразу. В набитой вещичками, поделками, картинками Либиной квартире мастер мгновенно почувствовал себя как рыба в воде. Обсуждали искусство, сценарии Параджанова, смеялись. Когда Параджанов уехал к себе в Киев, перезванивались каждый день, обменивались посылочками. Параджанов присылал Лиле то самолично зажаренную индейку, то холщовые платья с вышивкой, то кавказский серебряный пояс.

А потом его арестовали за совращение мужчин, организацию притонов разврата и изготовление порнографии — это был 1974 год. Истинные мотивы дела крылись в параджановском свободомыслии и невозддержанности на язык. Он открыто осуждал цензуру и судебные расправы над интеллигенцией, якшался с украинскими писателями-диссидентами да к тому же никогда не скрывал своей бисексуальности. В общем, жертва сама лезла карателям в лапы. Катанян-младший вспоминал: «Например, он хвастался своими амурными похождениями, всегда выдуманскими, и ему было всё равно — с мужчиной или с женщиной, про мужчин было даже интереснее, ибо это поражало собеседников, особенно малознакомых, так как друзья, зная цену его болтовне, кричали: “Да заткнись ты!” — понимая, чем это грозит. А он знай себе размахивал красным плащом перед быком — давал интервью датской газете, что его благосклонности добивались двадцать пять членов ЦК КПСС! Что и было напечатано»<sup>541</sup>.

В результате следствие нашло молодых мужчин, якобы подвергшихся параджановскому сексуальному насилию. Один из них, сын бывшего члена ЦК КПСС, под давлением следствия даже покончил с собой. А Параджанова законопатили аж на пять лет в Ладыжинскую исправительную колонию в селе Губник Винницкой области. Оттуда он слал Лиле Юрьевне полные отчаяния письма:

«Это строгий режим — отары прокаженных, татуированных, матерщинников. Страшно! Тут я урод, т. к. ничего не понимаю — ни жаргона, ни правил игры. Работаю уборщиком в механическом цеху. Хвалят — услужлив! Часто думаю о Вас. Вы превзошли всех моих друзей благородством»<sup>542</sup>.

В неволе он продолжал творить: создавал произведения из ничего — из газетной бумаги, пуговиц, засушенных цветов, собранных на тюремном двореке, — и отправлял

на волю в конвертах. Один раз на Восьмое марта даже прислал Лиле букет из колючей проволоки и собственных носков, — благоухающий букет пришлось обильно полить духами «Мустанг». А из лоскута мешковины, парчи, льняных ниток, бус и булавок он изготовил изящную куколку «Лиля Брик». Некоторые из его тюремных посылок Лиля повесила на стенах своей квартиры. В те застойные годы она поддерживала режиссера-зэка, как могла, отправляла ему продукты — салями, французские конфеты; но всё сжирали тюремные начальники, а Параджанов пухнул от голода.

Дома, перечитывая исповедь Оскара Уайльда, Лиля сравнивала английского узника совести с Параджановым. И вела яростную борьбу за его освобождение — по собственному выражению, грызла землю. Будоражила иностранцев, трясла зарубежную прессу. За границей стали появляться статьи о Параджанове, демонстрироваться его фильмы. Собрался целый международный комитет по спасению Параджанова, заступался даже режиссер Пьер Паоло Пазолини, но... никакого проку!

Арагоны в то время избегали поездок в Москву. После вторжения советских войск в Чехословакию в 1968 году их симпатии к СССР поостыли. Кстати, многие объясняли огоньковскую кампанию против Лили именно этим — советские пропагандисты мстили своим бывшим союзникам, наказывая их родственницу. Тем не менее примирение с Арагоном было для советской власти соблазнительным. Его обхаживали, заманивали в Москву орденом Дружбы народов. Лиля понимала, что лояльность Арагона — то, за что можно торговаться, и, собравшись с силенками, отправилась в Париж, формально — на открытие той самой обновленной выставки к двадцатилетию работы Маяковского, а на самом деле — уговаривать Арагона задушить собственную гордость и приехать за орденом.

Арагон поддался, приехал — и в разговоре с помощником Брежнева поднял вопрос о Параджанове. Это был канун Нового, 1978 года. Брежнев наверняка даже не слышал ни о каком Параджанове, но раз высокий заграничный коммунист просит, так тому и быть. Отмашка была дана, и Параджанова выпустили на год раньше срока.

Некоторые пишут, что освобожденный Параджанов Лиле даже не позвонил. Напротив, он сразу примчался к ней, да не один, а с фотографом Плотниковым, скомандовал ей одеться в бальное платье — подношение Ива Сен-Лорана — и усадил в кресло, а сам с Катаньяном встал рядом.



Они подняли над Лилей коврик, подаренный ей Маяковским, — фотографии получились весьма артистичные.

Очень скоро после освобождения режиссера Лили не стало, и здесь тоже не обошлось без слухов. Уже в 1980-х годах литератор Юрий Карабчиевский написал книгу «Воскресение Маяковского», в которой намекал, что Лилия Брик покончила с собой из-за несчастной любви к кинемученику:

«Ее дом был собранием различных коллекций и редких изделий: картины, фарфоровые масленки, расписные подносы, браслеты и кольца...

На этой эстетской, почти бескорыстной любви к драгоценностям, на умении увидеть прекрасную вещь и безошибочно оценить ее стоимость и сошлись они в последние годы с предметом ее последней страсти. Это был известный кинорежиссер, человек оригинальный и одаренный. Он искренне восхищался удивительной женщиной, он попросту был от нее в восторге, но, конечно, полной взаимностью ей отвечать не мог, тем более что к этому времени женщины — не только старые, но и молодые — вообще перестали его интересовать... За это его, как у нас водится, арестовали и судили, и четыре года его жизни в лагере, для него вполне унижительных и нормально тяжелых, были сказочными в жизни лагерного начальства. Их бы можно было назвать “французским периодом”. Кофе, коньяк, шоколад — всё шло прямиком из Парижа, лишь на краткий миг задерживаясь в Москве.

Наконец, после долгих ее хлопот, его выпустили на год раньше срока. Лилия Юрьевна хорошо подготовилась к встрече. Прославленной фирме со звучным названием были заказаны семь уникальных платьев — очевидно, на каждый день недели. Он приехал — но только на несколько дней, повидаться и выразить благодарность, и уехал обратно в родной город, прежде чем она успела их все надеть...

Что-то в ней надломилось после этой истории — сначала в душе, а потом и в теле. У себя дома, на ровном месте она упала и сломала шейку бедра. Вообще говоря, в таком возрасте эта травма неизлечима и по большей части смертельна. Однако ее друзья убеждены и сейчас, что она — поправилась бы и выжила, если... если бы не любовь. Каждый день она ждала, что он придет. Он писал красивые сочувственные письма, и когда ей стало ясно, что надеяться не на что, — она собрала таблетки снотворного, прибавила к тем, что давно хранила на всякий случай, и проглотила их все, сколько нашла»<sup>543</sup>.

Уже больной Параджанов ответил на клевету письмом в журнал «Театр», первым напечатавший выдумки Карабчиевского:

«Хотя имя и не названо, все легко узнали меня. Удивительно, что никто не удосужился связаться со мною, чтобы элементарно проверить факты. Только моя болезнь не позволяет подать в суд на Карабчиевского за клевету на наши отношения с Л. Ю. Брик.

Лиля Юрьевна — самая замечательная из женщин, с которыми меня сталкивала судьба, — никогда не была влюблена в меня, и объяснять ее смерть “неразделенной любовью” — значит безнравственно сплетничать и унижать ее посмертно. Известно (неоднократно напечатано), что она тяжело болела, страдала перед смертью и, поняв, что недуг необратим, ушла из жизни именно по этой причине. Как же можно о смерти и человеческом страдании писать (и печатать!) такие пошлости!

Наши отношения всегда были чисто дружеские»<sup>544</sup>.

Впрочем, романы не обходили Лилю Юрьевну стороной даже в преклонном возрасте. Как уже было сказано, в 1975 году она ездила в Париж — на выставку Маяковского и заодно уламывать Арагона поступиться принципами ради Параджанова. Выставка гремела, они с Катаняном разъезжали по телестудиям и университетам, раздавали интервью, и там у Лили случилась... влюбленность. 28-летний Франсуа Мари Банье был начинающим литератором, героем светской хроники, модником (его писанина, впрочем, Лиле не понравилась — открыла и закрыла).

Банье, видимо, всегда тянуло к взрослым и влиятельным женщинам, потому что позже многолетние отношения связывали его с одной из богатейших женщин мира, совладелицей косметической компании «Л’Ореаль» Лилиан Бетанкур, надарившей ему подарков на общую сумму почти полтора миллиарда евро. При этом Банье открыто говорит о своей гомосексуальности. Как бы то ни было, исследователи Лилиной жизни заверяют, что Франсуа Мари был пылко влюблен в нее. Катанян-младший вспоминает белокурые локоны француза и его стройную фигуру. Он возил 84-летнюю Лилю в Булонский лес, возил по кафешкам и бутикам и бесконечно осыпал любовными признаниями, а когда она вернулась в Москву, заваливал ее посылочками с милыми пустяками (интересно, ревновал ли Василий Абгарович?).

Банье дружил с кутюрье Ивом Сен-Лораном, с его другом, основателем Дома моды «Ив Сен-Лоран» Пьером Берже, с актером Паскалем Грегорри, и вся эта компания буквально с ума сходила по Лиле. «Мальчик» ежедневно звонил Лиле в Москву, делился своими приключениями. «Франсуа Мари рассказывает, — пишет Катаньян-младший, — что ездили всей компанией отдыхать в Бретань. Там дом у родителей Паскаля. Пьер поехать не смог, но взяли у него “роллс-ройс”, все поместились — Франсуа, Паскаль, Жак да еще и повар-негр, который восхитительно готовит, особенно суфле из сыра. Время провели очень весело, а ЛЮ уточняла, как именно. И требовала подробностей, ничуть не считаясь, что каждая минута разговора стоит вполне дорого. А подробности были такие: “По дороге встретили мадам Роша и мсье Роша — знаете, есть такие духи, которые они производят?”»<sup>545</sup> Кто же не знает духи Марселя и Элен Роша! Марсель Роша изобрел не только интригующий аромат, но и гипюровый корсет и платье с русалочьим силуэтом. Правда, в 1975-м его уже не было в живых, так что непонятно, кого же встретили французские прожигатели жизни.

Не выдержав разлуки, вся эта золотая эскадра нагрянула в Москву с чемоданами, набитыми нарядами от Сен-Лорана, французским сыром, ананасами, спаржей... Орхидеи и фисташки, правда, отобрали на таможне. Приехав к Лиле на дачу в Переделкино (Литфонд выделил Катаньяну полдачи на улице Погодина, дом 7), безвылазно общались с хозяйкой, поедали борщ. «Вскоре ЛЮ и Василий Абгарович прилетают в Париж по их приглашению, — удивлялся Катаньян-младший. — Пьер Берже снимает им апартаменты в “Плаза” — самом дорогом отеле Парижа. Над ними живет Моше Даян (бывший министр обороны и будущий министр иностранных дел Израиля. — А. Г.), под ними Софи Лорен — такой слоеный пирог. Открытый счет, “кадиллак” с телефоном — можно на ходу позвонить в любой город мира. Лилия Юрьевна не может понять столь бурного успеха и царской щедрости, но в ответ слышит лишь: “Мы вас обожаем!” — и весь разговор»<sup>546</sup>.

Лилию Юрьевну принимают в богатейших домах, водят в знаменитые рестораны, угощают суфле из омаров и форелью с миндалем. Особенно ее поражает, что в спальне у Франсуа Мари стоит ванна. Тот заваливает Лилию Юрьевну платьями и аксессуарами от Сен-Лорана, а сам кутюрье рисует ее карандашные портреты. «Внешний угол ее глубоко

посаженных глаз подчеркивает линия черного карандаша. Другой линией обведены дуги бровей, круглые, как серсо. Голова большая, как у фантастической птицы, и медного цвета коса ниспадает на грудь, теряясь в складках зеленой шали. Руки у нее маленькие и очень тоненькие, разговаривая, она словно играет ими гаммы. Что у Лили удивительно — это голос и ее манера говорить. Голос — как струнный квартет. Обаяние ее сверкает, как весна, но она не играет им»<sup>547</sup> — так Банье описывал Лилию в журнале «Монд». И у кого бы после этого язык повернулся назвать ее старухой?

## «ГОЛОЕ» ПЛАТЬЕ И ДУХИ ОТ ГЕРЛЕНА

Да, Лилия была модница и отлично умела себя подать. Стены в «кают-компании» (так называли столовую квартиры в Гендриковом) она придумала выкрасить в синий цвет, чтобы на этом фоне ее кожа казалась еще белее, а волосы — еще огненнее.

Абажур, подвешенный над столом, был обмотан прозрачной фиолетовой материей. Когда садились к столу за карты и абажур опускался вниз, фиолетовый отблеск оттенял белизну хозяйкиных рук. А наряды... Наряды были главным ее оружием. В годы Гражданской войны, когда люди ходили в рванье, Лилия исхитрилась соорудить себе чудо-платье из узбекской набойки и украсила его пуговицами из ракушек. Портьера же с бахромой пошла на невиданное пальто. Надежда Ламанова, создававшая по эскизам Бакста балетные костюмы для труппы Дягилева, обшивавшая императорских особ, знаменитых актрис и пузатых нэпманш, как-то раз восхитилась платьем, которое Лилия сшила себе из ситцевых платков. Лилия повезла Ламанову к себе на дачу в Пушкино, сняла с себя это платье и подарила звездной модистке.

Но и та не оставалась в долгу. В только-только открытом ателье мод на Петровке низенькая, но элегантная Лилия дефилировала в ее нарядах. В 1924 году Брик даже вывезла ламановские платья в Париж, и на вечере газеты «Се суар» две урожденные Каган демонстрировали восхищенным французам домотканые облачения с русской вышивкой и сплетенными на коклюшках вологодскими кружевами. На головах у сестер красовались шляпки из рогожи, а с талий свисали тяжелые кисти кушаков. Специально для Лили Ламанова сшила головной убор, напоминающий косынку со

старинным русским орнаментом. В Париже ее коллекция прогремела, и потом модельерша не раз побеждала на международных выставках художественной промышленности.

Стиль — вот чем Лиля выделялась в толпе. «Очень дама», — подумала Галина Катанян, увидев ее впервые, а Мэри Талова, девочка-соседка из Водопьяного переулка, всю жизнь оставалась под впечатлением от вертикалистских образов: «Рыжая шевелюра, рыжее платье, на руках рыжий котенок. Что ни день, она меняла наряды. Подол ее платья никогда не был горизонтальным, а либо с фестонами, либо один бок нарочно длиннее другого, либо юбка с хвостом»<sup>548</sup>.

На фотографиях Родченко она позирует то в костюме из джерси и повязанной в виде галстука косынке с кубическим узором, то в блестящем дождевике, то в китайском халате, то в шелковом прозрачном расклешенном платье, модных сандалиях и шляпке-клош. Да что шляпки! Лиля была чуть ли не первой женщиной в стране, которая носила брюки — ножки у нее были тонюсенькие, как спички, и она умело их скрывала то под брюками, то под юбками-макси.

Вообще Брик была законодательницей мод во всем. Она первая надела «голое» платье — чуть ли не за 100 лет до того, как оно превратилось в тренд красных дорожек; на одной из фотографий, сделанных Родченко, Лиля позирует в платье-сетке, под которым нет белья, открывая взгляду смущенного зрителя крепкую грудь и пушистый лобок. Есть другая, гораздо более смелая фотография в жанре «ню», сделанная Осипом Бриком в конце 1920-х (он одно время страшно увлекся фотографией и даже завел себе «лейку»): Лиля лежит на тахте совсем обнаженная, попой кверху и смотрит на фотографа. На округлой попе заметен целлюлит. Но женщины тогда не знали о его существовании — эту проблему изобретут позже... Лилины снимки и доныне действуют, как афродизиак. Один мой знакомый, молодой алжирский поэт, признался, что Гала Дали и Лиля Брик — две его эротические фантазии, но Лиля более дикая и спонтанная и поэтому лучше. А ведь речь всего лишь о фотографиях! Остается только догадываться, как Лиля воздействовала вживую.

Она первая в Москве стала приглашать к себе на домашние вечера тапера, первая из москвичек села за руль (кроме нее тогда водила авто лишь жена французского посла), первая привезла из-за бугра пластинки с фокстротом. Она обожала ткани с авангардными геометрическими ри-

сунками, благо ее подруга, художница Людмила Попова, слыла асом в создании таких материй и необычных моделей одежды — и на поток, и штучных. Лиля была, конечно, среди первых заказчиц. Есть фотография Родченко, где она позирует в золотом платье в стиле ар-деко и косынке как раз из такой ткани.

Когда Маяковский отправлялся за границу, он получал длинный перечень модных поручений. Вот, к примеру, образец такого списка 1928 года:

**«В БЕРЛИНЕ:**

Вязаный костюм № 44 темно-синий (не через голову). К нему шерстяной шарф на шею и джемпер, носить с галстуком.

Чулки очень тонкие, не слишком светлые (по образцу).

Дррр (речь о застежке-молнии. — А. Г.)... — 2 коротких и один длинный.

Синий и красный люстрин.

**В ПАРИЖЕ:**

2 забавных шерстяных платья из очень мягкой материи.

Одно очень элегантно, эксцентрично из креп-жоржета на чехле. Хорошо бы цветастое, пестрое. Лучше бы с длинным рукавом, но можно и голое. Для встречи Нового года.

Чулки. Бусы (если еще носят, то голубые). (То есть Владимир Владимирович должен был сначала выяснить, что носят, а потом уже покупать. — А. Г.) Перчатки.

Очень модные мелочи. Носовые платки.

Сумку (можно в Берлине дешевую, в K. D. W.) (этой аббревиатурой до сих пор обозначают универмаг «Kaufhaus des Westens» — «Торговый дом Запада». — А. Г.).

Духи: Rue de la Paix, Mon Boudoir и что Эля скажет. Побольше и разных. 2 кор. пудры Агах. Карандаши Brun для глаз, карандаши Houbigant для глаз»<sup>549</sup>.

Чулки в Лилиных письмах вообще упоминаются чаще всего. В Советском Союзе шелковых было не найти, но вырочала Эльза. Лилия пишет Маяковскому:

«Скажи Эличке, чтоб купила мне побольше таких чулок, как я дала тебе на образец, и пары три абсолютно блестящих, в том смысле, чтобы здорово блестели, и тоже не слишком светлых. Купи еще штуки 3 др[угих] р[азных?] р[азмеров?]]»<sup>550</sup>.

В письмах Эльзе чулки становятся главным рефреном.

По Лилиным эпистолярным поручениям можно составить представление о ее базовом гардеробе и любимых марках косметики. Она наказывала сестре:

«Элик, пришли мне длинные брюки (черные или темно-серые), чтоб можно было носить с любой кофтой, расширенные книзу, из легкой, немнущейся шерсти. Если к ним окажется длинная кофта, я не обижусь... Одежда моя и изнасилась, и до смерти надоела. Лучше всё черное. Мои, купленные шесть лет тому назад, — почти лохмотья, № 46. И несколько пар чулок»<sup>551</sup>.

Бывали задания еще сложнее:

«Купи мне, пожалуйста, два полувечерних платья (длинные) — одно черное, второе — какое-нибудь (если не слишком дорого, то что-нибудь вроде парчи, обязательно темной) и туфли к ним. Материи в этих платьях — позабавнее и туфли — тоже. Потом мне нужно 4 коробки моей пудры (телесного цвета); 3 губных карандаша Ritz — твоего цвета; румяна Institut de beauté — твой цвет (мазь, а не пудра); одороно; две очень жесткие рукавички (вроде вязаных); черные высокие ботики; чулки, конечно, — если хватит денег, то дюжину; шпильки рыжие — покороче; духи Gisky (герленовские духи «Jicky». — *А. Г.*); какую-нибудь забавную дешевую шелковую материю (темную, можно пестренькую, в цветочек) Жене на платье; булавки простые и крошечные английские; несколько косичек разных ниток; голубой блокнот с конвертами; мне два каких-нибудь платьишка для постоянной носки. Как видишь — список огромный, а денег мало! Скомбинируй как-нибудь»<sup>552</sup>.

Уже в примаковский период Лиля радуется:

«Хожу во всём твоём — с ног до головы. Я теперь самая элегантная женщина в Москве! Справляли 30-летний рабочий юбилей Хохловой и Кулешова. Был банкет в Доме кино. Подарили ей — пару твоих чулок, а ему — твой галстук (не последний, конечно, а более старый). То и другое было нами передано в президиум (все наши кинорежиссеры), и подарки были развернуты под аплодисменты всего зала»<sup>553</sup>.

Вот с каким триумфом советские деятели культуры встречали импортные товары!

Лиля делится с сестрой секретом правильного макияжа:

«Губы, оказывается, надо мазать не очень жирной помадой, а помазав, промокать бумажной салфеткой. Тогда в морщинки не затекает. Возня».

Там же сообщает:

«Копирую платье с фартучком — из черной шерсти. Ватин костюм с твоими пуговицами будет готов завтра. При случае пришли такой же набор темно-серых пуговиц. Пожалуйста!! И если у тебя есть какая-нибудь темно-коричневая шапочка, которую ты уже не носишь, — пришли мне к коричневой шубке. Я купила себе новую шубку, красивую. <...> Посылаю тебе три пары наших нилоновых чулок. У нас они называются “капрон”. Они такие же прочные, как “нилон”. Не знаю, будешь ли ты носить их. Годится ли тебе цвет, качество? Если годятся — напиши, я еще пришлю. У вас сейчас, говорят, носят цветные?»<sup>554</sup>

Ну, положим, Лилия носила цветные чулки еще в беспокойном 1918-м, так что удивить ее было сложно. Здесь интересно другое — чулки едут из Москвы в Париж, а не наоборот! Аж гордость берет за советское производство.

Но вообще, пока советские женщины рисовали себе на голых ногах чулочные швы, Лилия щеголяла в чулках с настоящими стрелками. Правда, в модных нюансах разбирались не все ее знакомые. Наивная Луэлла вспоминала: «Как-то Лилия привезла мне чулки. Очень хорошие, серые с вышитыми стрелками и черные, белые и бежевые с коричневыми стрелками. Я решила, что стрелки — это неприлично, и аккуратненько иголкой выдернула их...»<sup>555</sup>

Надо сказать, и к литературной моде Лилия относилась так же, как к одежной. В конце 1920-х, когда пошли гонения на формализм и всё явственнее пахло грубым социализмом, она записывала у себя в дневнике:

«Думают, что форма не играет роли. А я говорю, что новое платье может подогреть чувство»<sup>556</sup>.

Но не менее важным было то, что скрывалось под платьем, — дорогое белье. Один немецкий литератор вспоминал, как встретил Маяковского в Берлине и тот повел его в универмаг в качестве переводчика. В универмаге с чувством, с толком, с расстановкой выбиралось дамское белье: внимательно изучались образцы, сверялись размеры. Это был вышколенный Лилей покупатель. Когда в 1925 году после долгой американской разлуки поэт и его муза встретились в Берлине (в тот самый раз, когда Маяковский не стал требовать от нее физической близости), Лилия продемонстрировала ему верх стильности. Она надела фиолетовое платье и закурила фиолетовую сигару. Редкий мужчина мог устоять.



Лиле повезло, что Эльза тонко разбиралась в моде и знала, что ей подобрать. В первые парижские годы, когда нечего было есть, молодая Триоле мастерила бусы на продажу — из всего, что попадалось под руку, хотя бы из макаронин, потом вела колонку моды для газеты «Се суар» и даже изобрела знаменитую прозрачную сумку:

«Сделала мимоходом несколько моделей бус и сумку для Lucien belong. Сумка смешная, прозрачная вся, как из стекла (вечерняя), так что видно всё внутри лежащее, всё должно быть красивое! Пудреница, деньги и любовные письма. Я продала “идеи”, первую модель, делать их не буду. Это невыгодно, но зато никакой возни, одно удовольствие».

Такие рентген-сумки и сейчас — самый писк. А ведь мало кто знает их автора. В том же году Эльза сообщает:

«Я делаю коробки для духов, очень увлекаюсь (коробки фокусные), и всякие причиндалы для моды»<sup>557</sup>.

В послевоенном 1945 году, несмотря на инфляцию и карточки, младшая сестра продолжает радовать старшую обновками:

«Посылаю тебе: пальто с двумя воротничками, башмаки фетровые (которые я тебе чуть ли не в день приезда заказала, и как раз они готовы!), туфли ночные, две шляпы, три пуховки, бриллиантин, гребенки две бирюзовые, две золотые, четыре без ничего и расческу, тесемки для кольца... (все эти мелочи, дрянные, да лучше нет). И Джикки! <...> Получила ли ты туфли из Варшавы? Я тебе их там заочно заказала, да не знаю, послали ли тебе их»<sup>558</sup>.

Лиля, кстати, в долгу не оставалась — отправляла Эльзе то икру, то оренбургские пуховые платки, то нужные книги.

«Джикки» — любимые Лилины духи «Jicky» от Герлена, классический аромат унисекс с восточными нотками, созданный еще в 1889 году. Это были первые духи с использованием синтезированных веществ, а флакон напоминал медицинскую склянку с пробкой, как от бутылки шампанского.

Лиля умело скрывала не только тонкие ножки, но и сгорбившуюся спинку. Часто набрасывала шали или шарфы, навешивала побольше цепочек и аксессуаров. В январе 1950-го она писала Эльзе:

«Новый год встретила в твоей накидке. На нее нашили недостающие жемчужины, и надела я ее на твое же длинное, узкое, с длинными рукавами платье (не помнишь его?). В меру своих возможностей я выглядела блестяще, очень элегантно»<sup>559</sup>.

Но главными украшениями, конечно, были кольца-печатки с инициалами «ЛЮБ» и «WM». Кольца многих гипнотизировали — ведь это от самого Маяковского! Аркадий Ваксберг вспоминал, как реагировал на них болгарский поэт-шестидесятник Любомир Левчев, тоже побывавший в Лиловой квартире на Кутузовском: «Мы толпимся в передней, прощаясь. Любомир неотрывно смотрит на кольца, что нанизаны на золотую цепочку и висят у нее на груди. На те два, про которые столько написано. Миниатюрное и большое. По ободу одного из них Маяковский выгравировал инициалы ЛЮБ — при вращении они читались ЛЮБЛЮ Б ЛЮБЛЮ Б... Склонившись, Любомир целует оба кольца. ЕЕ и ЕГО»<sup>560</sup>. Кстати, в тот раз, оставшись на минутку один на один с Лилей, Левчев осмелился задать по незнанию довольно наивный вопрос: догадывался ли, дескать, Осип Брик о ее отношениях с Маяковским. Лиля же, если верить мемуарам Левчева, рассмеялась и воскликнула, что они были настоящими сексуальными революционерами и жили интимной коммуной. А потом подарила болгарину фото, где она сама сидит посередине, а Брик и Маяковский по бокам, и подписала: «На память о нашей дружной семье».

Неудивительно, что ее сразу заметил Ив Сен-Лоран. Они встретились в аэропорту Шереметьево в 1975-м — Лиля летела в Париж на выставку Маяковского, а кутюрье пересаживался на парижский рейс с токийского. Оглядывая унылое собрание толстых женщин в костюмах фабрики «Большевичка», он мгновенно обратил внимание на даму в зеленой норковой шубе от Диора. Они тут же познакомились, и в Париже он сразу стал приглашать ее на свои показы, водил на выставки, прислушивался к ее советам и даже назвал своего мопса кличкой, которой нарекла его Лиля, — «Мужик». С тех пор модельер буквально купал московскую знакомицу в подарках. Преподнес ей свой новый аромат «Опиум», два браслета и бесконечное количество авторских туалетов, существовавших в единственном экземпляре: фиолетовые бархатные брюки, пояса из перьев, бордовое суконное платье, черное платье с тафтовым низом и бархатным жакетом.

Причем она не только одевалась сама, но и любила на-

ряжать, дарила интересные вещички знакомым — и мужчинам, и женщинам. Актриса Татьяна Васильева вспоминала:

«Иногда она мне делала подарок. Чаще всего это были французские духи, названия которых я и не слышала. Ужасно неловко было их принимать, и я старалась улизнуть. Но тогда на улице меня догоняли ее пажи: “Таня, вы забыли подарок. Вернитесь, иначе Лилия Юрьевна обидится”. В очередной раз, кроме духов, она вручила мне сверток. В этом свертке была длинная юбка, явно дизайнерская, необычная, изысканная. Я ее укоротила и еще долго носила, а потом отдала сестре. Такие красивые вещи вечны.

Лилия Юрьевна давала мне уроки этикета и хорошего стиля. Например, говорила мне: “Танечка, очень неприлично носить шубу мехом вверх. Мех должен быть внутри”. У нее я впервые увидела такую шубу — с виду как будто бы шелковый плащ, а когда его распахиваешь — внутри соболь»<sup>561</sup>.

Салоны красоты она не жаловала; косметички, маникюрши, педикюрши всегда приходили к ней на дом. Лилина косметичка восхищенно рассказывала переводчице Юлии Добровольской, что кожа ее постоянной клиентки даже в старости как будто светится изнутри. Актриса Алла Демидова вспоминала: «Она и в старости следила за собой. Помню ее волосы, бледное, тогда немного квадратное лицо, нарисованные брови и очень яркий маникюр, тонкие руки. Она почти всегда сидела и только невластно распоряжалась: “Васенька, у нас там, по-моему, плитка швейцарского шоколада осталась, давай ее сюда к чаю”»<sup>562</sup>.

А еще одной Лилиной изюминкой были волосы необычного янтарного цвета. В юности она их расчесывала на прямой пробор и закалывала жгутом, а в старости зачем-то стала по-девичьи отпускать косу. Парикмахеры тоже являлись к Лиле на дом. Муж племянницы Катаняна, Степанов, вспоминал: «Лилия Юрьевна всегда была оригинальна в своих суждениях. Как-то я спешил от них домой. Она поинтересовалась, почему. Объяснил, что надо постричься в парикмахерской перед утренней лекцией для студентов. Лилия Юрьевна воскликнула: “Вот уж никогда не стала бы стричься в парикмахерской!” — “Почему?” — спросил я. “Вшивых много”, — был ее ответ. Психологи говорят, что талантливые люди — немного дети по своей непосредственности и отстраненности от меняющейся бытовой жизни. Так произошло и в описанном случае. Лилия Юрьевна была не в курсе, что педикулез перестал быть в то время проблемой»<sup>563</sup>.

В 1966 году она пишет Эльзе:

«Только что ушел от меня парикмахер, и волосы стали красивые. Первые дней 10 причесываюсь на пробор. Сзади — новая прическа:  $\frac{2}{3}$  волос заплетены в косу и сложены вдвое, остающиеся делают петлю и висят поверх косы. Всё это заколото большой кожаной английской булавкой, удобно и хорошо держится. <...> После парикмахера — кейфую. Лежу, ем жареные орешки и читаю “Женитьбу”»<sup>564</sup>.

Свою крашеную косу пожилая Лиля перевязывала шнуром или бантом — эту манеру она позаимствовала у жены французского переводчика Филиппа Ротшильда. «Скажи Полине, — обращалась она к сестре, — что я собезьянничала ее прическу. Мне к лицу, хоть и не по возрасту. Я такая и в театр хожу. Надо же хоть как-то развлекаться»<sup>565</sup>. Но коса была не всегда. В середине 1920-х, когда все носили стрижку «гарсон», Лилия тоже постриглась под мальчика. Тогда же она экспериментировала со стилем унисекс. На одной фотографии Лилия монтирует свой «Стеклянный глаз» в мужском галстуке — это было очень революционно.

«У нее было интересное мышление, — рассказывал модельер Слава Зайцев филологу Ларисе Колесниковой в 2008 году. — Она прекрасно обсуждала коллекцию, очень значительно, профессионально. Есть люди, которые мямлят, а она оттачивала каждое слово. Но с Лилей Юрьевной я общался коротко, я был скромным парнем из Иваново и робел перед ней, понимая, что она — легенда. У нее была очень сильная аура, и поэтому она была закрытой для меня, я вел себя отстраненно. Она понимала свою значимость. Я был поражен: она, будучи маленькой сгорбленной старушкой, несла потрясающий стиль. Лилия Брик была очень стильной женщиной!»<sup>566</sup>

Та же Колесникова приводит воспоминания театрального критика Юрия Тюриня. Какой он увидел Лилию Брик в Большом театре в 1970 году? «Было ей в ту пору около семидесяти (на самом деле 79. — А. Г.), но выглядела она на редкость моложаво. Серый шелковый костюм, такие же полусапожки, расшитые искусственным жемчугом, претендовали на модельную эксклюзивность. Волосы уже не золотистые, как во времена Маяковского, а огненно-рыжие, экстравагантно заплетены в девичью косу (ходили слухи, что искусственную. — А. Г.). Пальцы унизаны бриллиантовыми кольцами, ногти светятся холодным серебром перламутра. Но во всей этой продуманной элегантности было что-то вымученное. И только на лице, под полным вечерним гримом, черными угольями сверкали ведьминским пламенем глаза.

Глаза, полные жизни и неудовлетворенной страсти. Именно в эту минуту, когда я заглянул в их омутовую бездонность, я понял, что таких женщин не бросают, а становятся их рабами до конца жизни, до гробовой доски»<sup>567</sup>.

А еще Колесникова рассказывает, что в 2004 году в музее Маяковского готовили выставку художника Денисовского и решили впервые экспонировать его портрет Лили Брик, сделанный в 1934-м: она изображена в строгом зеленом костюме, поверх которого пущено экстравагантное, белое, в мелкую алую полоску, боа, чем-то напоминающее георгиевскую ленточку. Портрет был такой громоздкий, что Лилия его почему-то не забрала. И вот перед выставкой его потребовалось реставрировать. А женщины-реставраторы вдруг отказались с ним работать: не можем, и баста. Дескать, слишком тяжелая энергетика у дамы на портрете. Решилась только одна художница, да и то, оканчивая работу, она поворачивала портрет лицом к стенке, чтобы тот никого не смущал. Казалось бы, байка-бабайка, но портрет на самом деле жуткий. Никому не советую ночью смотреть в глаза изображенной на нем женщины. Впрочем, в чем в чем, а в смелости стиля ей не откажешь.

## ВЫЕЗД КОРОЛЕВЫ

Майю Плисецкую Лилия увидела впервые в 1948-м, в Большом театре, причем не в балете, а в опере «Руслан и Людмила». Малоизвестная в то время юная танцовщица солировала в танце Девы. Лилия сразу восхитилась ее прыжками, позами, эротическим подтекстом танца. Недолго думая пригласила Майю к себе в Спасопесковский встречать Новый год. Собралась обычная пестрая компания — от актрисы Рины Зеленой до мастера устного рассказа Ираклия Андроникова. До утра танцевали буги-вуги, веселились, спорили — так началась многолетняя дружба балерины и ее покровительницы. Лилия стала главным Майиным агентом и популяризатором: помогала, знакомила, поддерживала советом, когда надо — покритиковывала. Вышедшая из бедности, из наполовину репрессированной семьи, из общажного быта, Майя вдруг столкнулась с изысканным обществом, с теплой опекой невероятно харизматичной и многоопытной дамы.

Что ни спектакль — Майю ожидала огромная корзина цветов от Лили. Та могла отправить своей любимице ящик

мандаринов или коробку засахаренных фруктов, подарить ей новые туфли или вечернее платье для бала. Да, Лиля была не только ведьмой, но и доброй волшебницей. В то же время она проявляла наставническую строгость, выговаривала Майе за хореографические недочеты, за лишние килограммы. Переживала, когда гениальной танцовщице давали не те роли, задвигали, третировали.

Со своим мужем, композитором Родионом Щедриным Майя тоже познакомилась у Лили. Правда, прежде чем увидеть Майю, Щедрин ее услышал — на домашней записи из фонотеки Лили и Катаняна. Майя напевала мелодии из прокофьевской «Золушки», и Щедрин поразился — какой абсолютный слух! Сам он бывал у Лили с тех пор, как написал музыку к катаняновской пьесе «Они знали Маяковского».

Через несколько дней к Лиле прямиком с Декады французского кино пожаловал актер Жерар Филип, известный по роли Фанфана-Тюльпана. В честь француза Брик собрала интересных людей. Приглашения достались и Щедрину с Плисецкой. Щедрин играл на Лилином рояле фирмы «Бехштейн» (купленном вместо утраченного когда-то «Стейнвея»), о чем Майя записала в своем девическом дневнике. Но по-настоящему они с Майей сошлись немного позже, уже в балетном классе, где потрясенный Щедрин наблюдал за эротическими па Майи, одетой в облегчающее черное трико. Она первая начала надевать в класс эластичный купальник — остальные девочки в то время всё еще тренировались в хитонах. Любовный союз получился вечным.

В 1958 году композитор и балерина поженились и поселились на Кутузовском проспекте в доме 12, напротив гостиницы «Украина». Туда же, в соседний подъезд, переехали Лилия и Катанян. В день их свадьбы Лилия отпустила шуточку: «Ваш выбор мне нравится. Но один изъян у Майи велик. Слишком много родственников по всему белому свету»<sup>568</sup> (она общалась и с Мессерерами, братьями Майи).

Две пары теперь частенько вместе встречали Новый год и вообще сдружились. Молодые проводили у старых все свободные вечера. Режиссер Вера Строева задумала экранизировать на «Мосфильме» оперу Мусоргского «Хованщина», и на роль Персидки позвали Майю. Строева объяснила, что у Плисецкой, по слухам, самая красивая грудь в театре и ее надо непременно показать оператору и снять в фильме. Майя протестовала: с голой грудью на студии холодно, да и всё равно не пропустят, вырежут. «Вечером на

Кутузовском разразились дебаты, — вспоминала балерина. — Щедрин сердился и предлагал отказаться от съемок. Ревновал. Лиля Брик, напротив, восторженно восприняла новации Строевой. Призывала снять и шальвары. Катанян держал нейтралитет»<sup>569</sup>. Но в ту же ночь Плисецкая слегла с ангиной, и топлес отменился сам собой.

Лиля вообще бурно участвовала в их жизни. Когда Щедрин с Плисецкой переехали на улицу Горького, Лиля помогала с обустройством новой квартиры. Но главное, поддерживала балерину в течение многих лет несправедливостей и унижений со стороны гэбистов и руководства театра. Плисецкая тогда была невыездной. Переживая, Лиля подговорила Арагонов, Катаняна, Щедрина и Майю написать письмо Хрущеву с перечислением всех обид. Ведь написала же она когда-то Сталину, и это помогло! «Три писателя приложили руку — Арагон, Триоле, Катанян. И Щедрин, Лиля... От меня осталась лишь первая строка. Обращение: “Дорогой Никита Сергеевич!”»<sup>570</sup>, — смеялась потом Майя.

Балерина вспоминала атмосферу того новогоднего вечера: «Через несколько часов пятьдесят девятый пробьет. Поднявшись в лифте, заслеженном талыми снежными разводами и елочной иглой, звоним в 431-ю квартиру нашего Кутузовского дома. Катанян в черном приглядном сюртуке открывает дверь. Арагоны уже там. Потоптавшись в узкой передней, проходим к запруженному в переизбытке деликатесами столу. Кинто с кружкой пива на картине Пиросмани завидуще щурится на ломящуюся на блюдах снедь. Лилина работница Надежда Васильевна тащит из кухни гору дымящихся румяных пирожков собственной выпечки. У каждого прибора подарок стоит. У меня — флакон духов Робера Пите “БАНДИТ”. У Щедрина — мужской одеколон “Диор” и последняя французская пластинка Стравинского. Это Эльза Юрьевна — Дед-Мороз подарки из Парижа привезла. С тех пор я предпочитаю запах “БАНДИТА” всей иной парижской парфюмерии. И запах чуден, и память дорога...»<sup>571</sup>

Когда с письмом Хрущеву ничего не вышло, Лиля правдами и неправдами достала телефон главы КГБ Александра Шелепина и за спиной у Майи заставила Щедрина позвонить страшному бонзе прямо из ее квартиры. Щедрин позвонил, чрезвычайно волнуясь, говорил робко, ненастойчиво и согласился на встречу всего лишь с шелепинским замом. Лиля страшно досадовала, сердилась, но в итоге всё пошло как по маслу. Майя написала еще одно письмо

Хрущеву, потом ее пригласили к Шелепину и тот, наконец, огласил счастливую новость: Хрущев поверил приме, что она не сбежит на Запад, и заграничные гастролы ей разрешили. Лилей была одержана еще одна победа — Плисецкая блистала на мировой арене.

Сама балерина вспоминала о Лиле:

«Вокруг ее имени накручена уйма чертовщины, осуждений, ненависти, укоров, домыслов, сплетен, пересудов. Это была сложная, противоречивая, неординарная личность. Я не берусь судить ее. У меня нету на это прав... И главное. Для меня. Лиля очень любила балет. В юности она изучала классический танец. Пробовала сама танцевать. Кичилась передо мной пожелтевшими, вылинявшими фотографиями, где была увековечена в лебединой пачке на пуантах. <...> Решением самого Сталина Л. Брик получала третью часть (мать и сестры другие две трети) наследия Маяковского (на самом деле, как мы помним, половину. — А. Г.). И денег у нее водилось видимо-невидимо. Она сорила ими направо и налево. Не вела счету. Когда звала меня в гости, оплачивала такси. Так со всеми друзьями.

Обеденный стол, уютно прислонившийся к стене, на которой один к другому красовались оригиналы Шагала, Малевича, Леже, Пиросмани, живописные работы самого Маяковского, — всегда полон был яств. Икра, лососина, балык, окорок, соленые грибы, ледяная водка, настоянная по весне на почках черной смородины. А с французской оказией — свежие устрицы, мули (мидии. — А. Г.), пахучие сыры...

Но в один прекрасный день Лиля оказалась нищей. Хрущев, правитель взбалмошный, непредсказуемый, безо всякого предупреждения приказал прекратить выплаты наследникам Маяковского, Горького, А. Толстого. Стабильно на Руси только горе да слезы. Лиля внезапно оказалась на мели. Стала распродавать вещи. Беззлобно итожила: — Первую часть жизни покупаем, вторую — продаем... И даже тогда Лиля делала царские подарки. Именно в ее безденежные годы она подарила мне бриллиантовые серьги, которые и сегодня со мной...»<sup>572</sup>

Не только Лиля помогала Майе, но и Майя вступалась за Лилю. Когда в Москву не пустили балет Ролана Пети «Зажгите звезды», посвященный любви Брик и Маяковского, Майя дала журналу «Музыкальная жизнь» интервью, в котором осудила эту политико-культурную эскападу. Но в их идиллии случалась и турбулентность. В январе 1962-го Лиля пожаловалась Эльзе:



«Мы перестали встречаться с Майей и Робиком (Родионом Щедриным. — *А. Г.*). Они чудовищно распустились, забыли о “пафосе дистанции”. Кроме того, Робик оказался плохим товарищем. Вася очень огорчился, а я равнодушна — Майю мне уже несколько раз пришлось отчитывать. У обоих “головокружение от успехов”. Мне это всегда было противно. Желаю им обоим всего хорошего. Мы им больше не нужны, а они нам нужны никогда не были. Вася пересел на другую лошадь (выражение, печально унаследованное от Маяковского. — *А. Г.*) — молодой, талантливый композитор пишет оперу на “Клопа”»<sup>573</sup>.

Но их отношения тогда не прервались — это случилось лет через двенадцать, из-за мелкого недопонимания. Яблоком раздора стал тот самый фильм Юткевича «Маяковский — актер кино», подвергшийся сусловской обструкции. Щедрина пригласили написать к фильму музыку, а он предупредил, что не сможет, потому что будет занят другой работой — у него договор. Лиля, однако, попросила композитора всё равно поставить в заявке фильма свою фамилию — для солидности — и самолично передать ее председателю Гостелерадио Сергею Лапину. Щедрин долго убеждал Лапина и наконец уговорил включить картину в план. А когда пришло время писать музыку, напомнил Лиле, что он не сможет, как и говорил, и пообещал пригласить другого композитора. Но Лиля, видно, запаматовавшая все обстоятельства, разгневалась и бросила трубку. Щедрин, ясное дело, обиделся, а с ним и Майя. Четыре года они с Лилей не разговаривали и так и не помирились.

Но у нее в квартире и без того толклись всяческие таланты: Новелла Матвеева, Юлий Ким, Андрей Вознесенский. Лиля пишет Эльзе весной 1962 года:

«В 4-м номере журнала “Знамя” интересный цикл стихов Андрея Вознесенского. Это один из самых талантливых наших молодых. Прочти непременно. Но мне кажется, всех бьет сейчас поэт Виктор Соснора. Вот-вот должна выйти его книжка («Январский ливень». — *А. Г.*). Он ленинградец, слесарь, работает на заводе — прелестный, очень тонкий, очень настоящий человек. Ему 25 лет. Он битком набит своими стихами и пишет их всегда, всё время. Великолепно, по-своему, читает их. К сожалению, он ленинградец и не имеет возможности часто приезжать в Москву — некогда. Его папа-мама: Володя, Хлебников, Цветаева, но он очень индивидуален»<sup>574</sup>.

С Соснорой Лиля обменивалась нежными письмами. Поэт вспоминал историю их знакомства: «...у меня был вечер в московском Театре сатиры, и после сразу же подошла пара: рыжеволосая женщина с громадными впадинами глаз и элегантный армянин. Они представились: Л. Ю. Брик и В. А. Катанян. До меня как-то не дошло, кто это, но я был легок на подъем, и они пригласили на ужин к себе, мы и поехали. На ужине же Л. Ю. сказала, что любит мои стихи и знает их и без Театра сатиры, цитировала. <...> И затем — семнадцать лет! — она опекала и берегла мою судьбу и была мне самым близким, понимающим и любящим другом. Таких людей в моей жизни больше не было. Она открыла мне выезд за границу, ввела меня в круг лиги международного “клана искусств”»<sup>575</sup>. Под занавес эпохи перестройки Соснора выпустит документальную беллетристику «Дом дней». Роман будет полон вольностей и фантазий, в том числе про Маяковского и Лилию Юрьевну. Василий Васильевич Катанян страшно разгневается, дескать, пригрили змею на груди. Впрочем, такая же отповедь достанется и Вознесенскому, опубликовавшему эссе про Лилин менаж а-трау и секс с Бриком при запертом на кухне Маяковском.

Молодого шестидесятника Вознесенского Лиля тоже заметила сразу. Связалась с ним после выхода его поэмы «Треугольная груша». Как известно, у этой женщины был колоссальный нюх на таланты. Чуть заметит в ком-то Божью искру, так сразу приглашает к себе домой. «Пока русские поэты были юными, она помогала им, — приводит Катанян-младший слова американского публициста Гаррисона Солсбери. — Они приходили охотно и часто, потому что Лиля их любила и кухня в ее доме была едва ли не лучшей во всей Москве. Она всегда просила их читать новое. Когда юные поэты становились звездами, Лиля теряла к ним интерес. “Бедняжки, — говорила она. — Они опустили до своего собственного успеха”»<sup>576</sup>.

Лилия свела Вознесенского с Эльзой и Арагоном, и те помогали ему с организацией вечеров во Франции. Эльза переводила его стихи на французский. В 1965 году в Париже даже состоялся их с Беллой Ахмадулиной отдельный вечер. Правда, у Ахмадулиной от общения с Эльзой остался неприятный осадок. Одна русская дама надела на Беллу свое норковое манто, дескать, без манто в театре быть неприлично. Эльза, увидев манто, спросила, в Париже ли оно было куплено. А Белла честно ответила, что вещь не ее. История была сразу пересказана Лиле по телефону. Сестры ухмылялись.



От стихов про мостовую Лиля была в восторге. Однако же поспешила сообщить первому покровителю Вознесенского и своему старому знакомцу Николаю Асееву, что во время парижских гастролей его протеже ни разу не упомянул его имени в интервью. Асеев обиделся и с тех пор перестал хвалить молодого поэта и начал ругать. «Была ли она святой? Отнюдь! Дионисийка»<sup>578</sup>, — говорил Вознесенский. Уже в позднейших, не самых сильных своих стихах нулевых годов он воспоет Брик в роли ведьмы (привет дневникам Михаила Пришвина!):

Зазывая в глаза огромные,  
Киберматерью была его Лили.  
Убивались или любили.  
Или — или.

Лилию Брик клеймили интриги:  
«Черный пояс на ней с резинками».  
Местечковый акцент меняли комбриги  
на метерлинковский.

Но в квартиру Лили Юрьевны забредали не только вежливые поэты, балерины, художники и композиторы. Бывали и эпатажники не меньшие, чем она сама. Эдуард Лимонов, которого знакомая притащила на Кутузовский записаться на магнитофон, вспоминал встречу с Лилей: «Вдруг из этих самых недр вышло ярко раскрашенное существо. Я был поражен тем, что старая маленькая женщина так себя разрисовала и так одета. Веки ее были густо накрашены синим. Я не одобрил ее. Точнее, мораль моей пуританской мамы, жены офицера, самурайская простая этика семьи бедных солдат отвергла ее внешний вид. Однако *femme fatale* Володи Маяковского оказалась умной и насмешливой, и я ей простил ее пошлый (я так тогда и подумал: пошлый) вид»<sup>579</sup>.

В следующий раз Лимонов встретился с Брик по настоянию своей тогдашней герлфренд, позже ставшей его женой, красавицы модели Елены Шаповой. «Они вцепились друг в друга. Живая легенда, размалеванная, как в цирке, и моя “фифа”, — фирменно иронизировал Лимонов. — Лили восхищалась Еленой, особенно ее тонкой костью, ее элегантными запястьями. “Тоньше я ни у кого не видела”, — дальше она перечисляла каких-то давно умерших красавиц 20-х или 30-х годов»<sup>580</sup>.

Рассказ Лимонова подхватила сама Шапова — прототип главной героини скандального романа «Это я — Эдич-

ка». Она стала не только первой русской манекенщицей в Нью-Йорке, но и литератором, нанеся экс-мужу контрудар под названием «Это я — Елена». Позже она выйдет замуж за итальянского графа де Карли и будет раздавать интервью о своих приключениях, об эмиграции в США... О том, как они с Лимоновым приехали в Переделкино к Брик и Катаняну и Лиля встретила их на пороге дачи: «“Леночка, я хочу подарить вам на память бриллиантовый браслет, который очень давно купил мне Ося. (Она имела в виду своего первого мужа Осипа Брика.) Этот браслет может подойти только мне или вам”, — и отправилась на второй этаж, в спальню. Вдруг вижу, как Вася Катанян, муж Лили, меняется в лице и молча бросается вслед за женой. Мы сидим на террасе за роскошно накрытым столом и ждем хозяев. Проходит пять минут, десять, двадцать... Через полчаса я не выдерживаю: “Эд, я умираю с голоду. Давай есть, плевать на браслет”. Наконец они появляются. Лили очень взволнованно говорит: “Леночка, извините, я передумала...” “Ну что вы, Лили! Глупости! Забудем об этом, а то чувствую себя героиней Куприна: какие-то страсти по гранатовому браслету!” — смеюсь я с облегчением»<sup>581</sup>.

Щапова пересказывает еще один довольно пикантный эпизод, обнажающий вражду двух соперниц, заочно боровшихся за звание музы Владимира Маяковского, — Лили и Татьяны Яковлевой: «Она показала мне в альбоме фотографию красивой женщины. “Как вы ее находите? Эта дама — последняя любовь Маяковского”. — “Хорошенькая”. — “Да? — сухо спросила Лили и быстро захлопнула альбом. — Странно, такое простое личико...”»<sup>582</sup>.

Спустя какое-то время, покоря олимп моды в Нью-Йорке, Щапова неизбежно оказалась в доме Алекса Либермана и Татьяны Яковлевой, небожителей из вселенной «Вога». Она рассказала Алексу, что видела фото Татьяны в альбоме Брик. «“Ни в коем случае не рассказывайте об этом Тане, они же друг друга ненавидят”, — забеспокоился Алекс. Но в первую же встречу с Татьяной я поняла, что она всё знает: “Я слышала, вы видели какое-то фото у Брик. Так вот, это не я, а моя дочка Фроська”. Она переживала, что ее фотография неудачна. Потрясающе: этих двух женщин до последнего вздоха волновала их слава красавиц, по которым убивался русский поэт!»<sup>583</sup>

Лимонов, пришедший тогда к Либерманам вместе со Щаповой, вторично ужаснулся: «Татьяна поразила меня тем, что оказалась сухопарой, раскрашенной, как клоун,

женщиной. “Клоун!” — назвал ее я. Потом я вспомнил первое появление Лили и подумал, что наш великий поэт В. Маяковский подсознательно выбирал одного типа женщин, пусть они и были разного роста и облика. Экстравагантность, светскость, яркость, аляповатость и в конце концов кинематографическая ужасность<sup>584</sup>. Лилия, кстати, облагодетельствовала и Лимонова — вручила ему рекомендательные письма к Арагону; но когда Лимонов доехал до Парижа, Арагон уже умер.

Впрочем, Лилия в последние годы и вправду поражала воображение. Знакомые, которые в 1970-е годы учились в московской школе № 5 на Кутузовском проспекте, рассказывали: как-то раз, когда они гуляли во дворе, один знакомый мальчик указал на какую-то удивительную старуху и сообщил, что это Лилия Брик. «Лилия Брик» — эти два слова детям ни о чем не говорили, но звучали красиво, запоминались. Старуху со звонким именем везли в кресле двое представительных мужчин. «Пиковая дама», — подумалось детям.

То же впечатление возникло и у мужа племянницы Василия Абгаровича, когда он впервые столкнулся с новыми родственниками: «Женщина была довольно небольшого роста, весьма согбенна, в дорогом, но не вызывающем женском наряде. Но вот лицо ее!.. Оно было в обрамлении рыжих волос, на нем значительное количество косметики, ярко нарумяненные щеки, тонкая прямая линия бровей, казалось, подведенных выше заданной, естественной, природной высоты. “Пиковая дама!” — такая возникла у меня образная ассоциация»<sup>585</sup>.

Секрет разноуровневых Лилиных бровей раскрыла актриса Татьяна Васильева, работавшая в то время в Московском академическом театре сатиры:

«На Лиле Юрьевне надето платье в пол от Кардена, на руках — красный маникюр. Ярко-рыжие волосы, из которых она заплетала тоненькую косичку. Эту косичку венчал красный бантик. Если некому было сделать ей грим, то этот грим делала сама. Поскольку от возраста у нее дрожали руки, то получалось, что одна бровь летела вверх, другая была опущена. Зигзагом шел контур на губах. Но всё это не имело никакого значения, потому что ее выход к гостям был похож на выезд королевых.

Она выезжала в гостиную на коляске. Или ее под руки выводили невероятной красоты молодые мужчины. Многие из них, как я понимаю, были геем. Лилия Юрьевна их очень любила, с ними было легко дружить. В гостиной всег-

да накрыт стол, на столе — заграничная еда. Даже сосиски у нее были заграничные, а в специальном термосе дожидалось теплое пюре. А я как назло всегда приходила голодная, и этот запах еды только возбуждал аппетит»<sup>586</sup>.

Лилия умела смущать и огорошивать людей. В 1960-м ее старый знакомец поэт Семен Кирсанов женился в третий раз — на молодой комсомолке Людмиле. На склоне лет та вспоминала о Лиле Юрьевне в разговоре с журналистом, мастером интервью Феликсом Медведевым: «Лилия язвила, она была резким человеком. При муже она задавала мне неловкие вопросы: курю ли я, пью ли я? Могла задать любой вопрос, с потолка. “Люсенька, вы такая молодая, красивая... Скажите, у вас есть любовники?”»<sup>587</sup>.

Лилию, конечно, искренне удивляло, что любовников могло не оказаться. Ведь любовники должны быть всегда.

## ВАЛУН И ОПУШКА

Элла Каган, Эльза Триоле, муза и жена Луи Арагона, умерла летом 1970 года от сердечной недостаточности. Всю свою жизнь она положила на агитацию за советский строй, от которого когда-то бежала в страшном 1918-м. Среди ее знакомых, как и среди знакомых Лили, хватало гэбистов, использовавших ее и Арагона как агентов влияния СССР во Франции и вообще в Европе. Ни жуткие годы Большого террора, ни позорные массовые репрессии, казалось, не сминали их с Арагоном восхищения всем советским. Возможно, дело было в Лиле. Она оставалась в Москве заложницей, и ради нее приходилось кивать, воспевать, пропагандировать...

Однако же в 1968-м, с появлением советских танков в Чехословакии, сердца Арагонов дрогнули, совесть — скорчилась. «Муж у меня коммунист, коммунист по моей вине, — чистосердечно покаялась тогда Эльза, — я орудие в руках советских правителей, а еще я люблю драгоценности, люблю выходить в свет, в общем, я дрянь»<sup>588</sup>.

Анатолий Валуженич приводит и пугающее признание Арагона, пережившего Эльзу на 12 лет: «Я не тот, кем вы хотите меня представить. Я исковеркал свою жизнь, и всё». Про покойную жену и любимую музу он скажет, что она «кардинально развернула его творчество: из бунтаря и сюрреалиста превратила его в уравновешенного писателя и коммуниста»<sup>589</sup>.

Документы из открытых в 1990-е годы архивов французской тайной полиции подтвердили, что Эльза Триоле, по выражению парижского собора «Известий», «поддерживала тесные контакты с советским посольством», что объясняется ее происхождением и политическими симпатиями. В 1920 году она, по всей видимости, состояла в ЧК, по поручению которой следила за литературными кругами<sup>590</sup>.

Но даже если и так, Эльза успела сделать много такого, что отчасти искупило ее молчаливое согласие с государством-убийцей. Она уходила грустно, но достойно, смело глядя в свое отражение в зеркале. Ведь мало кто отважится под конец жизни сказать о себе: «Я дрянь».

В последнем романе Триоле «Соловей замолкает на заре» хозяйку дома находят умершей в кресле. Так произошло и с самой Эльзой. В последние годы она много волновалась — из-за Лилиной травли, из-за того, что с неожиданной невыносимостью поняла, куда ведут все эти чистые идеи, за которые они с мужем так яростно ратовали.

Похороны писательницы, лауреата Гонкуровской премии, взяла на себя Французская компартия. Примчалась под руку с Катаньяном Лилия, явилось много знакомых, коллег, писателей, пришел советский посол. На похоронах играл Мстислав Ростропович. А когда многотысячная толпа французов проводила в последний путь Арагона, он упокоился рядом с Эльзой, под старым ясенем, в окрестностях домашней, где они жили, работали и принимали гостей.

Лилия скончалась восьмью годами позже. Рано утром, на Кутузовском, она упала с кровати, с совсем маленькой высоты, и сломала шейку бедра. Ее перевезли в Перedelкино; уход был прекрасный, души не чаявший в ней Катаньян всё время находился рядом, но Лилия тускнела, угасала — ей не хотелось лежать бездвижно, быть обузой.

Елена Щапова в своих мемуарах пишет, как Лилия еще до травмы восторгалась какой-то старушкой, которая сломала шейку бедра и выбросилась из-за этого в окно. Она, типичное дитя декаданса, находила в суициде эстетику. Муж племянницы Катаньяна вспоминал, как Лилия Юрьевна при гостях заявила, что у Маяковского была «складка самоубийцы» — глубокая поперечная межбровная борозда. «Сейчас же присутствующие при этой беседе родственники стали сдвигать брови и смотреть на себя в зеркало. У всех оказалось две складки. Тогда Брик сказала: “Складка самоубийцы есть и у меня”. И продемонстрировала это наглядно»<sup>591</sup>.



Она, как мы помним, не раз пыталась травиться: сначала в юности, потом в расцвете лет, из-за Пудовкина, веро-  
налом. И вот теперь мысль о спасительном яде снова стала  
дурманить 86-летнюю Лилю.

В 1930 году, после смерти Маяковского, она записала в  
дневнике:

«Приснился сон — я сержусь на Володю за то, что он  
застрелился, а он так ласково вкладывает мне в руку кро-  
шечный пистолет и говорит: “Всё равно ты то же самое сде-  
лаешь”»<sup>592</sup>.

В последние дни она настолько поскучилась, что впер-  
вые в жизни перестала смотреться в зеркало. Для дамы, ни-  
когда не выходившей из спальни ненакрашенной и в хала-  
те, — нонсенс.

Четвертого августа 1978 года, дождавшись, когда Ва-  
силий Абгарович уедет в Москву по делам, она попросила  
домработницу принести воды, достала запрятанную заре-  
нее сумку со спасительными таблетками... И когда таблет-  
ки уже начали действовать, записала на обычной тетрадной  
страничке:

«В моей смерти прошу никого не винить. Васик! Я бого-  
творю тебя. Прости меня. И друзья, простите. Лиля. Нембу-  
тал, нембутал...»

Почерк разъезжался, слабел, дрожал. Записки Лиля уже  
не закончила — заснула навсегда.

Как-то Степанов спросил ее: «А вы хотели бы покоить-  
ся рядом с ним?» — имея в виду Маяковского. Она реши-  
тельно ответила: «Нет!»

«— А где? В другом месте, на другом кладбище?

— Нигде!

— То есть?!! Или в урне, замурованной в стене?

— Нет!

— Но почему же?

Она сжалась, замерла, отвердела. После мучительной,  
долгой паузы сказала односложно, резко, как отрубила:  
“Надругаются!”»<sup>593</sup>.

До того ее замучили воронцовы и колосковы, что она  
всерьез боялась, что ее останки кто-нибудь осквернит.

Когда примчался Катанян, Лиля Юрьевна была еще  
теплой; он пытался ее оживить — безуспешно.

Покойницу обрядили в подаренное Параджановым бе-

лое украинское домотканое платье, причесали, сделали маникюр, надели на нее золотые сандалии и надушили «Опиумом» от Ива Сен-Лорана. Параджанов положил на платье ветку рябины. Во время последнего своего выхода в люди Лилия была моднее всех. На панихиде выступали Шкловский, Симонов, Рита Райт, Сонка Шамардина, Маргарита Алигер, режиссеры Валентин Плучек и Александр Зархи. Младший Катанян запомнил, что Шкловский говорил: «Они пытались вырвать ее из сердца поэта, а самого его разрезать на цитаты»<sup>594</sup>.

Некрологи вышли только за границей, но зато с каким географическим размахом! В далекой Канаде, Японии, Индии... По давнему распоряжению Лили Юрьевны ее прах был развеян над звенигородским полем, у опушки леса, рядом с речкой. Позже на опушке был установлен валун, на котором выбили три буквы — те самые, что Маяковский выгравировал на ее кольце: ЛЮБ. А Василий Абгарович, совсем потерянный, ушел через полтора года после Лили. По одной из версий, он болел раком и Лилия об этом знала — потому и отравилась: ей было страшно вскорости остаться совсем одной, старой и одинокой.

Муза улетела по ветру, будто унеслась в картины Марка Шагала. Но о ней продолжают спорить, злоязычить и восторгаться. «О, это была великая женщина, — вспоминает актриса Татьяна Васильева. — Я понимаю тех выдающихся мужчин, которые любили ее. Она была обаятельна, остроумна, независима в своих оценках, говорила то, что думала»<sup>595</sup>. А Бенгт Янгфельдт в своей шведской книге, отрывок из которой он сам мне любезно перевел, рассказывает, как впервые в 1972 году постучался в дверь Лилиной квартиры:

«После еще нескольких “Кто?” и стольких же тщетных объяснений с моей стороны дверь наконец-то открыла маленькая женщина с накрашенным лицом и большими карими глазами — всё освещено красно-рыжим потоком волос, вытекающим в длинную косу.

Фото на обложке “Про это”! Я окаменел. <...> Я знал и общался с Лили Брик в течение шести лет. Последние несколько лет она становилась всё тоньше и слабее. У нее болели суставы, и двигалась она с большим трудом. Духом, однако, она была сильна до последнего. Когда я перечитываю ее письма мне, меня поражает, насколько они похожи на те, которые она писала Маяковскому и Брику (впрочем, и другим тоже). Она была капризной, своевольной и невообразимо очаровательной. Так же, как она угрожала “ото-

рвать лапы” своим “зверикам” Володе и Осипу, если они не ответят на ее вопросы или не выполнят ее желания, она предупредила меня, что не поцелует меня в конце писем, пока я не отправлю ей пару книг, которые я ей обещал. Письмо закончилось нейтральным “Привет”. Как только книги были получены, я снова стал достойным поцелуя»<sup>596</sup>.

Спустя время, уже сломав шейку бедра, Лиля в письме просила Янгфельдта написать ей поподробнее, как ему живется. Ответное письмо пришло только 8 августа, спустя четыре дня, как Лили не стало. «Для меня ее самоубийство стало шоком, но не сюрпризом, — признается шведский славист. — В течение многих лет у Лили были сильные боли в суставах, и бывало, что она даже не могла поднимать руки. Поэтому она несколько раз говорила, что когда боль станет невыносимой или она больше не сможет ходить, она покончит с собой. Впервые я услышал это на следующий день после триумфального и для нее счастливого открытия выставки “20 лет работы” в июле 1973 года, когда я посетил ее в Переделкине. “Я хочу ‘пиф-паф’”, — сказала она, указывая пальцем на висок; я записал в дневнике: “Устала жить”»<sup>597</sup>.

Письмом я спросила Янгфельдта, чем он как мужчина объясняет Лилину женскую привлекательность. «Ее женская привлекательность? — откликнулся Бенгт. — Блестящий ум — острый, быстрый, неординарный; незаурядная внешность, совершенно восхитительная улыбка, огромное чувство юмора. Она никогда не говорила банальностей и не позволяла другим. Я-то знал ее в последние шесть лет ее жизни, но знал хорошо. Даже в этом возрасте ее шарм был исключителен».

Но как тогда относиться к сплетням? Ко всему нехорошему, темному, ведьмаческому, коварному, жестокому, что делала Лиля? Маяковед Олег Смола настаивал: «Давайте поверим поэту». Дескать, раз такой гений любил и возвеличивал эту женщину, значит, она того стоила. Не будем копать в грязном белье. Нечто подобное сказал мне и Михаил Сергеевич Горбачев. Маяковский — один из его любимых поэтов, про Лиллю Брик он слышал давно, но никогда не хотел вдаваться в подробности ее влияния на поэта. «Это его дело, это дело Маяковского», — повторил Горбачев.

Так или эдак, но лет через десять, двадцать, а то и все тридцать о Лиле Юрьевне Брик предстоит узнать что-то новое и неизведанное — ведь пока открыты не все тайники и не все секреты. А до тех пор — давайте искать любовь.

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Ноткин Б. Учусь говорить по-русски // Независимая газета. 2017. 23 июня.

<sup>2</sup> Егорова Т. Андрей Миронов и я. М.: Алгоритм, 2012. С. 49.

<sup>3</sup> Цит. по: Катанян В. В. Лиля Брик: Жизнь. М.: Захаров, 2002. С. 10.

<sup>4</sup> Янгфельдт Б. Ставка — жизнь: Владимир Маяковский и его круг / Пер. со швед. А. Лавруши. М.: АСТ, 2016. С. 36.

<sup>5</sup> Брик Л. Ю. Пристрастные рассказы. М.: Деком, 2011. С. 19—20.

<sup>6</sup> Там же. С. 39.

<sup>7</sup> Там же. С. 41.

<sup>8</sup> Там же. С. 43.

<sup>9</sup> Янгфельдт Б. Указ. соч. С. 43.

<sup>10</sup> Катанян В. В. Указ. соч. С. 13.

<sup>11</sup> Цит. по: Янгфельдт Б. Указ. соч. С. 41.

<sup>12</sup> Там же. С. 44.

<sup>13</sup> Цит. по: Катанян В. В. Указ. соч. С. 14—15.

<sup>14</sup> Цит. по: Там же. С. 15—16.

<sup>15</sup> Брик Л. Ю. Указ. соч. С. 46.

<sup>16</sup> О знакомстве и дружбе с Владимиром Маяковским: Беседа Виктора Дувакина с Романом Якобсоном, записанная 21 августа 1967 г. [Электронный ресурс] // URL: <http://oralhistory.ru/talks/orh-17/text>.

<sup>17</sup> Брик Л. Ю. Указ. соч. С. 47.

<sup>18</sup> Катанян В. В. Указ. соч. С. 16.

<sup>19</sup> Янгфельдт Б. Указ. соч. С. 43.

<sup>20</sup> Ваксберг А. И. Лиля Брик: Жизнь и судьба. М.: Олимп; Русич, 1998. С. 21.

<sup>21</sup> Лиля Брик: Письма и воспоминания / Л. Ю. Брик, В. А. Катанян, В. В. Катанян; сост. В. Г. Степанов. М.: Юрайт, 2018. С. 99.

<sup>22</sup> Смола О. Давайте поверим поэту // Знамя. 2014. № 1. С. 172.

<sup>23</sup> О счастливом Ленине, женщинах, свободе любви и своей версии гибели Владимира Маяковского: Беседа Виктора Дувакина с Виктором Шкловским, записанная 28 августа 1968 г. [Электронный ресурс] // URL: <http://oralhistory.ru/talks/orh-67-68/text>.

<sup>24</sup> Брик Л. Ю. Указ. соч. С. 24.

<sup>25</sup> Там же. С. 25.

<sup>26</sup> Там же. С. 26.

<sup>27</sup> Там же. С. 19.

<sup>28</sup> Янгфельдт Б. Указ. соч. С. 45—46.

<sup>29</sup> Цит. по: Катанян В. В. Указ. соч. С. 17.

<sup>30</sup> Брик Л. Ю. Указ. соч. С. 27.

<sup>31</sup> Там же. С. 27—28.

<sup>32</sup> Янгфельдт Б. Указ. соч. С. 45.

<sup>33</sup> Брик Л. Ю. Указ. соч. С. 28.

<sup>34</sup> Янгфельдт Б. Указ. соч. С. 46.

- <sup>35</sup> Брик Л. Ю. Указ. соч. С. 28.
- <sup>36</sup> Там же. С. 29.
- <sup>37</sup> Цит. по: Янгфельдт Б. Указ. соч. С. 47.
- <sup>38</sup> Цит. по: Там же. С. 47—48.
- <sup>39</sup> Брик Л. Ю. Указ. соч. С. 29.
- <sup>40</sup> Там же. С. 30.
- <sup>41</sup> Янгфельдт Б. Указ. соч. С. 48.
- <sup>42</sup> Икшин Ф. Лиля Брик: Жизнеописание великой любовницы. М.: Эксмо, 2008. С. 108.
- <sup>43</sup> Ваксберг А. И. Указ. соч. С. 25.
- <sup>44</sup> Брик Л. Ю. Указ. соч. С. 31.
- <sup>45</sup> Там же. С. 35.
- <sup>46</sup> Катанян В. В. Указ. соч. С. 24.
- <sup>47</sup> Брик Л. Ю. Указ. соч. С. 36—37.
- <sup>48</sup> Там же. С. 35.
- <sup>49</sup> Янгфельдт Б. Указ. соч. С. 56.
- <sup>50</sup> О том, как принимал в гостях Маяковского, об Осипе Брике, «Кафе поэтов» и журнале «Новый Сатириконт»: Беседа Виктора Дувакина с Виктором Ардовым, записанная 20 декабря 1967 г. [Электронный ресурс] // URL: <http://oralhistory.ru/talks/orh-32/text>.
- <sup>51</sup> Маяковский в слезах, Хлебников на дуэли, Пастернак против Мандельштама, футуристы в салоне Лили Брик — Шкловский о людях будущего: Беседа Виктора Дувакина с Виктором Шкловским, записанная 14 июля 1967 г. [Электронный ресурс] // URL: <http://oralhistory.ru/talks/orh-12-13/text>.
- <sup>52</sup> Икшин Ф. Указ. соч. С. 109.
- <sup>53</sup> Варшавская Л. Что я помню о Володе // Семья. 1990. № 3. 15—21 января.
- <sup>54</sup> Брик Л. Ю. Указ. соч. С. 40.
- <sup>55</sup> Там же. С. 195.
- <sup>56</sup> Коллонтай А. Дорогу крылатому Эросу! (письмо к трудящейся молодежи) // Молодая гвардия. 1923. № 3. С. 121.
- <sup>57</sup> Платон. Государство / Предисл. Е. И. Темнова. М.: Русайнс, 2017. С. 150.
- <sup>58</sup> Соловьев В. Смысл любви: Избранные произведения. СПб.: Азбука-Аттикус, 2016. С. 125.
- <sup>59</sup> Коллонтай А. Указ. соч. С. 123.
- <sup>60</sup> Цит. по: Цеткин К. О Ленине: Сборник статей и воспоминаний / Предисл. Н. К. Крупской. М.: Партиздат, 1933. С. 77.
- <sup>61</sup> Луначарский А. О быте. Л.: Госиздат, 1927. С. 74.
- <sup>62</sup> См.: Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства (по Моргану) / Пер. И. М. Дебу. Пг.: Луч, 1918.
- <sup>63</sup> Секс в СССР: Документальный телефильм // Эфир НТВ от 21 декабря 2015 г. [Электронный ресурс] // URL: [https://www.ntv.ru/peredacha/sovetskaya\\_vlast/m51521/o372139/video/](https://www.ntv.ru/peredacha/sovetskaya_vlast/m51521/o372139/video/).
- <sup>64</sup> Известия ЦИК СССР и ВЦИК. 1924. 12 сентября. № 208.
- <sup>65</sup> Рудин И. Содружество. М.: Федерация, 1929. С. 130—131.

<sup>66</sup> *Малашкин С.* Луна с правой стороны, или Необыкновенная любовь: Повести и рассказы. М.: Молодая гвардия, 1927. С. 110—111.

<sup>67</sup> *Романов П.* Без черемухи: Рассказы / Вступ. ст. И. Владимиров. М.: Книжный клуб Книгобек, 2016. С. 274.

<sup>68</sup> О счастливом Ленине, женщинах, свободе любви и своей версии гибели Владимира Маяковского.

<sup>69</sup> Там же.

<sup>70</sup> Там же.

<sup>71</sup> *Лавинская Е.* Воспоминания о встречах с Маяковским // Маяковский в воспоминаниях родных и друзей. М.: Московский рабочий, 1968. С. 338.

<sup>72</sup> *Катанян В. В.* Указ. соч. С. 23.

<sup>73</sup> *Брик Л. Ю.* Указ. соч. С. 161.

<sup>74</sup> О счастливом Ленине, женщинах, свободе любви и своей версии гибели Владимира Маяковского.

<sup>75</sup> *Ленин В. И.* Полное собрание сочинений. Т. 49. М.: Политиздат, 1970. С. 51.

<sup>76</sup> О счастливом Ленине, женщинах, свободе любви и своей версии гибели Владимира Маяковского.

<sup>77</sup> *Вознесенский А.* Музы и ведьмы века // Огонек. 1992. № 10. С. 32.

<sup>78</sup> *Набоков В.* Дар. СПб.: Азбука-классика, 2009. С. 302.

<sup>79</sup> Цит. по: *Катанян В. В.* Указ. соч. С. 141—142.

<sup>80</sup> Там же. С. 10.

<sup>81</sup> *Вишневская С.* Женщина эпохи // Независимая газета. 2018. 22 января.

<sup>82</sup> *Пришвин М.* Дневники. 1948—1949. М.: Новый хронограф, 2014. С. 206.

<sup>83</sup> *Катанян В. В.* Указ. соч. С. 11.

<sup>84</sup> *Янгфельдт Б.* Указ. соч. С. 59.

<sup>85</sup> *Триоле Э.* Заглянуть в прошлое // Современницы о Маяковском / Сост. В. В. Катанян. М.: Дружба народов, 1993. С. 46.

<sup>86</sup> *Она же.* Неизвестный и другие рассказы / Пер. с фр. Р. Захарьян, Г. Сафроновой, Р. Райт-Ковалевой и др.; ред. Е. И. Бабун. М.: Иностранная литература, 1956. С. 203.

<sup>87</sup> *Она же.* Заглянуть в прошлое. С. 47—48.

<sup>88</sup> Там же. С. 48.

<sup>89</sup> Там же. С. 48—49.

<sup>90</sup> Там же. С. 51.

<sup>91</sup> *Брик Л. Ю.* Указ. соч. С. 50.

<sup>92</sup> Там же. С. 122.

<sup>93</sup> *Триоле Э.* Заглянуть в прошлое. С. 51.

<sup>94</sup> Цит. по: *Катанян В. В.* Указ. соч. С. 32—33.

<sup>95</sup> *Янгфельдт Б.* Указ. соч. С. 82.

<sup>96</sup> *Брик Л. Ю.* Указ. соч. С. 54.

<sup>97</sup> Там же. С. 194.

<sup>98</sup> *Янгфельдт Б.* Указ. соч. С. 82.

<sup>99</sup> См.: *Быков Д.* Тринадцатый апостол. Маяковский. Трагедия-буфф в шести действиях. М.: Молодая гвардия, 2016.

<sup>100</sup> *Брик Л. Ю.* Указ. соч. С. 37.

<sup>101</sup> *Триоле Э.* Заглянуть в прошлое. С. 53—54.

<sup>102</sup> *Янгфельдт Б.* Указ. соч. С. 84—85.

<sup>103</sup> *Катанян В. В.* Указ. соч. С. 30—31.

<sup>104</sup> *Брик Л. Ю.* Указ. соч. С. 125.

<sup>105</sup> Взят. Барабан футуристов: Альманах. 1915. Декабрь. С. 12—13.

<sup>106</sup> Цит. по: *Брик Л. Ю.* Указ. соч. С. 57.

<sup>107</sup> *Шкловский В.* О Маяковском. М.: Советский писатель, 1940. С. 82.

<sup>108</sup> *Спасский С.* Встречи // Литературный современник. 1935. № 3. С. 216.

<sup>109</sup> *Асеев Н.* Воспоминания о Маяковском // В. Маяковский в воспоминаниях современников. М.: Художественная литература, 1963. С. 412—413.

<sup>110</sup> *Брик Л. Ю.* Указ. соч. С. 61.

<sup>111</sup> *Шкловский В.* Третья фабрика. М.: Артель писателей «Круг», 1926. С. 64.

<sup>112</sup> Там же. С. 62.

<sup>113</sup> *Иванов Вяч. Вс.* О Романе Яacobсоне (главы из воспоминаний) // Звезда. 1999. № 7. С. 140.

<sup>114</sup> В. В. Маяковский и Л. Ю. Брик: Переписка. 1915—1930 / Сост., введ. и коммент. Б. Янгфельдта. Uppsala: Almqvist & Wiksell, 1982. С. 47.

<sup>115</sup> Там же. С. 49, 54.

<sup>116</sup> Там же. С. 49.

<sup>117</sup> Цит. по: Там же. С. 197.

<sup>118</sup> *Брик Л. Ю.* Указ. соч. С. 62.

<sup>119</sup> Там же. С. 159.

<sup>120</sup> *Паперный З.* «Если я чего написал...» // Знамя. 1998. № 6. С. 144.

<sup>121</sup> *Катанян В. В.* Указ. соч. С. 240.

<sup>122</sup> Там же. С. 88.

<sup>123</sup> *Гинзбург Л.* Записные книжки. Воспоминания. Эссе. СПб.: Искусство, 2002. С. 389.

<sup>124</sup> *Смола О.* Указ. соч. С. 168.

<sup>125</sup> В. В. Маяковский и Л. Ю. Брик. С. 53.

<sup>126</sup> Там же. С. 161.

<sup>127</sup> *Брик Л. Ю.* Указ. соч. С. 67.

<sup>128</sup> В. В. Маяковский и Л. Ю. Брик. С. 50.

<sup>129</sup> Там же. С. 51.

<sup>130</sup> Там же.

<sup>131</sup> О романе с Владимиром Маяковским в 1918 году, эмиграции и возвращении в Россию: Беседа Виктора Дувакина с Евгением Ланг, записанная 24 марта 1969 г. [Электронный ресурс] // URL: <http://oralhistory.ru/talks/orh-95-97/text>.

- <sup>132</sup> Там же.
- <sup>133</sup> Там же.
- <sup>134</sup> Там же.
- <sup>135</sup> Там же.
- <sup>136</sup> В. В. Маяковский и Л. Ю. Брик. С. 54.
- <sup>137</sup> *Агачева-Нанейшвили В. Н.* Жизнь близкая и дорогая // Маяковский в воспоминаниях родных и друзей. С. 313.
- <sup>138</sup> *Сарнов Б.* У Лили Брик // Континент. 2005. № 124. С. 442.
- <sup>139</sup> Цит. по: *Спивак М.* Мозг отправьте по адресу... М.: Астрель, CORPUS, 2010. С. 285—286.
- <sup>140</sup> Цит. по: Там же. С. 287.
- <sup>141</sup> В. В. Маяковский и Л. Ю. Брик. С. 55.
- <sup>142</sup> Там же.
- <sup>143</sup> Цит. по: *Катанян В. В.* Указ. соч. С. 49.
- <sup>144</sup> *Смехов В.* Театр моей памяти. М.: Вагриус, 2002. С. 213.
- <sup>145</sup> *Триоле Э.* Заглянуть в прошлое. С. 58.
- <sup>146</sup> В. В. Маяковский и Л. Ю. Брик. С. 205.
- <sup>147</sup> Там же.
- <sup>148</sup> Татьяна Васильева: «Лили Брик угощала меня сосисками и учила носить шубу» // Комсомольская правда. 2012. 4 июля.
- <sup>149</sup> В. Маяковский в воспоминаниях современников. С. 187—188, 254, 255, 256—257.
- <sup>150</sup> О встречах с Маяковским и «Окнах РОСТА»: Беседа Виктора Дувакина с Николаем Виноградовым, записанная 31 августа 1975 г. [Электронный ресурс] // URL: <http://oralhistory.ru/talks/orh-499/text>.
- <sup>151</sup> *Брик Л. Ю.* Указ. соч. С. 77.
- <sup>152</sup> *Янгфельдт Б.* Указ. соч. С. 134.
- <sup>153</sup> Маяковский в слезах, Хлебников на дуэли, Пастернак против Мандельштама, футуристы в салоне Лили Брик.
- <sup>154</sup> Цит. по: *Спивак М.* Указ. соч. С. 295.
- <sup>155</sup> Маяковский в слезах, Хлебников на дуэли, Пастернак против Мандельштама, футуристы в салоне Лили Брик.
- <sup>156</sup> Там же.
- <sup>157</sup> Там же.
- <sup>158</sup> *Катанян Г.* Азорские острова // Современницы о Маяковском. С. 266.
- <sup>159</sup> Цит. по: *Паперный З.* Указ. соч. С. 147.
- <sup>160</sup> *Сарнов Б.* Указ. соч. С. 441.
- <sup>161</sup> *Катанян Г.* Указ. соч. С. 266.
- <sup>162</sup> Цит. по: *Соснора В.* Дом дней. СПб.: Пушкинский фонд, 1997. С. 91.
- <sup>163</sup> *Иванов Вяч. Вс.* Указ. соч. С. 140.
- <sup>164</sup> Цит. по: *Лукьянова И.* Корней Чуковский. М.: Молодая гвардия, 2006 (серия «ЖЗЛ»). С. 269.
- <sup>165</sup> Цит. по: *Спивак М.* Указ. соч. С. 277.
- <sup>166</sup> Цит. по: Там же. С. 96.
- <sup>167</sup> Цит. по: *Брик Л. Ю.* Указ. соч. С. 259.



- <sup>168</sup> Цит. по: *Гинзбург Л.* Указ. соч. С. 18.
- <sup>169</sup> Цит. по: Там же. С. 105.
- <sup>170</sup> Цит. по: *Фойкин П.* Маяковский без глянца. М.: Амфора, 2008. С. 244.
- <sup>171</sup> *Чуковский К.* Дни моей жизни. М.: Бослен, 2009. С. 324.
- <sup>172</sup> *Ваксберг А. И.* Указ. соч. С. 92—93.
- <sup>173</sup> Там же. С. 144.
- <sup>174</sup> *Кожевникова Н.* «Нет — никто меня не любит»: сестры Лиля Брик и Эльза Триоле // Чайка. 2012. № 14 (217). 16 июля [Электронный ресурс] // URL: <https://www.chayka.org/node/4869>.
- <sup>175</sup> *Чуковский К.* Дневники. 1901—1929. М.: Советский писатель, 1991. С. 150—151.
- <sup>176</sup> Цит. по: *Янгфельдт Б.* Указ. соч. С. 136—137.
- <sup>177</sup> Цит. по: Там же. С. 137.
- <sup>178</sup> Цит. по: *Катанян В. В.* Указ. соч. С. 66.
- <sup>179</sup> Цит. по: *Янгфельдт Б.* Указ. соч. С. 138.
- <sup>180</sup> Цит. по: *Чуковская Л.* Записки об Анне Ахматовой: В 3 т. М.: Согласие, 1997. Т. 2. 1952—1962. С. 416.
- <sup>181</sup> *Катаев В.* Алмазный мой венец // Новый мир. 1978. № 6. С. 23.
- <sup>182</sup> *Талова М.* Водопьяный переулочек и его обитатели / Маяковский глазами современниц. СПб.: Росток, 2014. С. 86.
- <sup>183</sup> Там же. С. 87.
- <sup>184</sup> *Гинзбург Л.* Указ. соч. С. 378.
- <sup>185</sup> Правда. 1920. 1 декабря.
- <sup>186</sup> В. В. Маяковский и Л. Ю. Брик. С. 57.
- <sup>187</sup> Там же. С. 59.
- <sup>188</sup> Там же. С. 70.
- <sup>189</sup> Там же. С. 87.
- <sup>190</sup> Там же. С. 93.
- <sup>191</sup> Там же. С. 83.
- <sup>192</sup> Там же. С. 87.
- <sup>193</sup> Там же. С. 59.
- <sup>194</sup> Там же. С. 60.
- <sup>195</sup> Там же.
- <sup>196</sup> Там же. С. 88.
- <sup>197</sup> Там же. С. 67.
- <sup>198</sup> Там же. С. 63.
- <sup>199</sup> Там же. С. 66.
- <sup>200</sup> Там же. С. 72.
- <sup>201</sup> Там же. С. 69.
- <sup>202</sup> Там же. С. 87.
- <sup>203</sup> Там же. С. 71.
- <sup>204</sup> Там же. С. 73.
- <sup>205</sup> Там же. С. 78.
- <sup>206</sup> Там же. С. 76.
- <sup>207</sup> Там же. С. 89.
- <sup>208</sup> Там же. С. 90.

- <sup>209</sup> Там же. С. 91.
- <sup>210</sup> Там же. С. 92.
- <sup>211</sup> Катанян В. В. Указ. соч. С. 54.
- <sup>212</sup> Лиля Брик — Эльза Триоле: Неизданная переписка (1921—1970) / Сост. В. В. Катанян. М.: Элис Лак, 2000. С. 19.
- <sup>213</sup> В. В. Маяковский и Л. Ю. Брик. С. 98.
- <sup>214</sup> О счастливом Ленине, женщинах, свободе любви и своей версии гибели Владимира Маяковского.
- <sup>215</sup> Шкловский В. Почта века: Из переписки Виктора Шкловского. М.: Grani, 2003. С. 39.
- <sup>216</sup> Цит. по: Янгфельдт Б. Указ. соч. С. 200.
- <sup>217</sup> Цит. по: Чудаков А. Спрашивая Шкловского // Литературное обозрение. 1990. № 6. С. 6.
- <sup>218</sup> Цит. по: Там же.
- <sup>219</sup> Триоле Э. Заглянуть в прошлое. С. 60.
- <sup>220</sup> Шкловский В. Почта века. С. 39.
- <sup>221</sup> В. В. Маяковский и Л. Ю. Брик. С. 99.
- <sup>222</sup> Лиля Брик — Эльза Триоле. С. 22.
- <sup>223</sup> Там же. С. 100.
- <sup>224</sup> Там же. С. 102.
- <sup>225</sup> Там же. С. 108.
- <sup>226</sup> В. В. Маяковский и Л. Ю. Брик. С. 111.
- <sup>227</sup> Брик Л. Ю. Указ. соч. С. 124.
- <sup>228</sup> В. В. Маяковский и Л. Ю. Брик. С. 106.
- <sup>229</sup> Лавинская Е. Указ. соч. С. 338.
- <sup>230</sup> Там же.
- <sup>231</sup> Чуковский К. Дневники. 1901—1929. С. 239.
- <sup>232</sup> Лавинская Е. Указ. соч. С. 371.
- <sup>233</sup> Брик О. Против «творческой» личности // Новый ЛЕФ. 1928. № 2. С. 12—14.
- <sup>234</sup> О счастливом Ленине, женщинах, свободе любви и своей версии гибели Владимира Маяковского.
- <sup>235</sup> В. В. Маяковский и Л. Ю. Брик. С. 116.
- <sup>236</sup> Чуковский К. Дневники. 1901—1969: В 2 т. М.: ОЛМА-ПРЕСС; Звездный мир, 2003. Т. 2. С. 59.
- <sup>237</sup> О том, как принимал в гостях Маяковского, об Осипе Брик-ке, «Кафе поэтов» и журнале «Новый Сатирикон».
- <sup>238</sup> В. В. Маяковский и Л. Ю. Брик. С. 103—104.
- <sup>239</sup> Лиля Брик — Эльза Триоле. С. 22.
- <sup>240</sup> В. В. Маяковский и Л. Ю. Брик. С. 120.
- <sup>241</sup> О том, как принимал в гостях Маяковского, об Осипе Брик-ке, «Кафе поэтов» и журнале «Новый Сатирикон».
- <sup>242</sup> Ромашов Б. С. Вместе с вами: Биографически-документальные материалы писателя / Сост. и коммент. А. А. Ромашовой. М.: ВТО, 1964. С. 255.
- <sup>243</sup> Цит. по: Смола О. Указ. соч. С. 166.
- <sup>244</sup> Варшавская Л. Указ. соч.
- <sup>245</sup> В. В. Маяковский и Л. Ю. Брик. С. 126.

- <sup>246</sup> В. В. Маяковский и Л. Ю. Брик. С. 124.
- <sup>247</sup> *Триоле Э.* Заглянуть в прошлое. С. 64.
- <sup>248</sup> В. В. Маяковский и Л. Ю. Брик. С. 125.
- <sup>249</sup> Там же.
- <sup>250</sup> Там же. С. 126.
- <sup>251</sup> Там же. С. 128, 129.
- <sup>252</sup> Цит. по: *Валюженич А.* Пятнадцать лет после Маяковского: В 2 т. М.; Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2015. Т. 1. Лиля Брик — жена командира. 1930—1937. С. 428.
- <sup>253</sup> *Янгфельдт Б.* Указ. соч. С. 276.
- <sup>254</sup> В. В. Маяковский и Л. Ю. Брик. С. 132.
- <sup>255</sup> Там же. С. 141.
- <sup>256</sup> Там же. С. 131, 136.
- <sup>257</sup> Там же. С. 134, 139.
- <sup>258</sup> Там же. С. 140.
- <sup>259</sup> Там же.
- <sup>260</sup> Там же. С. 140, 142.
- <sup>261</sup> Там же. С. 142.
- <sup>262</sup> Там же. С. 143.
- <sup>263</sup> Там же. С. 144, 145.
- <sup>264</sup> Там же. С. 145.
- <sup>265</sup> О счастливом Ленине, женщинах, свободе любви и своей версии гибели Владимира Маяковского.
- <sup>266</sup> *Янгфельдт Б.* Указ. соч. С. 304.
- <sup>267</sup> *Charters A., Charters S.* I love: The story of V. Mayakovsky and Lili Brik. New York: Farrar, Straus & Giroux, 1979. P. 279.
- <sup>268</sup> Бенгт Янгфельдт — человек и исследователь: Интервью // Чайка. 2013. № 9 (236) [Электронный ресурс] // URL: <https://www.chayka.org/node/5416>.
- <sup>269</sup> В. В. Маяковский и Л. Ю. Брик. С. 147.
- <sup>270</sup> *Варшавская Л.* Указ. соч.
- <sup>271</sup> О том, как принимал в гостях Маяковского, об Осипе Брик-е, «Кафе поэтов» и журнале «Новый Сатириконт».
- <sup>272</sup> В. В. Маяковский и Л. Ю. Брик. С. 153.
- <sup>273</sup> *Смола О.* Указ. соч. С. 165—166.
- <sup>274</sup> Дочь Маяковского: «Мой папа не покончил с собой, его убили» // Комсомольская правда. 2013. 18 июля.
- <sup>275</sup> В. В. Маяковский и Л. Ю. Брик. С. 159, 160.
- <sup>276</sup> Там же. С. 160.
- <sup>277</sup> Якобсон-будетлянин: Сборник материалов / Сост., подг. текста, предисл. и коммент. Б. Янгфельдта. Stockholm: Almqvist & Wiksell International, 1992. С. 51.
- <sup>278</sup> *Роскин В.* Наша молодость // Литературное обозрение. 1993. № 6. С. 27.
- <sup>279</sup> *Лавинская Е.* Указ. соч. С. 340.
- <sup>280</sup> Цит. по: *Янгфельдт Б.* Указ. соч. С. 332.
- <sup>281</sup> В. В. Маяковский и Л. Ю. Брик. С. 161.
- <sup>282</sup> Там же. С. 162.

- <sup>283</sup> *Шамардина С.* Футуристическая юность // Современницы о Маяковском. С. 30.
- <sup>284</sup> В. В. Маяковский и Л. Ю. Брик. С. 163.
- <sup>285</sup> *Брик Л. Ю.* Указ. соч. С. 170.
- <sup>286</sup> Там же. С. 182—183.
- <sup>287</sup> Цит. по: *Брюханенко Н.* Пережитое // Современницы о Маяковском. С. 181.
- <sup>288</sup> *Катанян Г.* Указ. соч. С. 249.
- <sup>289</sup> *Брюханенко Н.* Указ. соч. С. 197.
- <sup>290</sup> *Лавинская Е.* Указ. соч. С. 340, 341.
- <sup>291</sup> *Пришвин М.* Указ. соч. С. 200.
- <sup>292</sup> Цит. по: *Янгфельдт Б.* Указ. соч. С. 338.
- <sup>293</sup> В. В. Маяковский и Л. Ю. Брик. С. 167.
- <sup>294</sup> *Брюханенко Н.* Указ. соч. С. 200.
- <sup>295</sup> Цит. по: *Катанян В. В.* Указ. соч. С. 69.
- <sup>296</sup> Цит. по: *Демидова А.* Бегущая строка памяти. М.: Эксмо-Пресс, 2000. С. 166.
- <sup>297</sup> *Шамардина С.* Указ. соч. С. 31.
- <sup>298</sup> Там же.
- <sup>299</sup> Там же.
- <sup>300</sup> *Брюханенко Н.* Указ. соч. С. 175.
- <sup>301</sup> Там же. С. 201.
- <sup>302</sup> *Рябова Н.* Киевские встречи // Современницы о Маяковском. С. 228.
- <sup>303</sup> Там же. С. 241.
- <sup>304</sup> Там же. С. 242.
- <sup>305</sup> *Катанян Г.* Указ. соч. С. 244.
- <sup>306</sup> Там же. С. 257.
- <sup>307</sup> *Брюханенко Н.* Указ. соч. С. 197.
- <sup>308</sup> *Чуковский К.* Дневники. 1901—1929. С. 463.
- <sup>309</sup> *Лавинская Е.* Указ. соч. С. 335.
- <sup>310</sup> Маяковский в слезах, Хлебников на дуэли, Пастернак против Мандельштама, футуристы в салоне Лили Брик.
- <sup>311</sup> *Шкловский В.* Почта века. С. 402.
- <sup>312</sup> *Якобсон Р.* Тексты, документы, исследования. М.: РГГУ, 1999. С. 124.
- <sup>313</sup> *Сарнов Б.* Указ. соч. С. 435.
- <sup>314</sup> Цит. по: *Янгфельдт Б.* Указ. соч. С. 351.
- <sup>315</sup> *Лавинская Е.* Указ. соч. С. 371.
- <sup>316</sup> *Брик Л. Ю.* Указ. соч. С. 273.
- <sup>317</sup> *Лиля Брик — Эльза Триоле.* С. 112, 116.
- <sup>318</sup> *Катанян В. А.* Распечатанная бутылка. Н. Новгород: Деком, 1999. С. 114.
- <sup>319</sup> О том, как принимал в гостях Маяковского, об Осипе Брик-ке, «Кафе поэтов» и журнале «Новый Сатирикон».
- <sup>320</sup> Цит. по: *Янгфельдт Б.* Указ. соч. С. 352—353.
- <sup>321</sup> В. В. Маяковский и Л. Ю. Брик. С. 164.

<sup>322</sup> О счастливом Ленине, женщинах, свободе любви и своей версии гибели Владимира Маяковского.

<sup>323</sup> В. В. Маяковский и Л. Ю. Брик. С. 176.

<sup>324</sup> Там же. С. 178, 179.

<sup>325</sup> Там же. С. 179.

<sup>326</sup> Там же. С. 179, 180.

<sup>327</sup> Там же. С. 181.

<sup>328</sup> Там же. С. 182.

<sup>329</sup> О знакомстве и дружбе с Владимиром Маяковским.

<sup>330</sup> Цит. по: *Сарнов Б.* Маяковский. Самоубийство. М.: Эксмо, 2006. С. 421.

<sup>331</sup> *Триоле Э.* Заглянуть в прошлое. С. 82.

<sup>332</sup> Цит. по: *Сарнов Б.* Маяковский. Самоубийство. С. 424.

<sup>333</sup> Цит. по: *Триоле Э.* Заглянуть в прошлое. С. 68.

<sup>334</sup> Цит. по: *Катанян В. В.* Указ. соч. С. 89.

<sup>335</sup> Цит. по: *Сарнов Б.* Маяковский. Самоубийство. С. 433.

<sup>336</sup> *Лиля Брик:* Письма и воспоминания. С. 98.

<sup>337</sup> Цит. по: *Сарнов Б.* Маяковский. Самоубийство. С. 581.

<sup>338</sup> Цит. по: Там же. С. 582.

<sup>339</sup> Цит. по: Там же. С. 426.

<sup>340</sup> *Триоле Э.* Заглянуть в прошлое. С. 83.

<sup>341</sup> Цит. по: *Сарнов Б.* Маяковский. Самоубийство. С. 426.

<sup>342</sup> Цит. по: Там же. С. 584.

<sup>343</sup> *Брик Л. Ю.* Указ. соч. С. 227.

<sup>344</sup> Цит. по: *Сарнов Б.* Маяковский. Самоубийство. С. 433.

<sup>345</sup> Цит. по: Там же. С. 432.

<sup>346</sup> *Брик Л. Ю.* Указ. соч. С. 228, 229.

<sup>347</sup> *Полонская В.* Последний год // Современницы о Маяковском. С. 286.

<sup>348</sup> *Катанян В. В.* Указ. соч. С. 92.

<sup>349</sup> Цит. по: *Филатьев Э.* Главная тайна горлана-главаря: Ушедший сам. М.: Эффект-фильм, 2017. С. 5.

<sup>350</sup> Цит. по: *Сарнов Б.* Маяковский. Самоубийство. С. 427.

<sup>351</sup> *Брик Л. Ю.* Указ. соч. С. 183.

<sup>352</sup> Там же. С. 231.

<sup>353</sup> Там же. С. 183.

<sup>354</sup> Запись встречи с Зоей Богуславской в Гоголь-центре. 26 мая 2014 г. [Электронный ресурс] // URL: <http://www.zoyaboguslavskaya.ru/?pid=1448>.

<sup>355</sup> Цит. по: *Сарнов Б.* Маяковский. Самоубийство. С. 428.

<sup>356</sup> Цит. по: Запись встречи с Зоей Богуславской в Гоголь-центре.

<sup>357</sup> Цит. по: *Полонская В.* Указ. соч. С. 276.

<sup>358</sup> Там же. С. 278.

<sup>359</sup> *Брик Л. Ю.* Указ. соч. С. 230.

<sup>360</sup> Там же. С. 233, 234.

<sup>361</sup> Там же. С. 235.

<sup>362</sup> Цит. по: *Шамардина С.* Указ. соч. С. 33.

- 363 Брик Л. Ю. Указ. соч. С. 236.
- 364 Варшавская Л. Указ. соч.
- 365 Брик Л. Ю. Указ. соч. С. 236.
- 366 Катанян Г. Указ. соч. С. 254.
- 367 Там же.
- 368 Полонская В. Указ. соч. С. 284—285.
- 369 Там же. С. 285.
- 370 Брик Л. Ю. Указ. соч. С. 240.
- 371 Там же. С. 239.
- 372 Там же. С. 240.
- 373 Там же. С. 243.
- 374 Там же. С. 241.
- 375 Там же. С. 243.
- 376 Там же. С. 246.
- 377 В. В. Маяковский и Л. Ю. Брик. С. 191.
- 378 Полонская В. Указ. соч. С. 292.
- 379 Там же. С. 306.
- 380 В. В. Маяковский и Л. Ю. Брик. С. 191.
- 381 Брик Л. Ю. Указ. соч. С. 249.
- 382 Варшавская Л. Указ. соч.
- 383 Там же.
- 384 Там же.
- 385 Лиля Брик — Эльза Триоле. С. 40, 41.
- 386 Цит. по: Ваксберг А. И. Указ. соч. С. 268.
- 387 Лавинская Е. Указ. соч. С. 332.
- 388 Цит. по: Катанян Г. Указ. соч. С. 270.
- 389 Чуковский К. Дневники. 1901—1969. Т. 2. С. 4.
- 390 Цит. по: Полонская В. Указ. соч. С. 300.
- 391 Цит. по: Там же. С. 319.
- 392 Там же. С. 320.
- 393 Там же.
- 394 Цит. по: Лиля Брик: Письма и воспоминания. С. 99.
- 395 Цит. по: Ваксберг А. И. Указ. соч. С. 266.
- 396 Лиля Брик — Эльза Триоле. С. 41.
- 397 Там же.
- 398 Полонская В. Указ. соч. С. 298.
- 399 Цит. по: Там же. С. 297.
- 400 Цит. по: Там же. С. 286.
- 401 Брик Л. Ю. Указ. соч. С. 265.
- 402 Цит. по: Чуковская Л. Указ. соч. Т. 2. С. 353.
- 403 В. В. Маяковский и Л. Ю. Брик. С. 185.
- 404 Брик Л. Ю. Указ. соч. С. 265.
- 405 Погорелова Б. Валерий Брюсов и его окружение // Воспоминания о Серебряном веке / Сост., предисл. и коммент. В. Крейда. М.: Республика, 1993. С. 36.
- 406 Там же. С. 37.
- 407 Якобсон-будетлянин. С. 36.

- <sup>408</sup> См.: *Скорягин В.* Послесловие к смерти // Журналист. 1990. № 5. С. 52—62.
- <sup>409</sup> Американская дочь поэта Владимира Маяковского: «Я хотела бы получить российское гражданство» // Комсомольская правда. 2014. 15 января.
- <sup>410</sup> В. В. Маяковский и Л. Ю. Брик. С. 186.
- <sup>411</sup> *Брик Л. Ю.* Указ. соч. С. 237.
- <sup>412</sup> Там же. С. 253.
- <sup>413</sup> Цит. по: *Чуковская Л.* Указ. соч. Т. 2. С. 353.
- <sup>414</sup> *Лавинская Е.* Указ. соч. С. 334.
- <sup>415</sup> *Семенова Е.* Воспоминания // Государственный музей В. В. Маяковского. Инв. № 13757. В-337.
- <sup>416</sup> *Смола О.* Указ. соч. С. 170, 171.
- <sup>417</sup> Цит. по: *Чуковская Л.* Указ. соч. Т. 2. С. 547.
- <sup>418</sup> *Смола О.* Указ. соч. С. 170.
- <sup>419</sup> Цит. по: *Тумишис М.* ВЧК. Война кланов. М.: Эксмо; Яуза, 2004. С. 113.
- <sup>420</sup> *Брик Л. Ю.* Указ. соч. С. 250, 252, 266.
- <sup>421</sup> Там же. С. 255.
- <sup>422</sup> Там же. С. 255, 259.
- <sup>423</sup> Там же. С. 257.
- <sup>424</sup> Там же. С. 254.
- <sup>425</sup> Там же. С. 257.
- <sup>426</sup> Там же. С. 259.
- <sup>427</sup> Там же. С. 260, 262.
- <sup>428</sup> Там же. С. 261.
- <sup>429</sup> Там же. С. 264.
- <sup>430</sup> Цит. по: Плата за власть: Неизвестные документы об Александре Фадееве // Литературная Россия. 2015. 7 октября.
- <sup>431</sup> *Брик Л. Ю.* Указ. соч. С. 265, 266.
- <sup>432</sup> Цит. по: *Катанян В. В.* Указ. соч. С. 104.
- <sup>433</sup> *Абдрахманов Ю.* 1916: Дневники. Письма к Сталину / Вступ. ст. Д. Джунушалиева, И. Е. Семенова. Фрунзе: Кыргызстан, 1991. С. 130.
- <sup>434</sup> Цит. по: *Валюженич А.* Указ. соч. Т. 1. С. 426.
- <sup>435</sup> *Абдрахманов Ю.* Указ. соч. С. 132.
- <sup>436</sup> Цит. по: *Валюженич А.* Указ. соч. Т. 1. С. 471.
- <sup>437</sup> Цит. по: Там же. С. 50.
- <sup>438</sup> Цит. по: Там же. С. 52.
- <sup>439</sup> Цит. по: Там же. С. 53.
- <sup>440</sup> Цит. по: Там же. С. 55.
- <sup>441</sup> Цит. по: Там же. С. 62.
- <sup>442</sup> Цит. по: Там же. С. 64.
- <sup>443</sup> Цит. по: Там же. С. 83.
- <sup>444</sup> Цит. по: Там же. С. 118.
- <sup>445</sup> *Лиля Брик — Эльза Триоле.* С. 52.
- <sup>446</sup> *Гинзбург Л.* Указ. соч. С. 416.
- <sup>447</sup> Цит. по: *Валюженич А.* Указ. соч. Т. 1. С. 218.

- <sup>448</sup> Цит. по: Там же. С. 226, 229.
- <sup>449</sup> *Шаламов В.* Двадцатые годы: Заметки студента МГУ // Юность. 1987. № 11.
- <sup>450</sup> *Чуковская Л.* Указ. соч. Т. 1. 1938—1941. С. 118.
- <sup>451</sup> Цит. по: *Янгфельдт Б.* Указ. соч. С. 491—492.
- <sup>452</sup> Цит. по: *Валюженич А.* Указ. соч. Т. 1. С. 273.
- <sup>453</sup> Цит. по: Там же. С. 274.
- <sup>454</sup> Цит. по: *Янгфельдт Б.* Указ. соч. С. 493.
- <sup>455</sup> Цит. по: *Валюженич А.* Указ. соч. Т. 1. С. 264.
- <sup>456</sup> *Катанян Г.* Указ. соч. С. 274.
- <sup>457</sup> *Лиля Брик — Эльза Триоле.* С. 55—56.
- <sup>458</sup> *Пастернак Б.* Люди и положения. М.: Советский писатель, 1983. С. 458.
- <sup>459</sup> Цит. по: *Брик Л. Ю.* Указ. соч. С. 288.
- <sup>460</sup> Цит. по: Там же.
- <sup>461</sup> *Катанян В. В.* Указ. соч. С. 106.
- <sup>462</sup> Цит. по: *Валюженич А.* Указ. соч. Т. 1. С. 314.
- <sup>463</sup> Цит. по: Там же. С. 311.
- <sup>464</sup> Цит. по: Там же. С. 323—324.
- <sup>465</sup> Цит. по: Там же. С. 326.
- <sup>466</sup> Цит. по: Там же. С. 328.
- <sup>467</sup> Цит. по: *Катанян В. В.* Указ. соч. С. 107.
- <sup>468</sup> *Лиля Брик — Эльза Триоле.* С. 58.
- <sup>469</sup> Цит. по: *Валюженич А.* Указ. соч. Т. 1. С. 392.
- <sup>470</sup> Цит. по: Там же. С. 397.
- <sup>471</sup> Цит. по: Там же. С. 403.
- <sup>472</sup> Цит. по: Там же. С. 535.
- <sup>473</sup> Цит. по: *Кантор Ю. З.* Война и мир Тухачевского. М.: Огонек; Время, 2005. С. 427.
- <sup>474</sup> Цит. по: *Валюженич А.* Указ. соч. Т. 1. С. 385.
- <sup>475</sup> Цит. по: Там же. С. 387—388.
- <sup>476</sup> Цит. по: Там же. С. 482.
- <sup>477</sup> Цит. по: Там же. С. 398—399.
- <sup>478</sup> Цит. по: Там же. С. 394, 395.
- <sup>479</sup> Цит. по: Там же. Т. 2. Последние годы Осипа Брика. 1938—1945. С. 23.
- <sup>480</sup> *Гинзбург Л.* Указ. соч. С. 127.
- <sup>481</sup> Цит. по: *Валюженич А.* Указ. соч. Т. 1. С. 388, 390.
- <sup>482</sup> См.: Там же. С. 319.
- <sup>483</sup> *Катанян В. В.* Указ. соч. С. 115.
- <sup>484</sup> *Катанян Г.* Указ. соч. С. 258.
- <sup>485</sup> *Катанян В. В.* Прикосновение к идолам. М.: Вагриус, 1997. С. 37.
- <sup>486</sup> *Он же.* *Лиля Брик: Жизнь.* С. 251.
- <sup>487</sup> Там же.
- <sup>488</sup> Цит. по: *Валюженич А.* Указ. соч. Т. 2. С. 326.
- <sup>489</sup> *Лиля Брик — Эльза Триоле.* С. 99.
- <sup>490</sup> Там же. С. 105.



- <sup>491</sup> Катанян В. В. Лиля Брик: Жизнь. С. 119.
- <sup>492</sup> Лещенко-Сухомлина Т. Долгое будущее: Дневник-воспоминание. М.: Советский писатель, 1991. С. 202.
- <sup>493</sup> Там же. С. 224, 225.
- <sup>494</sup> Цит. по: Ваксберг А. И. Указ. соч. С. 95.
- <sup>495</sup> Долгин Ю. В сороковые годы // Воспоминания о Николае Глазкове / Сост. Р. М. Глазкова, А. В. Терновский. М.: Советский писатель, 1989. С. 99.
- <sup>496</sup> Там же. С. 100.
- <sup>497</sup> Цит. по: Брик Л. Ю. Указ. соч. С. 295.
- <sup>498</sup> Цит. по: Там же. С. 296.
- <sup>499</sup> Катанян Г. Указ. соч. С. 259.
- <sup>500</sup> Раневская Ф. Дневник на клочках / Подг. текста, вступ. ст. и публ. Ю. Данилина. СПб., 1999. С. 31—32.
- <sup>501</sup> Лещенко-Сухомлина Т. Указ. соч. С. 268.
- <sup>502</sup> Цит. по: Валюженич А. Указ. соч. Т. 1. С. 311.
- <sup>503</sup> Шамардина С. Указ. соч. С. 33.
- <sup>504</sup> Брик Л. Ю. Указ. соч. С. 268.
- <sup>505</sup> Там же. С. 296.
- <sup>506</sup> Лиля Брик — Эльза Триоле. С. 186.
- <sup>507</sup> Там же. С. 189.
- <sup>508</sup> Там же. С. 187.
- <sup>509</sup> Цит. по: Ваксберг А. И. Указ. соч. С. 350.
- <sup>510</sup> Цит. по: Там же. С. 551.
- <sup>511</sup> Лиля Брик — Эльза Триоле. С. 198.
- <sup>512</sup> Воронцов В., Колосков А. Новое и старое о Маяковском // Литература и жизнь. 1959. 7 января.
- <sup>513</sup> Документы свидетельствуют... Из фондов Центра хранения современной документации. Вокруг творческого наследия Маяковского / Публ. Л. Пушкаревой // Вопросы литературы. 1994. № 2. С. 199.
- <sup>514</sup> Чуковская Л. Указ. соч. Т. 2. С. 249.
- <sup>515</sup> Воронцов В. В., Колосков А. И. По поводу одной публикации // Известия. 1966. 27 ноября.
- <sup>516</sup> Цит. по: Катанян В. А. Мрачная хроника // Вопросы литературы. 1997. № 1. С. 208.
- <sup>517</sup> Лиля Брик: Письма и воспоминания. С. 97.
- <sup>518</sup> Переписка Виктора Сосноры с Лилей Брик / Публ. Я. Ананко; вступ. заметка В. Сосноры // Звезда. 2012. № 1. С. 177.
- <sup>519</sup> Маяковский в слезах, Хлебников на дуэли, Пастернак против Мандельштама, футуристы в салоне Лили Брик.
- <sup>520</sup> Воронцов В., Колосков А. Любовь поэта // Огонек. 1968. № 6. С. 11.
- <sup>521</sup> Цит. по: Огрызко В. Симонов в роли защитника Лили Брик // Литературная Россия. 2015. 2 декабря.
- <sup>522</sup> Лиля Брик — Эльза Триоле. С. 551.
- <sup>523</sup> Там же. С. 557.
- <sup>524</sup> Паперный З. Указ. соч. С. 149.

- <sup>525</sup> Цит. по: *Огрызко В.* Указ. соч.
- <sup>526</sup> Цит. по: *Валюженич А.* Указ. соч. Т. 2. С. 283—284.
- <sup>527</sup> Цит. по: Там же. С. 286—287.
- <sup>528</sup> Цит. по: *Огрызко В.* Указ. соч.
- <sup>529</sup> *Лиля Брик: Письма и воспоминания.* С. 100.
- <sup>530</sup> *Паперный З.* Указ. соч. С. 149—150.
- <sup>531</sup> Там же. С. 148.
- <sup>532</sup> Цит. по: *Сарнов Б.* У Лили Брик. С. 436.
- <sup>533</sup> Там же.
- <sup>534</sup> *Лавинская Е.* Указ. соч. С. 341.
- <sup>535</sup> Цит. по: *Смола О.* Указ. соч. С. 168.
- <sup>536</sup> Цит. по: Там же. С. 170.
- <sup>537</sup> *Паперный З.* Указ. соч. С. 146.
- <sup>538</sup> О борьбе художественных течений и дружбе их представителей в 1920-е, о «сторожах талантов» Бриках и ласковом Маяковском: Беседа Виктора Дувакина с Александром Тышлером, записанная 22 декабря 1968 г. [Электронный ресурс] // URL: <http://oralhistory.ru/talks/orh-77-78/text>.
- <sup>539</sup> *Катанян В. В.* Лиля Брик: Жизнь. С. 155.
- <sup>540</sup> Цит. по: Там же. С. 156.
- <sup>541</sup> Там же. С. 167—168.
- <sup>542</sup> Цит. по: Параджанов: цена вечного праздника. Н. Новгород: Деком, 2001. С. 55.
- <sup>543</sup> *Карабчиевский Ю.* Воскресение Маяковского. М.: Советский писатель, 1990. С. 136—137.
- <sup>544</sup> Цит. по: *Катанян В. В.* Параджанов: цена вечного праздника. С. 43.
- <sup>545</sup> *Он же.* Лиля Брик: Жизнь. С. 227.
- <sup>546</sup> Там же. С. 228.
- <sup>547</sup> Цит. по: Там же. С. 230.
- <sup>548</sup> *Талова М.* Указ. соч. С. 186.
- <sup>549</sup> Цит. по: *Янгфельдт Б.* Указ. соч. С. 357—358.
- <sup>550</sup> В. В. Маяковский и Л. Ю. Брик. С. 209.
- <sup>551</sup> *Лиля Брик — Эльза Триоле.* С. 638.
- <sup>552</sup> Там же. С. 56.
- <sup>553</sup> Там же. С. 135.
- <sup>554</sup> Там же. С. 152.
- <sup>555</sup> *Варшавская Л.* Указ. соч.
- <sup>556</sup> *Брик Л. Ю.* Указ. соч. С. 235.
- <sup>557</sup> *Лиля Брик — Эльза Триоле.* С. 76, 79.
- <sup>558</sup> Там же. С. 118.
- <sup>559</sup> Там же. С. 169.
- <sup>560</sup> *Ваксберг А. И.* Указ. соч. С. 9.
- <sup>561</sup> Татьяна Васильева: «Лиля Брик угощала меня сосисками и учила носить шубу».
- <sup>562</sup> *Демидова А.* Указ. соч. С. 165.
- <sup>563</sup> *Лиля Брик: Письма и воспоминания.* С. 95.
- <sup>564</sup> *Лиля Брик — Эльза Триоле.* С. 471.

- <sup>565</sup> Лиля Брик — Эльза Триоле. С. 630.
- <sup>566</sup> Цит. по: *Колесникова Л.* Лилия Брик «Haute Couture» // Теория моды: Одежда, тело, культура. 2016. № 3(41). С. 278.
- <sup>567</sup> Цит. по: Там же. С. 280.
- <sup>568</sup> Цит. по: *Плисецкая М.* Читая жизнь свою... М.: АСТ, 2011.
- С. 24.
- <sup>569</sup> Там же. С. 211.
- <sup>570</sup> Там же. С. 214.
- <sup>571</sup> Там же. С. 213.
- <sup>572</sup> Там же. С. 210—211.
- <sup>573</sup> *Брик Л. Ю.* Указ. соч. С. 332.
- <sup>574</sup> Лилия Брик — Эльза Триоле. С. 368.
- <sup>575</sup> Переписка Виктора Сосноры с Лилей Брик. С. 158.
- <sup>576</sup> Цит. по: *Катанян В. В.* Указ. соч. С. 124.
- <sup>577</sup> Запись встречи с Зоей Богуславской в Гоголь-центре.
- <sup>578</sup> Цит. по: *Вирабов И.* Андрей Вознесенский. М.: Молодая гвардия, 2015 (серия «ЖЗЛ»). С. 177.
- <sup>579</sup> *Лимонов Э.* Книга мертвых. СПб.: Лимбус Пресс, 2013.
- С. 122.
- <sup>580</sup> Там же. С. 125.
- <sup>581</sup> *Щапова де Карли Е.* Сальвадор Дали хотел, чтобы я стала его моделью // Караван историй. 2002. № 3. С. 128.
- <sup>582</sup> Там же.
- <sup>583</sup> Там же.
- <sup>584</sup> *Лимонов Э.* Указ. соч. С. 126.
- <sup>585</sup> Лилия Брик: Письма и воспоминания. С. 93.
- <sup>586</sup> Татьяна Васильева: «Лилия Брик угощала меня сосисками и учила носить шубу».
- <sup>587</sup> Цит. по: *Медведев Ф.* Мои великие старухи. СПб.: БХВ-Петербург, 2011. С. 78.
- <sup>588</sup> Цит. по: *Валюженич А.* Указ. соч. Т. 1. С. 402.
- <sup>589</sup> Цит. по: Там же.
- <sup>590</sup> Цит. по: Там же.
- <sup>591</sup> Лилия Брик: Письма и воспоминания. С. 104.
- <sup>592</sup> *Брик Л. Ю.* Пристрастные рассказы. С. 249.
- <sup>593</sup> Лилия Брик: Письма и воспоминания. С. 105.
- <sup>594</sup> Цит. по: *Катанян В. В.* Прикосновение к идолам. С. 161.
- <sup>595</sup> Татьяна Васильева: «Лилия Брик угощала меня сосисками и учила носить шубу».
- <sup>596</sup> *Jangfeldt B.* En rysk historia. Stockholm: Walström&Widstrand, 2015. P. 85.
- <sup>597</sup> Ibid. P. 86.

## ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Л. Ю. БРИК

- 1891, 30 октября (11 ноября) — в Москве в семье адвоката Урия (Юрия) Александровича Кагана и пианистки Елены Юльевны Берман родилась дочь Лили (Лиля).
- 1896, 12 (24) сентября — рождение младшей сестры Эллы, будущей Эльзы Триоле.
- 1905 — познакомилась с главной любовью своей жизни Осипом Бриком.
- 1909/10 — проучилась два семестра на физико-математическом факультете Высших женских курсов профессора Герье.
- 1911 — обучалась лепке в Мюнхене в мастерской Ганса Швегерле.
- 1912, 26 марта — вышла замуж за Осипа Брика.
- 1912—1913 — провела с мужем два осенних сезона в Туркестане. Сопровождала Осипа в командировки в Нижний Новгород и Читу.
- 1913 — знакомство и начало романа Эльзы с Владимиром Маяковским.
- 1914, осень — переехала с мужем в Петроград на Малую Итальянскую (Жуковскую) улицу.
- 1915, конец июля — Маяковский, приведенный Эльзой на квартиру к Брикам, бесповоротно влюбился в Лилу.  
Осень — познакомилась с кругом общения Маяковского. Издание Осипом Бриком поэмы Маяковского «Облако в штанах» с посвящением «Тебе, Лиля». Маяковский сочиняет поэму о Лиле «Флейта-позвоночник». Превращение квартиры Бриков в салон футуристов.  
Декабрь — футуристическая елка дома у Бриков.
- 1916, февраль — издание Осипом Бриком поэмы Маяковского «Флейта-позвоночник».  
26 мая — Маяковский написал стихотворение «Лиличка! (Вместо письма)».
- 1917 — переехала с Осипом в более просторную квартиру в том же доме, стала брать уроки балета.
- 1918, май—июнь — снималась с Маяковским в Москве в кинокартине «Закovaná фильмой» по сценарию поэта.  
Июль — начало жизни втроем с Осипом Бриком и Маяковским на даче в Левашове под Петроградом.  
Эмиграция Эльзы с матерью — формально к французскому жениху, офицеру Андре Триоле.  
Осень — переезд Маяковского и Бриков в Москву, поселение в Полуэктовом переулке. Совместная работа в «Окнах РОСТА».
- 1920—1921 — снимали дачу в Пушкине.
- 1920, сентябрь — переехали в квартиру в Водопьяном переулке.
- 1921, осень — ездила в Ригу по издательским делам, безуспешно пыталась выехать в Лондон.

1922, весна — совершила несколько поездок в Ригу, пытаясь добиться английской визы. Выход поэмы Маяковского «Люблю».

*Лето* — жила на даче в Пушкине.

*Осень* — встретила в Лондоне с матерью и сестрой Эльзой. Отправилась с Эльзой в Берлин, где к ним присоединились Осип и Маяковский. Бурные страсти и азартные игры.

1922/23, зима — решила не встречаться с Маяковским два месяца. Страдающий поэт в своей комнате на Лубянке написал поэму «Про это». Закрутила роман с директором Промбанка Александром Краснощековым.

1923, 28 февраля — возобновила отношения с Маяковским, уехала с ним в Ленинград.

*Март* — публикация поэмы «Про это» в журнале «ЛЕФ» с Лилиным портретом работы Александра Родченко на обложке.

*Июль—август* — посетила с Маяковским и Осипом Бриком немецкие курорты Бад-Флинсберг и Нордерней.

Развод Эльзы с Андре Триоле.

1923—1925 — выход журнала «ЛЕФ» под редакцией Маяковского, где опубликовано несколько Лилиных переводов с немецкого.

1924, февраль—май — совершила поездки в Лондон, Париж и Берлин. Прекратила физическую связь с Маяковским.

*Лето* — сняла дом в Сокольниках поближе к Лефортовской тюрьме, где содержался ее арестованный возлюбленный Александр Краснощеков, и взяла к себе его дочь Луэлу.

1925, январь — помилование Краснощекова. Знакомство Осипа с женой режиссера Виталия Жемчужного Евгенией, которая станет его спутницей до конца его жизни.

*Осень* — отдыхала на итальянском курорте. Гастроли Маяковского по Америке, роман с Элли (Елизаветой) Джонс.

1925—1926 — приезд Эльзы из Франции в Советскую Россию на год.

1926, апрель — переехала с Осипом и Маяковским в новую квартиру в Гендриковом переулке.

15 июня — рождение в Америке дочери Маяковского Элли.

*Июль—август* — работала в Обществе землеустройства еврейских трудящихся в качестве организатора съемок фильма Абрама Роома «Евреи на Земле».

*Лето* — начало романа с режиссером Львом Кулешовым.

1927, лето — отдыхала с Кулешовым на Кавказе. На обратном пути высадилась в Харькове, где выступал Маяковский, и ночью в гостинице слушала его новую поэму «Хорошо!».

1928 — поездка Маяковского в Берлин и Париж, знакомство с Татьяной Яковлевой. Распад ЛЕФа из-за ссоры Лили с Виктором Шкловским. Эльза Триоле вышла замуж за поэта Луи Арагона.

- 1928—1929 — совместно с режиссером Виталием Жемчужным поставила фильм «Стеклянный глаз» с Вероникой Полонской в главной роли.
- 1929 — безответно влюбилась в режиссера Всеволода Пудовкина и пыталась отравиться. Вела напряженную борьбу за разлучение Маяковского с Яковлевой. Сочинила сценарий фильма «Любовь и долг» (снят не был).  
Двадцатилетний творческий юбилей Маяковского. Начало романа поэта с Вероникой Полонской.
- 1930, *февраль—апрель* — ездила с Осипом в Берлин и Лондон.  
*14 апреля* — получила телеграмму о самоубийстве Маяковского.  
*16 апреля* — возвратилась с Осипом из-за границы. Стала наследницей половины авторских прав на произведения поэта.  
*Осень* — появление нового мужа — советского военачальника Виталия Марковича Примакова.  
Переехала с Примаковым и Бриком в кооперативную квартиру в Спасопесковском переулке на Арбате.
- 1931 — сопровождала Примакова к местам службы — в Свердловск, Ростов, в поездках на учения.
- 1932—1933 — жила в Берлине с Примаковым, направленным награничную стажировку.
- 1934 — после возвращения в СССР готовила к публикации наследие Маяковского. Вместе с Осипом и Примаковым, переведенным в Москву и назначенным заместителем инспектора высших учебных заведений Красной армии, участвовала в издании книги «Альманах с Маяковским».
- 1935, *май* — переехала в Ленинград с Примаковым, назначенным заместителем командующего Ленинградским военным округом.  
*Декабрь* — побуждаемая Примаковым, написала и передала Сталину письмо с просьбой о популяризации творчества Маяковского и увековечении его памяти, на которое была получена одобрительная резолюция. Примакову присвоено звание комкора.
- 1936, *15 августа* — арест Примакова на ленинградской даче.  
*Октябрь* — возвратилась в московскую квартиру в Спасопесковском переулке.
- 1937, *июнь* — после расстрела Примакова вместе с другими военачальниками, обвиненными по «делу Тухачевского», пряталась с Василием Катаняном в Ялте, а Осип с Женей Жемчужной — в Коктебеле. Увела Катаняна из семьи.
- 1938 — возобновила занятия лепкой, создала скульптурные портреты Маяковского, домашних, автопортрет. Катанян поселился с Бриками.
- 1938—1941 — дом Бриков — место сбора поэтов предвоенного поколения — Николая Глазкова, Михаила Кульчицкого, Бориса Слуцкого, Павла Когана.

- 1941, июль — эвакуировалась с Катаняном, Осипом и Женей в поселок Курья недалеко от Молотова (ныне Пермь); написала и опубликовала брошюрой рассказ «Щен» о Маяковском и животных.
- 1942 — вернулась из эвакуации с Катаняном и Осипом Бриком в московскую квартиру в Спасопесковском переулке.
- 1945, февраль — возобновила прерванную войной переписку с Эльзой.
- 22 февраля — смерть Осипа Брика в результате сердечного приступа.
- 3 июля — Эльза Триоле получила Гонкуровскую премию, самую авторитетную во Франции в области литературы.
- 1948 — впервые увидела Майю Плисецкую на сцене Большого театра и пригласила к себе встречать Новый, 1949 год. Начало их многолетней дружбы.
- 1950, лето — совершила с Катаняном поездку в Армению, Грузию, Абхазию.
- 1955, лето — возобновила поездки в Париж, встречалась с Ф. Леже, М. Шагалом, Ж. Садулем.
- 1950—1970-е — поддерживала дружеское общение со многими выдающимися деятелями советского и зарубежного искусства и литературы.
- 1958 — выход в свет 65-го тома серии «Литературное наследство», где напечатаны письма Маяковского Лиле, вызвавшие скандал в официальной прессе, закрытое постановление ЦК КПСС и запрет выхода следующего тома.
- Переехала с Катаняном в квартиру на Кутузовском проспекте.
- Зима — совершила поездку в Чехословакию.
- 1959 — организовала телефонный разговор Родиона Щедрина с главой КГБ Шелепиным, благодаря чему Майя Плисецкая смогла выезжать на заграничные гастроли.
- 1963 — совершила поездку в Париж.
- 1966, лето — совершила поездку в Чехословакию.
- 1967 — по инициативе сестры Маяковского Людмилы закрыт музей поэта в Гендриковом переулке.
- 1968 — кампания травли в печати, начатая в журнале «Огонек» В. Воронцовым и А. И. Колосковым.
- 1970, 17 июня — смерть Эльзы от сердечной недостаточности у себя дома в Сент-Арну во Франции.
- 1973 — участвовала в восстановлении в Москве юбилейной выставки Маяковского «20 лет работы».
- 1974 — стараниями Людмилы Маяковской открыт музей Маяковского в Лубянском проезде, где игнорировалась роль Лили в жизни и творчестве поэта.
- 1974—1977 — предпринимала усилия по освобождению режиссера и художника Сергея Параджанова, осужденного на пять лет строгого режима.

- 1975* — по приглашению Музея современного искусства совершила поездку в Париж на открытие восстановленной юбилейной выставки Маяковского. Познакомилась с кутюрье Ивом Сен-Лораном и сблизилась с молодым журналистом Франсуа Мари Банье.
- 1976, осень* — совершила последнюю поездку в Париж, встречалась с Сен-Лораном.
- 1977, 30 декабря* — благодаря хлопотам Лили, уговорившей Луи Арагона приехать в СССР и замолвить словечко перед Брежневым, освобожден из заключения Параджанов.
- 1978, май* — при падении с кровати сломала шейку бедра и оказалась прикована к постели.
- 4 августа* — покончила с собой, приняв смертельную дозу нембутала.
- 7 августа* — гражданская панихида и кремация.
- 1979, 7 мая* — согласно последней воле прах развеян в поле под Звенигородом.



## БИБЛИОГРАФИЯ

- Брик Л. Ю.* Пристрастные рассказы. М.: Деком, 2011.
- В. В. Маяковский и Л. Ю. Брик: Переписка. 1915—1930 / Сост., введ. и коммент. Б. Янгфельдта. Uppsala: Almqvist & Wiksell, 1982. Российское переиздание: Любовь — это сердце всего: В. В. Маяковский и Л. Ю. Брик: Переписка. 1915—1930 / Сост., подг. текста, введ. и коммент. Б. Янгфельдта. М.: Книга, 1991.
- Валюженич А.* Пятнадцать лет после Маяковского: В 2 т. М.; Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2015. Т. 1. Лиля Брик — жена командира. 1930—1937.
- Гинзбург Л.* Записные книжки. Воспоминания. Эссе. СПб.: Искусство, 2002.
- Катанян В. В.* Лиля Брик: Жизнь. М.: Захаров, 2002.
- Лиля Брик — Эльза Триоле: Неизданная переписка (1921—1970). М.: Эллис Лак, 2000.
- Современницы о Маяковском / Сост. В. В. Катанян. М.: Дружба народов, 1993.
- Чуковская Л.* Записки об Анне Ахматовой: В 3 т. М.: Согласие, 1997.
- Янгфельдт Б.* Ставка — жизнь: Владимир Маяковский и его круг / Пер. со швед. А. Лавруши. М.: АСТ, 2016.

## СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие .....	5
Мумия и бриллианты .....	8
Звать Лили эту фею... ..	10
Заштопанный позор .....	17
Венера в корсете .....	21
Фрукты и шампанское .....	26
Крылатый Эрос .....	35
Глаза Эльзы .....	51
Ноги твои исступленно гладил... ..	68
Ваше Лиличество .....	85
Голую бабу не видели? .....	92
Триппер — был .....	103
Никогда не кончала .....	113
Кисит и Волосит .....	118
Карты и половой инстинкт .....	135
Танцуем себе понемногу .....	141
ЛЕФ и немножко сутенер .....	148
Всяческих охотников до наших жен .....	159
Деньгов совсем мало .....	173
Евреи, дети, женщины и новоселье .....	180
Лев на мотоцикле и товарищ девушка .....	189
Маленькие ножки .....	200
Должна разливать чай .....	206
Неужели не будет автомобильчика? .....	214
Длинноногая шляпница .....	220
Товарищ маузер .....	240
Вероники и брехобрики .....	256
В оба, чекист, смотри .....	266
Жена комкора .....	279
Стрельба в подвале .....	293
Дружба стала теснее .....	311
Паралич сердца .....	317
Проститутка! .....	324
Страсть на закате .....	344
«Голое» платье и духи от Герлена .....	353
Выезд королевны .....	362
Валун и опушка .....	372
Примечания .....	377
Основные даты жизни и деятельности Л. Ю. Брик .....	393
Библиография .....	398

**Ганиева А. А.**  
Г 19 Лиля Брик: Её Лиличество на фоне Люциферова века / Алиса Ганиева. — М.: Молодая гвардия, 2020. — 399[1] с.: ил. — (Жизнь замечательных людей: сер. биогр.; вып. 1811).

**ISBN 978-5-235-04311-4**

Имя Лили Брик — музы Маяковского, приверженки свободной любви, щеголихи и любительницы талантов, сестры писательницы Эльзы Триоле и любимой фотомодели родоначальника конструктивизма Александра Родченко — до сих пор будоражит умы. Ей приписывают заслуги и обвиняют в злодеяниях. Она неотделима от высокой поэзии и желтых сплетен, от русского авангарда и заграничного шика. В нее безумно влюблялись и страстно ненавидели, она спасала от тюрьмы и доводила до истерики. Почему к ней тянулись великий футурист Маяковский и красный командир Примаков, режиссеры Лев Кулешов и Сергей Параджанов, поэт Андрей Вознесенский, композитор Родион Щедрин и балерина Майя Плисецкая? Как эта не очень красивая женщина умудрялась уводить мужчин из семей, сохраняя дружбу с их женами и детьми? Что ее связывает с чекистами и как ей удалось уцелеть в Люциферов век? Ее биография — это рассказ о кульбитах нашей истории и искусства, о советском и буржуазном, о Сталине и Хрущеве, о смерти и сексе. Книга Алисы Ганиевой погружает читателя в мир страстей, поэзии, подавленных комплексов и загадочной магии под названием «Лили Брик».

**УДК 821.161.1.0-94**  
**ББК 83.3(2Рос=Рус)6-8**

знак информационной  
продукции

**18+**

**Ганиева Алиса Аркадьевна**  
**ЛИЛЯ БРИК:**  
**Её Лиличество на фоне Люциферова века**

Редактор **Е. А. Никулина**  
Художественный редактор **К. В. Забусик**  
Технический редактор **М. П. Качурина**  
Корректор **Г. В. Платова**

Сдано в набор 29.04.2019. Подписано в печать 21.10.2019. Формат 84х108/32. Бумага офсетная № 1. Печать офсетная. Гарнитура «Newton». Усл. печ. л. 21,0+1,68 вкл. Тираж 4000 экз. Заказ № 1915230.

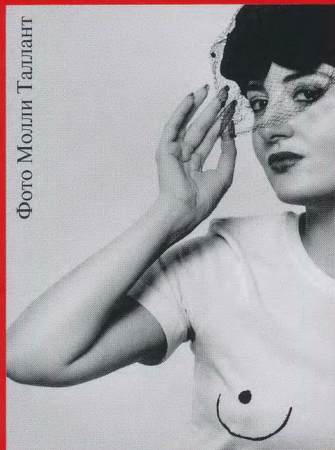
Издательство АО «Молодая гвардия». Адрес издательства: 127055, Москва, Сушевская ул., 21. Internet: <http://gvardiya.ru>. E-mail: [dse1@gvardiya.ru](mailto:dse1@gvardiya.ru)

**arvato** Отпечатано в полном соответствии с качеством  
**BERTELSMANN** предоставленного электронного оригинал-макета  
Supply Chain Solutions в ООО «Ярославский полиграфический комбинат»  
150049, Россия, Ярославль, ул. Свободы, 97

**ISBN 978-5-235-04311-4**

# Алиса Ганиева

Фото Молли Таллант



*Алиса Ганиева — писатель, автор романов «Праздничная гора», «Жених и невеста», «Оскорбленные чувства». Лауреат литературных премий «Дебют» и «Триумф», финалист «Русского Букера» и «Ясной Поляны», премии имени Юрия Казакова и премии имени Ивана Петровича Белкина. Характер выдержанный, нордический. В связях, порочащих ее, замечена неоднократно.*

Новую книгу Ганиевой я бы назвал художественным исследованием, выполненным средствами документального письма. Ей удастся выстроить цельное, почти романное, повествование, способное захватить читателя (я, во всяком случае, прочитал эту достаточно объемную книгу практически не отрываясь). О чем заставляет думать текст? О природе творчества. О природе любви и не-любви. О характере русской истории и о первой сексуальной революции в Европе, которая случилась именно в России под названием «борьба с буржуазными предрассудками». Размышления эти ведутся автором на материале взаимоотношений двух исторических фигур: Лили Брик и Владимира Маяковского, основным сюжетом которых — взаимоотношений — являлось внутреннее противостояние.

ISBN 978-5-235-04311-4



9 785235 004311 4 >

*Сергей Костырко, «Новый мир»*

М О Л О Д А Я   Г В А Р Д И Я